В. Н. Муромцева-Бунина

Жизнь Бунина

Беседы с памятью

В. Н. Муромцева-Бунина
Жизнь Бунина
Беседы с памятью

В. Н. Муромцева-Бунина

1989

Москва

Советский писатель



И. А. Бунин. Париж, 1930.

В. Н. Муромцева-Бунина

Жизнь Бунина

1870–1906

Беседы с памятью.

ББК 84Р7
М 91

Составление, предисловие и примечания
А. К. БАБОРЕКО

Составитель алфавитного указателя имен
Л. Э. ХАРАЗОВА

Художник
Евгений ГАННУШКИН

В этой книге в качестве иллюстративного материала наряду с фотографиями последних лет используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии.

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный интерес.

М $\frac{4702010201-179}{083(02)-89}$ Без объявл.

ISBN 5—265—01035—1

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА БУНИНА *

Поэт Дон Аминадо сказал о И. А. Бунине (1870—1953), вспоминая день, когда его не стало:

— Великая гора был Царь Иван!

Возвратившись из Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем — места вечного успокоения того, кто так страстно любил жизнь и столь вдохновенно писал о ее радостях, — читали стихи, написанные им еще в начале века:

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон... Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

Да, печалью отмечен трудный путь! Но судьба была к нему благосклонна. Он совершил свой земной круг всемирно известным, прославленным писателем. Он Immortel, бессмертный, он — вечен. «Трудный путь» — удел всех великих творцов, открывающих новые пути в литературе. А для Бунина большим испытанием была еще необходимость преодолеть многие невзгоды, которые проистекали из положения литературного поденщика в те годы, когда он только начинал свой творческий путь.

Рос он в деревне, в семье обнищавших помещиков, принадлежавших к знатному роду, среди предков которых — В. А. Жуковский и поэтесса Анна Бунина. От матери и дворовых он много, по его выражению, «наслушался» песен и сказок. Воспоминания о детстве — лет с семи, как писал Бунин, — связаны у него «с полем, с мужицкими избами» и обитателями их. Он целыми днями пропадал по ближайшим деревням, пас скот вместе с крестьянскими детьми, ездил в ноч-

---

* См. на эту же тему: Бабореко А. Поэзия и правда Бунина. Дневники, воспоминания и письма современников. — «Подъем». Воронеж. 1980. № 1.

ное, с некоторыми из них дружил. Подражая подпаску, он и сестра Маша ели черный хлеб, редьку, «шершавые и бугристые огурчики», и за этой трапезой, «сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир», — писал Бунин в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева». Уже тогда с редкой силой восприятия он чувствовал, по собственному признанию, «божественное великолепие мира» — главный мотив всего его творчества. Именно в этом возрасте обнаружилось в нем художественное восприятие жизни, что, в частности, выражалось и в способности изображать людей мимикой и жестами; талантливым рассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин написал первое стихотворение.

На одиннадцатом году он поступил в Елецкую гимназию. Учился сначала хорошо, все давалось легко; мог с одного прочтения запомнить стихотворение в целую страницу, если оно его интересовало. Но год от года ученье шло хуже, в третьем классе оставался на второй год. Учителя в большинстве были люди серые и незначительные. В гимназии он писал стихи, подражая Лермонтову, Пушкину. Его не привлекало то, что обычно читают в этом возрасте, а читал, как он говорил, «что попало».

Гимназию он не окончил, учился потом самостоятельно под руководством старшего брата Юлия Алексеевича, кандидата университета.

С осени 1889 года началась его работа в редакции газеты «Орловский вестник», нередко он был фактическим редактором; печатал в ней свои рассказы, стихи, литературно-критические статьи и заметки в постоянном разделе «Литература и печать». Жил он литературным трудом и сильно нуждался. Отец разорился, в 1890 году продал имение в Озерках без усадьбы, а лишившись и усадьбы, в 1893 году переехал в Каменку к сестре, мать и Маша — в Васильевское к двоюродной сестре Бунина Софье Николаевне Пушешниковой. Ждать молодому поэту помощи было неоткуда.

В редакции Бунин познакомился с Варварой Владимировной Пащенко, дочерью елецкого врача, работавшей корректором. Его страстная любовь к ней временами омрачалась ссорами. В 1891 году она вышла за Бунина замуж, но брак их не был узаконен, жили они не венчаясь, отец и мать не хотели выдавать дочь за нищего поэта. Юношеский роман Бунина составил сюжетную основу пятой книги «Жизни Арсеньева», выходившей отдельно под названием «Лика».

Многие представляют себе Бунина сухим и холодным. В. Н. Муромцева-Бунина говорит: «Правда, иногда он хотел таким казаться, — он ведь был первоклассным актером», но «кто его не знал до конца, тот и представить не может, на какую нежность была способна его душа». Он был из тех, кто не пред каждым раскрывался. Он отличался большой страстностью своей натуры. Вряд ли можно назвать другого русского писателя, который бы с таким самозабвением, так порывисто выражал свое чувство любви, как он в письмах к Варваре Пащенко, соединяя в своих мечтах ее образ со всем прекрасным, что он обретал в природе, в поэзии и музыке. Этой стороной своей личности — сдержанностью в страсти и поисками идеала в любви — он напоминает Гёте, у которого, по его собственному признанию, в «Вертере» многое автобиографично.

В конце августа 1892 года Бунин и Пащенко переехали в Полтаву, где Юлий Алексеевич работал в губернской земской управе статистиком. Он взял к себе в управу и Пащенко, и младшего брата. В полтавском земстве группировалась интеллигенция, причастная к народническому движению 70—80-х годов. Братья

Бунины входили в редакцию «Полтавских губернских ведомостей», находившихся с 1894 года под влиянием прогрессивной интеллигенции. Бунин помещал в этой газете свои произведения. По заказу земства он также писал очерки «о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлеба и трав». Как он полагал, их было напечатано столько, что они могли бы составить три-четыре тома. Сотрудничал он и в газете «Киевлянин».

Теперь стихи и проза Бунина стали чаще появляться в «толстых» журналах — «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское богатство» — и привлекали внимание корифеев литературной критики. Н. К. Михайловский хорошо отозвался о рассказе «Деревенский эскиз» (позднее озаглавлен «Танька») и писал об авторе, что из него выйдет «большой писатель». В эту пору лирика Бунина приобрела более объективный характер; автобиографические мотивы, свойственные первому сборнику стихов (вышел в Орле приложением к газете «Орловский вестник» в 1891 году), по определению самого автора, не в меру интимных, постепенно исчезали из его творчества, которое получало теперь более завершенные формы.

В 1893—1894 году Бунин, по его выражению, «от влюбленности в Толстого как художника», был толстовцем и «прилаживался к бондарному ремеслу». Он посещал колонии толстовцев под Полтавой и ездил в Сумской уезд к сектантам с. Павло́вки — «малёванцам», по своим взглядам близким толстовцам. В самом конце 1893 года он побывал у толстовцев хутора Хилко́во, принадлежавшего кн. Д. А. Хилко́ву. Оттуда отправился в Москву к Толстому и посетил его в один из дней между 4 и 8 января 1894 года. Встреча произвела на Бунина, как он писал, «потрясающее впечатление». Толстой и отговорил его от того, чтобы «опрощаться до конца».

Весной и летом 1894 года Бунин путешествовал по Украине. «Я в те годы, — вспоминал он, — был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его».

1895 год — переломный в жизни Бунина: после «бегства» Пащенко, оставившей Бунина и вышедшей за его друга Арсения Бибикова, в январе он оставил службу в Полтаве и уехал в Петербург, а затем в Москву. Теперь он входил в литературную среду. Большой успех на литературном вечере, состоявшемся 21 ноября в зале Кредитного общества в Петербурге, ободрил его. Там он выступил с чтением рассказа «На край света».

Впечатления его от все новых и новых встреч с писателями были разнообразны и резки: Д. В. Григорович и А. М. Жемчужников, один из создателей «Козьмы Пруткова», продолжавшие классический девятнадцатый век; народники Н. К. Михайловский и Н. Н. Златовратский; символисты и декаденты К. Д. Бальмонт и Ф. К. Сологуб. В декабре в Москве Бунин познакомился с вождем символистов В. Я. Брюсовым, 12 декабря в «Большой Московской» гостинице — с Чеховым. Очень интересовался талантом Бунина В. Г. Короленко — с ним Бунин познакомился 7 декабря 1896 года в Петербурге на юбилее К. М. Станюковича; летом 1897-го — с Куприным в Люстдорфе, под Одессой.

В июне 1898 года Бунин уехал в Одессу. Здесь он сблизился с членами «Товарищества южно-русских художников», собиравшихся на «Четверги», подружился с художниками Е. И. Буковецким, В. П. Куровским (о нем у Бунина стихи «Памяти друга») и П. А. Нилусом (от него Бунин кое-что взял для рассказов «Галя Ганская» и «Сны Чанга»).

В Одессе Бунин женился на Анне Николаевне Цакни (1879—1963) 23 сентября 1898 года. Семейная жизнь не ладилась, Бунин и Анна Николаевна в начале марта 1900 года разошлись. Их сын Коля умер 16 января 1905 года.

В начале апреля 1899 года Бунин побывал в Ялте, встретился с Чеховым, познакомился с Горьким. В свои приезды в Москву Бунин бывал на «Средах» Н. Д. Телешова, объединявших видных писателей-реалистов, охотно читал свои еще не опубликованные произведения; атмосфера в этом кружке царила дружественная, на откровенную, порой уничтожающую критику никто не обижался.

12 апреля 1900 года Бунин снова приехал в Ялту, где Художественный театр ставил для Чехова его «Чайку», «Дядю Ваню» и другие спектакли. Бунин познакомился со Станиславским, Книппер, С. В. Рахманиновым, с которым у него навсегда установилась дружба.

1900-е годы были новым рубежом в жизни Бунина. Неоднократные путешествия по странам Европы и на Восток широко раздвинули мир перед его взором, столь жадным до новых впечатлений. А в литературе начинавшегося десятилетия с выходом новых книг он завоевал признание как один из лучших писателей своего времени. Выступал он главным образом со стихами.

11 сентября 1900-го отправился вместе с Куровским в Берлин, Париж, в Швейцарию. В Альпах они поднимались на большую высоту. По возвращении из заграницы Бунин оказался в Ялте, жил в доме Чехова, провел с Чеховым, прибывшим из Италии несколько позднее, «неделю изумительно». В семье Чехова Бунин стал, по его выражению, «своим человеком»; с его сестрой Марией Павловной он был в «отношениях почти братских». Чехов был с ним неизменно «нежен, приветлив, заботился как старший». С Чеховым Бунин встречался, начиная с 1899 года, каждый год, в Ялте и в Москве, в течение четырех лет их дружеского общения, вплоть до отъезда Антона Павловича за границу в 1904 году, где он скончался. Чехов предсказал, что из Бунина выйдет «большой писатель»; он писал о рассказе «Сосны» как об «очень новом, очень свежем и очень хорошем». «Великолепны», по его мнению, «Сны» и «Золотое дно» — «есть места просто на удивление».

В начале 1901 года вышел сборник стихов «Листопад», вызвавший многочисленные отзывы критики. Куприн писал о «редкой художественной тонкости» в передаче настроения. Блок за «Листопад» и другие стихи признавал за Буниным право на «одно из главных мест» среди современной русской поэзии. «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло были отмечены Пушкинской премией Российской Академией наук, присужденной Бунину 19 октября 1903 г. С 1902 года начало выходить отдельными ненумерованными томами собрание сочинений Бунина в издательстве Горького «Знание». И опять путешествия — в Константинополь, во Францию и Италию, по Кавказу, и так всю жизнь его влекли различные города и страны.

4 ноября 1906 года Бунин познакомился в Москве, в доме Б. К. Зайцева, с Верой Николаевной Муромцевой, дочерью члена Московской городской управы и племянницей председателя Первой Государственной думы С. А. Муромцева. Десятого апреля 1907 года Бунин и Вера Николаевна отправились из Москвы в страны Востока — Египет, Сирию, Палестину. Двадцатого мая, совершив свое «первое дальнее странствие», в Одессе сошли на берег. С этого путешествия началась их совместная жизнь. Об этом странствии — цикл рассказов «Тень Птицы» (1907—1911). Они сочетают в себе дневниковые записи — описания горо-

дов, древних развалин, памятников искусства, пирамид, гробниц — и легенды древних народов, экскурсы в историю их культуры и гибели царств. Об изображении Востока у Бунина Ю. И. Айхенвальд писал: «Его пленяет Восток, «светоносные страны», про которые он с необычайной красотою лирического слова вспоминает теперь... Для Востока, библейского и современного, умеет Бунин находить соответственный стиль, торжественный и порою как бы залитый знойными волнами солнца, украшенный драгоценными инкрустациями и арабесками образности; и когда речь идет при этом о седой старине, теряющейся в далях религии и мифологии, то испытываешь такое впечатление, словно движется перед нами какая-то величавая колесница человечества».

Проза и стихи Бунина обретали теперь новые краски. Прекрасный колорист, он, по словам П. А. Нилуса, «принципы живописи» решительно прививал литературе. Предшествовавшая проза, как отмечал сам Бунин, была такова, что «заставила некоторых критиков трактовать» его, например, «как меланхолического лирика или певца дворянских усадеб, певца идиллий», а обнаружилась его литературная деятельность «более ярко и разнообразно лишь с 1908, 1909 годов». Эти новые черты придавали прозе Бунина рассказы «Тень Птицы». Академия наук присудила Бунину в 1909 году вторую Пушкинскую премию за стихи и переводы из Байрона; третью — тоже за стихи (см.: «Живые слова», вып. 1. М., 1910). В этом же году Бунин был избран почетным академиком.

Повесть «Деревня», напечатанная в 1910 году, вызвала большие споры и явилась началом огромной популярности Бунина. За «Деревней», первой крупной вещью, последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы», и его «беспощадные» произведения вызвали «страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы». Горький писал Бунину, что «так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал». Бунин широко захватил жизнь русского народа, касается проблем исторических, национальных и того, что было злобой дня, — войны и революции, — изображает, по его мнению, «во след Радищеву» современную ему деревню без всяческих прикрас. После бунинской повести, с ее «беспощадной правдой» (П. Д. Боборыкин), основанной на глубоком знании «мужицкого царства», изображать крестьян в тоне народнической идеализации стало невозможным. Взгляд на русскую деревню выработался у Бунина отчасти под влиянием путешествий, как писал Нилус, «после резкой заграничной оплеухи». Деревня изображена не неподвижной, в нее проникают новые веяния, появляются новые люди (Кузьма Красов), и сам Тихон Ильич задумывается над своим существованием лавочника и кабатчика. Повесть «Деревня» (которую Бунин называл также романом), как и его творчество в целом, утверждала реалистические традиции русской классической литературы в век, когда они подвергались нападкам и отрицались модернистами и декадентами. В ней захватывает богатство наблюдений и красок, сила и красота языка, гармоничность рисунка, искренность тона и правдивость. Но «Деревня» не традиционна. В ней появились люди в большинстве новые в русской литературе: братья Красовы, жена Тихона, Родька, Молодая, Николка Серый и его сын Дениска, девки и бабы на свадьбе у Молодой и Дениски. Это отметил сам Бунин.

В середине декабря 1910 года Бунин и Вера Николаевна отправились в Египет и далее в тропики — на Цейлон, где пробыли с полмесяца. Возвратились

в Одессу в середине апреля 1911 года. Дневник их плаванья — «Воды многие». Об этом путешествии — также рассказы «Братья», «Город Царя Царей». То, что чувствовал англичанин в «Братьях», — автобиографично. По признанию Бунина, путешествия в его жизни играли «огромную роль»; относительно странствий у него даже сложилась, как он сказал, «некоторая философия». Дневник 1911 года «Воды многие», опубликованный почти без изменений в 1925—1926 годы, — высокий образец новой и для Бунина, и для русской литературы лирической прозы. Он писал, что «это нечто вроде Мопассана». Близки этой прозе непосредственно предшествующие дневнику рассказы «Тень Птицы» — поэмы в прозе, как определил их жанр сам Бунин. От них и дневника — переход к «Суходолу», в котором синтезировался опыт автора «Деревни» в создании бытовой повести и прозы лирической. «Суходол» и рассказы, вскоре затем написанные, обозначили новый творческий взлет Бунина после «Деревни» — в смысле большей психологической глубины и сложности образов, а также новизны жанра. В «Суходоле» на переднем плане не историческая Россия с ее жизненным укладом, как в «Деревне», но «душа русского человека в глубоком смысле слова, изображение черт психики славянина», — говорил Бунин.

Бунин шел своим собственным путем, не примыкал ни к каким модным литературным течениям или группировкам, по его выражению, «не выкидывал никаких знамен» и не провозглашал никаких лозунгов. Критика отмечала мощный язык Бунина, его искусство поднимать в мир поэзии «будничные явления жизни». «Низких» тем, недостойных внимания поэта, для него не было (стихотворения «Стамбул», «Сапсан» и т. д.). В его стихах — огромная сила изобразительности и редкое чувство истории. Рецензент журнала «Вестник Европы» (1908, № 6) писал: «Его поэтический слог беспримерен в нашей поэзии... Прозаизм, точность, простота языка доведены до предела. Едва ли найдется еще поэт, у которого слог был бы так неукрашен, будничен, как здесь; на протяжении десятков страниц вы не встретите ни единого эпитета, ни одного сравнения, ни одной метафоры... такое опрощение поэтического языка без ущерба для поэзии — под силу только истинному таланту... В отношении живописной точности г. Бунин не имеет соперников среди русских поэтов».

Книга «Чаша жизни» (1915) затрагивает глубокие проблемы человеческого бытия. Французский писатель, поэт и литературный критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году об изданной по-французски «Чаше жизни»: «Как все сложно психологически! А вместе с тем, — в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода внушение, внушение того тайного, что окружает действие, мы знаем и у Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности, неуравновешенности действующих лиц, из-за его нервной страстности, которая витает, как некая возбуждающая аура, вокруг некоторых случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее привычную нам ясную норму».

Свой этический идеал Бунин выработал под влиянием Сократа, воззрения которого изложены в сочинениях его учеников Ксенофонта и Платона. Он не однажды читал полуфилософское, полупоэтическое произведение «божественного Платона» (Пушкин) в форме диалога — «Федон». Прочитав диалоги, он

писал в дневнике 21 августа 1917 года: «Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!» «Последние минуты Сократа, — отмечает он в дневнике на следующий день, — как всегда, очень волновали меня».

Бунина увлекало его учение о ценности человеческой личности. И он видел в каждом из людей в некоторой мере «сосредоточенность... высоких сил», к познанию которых, писал Бунин в рассказе «Возвращаясь в Рим», призывал Сократ. В своей увлеченности Сократом он следовал за Толстым, который, как сказал Вяч. Иванов, пошел «по путям Сократа на поиски за нормою добра». Толстой был близок Бунину и тем, что для него добро и красота, этика и эстетика нерасторжимы. «Красота как венец добра», — писал Толстой. Бунин утверждал в своем творчестве вечные ценности — добро и красоту. Это давало ему ощущение связи, слитности с прошлым, исторической преемственности бытия. «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Петлистые уши», основанные на реальных фактах современной жизни, не только обличительны, но глубоко философичны. «Братья» — особенно наглядный пример. Это рассказ на вечные темы любви, жизни и смерти, а не только о зависимом существовании колониальных народов. Воплощение замысла этого рассказа равно основано на впечатлениях от путешествия на Цейлон и на мифе о Маре — сказании о боге жизни-смерти. Мара — злой демон буддистов — в то же время — олицетворение бытия. Многое Бунин брал для прозы и стихов из русского и мирового фольклора, его внимание привлекали буддийские и мусульманские легенды, сирийские предания, халдейские, египетские мифы и мифы огнепоклонников Древнего Востока, легенды арабов.

Чувство родины, языка, истории у него было огромно. Бунин говорил: все эти возвышенные слова, дивной красоты песни, «соборы — все это нужно, все это создавалось веками...». Одним из источников его творчества была народная речь. Поэт и литературный критик Г. В. Адамович, хорошо знавший Бунина, близко с ним общавшийся во Франции, писал автору этой статьи 19 декабря 1969 года: Бунин, конечно, «знал, любил, ценил народное творчество, но был исключительно чуток к подделкам под него и к показному style russe. Жестокая — и правильная — его рецензия на стихи Городецкого (напечатана в «Литературном наследстве», т. 84, кн. 1. М., 1973. — *А. Б.*) — пример этого. Даже «Куликово поле» Блока (цикл из пяти стихотворений «На поле Куликовом», 1908. — *А. Б.*) — вещь, по-моему, замечательная — его раздражало именно из-за слишком «русского» наряда... Он сказал — «это Васнецов», то есть маскарад и опера. Но к тому, что не «маскарад», он относился иначе: помню, например, что-то о «Слове о полку Игореве». Смысл его слов был приблизительно тот же, что в словах Пушкина: всем поэтам, собравшимся вместе, не сочинить такого чуда! Но переводы «Слова о полку Игореве» его возмущали, в частности перевод Бальмонта. Из-за подделки под преувеличенно русский стиль или размер он презирал Шмелева, хотя признавал его дарование. У Бунина вообще был редкостный слух к фальши, к «педали»: чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость. Из-за этого он так любил Толстого и когда-то, помню, сказал: «Толстой, у которого нигде нет ни одного фальшивого слова...»

В мае 1917 года Бунин приехал в деревню Глотово, в именье Васильевское, Орловской губернии, жил здесь все лето и осень. 23 октября уехали с женой в Москву, 26 октября прибыли в Москву, жили на Поварской (ныне — ул. Воровского), в доме Баскакова № 26, кв. 2, у родителей Веры Николаевны, Муромце-

вых. Время было тревожное, шли сражения, «мимо их окон, — писал Грузинский А. Е. 7 ноября А. Б. Дерману, — вдоль Поварской гремело орудие». В Москве Бунин прожил зиму 1917—1918 годов. В вестибюле дома, где была квартира Муромцевых, установили дежурство; двери были заперты, ворота заложены бревнами. Дежурил и Бунин. 31 октября он записал в дневнике: «За день было очень много орудийных ударов (вернее, все время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов... От трех до четырех был на дежурстве. Ударила бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас... Хочется есть — кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий... Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда... Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать».

«4 ноября. Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни... Пришли Юлий, Коля (Н. А. Пушешников. — *А. Б.*). Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие».

Отсиживанье в квартире-крепости кончилось, Бунин «ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т. д.».

Об этих беспокойных и нелегких днях Бунин писал в стихах:

Москва 1919 года

Темень, холод, предрассветный
Ранний час.
Храм невзрачный, неприметный,
В узких окнах точки желтых глаз.

Опустела, оскудела паперть,
В храме тоже пустота,
Черная престол покрыла скатерть,
За завесой царские врата.

В храме стены потом плачут,
Тусклы ризы алтарей.
Нищие в лохмотьях руки прячут,
Робко жмутся у дверей.

Темень, холод, буйных галок
Ранний крик.
Снежный город древен, мрачен, жалок,
Нищ и дик.

12.IX.19 *

Запись в дневнике: «21 ноября 12 часов ночи. Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и проч. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования».

Бунин включился в литературную жизнь, которая, несмотря ни на что, при

---

*Это стихотворение печаталось в 8 томе собр. соч. Бунина (Берлин, 1935) под заглавием «Москва». Позднее он приписал в заглавии: «1919 года». У нас публикуется впервые. Ранняя редакция дана в «Литературном наследстве». Т. 84. Кн. 1.

всей стремительности событий общественных, политических и военных, при разрухе и голоде, все же не прекращалась. Он бывал в «Книгоиздательстве писателей», участвовал в его работе, в литературном кружке «Среда» и в Художественном кружке.

При встречах с писателями — И. Шмелевым, В. С. Миролюбовым, А. Белым — велись возбужденные споры о русском народе и современной литературе.

4 мая (21 апреля) 1918-го Бунин записал в дневнике: «Великая суббота... Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке — «Никола на курьей ношке» *. Красота этого еще уцелевшего островка... красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!»

21 мая 1918 года Бунин и Вера Николаевна уехали из Москвы — через Оршу и Минск в Киев, потом — в Одессу; 26 января ст. ст. 1920 года отплыли на Константинополь, потом через Софию и Белград прибыли в Париж 28 марта 1920 года. Начались долгие годы эмиграции — в Париже и на юге Франции, в Грассе, вблизи Канн.

Бунин говорил Вере Николаевне, что «он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга; что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее».

Бунин как художник все время рос. «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина» (1925), а затем «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933) и многие другие произведения знаменовали новые достижения в русской прозе. Бунин сам говорил о «пронзительной лиричности» «Митиной любви». Это больше всего захватывает в его повестях и рассказах последних трех десятилетий. В них также — можно сказать словами их автора — некая «модерность», стихотворность. В прозе этих лет волнующе передано чувственное восприятие жизни. Современники (Г. В. Адамович, В. Ф. Ходасевич) отмечали большой философский смысл таких произведений, как «Митина любовь» или «Жизнь Арсеньева». В них Бунин прорвался «к глубокому метафизическому ощущению трагической природы человека». К. Г. Паустовский писал, что «Жизнь Арсеньева» — «одно из замечательнейших явлений мировой литературы».

Исторический романист и критик М. А. Алданов писал: «Немного можно было бы указать в новейшей русской литературе примеров столь заслуженного успеха... Думаю, что «Жизнь Арсеньева» занимает первое место среди его книг. Этим сказано, какое высокое место она занимает в русской литературе». Это, по его словам, «одна из самых *светлых* книг русской литературы». Такого писателя, пишет Алданов, как Бунин, у нас «не было со времени кончины Толстого, который «вне конкурса».

По словам критика П. М. Пильского, «Жизнь Арсеньева» «драгоценна именно этими, никем не виденными, мелочами, настроениями, их переходами, тайными волнениями, всем скрытым от людей и самого человека миром, тревожными, неясными путями юности с ее бездомностью, безместностью, призрачными утешениями, обманчивыми ссылками на Писание: «Иди, юноша, в молодости, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои». Пильский также писал:

---

* «Ношка» — старинное «межа».

«Бунин — прежде всего писатель русский. Но в то же время — мировой. Его темы, раздумья, тревоги остановились и склонились над вопросами вечности и мира... Задумчивый мир отдает ему свои царственные тайны, не скупясь, — доверчиво и полно: так доверяется мудрость природы мудрости и проницательности человека. Нет такой бунинской вещи, где бы мы не чувствовали его тесной, прочной и глубокой связи с истоками мира, с корнями нашего бытия, — величавость надземных тайн у этого писателя сливается с открытым видимым земным миром, нашептывают, звучат и поют голоса древности. Живые, нетленные предания отцов и дедов, как едва ощутимое и в то же время исключительно властное заповедничество предков, встают во всей своей властной, непобедимой силе».

По словам Г. В. Адамовича, у Бунина в «Жизни Арсеньева» — «не описание, а воспроизведение, восстановление. Бунин как будто называет каждое явление окончательным, впервые окончательно найденным, незаменимым именем, и не блеск у него поражает, а соответствие каждого слова предмету и в особенности внутренняя правдивость каждого слова. Кто у нас так писал? Толстой сам признавал, что ни он, ни Тургенев. Конечно, утверждений категорических в этой области быть не может. Каждый пишет по-своему, и некоторые толстовские страницы тоже ни с какими другими нельзя сравнивать. Но они — в ином духе и роде, к ним не применимо чисто стилистическое мерило... Рядом с бунинскими картинами естественно было бы вспомнить, пожалуй, только Лермонтова, ту его «Тамань», о которой Бунин никогда не мог говорить без восхищения и волнения».

В 1927—1930 годах Бунин написал краткие рассказы («Слон», «Телячья головка», «Роман горбуна», «Небо над стеной», «Свидание», «Петухи», «Муравский шлях» и многие другие) — в страницу, полстраницы, а иногда в несколько строк, они вошли в книгу «Божье древо» (Париж, 1931). То, что Бунин писал в этом жанре, было результатом смелых поисков новых форм предельно лаконичного письма, начало которым положил не Тургенев, как утверждали некоторые его современники, а Толстой и Чехов. Профессор Софийского университета П. Бицилли писал: «Мне кажется, что сборник «Божье древо» — самое совершенное из всех творений Бунина и самое показательное. Ни в каком другом нет такого красноречивого лаконизма, такой четкости и тонкости письма, такой творческой свободы, такого поистине царственного господства над материей. Никакое другое не содержит поэтому столько данных для изучения его метода, для понимания того, что лежит в его основе и чем он, в сущности, исчерпывается. Это — то самое, казалось бы, простое, но и самое редкое и ценное качество, которое роднит Бунина с наиболее *правдивыми* русскими писателями, с Пушкиным, Толстым, Чеховым: *честность,* ненависть ко всякой фальши...»

В 1933 году Бунину была присуждена Нобелевская премия, как он считал, прежде всего за «Жизнь Арсеньева». Андрей Седых вспоминал о Нобелевских днях (цитирую по кн.: Седых Андрей. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962):

«Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дому в отель «Мажестик», где остановился Бунин, рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресла в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал:

— Милый, простите, Бога ради...

— За что, Иван Алексеевич?

— За то, что я существую.

С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира...

Через несколько дней в «Нувель Литерэр» появилась довольно ехидная заметка: Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем Д. С. Мережковским.

Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара:

— С какой стати? Ни за что!

Все же я спросил, откуда пошел слух о разделе? И Бунин рассказал, что к нему явился как-то Мережковский и сделал странное предложение: составить у нотариуса договор на случай получения одним из них Нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200 000 франков.

— Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского!»

«Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов, поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г. Н. Кузнецова и я, в качестве личного секретаря и корреспондента нескольких газет».

«Должен сказать, что успех Бунина в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать, и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин.

Но это имело и оборотную сторону медали. Программа чествованья писателя разрослась необычайно. Приемы следовали один за другим, и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой. Особенно запомнился вечер св. Люции. Когда Бунин вошел в зал под звуки туша, тысячи людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по проходу, — овация ширилась, росла. Он остановился и начал кланяться ставшими знаменитыми в Стокгольме «бунинскими» поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к нему уже шла святая Люция, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл Санта Лючию... Но вот как-то совсем незаметно наступил и день торжества вручения Нобелевской премии, происходящего каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В концертный зал надо было приехать не позже четырех часов пятидесяти минут дня, — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен, — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах... За несколько минут до начала церемонии, на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской Академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хоров грянули фанфары... Помню поклон Бунина, пре-

исполненный великолепия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью... Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне медаль, которую я тотчас же уронил и которая покатилась через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стул и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

— А что вы сделали с чеком, дорогой мой?

— С каким чеком? — невинно спросил я.

— Да с этой самой премией? Чек, что лежал в папке.

Тут только понял я, в чем дело... Но папка по-прежнему лежала на стуле, где я ее легкомысленно оставил, никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте... Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал:

— И послал же мне Господь секретаря!»

В 1936 году Бунин отправился в путешествие в Германию и другие страны, а также для свидания с издателями и переводчиками. В германском городе Линдау впервые он столкнулся с фашистскими порядками; его арестовали, подвергли бесцеремонному и унизительному обыску. Он писал:

«Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, *ровно три часа* осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле, — все вызывало крик: «Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?»

А вот как откликнулся на это изуверство Л. В. Никулин в «Литературной газете» (1936. № 73. 31 декабря; заметка: «Случай в Линдау»). Изложив содержание письма Бунина в парижскую газету «Последние новости», Никулин пишет: «Надо добавить, что Бунин — старик, приближающийся к 70-летнему возрасту, человек, вероятно, не раз подчеркивавший свое сочувствие «молодым людям преступного типа», наводящим порядок в Германии»; «Наконец, случай с эмигрантским классиком свидетельствует еще о том, что страх перед коммунизмом в Германии принимает формы острого помешательства и, одновременно, крайнего идиотизма. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что свой не узнал своего на германской границе».

Во времена Н. С. Хрущева, когда стали издавать Бунина — после 35-летнего замалчиванья, — Никулин «перестроился»: писал статьи о нем, издал книгу о Бунине и Куприне и ездил в Париж для встреч с Верой Николаевной в роли поклонника таланта Бунина и радетеля о его архиве и издании его книг.

А вот еще ученик Бунина — В. П. Катаев; осенив себя пушкинской строкой — «трава забвенья» — предался воспоминаниям об учителе, разглядевшем в его пробе пера писательский дар.

Обратимся к свидетельству одного из близких Бунину людей, Андрея Седых, знавшего его в течение десятилетий.

«Воспоминания Катаева, конечно, интересны, — писал он автору этой статьи 5 июня 1967 года. — Не знаю, как близко к действительности все то, что он пишет о Маяковском, в части, касающейся Бунина, много «восстановлено по памяти», то есть попросту придумано. И есть много фактических неточностей. Главную вы в вашем письме отметили — описание смерти Ивана Алексеевича. У вас есть фотокопия письма Веры Николаевны, которое было написано мне через день или два после смерти. Я думаю, на будущее время, для будущих биографов Бунина это письмо будет единственным точным и достоверным документом (опубликовано в первом издании моей книги «Бунин. Материалы для биографии». М., 1967. — *А. Б.*). В рассказе Катаева нет ни слова о том, что в последний свой вечер Бунин читал письма Чехова. Неправда, будто она «до утра никому не стала звонить», — приехал вызванный ею доктор Зёрнов, были Нилусы, был Зуров... И что это за дешевка, недостойная такого писателя, как Катаев: «При свете мутных ночных огней Пасси мне даже показалось, что остатки его серо-белых волос поднялись над худой плешивой головой». Откуда взялись «огни Пасси» в спальне Бунина, — окно завешивали с вечера, да и на всей улочке Оффенбаха было два-три фонаря... Это мелочь, конечно, как и многое другое. Портфель, в котором был нобелевский диплом и чек, Иван Алексеевич передал тут же, на эстраде, мне; портфель этот, если не ошибаюсь, был тонкой зеленой кожи, — никакой росписи в «стиле рюс» не было. Разные русские организации подносили Ивану Алексеевичу адреса — возможно, некоторые из них были в расписных папках, и одну такую папку Катаев мог видеть, но это была не стокгольмская. И никогда в Париже Вера Николаевна не называла Бунина «Иоанном», а «Яном»...

Но то, что привело бы Ивана Алексеевича в бешенство и что заставило бы его навеки отказаться от знакомства с бывшим учеником, заключается в одной фразе, звучащей как социальный заказ: «Бунин променял две самые драгоценные вещи — родину и революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости» (стр. 119) (цитата из «Травы забвенья», опубликованной в журнале «Новый мир». — *А. Б.*). Александр Кузьмич, с каких пор для писателя свобода и независимость являются «чечевичной похлебкой»?»

В столетие гибели Пушкина Бунин участвовал в вечерах и собраниях его памяти. Он писал:

«*Пушкинские торжества!*

Страшные дни, страшная годовщина — одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его. И сама она, — где она теперь, эта Россия?

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия».
— О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и царь расторгли ныне!»

11 февраля в Париже, в зале Иена, Бунин выступал с речью о Пушкине, 18 февраля — в русском ресторане Корнилова; говорил о «Пушкинском служении здесь, вне Русской земли».

В конце апреля 1937 года Бунин участвовал в вечере памяти Евгения Замятина, скончавшегося в Париже 10 марта, и прочитал, «со свойственным ему искусством», «Дракона» Е. И. Замятина, сообщали газеты.

В октябре 1939 года Бунин поселился в Грассе на вилле «Жаннет», прожил здесь всю войну. Здесь он написал книгу «Темные аллеи» — рассказы о любви, как он сам сказал, «о ее «темных» и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях». Эта книга, по словам Бунина, «говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, — думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни».

У Буниных на «Бельведере» с 1927 года жила поэтесса Галина Николаевна Кузнецова (1900—1976). Иногда она уезжала от них на два-три месяца и окончательно оставила этот гостеприимный дом в апреле 1942 года. Она переселилась в Канны, потом в Америку, где работала корректором в издательском отделе советского представительства в ООН; последние годы прожила в Мюнхене. Она писала прозу, стихи, ее «Грасский дневник» — талантливая и очень ценная книга для изучения биографии и творчества Бунина.

Об отношении Бунина к женщинам Андрей Седых пишет:

«У него были романы, хотя свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью. Я глубоко убежден, что ни на кого Веру Николаевну он не променял бы. И при всем этом он любил видеть около себя молодых, талантливых женщин, ухаживал за ними, флиртовал, и эта потребность с годами только усиливалась. Автор «Темных аллей» хотел доказать самому себе, что он еще может нравиться и завоевывать женские сердца. По-настоящему был у Ивана Алексеевича на склоне лет только один серьезный и мучительный роман с ныне покойной талантливой писательницей Галиной Николаевной Кузнецовой. Знал я об этом романе от Ивана Алексеевича, от самой Гали, с которой дружил с 1933 года, со времени бунинской поездки в Стокгольм, куда мы его сопровождали. Значительно меньше говорила об этом Вера Николаевна. Мне казалось, что она в конце концов примирилась, — считала, что писатель Бунин — человек особенный, что его эмоциональные потребности выходят за пределы нормальной семейной жизни, и в своей бесконечной любви и преданности к «Яну» она пошла и на эту, самую большую свою жертву. В конце концов Вера Николаевна и Галя даже подружились... Но роман этот закончился грустно: Галина Николаевна уехала из Грасса, — связь с Буниным ее тяготила, он подавлял ее своей властной и требовательной натурой».

О своем знакомстве с Буниным Кузнецова рассказала в статье «Памяти Бунина» (см. сб. «Вопросы литературы и фольклора». Воронеж. 1972).

При немцах Бунин ничего не печатал, хотя жил в большом безденежье и голоде. К завоевателям относился с ненавистью, радовался победам советских и союзных войск. В 1945 году он навсегда распрощался с Грассом и первого мая возвратился в Париж. Последние годы он много болел. Все же написал книгу воспоминаний и работал над книгой «О Чехове», которую он закончить не успел (издана в Нью-Йорке в 1955 году). Всего в эмиграции Бунин написал десять новых книг.

В письмах и дневниках Бунин говорит о своем желании возвратиться в Москву. Но в старости и в болезнях решиться на такой шаг было не просто. Главное же — не было уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь и на издание книг. Бунин колебался. «Дело» о Ахматовой и Зощенко, шум в прессе вокруг этих имен окончательно определили его решение. Он писал М. А. Алданову 15 сентября 1947 года:

«Нынче письмо от Телешова — писал вечером 7 сентября... «Как жаль, что

ты не использовал тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат и в таком большом почете!» Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы.

А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева...»

Бунина читают сейчас на всех европейских языках и на некоторых восточных (в Индии, Японии и т. д.). У нас он издается миллионными тиражами. В его 80-летие, в 1950 году, Франсуа Мориак писал ему о своем восхищении его творчеством, о симпатии, которую внушала ему его личность и столь жестокая судьба его. Андре Жид в письме, напечатанном в газете «Фигаро» (1950, 23 октября), говорит, что на пороге 80-летия он обращается к Бунину и приветствует «от имени Франции», называет его великим художником и пишет: «Я не знаю писателей... у которых ощущения были бы более точны и незаменимы, слова более естественны и в то же время неожиданны». Восхищались творчеством Бунина Р. Роллан, называвший его «гениальным художником», Анри де Ренье, Т. Манн, Р.-М. Рильке, Джером Джером, Ярослав Ивашкевич. Отзывы немецкой, французской, английской и т. д. прессы с начала 1920-х годов и в дальнейшем были в большинстве восторженные, утвердившие за ним мировое признание. Еще в 1922 году английский журнал «The Nation and Athenaeum» писал о книгах «Господин из Сан-Франциско» и «Деревня» как о чрезвычайно значительных; в этой рецензии все пересыпано большими похвалами: «Новая планета на нашем небе!!..», *«Апокалипсическая сила...»* В конце: «Бунин завоевал себе место во всемирной литературе» (привожу эти фразы в переводе Бунина). Прозу Бунина приравнивали к произведениям Толстого и Достоевского, говоря при этом, что он «обновил» русское искусство «и по форме и по содержанию» (Р. Роллан). В реализм прошлого века он привнес новые черты и новые краски, что сближало его с импрессионистами (с М. Прустом). Очень показательно в этом отношении письмо Бунина, неизвестное нашим читателям, в котором он дает оценку своего творчества. В 1950 году он писал Л. Ржевскому:

«Естественно, — пишете вы, — что реалист Бунин не приемлет символизма Блока»! Называть меня реалистом значит... не знать меня как художника. «Реалист» Бунин очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».

Нередко пишут, что Бунин «умер советским гражданином» — получил советский паспорт, когда выдавали паспорта в послевоенное время возвращенцам. Я спросил о паспорте Веру Николаевну, она сообщила, что Иван Алексеевич паспорта не получал, она писала об этом в одной из своих газетных статей.

Бунин сказал в письме к Л. Ржевскому:

«Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет тому назад начали Карамзин и... Жуковский...»

Он восславил отечественную литературу так, как только могут это сделать гениальные писатели. Лучше кого бы то ни было из современников он понимал, что «Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное».

Похоронен Бунин на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, в склепе, в цинковом гробу.

Он скончался на руках той, кому суждено было стать его спутницей в тече-

ние сорока шести лет и без кого, по его собственному признанию, он «ничего не написал бы. Пропал бы!»

Веру Николаевну Муромцеву-Бунину (1881—1961) отличало большое благородство. О ней как о человеке «хорошем, сердечном» писал С. В. Рахманинов.

Она была человеком литературно одаренным и широко образованным, знала немецкий, французский, английский и итальянский языки. Она перевела Флобера «Сентиментальное воспитание» (СПб, «Шиповник», 1911 и 1915 гг.; «Красная газета», Л., 1929). Для издательства «Польза» перевела драму Флобера «Искушение святого Антония» (рукопись, с правкой И. А. Бунина, хранится в Музее Тургенева в Орле). В 1918 году вышли вторым изданием «Избранные рассказы» Мопассана в переводе В. Н. Буниной («Книгоиздательство писателей в Москве»). Она перевела совместно с Н. А. Пушешниковым «Грациэллу» Ламартина (рукопись в Музее Тургенева в Орле). В газете «Южное слово» (Одесса, 1919, 1 (14) ноября) она опубликовала свои переводы из Андре Шенье. Переводила также поэму английского поэта Теннисона «Энох Арден» (см. «Литературное наследство», том 84. М., 1973. Кн. 2. С. 202).

Вера Николаевна написала также статьи: «Памяти С. Н. Иванова», «Найденов», «Л. Н. Андреев», «Piccolo Marina», «Овсянико-Куликовский», «Юшкевич», «Кондаков», «Московские «Среды», «Эртель», «У старого Пимена. (Иловайский)», «С. А. Муромцев», «Заморский гость. (Верхарн)», «Завещание», «Умное сердце. (О. А. Шмелева)», «Квисисана», «Москвичи», «Коллективные курсы», «Вечера на Княжеской. (Волошин)».

«Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью» чрезвычайно ценны для понимания личности и изучения творчества Бунина. Все годы совместной жизни с ним Вера Николаевна вела обширные дневники, они составили фактическую основу «Бесед с памятью».

«Беседы с памятью» дают возможность представить многие характерные черты Бунина. Веру Николаевну поражало в нем то, что он «ни на кого не похож». У него острый саркастический ум, его суждения о людях метки, точны, выразительны, порой язвительны — дар юмориста и имитатора придавал его речи особенную живость и остроту. Бунин в изображении Веры Николаевны не холодный «эстет», сухой в обращении с людьми, каким он казался иным, а живой, страстный человек, в нем было много душевного тепла и доброты, но он не перед каждым раскрывался, был внутренне сдержан. Он любил повторять слова отца: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». «Я знала, — пишет Вера Николаевна, — каким обаятельным и неистощимым в веселье бывает он, когда ему приятно общество». Это важнейший мотив «Бесед с памятью»: дать настоящего, живого Бунина. Вера Николаевна необычайно искренняя и правдива. В нарисованном ею портрете Бунина свет и тени распределены с подкупающей убедительностью, и, читая ее мемуары, выносишь главное: Бунину была свойственна большая внутренняя сложность. Она рассказывает о том, что знала лучше кого бы то ни было: какая у него «нежная душа», подчеркивает это и далее, передавая свою беседу с его матерью при первой встрече с нею в Ефремове в 1907 году; но из ее же рассказа мы видим, как часто он бывал неуступчив.

Немало внимания уделяет Вера Николаевна особенностям таланта Бунина. Из «Бесед с памятью» мы видим, каким редким зрением он обладал — той тонкой способностью подмечать и воспроизводить в слове характерные детали, которая придает необычайную силу изобразительности его прозе и стихам. Бунин

предстает в мемуарах Веры Николаевны писателем, превосходно знающим природу, деревню, мужиков, мещан, провинциальных обедневших дворян — их быт, их язык.

Бунин делился с нею замыслами своих произведений, и мы узнаем из ее воспоминаний, при каких обстоятельствах написаны те или иные стихи или рассказы, кто послужил для них прототипом.

«Беседы с памятью» — не только воспоминания о Бунине и о пережитом в пору совместной жизни с ним, это также рассказ о литературной, а отчасти и театральной жизни Москвы, Петербурга, Одессы начала века. Она пишет о Московском литературно-художественном кружке, о чтении писателем своих новых произведений в Обществе любителей российской словесности и на собраниях «Среды». Литературные вечера, юбилеи, премьеры пьес Андреева, Найденова, Юшкевича, поездки в редакции петербургских журналов, встречи с Куприным, Андреевым, Горьким. Она превосходно описывает быт русской колонии на Капри, передает господствовавшее тогда в этой среде настроение благожелательного отношения друг к другу. Обо всем этом рассказано талантливо, обстоятельно и точно — не только по памяти, но и по записям тех далеких лет.

Г. В. Адамович писал после ее кончины:

«Вере Николаевне Буниной сказать надо было бы многое. Если бы не бояться громких слов, то сказать «от лица русской литературы», — и в первые часы после ее смерти именно это перевешивает в сознании все, что сказать следовало бы о ней лично: о ее неутомимой и неистощимой отзывчивости, о ее простоте и доброте, ее скромности, о том свете, который от всего ее облика исходил... Кто в русском Париже Веру Николаевну забудет, кто не почувствует, что без нее русский Париж — уже не тот, каким прежде был? Что русский Париж опустел?

Однако для будущего важнее то, чем была Вера Николаевна для своего мужа. Не всем большим, даже великим русским писателям — надо ли называть имена? — посчастливилось найти в супружестве друга не только любящего, но и всем существом своим преданного, готового собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом живым человеком, не превратившись в безгласную тень. Теперь еще не время вспоминать в печати то, что Бунин о своей жене говорил. Могу все же засвидетельствовать, что за ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Покойный Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. Думаю, что если бы в его присутствии кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он при великой своей страстности этого человека убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, не способного отличить добро от зла, свет от тьмы.

Обо всем этом когда-нибудь будет рассказано обстоятельно. Но то, о чем я сейчас говорю, должно бы войти во все рассказы о жизни Бунина. Прекрасный, простой и чистый образ Веры Николаевны встанет в них во весь рост. В годы вдовства, когда жизнь ее была наполнена только памятью о муже, а не его близостью, еще яснее обнаружилось, сколько было отпущено ей редких душевных даров».

О Вере Николаевне можно почерпнуть также сведения из следующих статей и книг: Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972; А. Бабореко. В. Н. Муромцева-Бунина. — «Подъем». Воронеж, 1974. № 3; «Письма Буниных

к художнице Т. Логиновой-Муравьевой». Ymca Press, Париж, 1982; Борис Зайцев. Повесть о Вере. — Газ. «Русская мысль», Париж. 1967. 14, 17, 19 и 21 января (письма В. Н. Буниной Вере Зайцевой); Борис Зайцев. Другая Вера. — «Новый журнал». Нью-Йорк. Кн. 92, 95, 96 (1968—1969) (письма Веры Зайцевой к Вере Буниной).

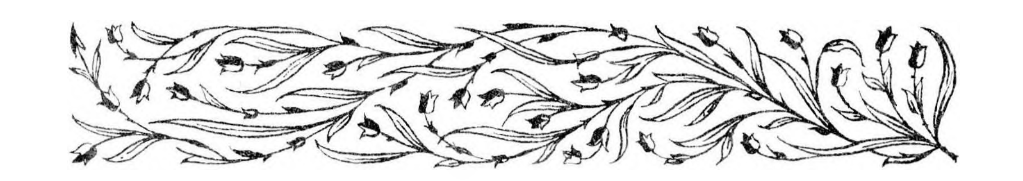
Т. Д. Логинова-Муравьева писала: «Мало кто понимал, в чем обаяние Веры Буниной, но все тянулись к ней. Ее простота привлекала, но также ее «царственность». Она из тех женщин, про которых Некрасов писал:

Есть женщины в русских селеньях ⟨...⟩
с походкой, со взглядом цариц».

А. Бабореко

Жизнь Бунина

1870
1906



ПРЕДИСЛОВИЕ



большим волнением приступила я к работе над этой книгой. Озаглавила я ее «Жизнь Бунина» потому, что некоторые критики, к большому возмущению Ивана Алексеевича (он выступал даже по этому поводу в печати), называли и называют его роман «Жизнь Арсеньева» автобиографией. В тексте я указываю, что в романе многие события, имевшие место в действительности в одном городе, перенесены и приписаны другим лицам, что в «Жизни Арсеньева» нарушена хронология или же воедино соединены события, — например, отъезд Анхен в Ревель и появление первого стихотворения Алеши Арсеньева происходят в одно время, тогда как в жизни Бунина эти события разделены двумя годами. Особенно изменена книга пятая в «Жизни Арсеньева»: в романе иначе развертывается полтавский период, чем это было в жизни Бунина. Героиня романа Лика — тоже не В. В. Пащенко, как по внешности, так и по душевным качествам. Я нашла заметку Ивана Алексеевича: «Лика вся выдумана».

Конечно, в «Жизни Арсеньева» очень много биографических черт, взята природа, в которой жил автор, но все художественно переработано и подано в этом романе творчески, и, может быть, подано так потому, что автору хотелось, чтобы это было так в его жизни.

Автобиографичны и чувства автора в «Митиной любви», хотя в этом произведении ничего нет из жизни Бунина.

Кроме автобиографического конспекта (с 1881 по 1907 гг.), заметок, кратких дневников Ивана Алексеевича, я пользовалась воспоминаниями его родных, рассказами родственников, с кото-

рыми я прожила в большой близости одиннадцать лет, как раз в тех местах, где протекало детство, отрочество и юность Ивана Алексеевича и где он часто и в зрелом возрасте проводил недели и месяцы.

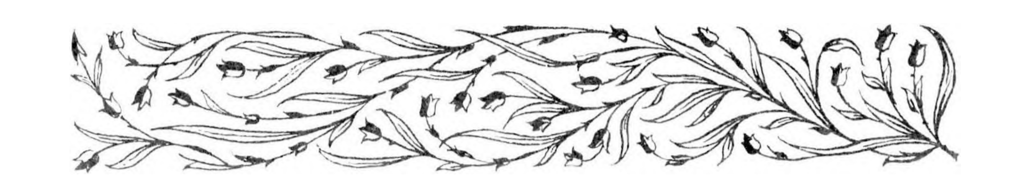
Конечно, всех нужных материалов у меня под рукой нет, и поэтому я не могу назвать эту книгу биографией, а рассказываю жизнь Бунина, как я ее знаю.

Бунины любили вспоминать, представлять, рассказывать о близких и знакомых, подчеркивая всегда их характерные черты.

До сих пор мало известна жизнь Ивана Алексеевича между 1895 и 1898 годами, мало кто знает и о его первом путешествии по Европе (с его другом Куровским), и о его пребывании в Константинополе «незабвенной весной 1903 года».

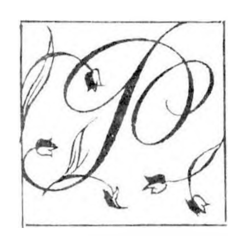
Приношу большую благодарность Софье Юльевне Прегель и Леониду Федоровичу Зурову за их поддержку во время моего писания и за добрые советы, которые они мне давали. Благодарю и княгиню Маргариту Валентиновну Голицыну за те сведения, которыми она поделилась со мной о жизни Буниных в Озерках, а также и баронессу Людмилу Сергеевну Врангель, от которой я узнала кое-что новое в жизни Ивана Алексеевича, когда они оба были молоды. Спасибо Александру Кузьмичу Бабореко, который во время моей работы посылал нужные данные для моей книги.





ГЛАВА ПЕРВАЯ

1



азбирая бумаги Ивана Алексеевича, я обнаружила среди них интересную запись, с которой и начинаю эту книгу.

«23 октября 1940 (10.X.40 по старому стилю), $11^1/_2$ ч. вечера.

...70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянской улице».

«Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года. Но все это вольные выдумки, желание хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шелковом с приподнятым расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, — мой крестный отец, генерал Сипягин».

«Еще вспоминается, а, может быть, это мне и рассказывала мать, что я иногда, когда она сидела с гостями, вызывал ее, маня пальчиком, чтобы она дала мне грудь, — она очень долго кормила меня, не в пример другим детям».

Мать его, Людмила Александровна, всегда говорила мне, что «Ваня с самого рождения отличался от остальных детей», что она всегда знала, что он будет «особенный», «ни у кого нет такой тонкой души, как у него» и «никто меня так не любит, как он...»

«В Воронеже он, моложе двух лет», — вспоминала она со счастливой улыбкой, — «ходил в соседний магазин за конфет-

кой. Его крестный, генерал Сипягин, уверял, что он будет большим человеком... генералом!»

В Воронеже Бунины поселились за три года до рождения Вани, для образования старших сыновей: Юлия, который родился на 13 лет раньше Вани, и Евгения, который был на год моложе Юлия. Выбрали они этот город потому, что были еще у них имения в этой губернии, и там жили родственники Бунины, помещики и домовладельцы.

Юлий был на редкость способным, учился блестяще. Например, пока учитель диктовал экстемпорале по-русски, Юлий писал по-латыни. Способен он был и к математическим наукам.

Евгений учился плохо, вернее, совсем не учился, рано бросил гимназию; он был одарен, как художник, но в те годы живописью не интересовался, больше гонял голубей.

Отец, Алексей Николаевич, живя в Воронеже, не пил, и Иван родился в трезвый период его жизни. Зато он предавался другой своей страсти — картам, проводя каждую ночь в клубе, проигрывал свое, а потом и женино состояние.

Людмила Александровна, рожденная Чубарова, происходила тоже из хорошего рода. Она была дальней родственницей Алексею Николаевичу, и в ней текла бунинская кровь. Мать ее была в девичестве Бунина, дочь Ивана Петровича.

Людмила Александровна была культурнее мужа, очень любила поэзию, по-старинному нараспев читала Пушкина, Жуковского и других поэтов. Ее грустная поэтическая душа была глубоко религиозной, а все интересы ее сосредоточивались на семье, главное, на детях.

В 1874 году Бунины решили перебраться из города в деревню, на хутор Бутырки, в Елецкий уезд, Орловской губернии, в последнее бунинское поместье. В эту весну Юлий кончил курс гимназии с золотой медалью и осенью должен был уехать в Москву, чтобы поступить на математический факультет университета.

Бутырки находились в глуши Предтечевской волости. Поля, поля — и среди них усадьба. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав, цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...» Так через много лет воскресли эти детские воспоминания в «Жизни Арсеньева». Туда, распрощавшись навсегда с Воронежем, отправилась вся семья Буниных в просторном дормезе сразу после экзаменов Юлия.

Однажды летом, когда мы жили с Иваном Алексеевичем в Васильевском после 1907 года, в имении его двоюродной сестры, Софьи Николаевны Пушешниковой, мы с ее сыном Колей и с Юлием Алексеевичем ездили туда, где был хутор Бутырки, на

месте которого колосилось, действительно, «море хлебов»... Иван Алексеевич все же указал место дома, варка, сада... Он с грустным видом долго слушал полевую овсяночку и неожиданно воскликнул: «Да это не Босфор, не Дамаск, не Италия и даже не Васильевское! Это мое грустное детство в глуши!..» А мне эта глушь несказанно понравилась тишиной и простором.

По возвращении из Воронежа Алексей Николаевич Бунин быстро приспособился к деревенской жизни. Он, вообще, жил настоящим, совершенно не умел унывать. Быстро возобновил дружбу с родными и знакомыми соседями. Завел легаша, гончих, борзых. Охотился, — он был лучшим стрелком в округе, попадал в подброшенный двугривенный. И, к несчастью, опять начал пить. Пил и в одиночестве, иногда по четверти водки в сутки, а затем отрезвлялся молоком, любил и сладкое, так что типичным алкоголиком не был. Иногда бывал буен во хмелю, но не первые годы в деревне, а, вероятно, когда начала давать себя знать печень. Хозяйством занимался спустя рукава, долги росли, и бедная Людмила Александровна имела много оснований жить в большой тревоге и глубокой печали.

В деревне она почувствовала одиночество: в Воронеже Алексей Николаевич почти никогда не отлучался надолго, были и знакомые, и родные. А здесь он неделями пропадал на охоте, гостил у соседей, а она только по большим праздникам ездила в село Рождество, да к матери в Озёрки. Старшие сыновья были заняты своим: Юлий по целым дням читал Добролюбова, Чернышевского, так что нянька говорила ему: «Если будете так все время в книжку глядеть, то у вас нос очень вытянется...» Да и жил он в деревне только на каникулах, и у матери сжималось сердце при мысли, что ее первенец вот-вот уедет за четыреста верст от дому! Евгений немного занимался хозяйством, это было ему по душе; ходил на «улицу», — на сборище деревенской молодежи, где под гармонию плясали и «страдали». Страдательными назывались ритмические, протяжные, рифмованные строчки. Он купил себе дорогую гармонию-ливенку и все досуги упражнялся на ней. И мать все время проводила с Ваней, все больше привязываясь к нему, избаловала его донельзя.

А он, попав на деревенский простор, прежде всего поразился природой, и ему запомнились, как он пишет в «Жизни Арсеньева», не совсем обычные в младенчестве желания: взобраться на облачко и плыть, плыть на нем в жуткой высоте, или просьба к матери, когда она его убаюкивала, сидя на балконе, перед сном, дать ему поиграть со звездой, которую он уже запомнил, видя ее из своей кроватки. Через тридцать восемь лет, тоскуя по матери, умершей за два года до того, он писал стихи, начинающиеся:



В. Н. Бунина — гимназистка.

— Дай мне звезду, — твердит ребенок сонный, —
Дай, мамочка . . . .
. . . .
— Дай, мамочка... Она с улыбкой нежной
Берет худое личико: — Что, милый?
— «Вон ту звезду...» — «А для чего?» — «Играть...»
. . . .
. . . .

И кончается:

Прекрасна ты, душа людская! Небу
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!

За природой в сознание Вани входят животные. И только с переходом из младенчества в детство жизнь его начинает наполняться людьми, хотя в ту пору он совсем не помнит братьев; вероятно, они на него не обращали внимания, — слишком велика была разница в возрасте. Между старшими сыновьями и Ваней было четверо детей: три сына — Анатолий, Сергей, имя третьего Иван Алексеевич забыл, и одна дочь Олимпиада.

После матери, которую он запомнил еще в Воронеже, он осознал няньку, отца, новорожденных сестер, слуг и, наконец, пастушат.

Самое сильное из радостных событий его детства была поездка в Елец, — ему нужно было купить сапожки, и родители взяли его с собой в город.

У ребенка эта поездка оставила глубокий след. В «Жизни Арсеньева» Бунин так пишет о ней: «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление». На возвратном пути из города, где его очаровали и берестовая коробочка с блестящей ваксой, и сапожки, о которых кучер сказал: «В аккурат сапожки», и эти слова запомнились Ване на всю жизнь, и подаренная плетка со свистком, а главное «звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком великолепии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить впоследствии пирамида Хеопса», он увидал за решеткой тюремного окна узника, « с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби и тупой покорности, и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты», как не раз рассказывал он мне и писал в «Жизни Арсеньева».

Года через два родились сестры Вани, одна за другой: сначала Мария, потом Александра. И его перевели спать к отцу. С этого времени у мальчика начинается восхищенная любовь к нему и увлечение холодным оружием, висевшим по стенам кабинета.

Алексей Николаевич Бунин принадлежал к тем редким людям, которые, несмотря на крупные недостатки, почти пороки, всех пленяют, возбуждают к себе любовь, интерес за благостность ко всем и ко всему на земле, за художественную одаренность, за неиссякаемую веселость, за подлинную щедрость натуры.

В его доме даже во времена крепостничества никого не наказывали. Никаких наказаний не существовало и для детей. Рассказывали со смехом, что однажды он, рассердившись, повел старших сыновей в сад, чтобы они сами себе сорвали для порки прутья, но на этом дело и кончилось, розги были сломаны, и отец их отпустил, сказав, чтобы в будущем они вели себя хорошо.

Маленький Ваня рос, окруженный лаской и любовью. Но в душе его жила грусть. Услыхав от взрослых фразу: «Ему и горя мало» и поняв ее по-своему, он стал часто задумываться, сидя у окна с ручонкой под подбородком, и однажды, на вопрос, что с ним, — отвечал:

— У меня горя мало.

В детстве он картавил, не произносил буквы «р». Он думает, что это было из подражания кому-нибудь, ибо когда брат Евгений накричал на него за это, — ему было уже лет восемь, — он сразу перестал картавить. Но в детстве, выходя из себя, если не исполнялось его желание, он падал на пол и кричал: «Умиаю-ю! умиаю-ю!»

С очень раннего возраста обнаружились в мальчике две противоположные стороны натуры: подвижность, веселость, художественное восприятие жизни, — он рано стал передразнивать, чаще изображая комические черты человека, — и грусть, задумчивость, сильная впечатлительность, страх темноты в комнате, в риге, где, по рассказам няньки, водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем. Все, кто соприкасался с ним, хорошо знали его первые свойства, но очень немногие, только близкие по духу, знали о его других чертах.

Эта двойственность зависела от резко противоположных характеров родителей.

Мать имела характер меланхолический. Она подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами на коленях, часто плакала, грустила. Все это отражалось на впечатлительном мальчике.

А тревожиться и горевать у нее уже были основательные причины: долги все росли, дохода с хутора было мало, а семья увеличивалась — было уже пять человек детей.

Уравновешивал грустную атмосферу дома отец. Он, когда не пил, за столом бывал всегда весел и оживлен, хорошо рассказывал, представлял всех в лицах. Особенно часто вспоминал Севастопольскую кампанию, когда они с братом Николаем, рано

умершим, с собственным ополчением отправились на войну. Повествовал, как их по городам встречали колокольным звоном, как он играл в карты с писателем Львом Николаевичем Толстым...Оба они с братом в то время были холостыми и изрядно порастрясли свое состояние. До Севастопольской кампании он никогда не брал в рот вина, а там попробовал. Все эти рассказы очень волновали маленького сына, а когда он подрос и стал читать «Детство и отрочество» и «Севастопольские рассказы», то восторгу не было границ. И этот писатель живет всего в ста верстах от них!

В детстве он впервые ощутил смерть: деревенский мальчишка из пастушат сорвался вместе с лошадью в Провал, находившийся в поле за усадьбой, нечто вроде воронки с илистым дном, покрытой бурьяном и зарослями.

Вся усадьба кинулась спасать, но и пастушонок, и лошадь погибли. Слова: «мертвое тело», сказанные при Ване, ужаснули его. Он долго жил под впечатлением этой смерти. Часто смотрел на звезды и все думал: «На какой душа Сеньки?»

Вот как он сам пишет об этом в «Жизни Арсеньева»:

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» — «Вот к подобным людям принадлежу и я».

Когда подросла Маша, то он стал с ней проводить свои досуги. Иногда он будил ее на заре и уговаривал пойти «встречать зою», обещая ей рассказывать сказки. И если она соглашалась, то они через окно выскакивали в сад, и он вел ее за ручку на гумно и, чтобы она не заснула, исполнял обещание. Любимой его сказкой была «Аленький цветочек», рассказывал он и в ту пору хорошо.

Любили дети проводить время и в каретном сарае. Особенно бывало уютно куда-то ехать в дедовском возке, и тогда он тоже рассказывал сестренке всякие истории. Нравилось им на дворе прятаться под края каменного корыта, вросшего в землю.

Много времени они проводили летом и с пастушатами, которые научили их есть всякие травы, буйно росшие за огородом, за кухней, за варком. Но однажды они чуть не поплатились жизнью. Один из пастушат предложил им попробовать белены. Родителей не было дома, но их решительная няня, узнав об этом, стала отпаивать детей парным молоком, чем и спасла их.

Его стихи «Дурман», написанные через несколько десятков лет, были отчасти автобиографические.



И. А. Бунин. 1889.

Дурману девочка наелась.
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко, —
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон.
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной —
И невесомой бестелесной
Ее домой довел пастух.

На утро гробик сколотили,
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой,
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?

Последнюю строфу он изменил в первых трех строках за несколько месяцев до своей кончины. Его рукой написано: «Ив. Бунин 1916—1953 г.»

Лет восьми на Ваню напало желание лгать, и так продолжалось с год. Вот как он сам объясняет это явление:

«Я многое кровно унаследовал от отца, например, говорить и поступать с полной искренностью в том или ином случае, не считаясь с последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презрением к кому-то, утверждал свое право высказывать свои мнения, положительные или отрицательные, о чем угодно, идущие вразрез с общепринятыми.

— Я не червонец, чтобы всем нравиться!

Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную; говорил брезгливо:

— Лгут только лакеи.

И я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни, — и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, — точнее говоря, начало возвращаться, — в форме той сюжетной «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем».

Лет восьми Ваня написал стихи — о каких-то духах в горной долине, в месячную ночь. Он говорил мне, что видит ее до сих пор.

В отрочестве он и натолкнулся на картинку, под которой была подпись: «Встреча в горах с кретином», об этом он часто вспоминал и среди близких, и на своей лекции, и в «Воспоминаниях». Слово кретин его поразило, он прочел его впервые и вот как он сам об этом пишет:

...«Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическое волнение. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?»

Евгений должен был отбывать воинскую повинность. Льгот у него не было, и ему нужно было идти простым солдатом. У него шел роман с одной девушкой из Выселок, застенчивой и милой, которую любили в его семье. И решили, если его «забреют» и ему удастся устроиться писарем, то она поедет к нему и будет жить с ним на «вольной» квартире.

— А какой аппетит был у отца в пору моего раннего отрочества, — часто вспоминал Иван Алексеевич, — раз он, уже совсем одетый, чтобы отправиться на охоту, проходил мимо буфета, где стоял непочатый окорок. Он остановился, отрезал кусок, окорок оказался очень вкусным, и он так увлекся им, что съел его весь... Да и вообще, — продолжал Иван Алексеевич, — аппетиты у помещиков были легендарные: Рышков съел в Ельце за ужином девять порций цыплят!... А вот Петр Николаевич Бунин заваривал кофий всегда в самоваре...

В детстве он застал древний обычай. Он так записал его:

«Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб костры. Спросил бабу на пороге: зачем это?

— А затем, барчук, чтобы покойники погрелись.

— Да ведь они на кладбище.

— Мало ли что! все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рождество это всегда дозволяется».

Еще запись Ивана Алексеевича из этих времен:

«Мой отец рассказывал, что у его брата Николая Николаевича был жеребец какой-то «страшной Бунинской породы» — огромный, рыжий, с белой «проточиной» на лбу.

— А у меня, — говорил отец, — все менялись верховые жеребцы: был вороной с белой звездой на лбу, был стальной, был соловый, был караковый, иначе сказать, темно-гнедой»...

2

В эту пору в семье Буниных поселился очень странный человек, сын состоятельного помещика, предводителя дворянства Ромашкова (соседа бабушки по имению). Он нигде и ни с кем не мог ужиться, а у Буниных прожил целых три года, оставался до самого поступления Вани в гимназию.

Николай Осипович Ромашков окончил курс в Лазаревском институте восточных языков в Москве, был образован, начитан, знал несколько языков, в том числе и греческий, но из-за своего трудного, самолюбивого характера, очень несдержанного, не мог ни служить, ни оставаться в имении отца, с которым он рассорился, а затем при дележе наследства рассорился и с братом, возмутился и, с презрением разорвав какой-то акт, навсегда покинул родной дом.

У Буниных он гостил и раньше, но иногда, когда они с Алексеем Николаевичем бывали во хмелю, дело доходило чуть ли не до кинжалов, — оба были «вспыльчивы, как порох», и в таких случаях Николай Осипович быстро исчезал.

Людмила Александровна, которую он очень почитал, обрадовалась, что будет кому подготовить в гимназию Ваню. Она благоволила к нему и жалела его. Николай Осипович оказался оригинальным педагогом: стал учить грамоте по «Одиссее» и «Дон Кихоту», возбудил в своем ученике любовь к странствиям и рыцарству, к средневековью и вообще сыграл большую роль в развитии его ума, вкусов и мечтаний.

В Ване он души не чаял, любил его и Ваня. Вместе перечитали они все, что было в Бутырках. Вместе искали на чердаке какую-то зарытую дедовскую саблю. Николай Осипович, забывая о возрасте своего питомца, рассказывал ему о своей жизни, о всех гадостях и подлостях, какие ему делали люди, и Ваня дрожал от негодования и гнева, слушая о том, что приходилось переживать его учителю. Рассказывал он талантливо, умел представлять всех в лицах, сообщил с большим волнением, что однажды ему посчастливилось видеть Гоголя. Вот как Иван Алексеевич передает его рассказ об этом:

«— Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неописуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необычайно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно только слушали.

Я же слышал только одну фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно я этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе».

Николай Осипович много скитался, был где-то в лесах за Волгой — и возбудил в душе мальчика желание видеть свет. Помогали этому и «Всемирный Путешественник» и «Земля и люди», которые они читали и перечитывали, рассматривали картинки, начиная с египетских пирамид, всевозможных пальм и кончая морями с коралловыми островами, с пиратскими кораблями и дикарями в пирогах, — зарождалась мечта о тропиках и дальних путешествиях.

Николай Осипович недурно играл на скрипке, владел кистью. Он дал почувствовать своему воспитаннику «истинно-божественный смысл и значение земных и небесных красок», и акварельные краски чуть не свели с ума Ваню, — он уже решил стать художником.

Его учитель всегда носил старенький сюртучок, а на голове парик, отчего его и прозвали «Париком». Через несколько лет он попал в полую воду, которая унесла его «головной убор», что было истинным горем для этого странного человека. Питался он только черным хлебом, намазанным горчицей, под водку. Никто не понимал, как он может жить на таком режиме.

С самого детства Ваня стал водиться со сверстниками, сначала с пастушатами, а затем и с ребятишками из Выселок, которые находились в версте от Бутырок. Бывали они и у него в гостях, бывал и он в их избах. С некоторыми из ребят он очень дружил, а одного так полюбил, что требовал, чтобы он оставался у него ночевать, что порой возмущало их строгую, чинную няню. Со всеми он был на равной ноге, и от более сильных ему иногда попадало «под микитки», но он никогда не жаловался дома.

Родители брали Ваню, а потом и сестер, в церковь в селе Рождество, куда ездили на тройке с кучером в цветной рубашке и плисовой поддевке. Бог Саваоф, написанный в куполе, вызывал в нем страх. Несмотря на утомление, он любил церковные службы, нравился ему и почет, которым они в храме пользовались. Священник присылал матери просфору, крестьяне давали им дорогу, когда они немного опаздывали к службе.

Стали брать детей, когда ездили к бабушке, матери Людмилы Александровны, в Озёрки, которые находились в нескольких верстах от их хутора. На Ваню произвел впечатление въезд в усадьбу с двумя каменными столбами, поразил дом с необычайно высокой крышей и пленили цветные стекла в окнах гостиной и угловой комнаты. А старую ель перед домом они с сестрой называли «заветной».

...Когда Ване было лет семь-восемь, на Рождество приехал из Москвы Юлий, уже окончивший математический факультет и учившийся на юридическом, чтобы специализироваться по статистике. Понаехало и много гостей. Алексей Николаевич, хотя и был во хмелю, но находился в благостном настроении, был гостеприимен, пел под гитару, сыпал остротами и ни с кем не поссорился. Людмила Александровна чувствовала себя счастливой: все птенцы были с ней.

В жизни случается, что после счастливых дней наступает горе, и с самой неожиданной стороны, так было и на этот раз. В конце Святок заболела младшая девочка, очень веселая, синеглазая, на крепких ножках, любимица всего дома.

Гости быстро разъехались, и наступили тяжелые дни, полные тревоги, подавленности и беспомощности. Что была за болезнь? Неизвестно. Все произошло в несколько недель. Приезжал из Предтечева фельдшер, который ничего не понял. И в начале февраля девочки не стало.

Исчезновение из жизни любимой сестренки Саши поразило мальчика так, что он на всю жизнь был потрясен, и никогда уже не проходило у него жуткое изумление перед смертью. И дума о Саше жила долгие годы: где теперь она, ее душа? На какой звезде? Тяжкое впечатление оставило и то, что нянька накинула черную материю на зеркало в комнате, где он спал...

Вот как он сам записал об этом:

«В тот февральский вечер, когда умерла Саша и я (мне было тогда лет 7—8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, непостижимого события».

Вскоре после смерти Саши кто-то из Ельца привез копеечные книжки «Жития святых», и мальчик набросился на это чтение, стал много молиться, держать посты, даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу» и носил ее под рубашкой. И все бегал к сапожнику, ездившему за товаром в город, давал ему медяки, прося покупать для него все новые и новые книжки о святых.

Года за два до поступления в елецкую гимназию была привезена программа и учебники для вступительных экзаменов, и Николай Осипович засадил своего воспитанника за них, заставляя его без всяких объяснений зубрить, а сам ходил по комнате, что-то бормоча себе под нос.

Поздней осенью 1880 года Ваня тяжело заболел, по-видимому, скарлатиной, — он помнил, как шелушилась кожа на его руках. Эта болезнь оставила глубокий след в его душе. О чем, мне кажется, он пишет и в «Жизни Арсеньева».

15   1 Отд.

Гербъ рода Буниныхъ.



...В начале марта 1881 года, когда Ваня играл с Машей, сидя на полу и что-то строил из книг, вошел из Новоселок мужик, перекрестился на темный образ, поклонился господам и неторопливо, торжественно произнес:

— Государь наш Александр Николаевич приказали долго жить, его убили...

Это известие произвело огромное впечатление на взрослых. Отец на следующее утро кинулся в Елец.

Вернувшись оттуда и сообщив некоторые подробности, Алексей Николаевич поехал по соседям. Прежде всего в Предтечево, к своим приятелям, помещикам Муромцевым, почти единственно по-настоящему культурным людям в округе.

На Ваню эта смерть не произвела сильного впечатления.

В Бутырках и не думали, что их Юленька был знаком с этими революционерами и что он совсем иначе переживал те жуткие дни в России. Осенью его выслали из Москвы в Харьков, где он и поступил в университет, продолжая заниматься подпольной работой.

В отрочестве у Вани было еще одно событие, поразившее, даже потрясшее его:

Однажды, выйдя во двор, он увидал грача с подбитым крылом, который ковылял по земле. Неожиданно для самого себя он кинулся в кабинет, схватил со стены кинжал, который восхищал его с детства, и, поймав несчастную птицу, стал колоть ее, она, — как рассказывал он, — сильно защищалась, исцарапала ему руку, но он все же с каким-то упоением прикончил ее, вонзив кинжал в самое сердце... И долго его мучило это убийство, и он втайне ото всех молился, чтобы Бог простил ему это преступление.

В мае 1881 г. в Озерках скончалась его бабушка. Она была чудовищной толщины и последнее время уже почти не двигалась, ей было за восемьдесят лет. Детей на похороны не взяли. Людмила Александровна сильно горевала по матери, но все же было и утешение: Озерки по наследству переходили к ней.

Летом Ване пришлось заниматься, повторять пройденное, так как экзамены были назначены в начале августа. Помогал и Юлий, живший на каникулах дома.

Мальчик был хорошо приготовлен, память у него была редкая. Благодаря матери, читавшей ему стихи с самого младенчества, и Николаю Осиповичу, много сделавшему в развитии его литературного вкуса, он уже без волнения не мог слушать или читать Пролог из «Руслана и Людмилы». Волновали и «Старосветские

помещики», а «Страшная месть» его потрясла, и он целые куски из этого несравненного произведения знал на память и всю жизнь любил читать их.

Он говорил о том высоком чувстве, какое «Страшная месть» пробудила в его душе, чувство, которое, по его мнению, «вложено в каждую душу и будет жить вовеки, — чувство священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненно жажда Бога, есть вера в Него...» («Жизнь Арсеньева»).

3

Наконец наступил день отъезда в Елец. Повез его Алексей Николаевич. Прощанье было тяжелое: мать едва сдерживала рыдания, плакали Маша и нянька, слезы навертывались и у Николая Осиповича, только Юлий с отцом посмеивались, переглядываясь, и отец быстро положил конец прощанью.

— Присядем!

Сели. Поднялись. Помолились перед образом. Алексей Николаевич быстрым шагом вышел на крыльцо, вырвал сына из рук обнимавших его, и лошади тронулись.

Хотя Ваня и был взволнован, но бодрость отца, прелесть августовских полей и большая дорога успокоили его. Кроме того, в душе он надеялся: «авось не выдержу», хотя Юлий уверял, что ничего нет страшного.

Экзамены оказались легкими: рассказал о амаликитянах, написал под диктовку: «снег бел, но не вкусен», помножил два двузначных числа, начал читать стихи, но, к его огорчению, учитель не дал ему кончить их. Вот и все.

«Да, Юлий прав, — думал новоиспеченный гимназист, — он все знает».

К старшему брату он уже относился, как к необыкновенному человеку; кроме того, ему нравилось его лицо, юношеская худоба, лучистость синих глаз; вызывало уважение, что он уже на втором факультете, а по окончании гимназического курса был награжден золотой медалью! Ему, как, впрочем, почти всем их родным и знакомым, казалось все это чем-то необыкновенным, так как большинство из его сверстников в их округе не кончило и курса гимназии.

После экзаменов отец заказал Ване форму и купил гимназическую фуражку, которую он тотчас же надел на голову, несмотря на жаркую погоду. Форму портной обещал сшить к началу занятий. И они поехали домой недели на две.

А дома отец все повторял: «Зачем ему эти амаликитяне?» — и стал брать его с собой на охоту, когда ездили на дрожках, а рядом бежал легаш. Ходили и пешком. Отразилось это и в «Далеком» и в последних главах первой книги «Жизни Арсеньева».

Эти последние свободные недели в Бутырках были особенно сладки. Юлий тоже стал брать его с собой на вечерние прогулки, и он почувствовал себя старше.

На душе было двойственно: пугала теперь уже и долгая разлука с родными, Николаем Осиповичем, житье «нахлебником» в мещанской семье, и в то же время интересовала новая жизнь, товарищи, родилась мечта о закадычном друге. Правда, Елец разочаровал его, не произвел того впечатления, как четыре года тому назад: показался и меньше, и грязнее, но все же это город...

Утешал себя, что вернется на Святки, приедет и на Святую, а затем и на долгое лето и опять будет в хлебах слушать свою любимую овсяночку, о которой он вспоминал всю свою жизнь в эмиграции, до самой смерти, сильно тоскуя по ней; будет с отцом ловить перепелов, слушать жаворонков, соловьев, иволгу, любоваться быстротой ее полета, с восхищением смотреть на цветы, драться с мальчишками, лазить с ними по деревьям, разорять гнезда...

Сжималось сердце, когда он думал о Николае Осиповиче: он понимал, что ему будет одиноко и скучно без него; жалко было и Машу, она останется совсем одна среди взрослых.

И опять прощанье, слезы, благословения. И приятная езда в покойном тарантасе, сначала по уже накатанным проселочным дорогам, затем по мягкому большаку с заросшими муравой колеями, со старыми дуплистыми ветлами. На одной сидел черный ворон, и Ваня вспомнил, как мать ему говорила, что вороны живут по несколько сот лет, а отец тут сказал, что, может быть, этот ворон видел татарское нашествие: по этим местам шел Мамай.

Потом проезжали мимо станции Становой, где некогда свили гнездо разбойники с атаманом Митькой Становлянским, которого четвертовали и которым в детстве его пугала нянька.

От Становой до Ельца — шоссе, пятнадцать верст.

Елец вкусно пахнул яблоками. Базар был завален арбузами, дынями, всякими фруктами и овощами. Город тогда жил широкой торговой жизнью, особенно ссыпкой зерна.

Но Ваню в этот раз больше всего интересовала гимназическая форма. С какой радостью он в нее облекся; сшита она была «в самый аккурат», как говорил их кучер.

Отец поместил его в нахлебники к мещанину Бякину за 15 рублей в месяц на всем готовом. Там они уже застали приехавшего накануне незаконного сына двоюродного племянника Людмилы Александровны, Валентина Николаевича Рышкова, Егорчика Захарова, и Ваня обрадовался, что все-таки он будет не совсем один. Когда он бывал у бабушки в Озерках, где у Рышковых тоже было имение, напротив через пруд, то он часто с ним играл.

Дом Бякиных находился на Торговой улице. Хозяин был богобоязненный человек, семья состояла из жены, сына, гимназиста четвертого класса, и двух девочек, очень тихих. В доме был

заведен строгий порядок, отец всю семью держал в ежовых рукавицах, был человек наставительный, неразговорчивый, требовательный. И Ване было очень странно попасть к таким людям после их свободного беспорядочного дома. Первый день был особенно темный от низких туч, и когда отец уехал, то мальчикам было грустно сидеть в чужой комнате в полутьме, но лампы зажечь раньше положенного времени не полагалось. Запомнился на всю жизнь и первый ужин, состоявший из похлебки, рубцов с соленым арбузом и крупеня. Ваня не мог из-за запаха есть рубцов и ел только соленый арбуз, который ему нравился.

Бякин заметил и строго сказал:

— Надо, барчук, ко всему привыкать, мы люди простые, русские, едим пряники неписаные, у нас разносолов нету...

И эти слова Ваня запомнил на всю жизнь, почувствовав, что Бякин очень гордится своей русскостью. И чем дольше жил у них, тем больше понимал, как Бякин любит Россию и гордится ею. Любил он и стихи, иногда заставлял мальчиков декламировать разных поэтов, гордился, что Никитин и Кольцов были мещанами: «Наш брат, мещанин, земляк наш!» — не раз повторял он. Уважал просвещение, сына отдал в гимназию.

Как часто отрицательные события в жизи оказываются полезными, особенно если они встречаются в жизни будущих писателей.

Не живи Ваня в чуждой ему среде в первые годы гимназии, не узнал, не почувствовал бы до конца мещанского быта, не понял бы и мещан по-настоящему. Он всегда говорил, что мещане очень талантливы, предприимчивы, деловиты и что на них главным образом держалось благосостояние России. Были у них и свои нерушимые законы. В этом сословии жила не только любовь к России, но и гордость ею.

Конечно, не все были в Ельце Бякины, не все были честны и принципиальны, но все же удачно, что именно к Бякину попал Ваня.

В гимназию мальчики пошли не в том тяжелом настроении, в каком они провели накануне вечер. Было солнечно, а главное, они вышли на улицу во всем новом: серые брюки, синий мундирчик, длинная, на рост, серая шинель и синяя фуражка с белым кантом и серебряными листочками на околыше.

В первый день в гимназии всегда интересно: молебен в сборной зале, а затем в классах выбор парты и диктовка классным наставником, какие учебники нужно приобрести.

Со следующего дня началось учение. Ване оно давалось легко, особенно то, что нравилось, и первый год прошел без сучка, без задоринки, да и развитее он был многих своих одноклассников, память была, как я писала, превосходная, слабее всего он был по арифметике.



Мужская гимназия в Ельце.



Мужской монастырь в Ельце.

Приблизительно раз в месяц приезжали к нему родители. Тогда наступали для него праздничные дни, его брали в гостиницу, водили в цирк, и он, попав в родную обстановку, расцветал, чувствовал себя счастливым. Но зато каждый отъезд был настоящим горем, и он не раз плакал и за всенощной, и ночью после разлуки с ними. В те времена в провинции гимназистов водили под праздник ко всенощной, а в праздничные дни и к обедне, и для Вани это было мучительно: он был здоровым мальчиком, но не привыкшим к дисциплине; ему было трудно выстаивать долгие службы, и иногда у него кружилась голова, раза два он терял сознание. Может быть, он недостаточно ел, не все у Бякиных нравилось ему, он с самого младенчества был избалован, всегда делал только то, что хотел, поэтому ему было нелегко жить у чужих. Бякин оставлял его в покое, так как знал, что родители не позволили бы воспитывать их сына, Егорчика же он держал строго: не разрешал гулять, когда нужно было готовить уроки, иногда даже драл за уши в наказание за плохие отметки или какую-нибудь провинность.

В мае оба гимназиста перешли во второй класс. И первые каникулы Ваня провел в Бутырках, которые находились от Ельца в тридцати верстах.

Это лето было одним из самых счастливых для всей семьи, которая вся была в сборе. Решили на семейном совете продать Бутырки мужикам, а на деньги, оставшиеся после уплаты долгов, поправить дом в Озерках и на следующую весну туда перебраться. Земли там было десятин двести, больше, чем в Бутырках, и все надеялись на приятную жизнь, так как в Озерках кроме этой усадьбы было еще две: Рышковых и Цвеленевых, поэтому не будет так одиноко, как на хуторе. Рядом с усадьбой — пруд, есть где купаться, полоскать белье; сад тоже больше, больше и фруктовых деревьев; словом, мечтать можно было вдоволь.

А для Вани и в Бутырках было раздолье; его стали отпускать в ночное, он уже хорошо ездил верхом, был от природы ловок и смел. Начиналась дружба с Юлием, который после дневного чтения и других занятий по вечерам гулял и брал всегда с собой Ваню, рассказывал о звездах, о планетах, зная, что с младенчества его маленький брат любил небесные светила.

С отцом он ходил ловить перепелов на вечерней заре, — это одно из самых очаровательных и поэтических времяпрепровождений. Кругом тишина, нарушаемая только боем перепела, и непередаваемая прелесть полей с их тонкими запахами.

С Машей Ваня тоже все больше и больше дружил, ей уже было семь лет, она была очень горячей, веселой девочкой, но тоже вспыльчивой, больше всех походила характером на отца, но была не в пример ему нервна, заносчива и, как и он, очень отходчива; и если они с братом ссорились, то ненадолго. Не-

много ревновала его к матери. «Любимчик!» — иронически называла его во время ссор.

Дружба Вани с мальчишками из Выселок все возрастала, и ему было грустно, что это — последнее лето, которое он проводит с ними. Особенно сдружился он с ребятами в ночном, много сказок пересказал им, как некогда Маше, встречая с ней зорю.

4

На второй год Ваню опять поместили к Бякину.

Вот его запись:

«Вскоре вечер какого-то царского праздника (конечно, 30 августа, тезоименитство Александра III). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист (15 л.) показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голой. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке. Эта нагота, красота голого женского тела, — что-то совсем особое, — чувствовал уже эту особенность, нечто эстетическое и половое».

Через месяц после начала учения отец приехал в Елец и подарил Ване 20 рублей; вероятно, получил от новоселковских мужиков задаток. И Ваня не знал, что ему делать с этими деньгами, за семь рублей купил альбом для фотографических карточек, которых у него не было.

Учителя были серые; лучше других был учитель русского языка, и хотя Ваня учился по этому предмету хорошо, но он все же его боялся.

Большим развлечением для мальчика было ходить по Ельцу. Он жадно впитывал в себя жизнь уездного города и иногда, после уроков, по несколько часов сряду пропадал из дому. Особенно он любил, когда на улице разыгрывалась какая-нибудь сцена, драка. Потом он Егорчику в лицах представлял все, что наблюдал.

На Святках он жил в Бутырках, где было весело. Пришел к ним на праздники и Николай Осипович, соскучившись по своему воспитаннику. По вечерам они вместе читали, а днем Ваня с ребятишками катался с горы, бегал на лыжах, играл в снежки, лепил снеговую бабу. И с большой грустью опять поехал с отцом и Егорчиком, за которым заехали к Рышковым, в город.

Там после деревни ему показалось скучно. «Закадычного друга» он не нашел... Состав учеников был смешанный: дети помещиков и чиновников и дети купцов и мещан.

Есть еще интересная запись о зиме 1883 года:

«Как-то зимой приехали в Елец, остановились в «Ливенских номерах», и, по обыкновению, взяли меня туда отец и мать, по-

том из Харькова приехал Юлий, и почти тотчас вслед за этим произошло нечто таинственное и страшное: вечером явился его товарищ Иордан, вывел его в коридор, что-то сказал ему, и они тотчас уехали куда-то, бежали».

Легко можно представить себе, какое это произвело впечатление на всех, особенно на мать. Сын их будущего соседа в Озерках Цвеленева, студент-медик, пошел в народ, был схвачен, будучи переодетым в мужицкую одежду, и за пропаганду сослан в Сибирь. Знали они и о судьбе революционерок, сестер Субботиных, дочерей помещиков в Измалкове, станции Юго-Восточной железной дороги, судившихся по «процессу пятидесяти». И, конечно, когда об этом дошла весть до них, то ужасались до крайности, но им никогда не приходило в голову, что их Юленька, такой тихий, мухи не обидит, принимает участие в революционном движении.

Ваня после отъезда родителей еще больше стал шататься по городу, дома было нестерпимо тоскливо: две девочки Бякиных молча, по целым дням плели кружева, гремя коклюшками.

Но все же он перешел в третий класс и после экзаменов отправился с Егорчиком в Озерки. С Бутырками все было кончено.

Юлию пришлось скрываться от полиции. Родители вестей от него не получали. Мать, конечно, все лето была убита горем. Но Ване было особенно весело: они с Егорчиком, начитавшись за зиму Майн-Рида и Купера, по целым дням плавали на плоту, смастеривши его из старых ворот усадьбы, и изображали дикарей, индейцев.

Ездили в родовое имение Буниных, Каменку, принадлежавшее семье покойного брата отца, Николая Николаевича. Одно время между семьями была ссора, и они не видались. Встретились на похоронах бабушки Анны Ивановны Чубаровой и помирились. После переезда в Озерки они собрались нанести визит, и там Ваня с Машей впервые увидели свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинького. А отказав, после его отъезда заболела нервно. Она прототип тети Тони в «Суходоле».

Когда они подъезжали к Каменке, то увидели согбенную странную фигуру, в шлыке на голове и халате, как потом оказалось, надетом прямо на голое тело, по описанию напомнившую им Плюшкина. Это была их тетя Варя. Она хворостиной подгоняла корову. Поразило детей ее бледно-восковое овальное лицо с крючковатым носом, с острым подбородком, загибавшимся вверх, что напоминало открытый клюв птицы. Она оказалась очень живой, веселой. Играла на своем «фортепьяно» и даже пыталась петь. Она была, конечно, ненормальна.

Летом, несмотря на достаток, было грустно: Юлий был в бегах. Отец, не любивший уныния, пропадал по соседям, часто запивал, но все же был в бодром настроении и, как мог, утешал жену, которая жила в тоске и горе.

У Рышковых гостила сестра хозяйки, Вера Александровна Резвая, настоящая красавица, с дочерью Сашей, барышней лет пятнадцати, очень статной, с толстой светло-русой косой, живыми глазами и веселым нравом. Ваню она пронзила, он не мог наглядеться на нее, но восхищался ею издали, — она относилась к нему как к маленькому *.

В августе Алексей Николаевич отвез гимназистов в Елец. Сына поместил у кладбищенского ваятеля, и Ваня пристрастился к этим занятиям и часто вместо уроков лепил из глины кресты, ангелов, черепа... После работы хозяин с висящими усами, похожий на Дон Кихота, усаживал его с собой за стол, угощал селедкой и уговаривал выпить с ним рюмку водки.

Из записей Ивана Алексеевича за 1883—1884 учебный год:

«В начале осени мой товарищ по гимназии, сын друга моего отца, Цветков, познакомил меня в городском саду с гимназисткой Юшковой. Я испытал что-то вроде влюбленности в нее и, кажется, из-за нее так запустил занятия, что остался на второй год в третьем классе. Цветков был малый уже опытный в любовных делах, бодрый нахал».

Запустил и из-за ваяния, — ведь на могилах были черепа и кости его работы...

Дома к тому, что он остался на второй год, отнеслись равнодушно: матери было не до гимназии, она все свободное время молилась за своего первенца; отец, сам сбежавший из первого класса Орловской гимназии, где он учился вместе с Лесковым, был совершенно равнодушен, как учится его сын. У Евгения была своя жизнь, его Катерина родила дочь Дашку, которую она приносила в Озерки. Бунины относились к ней, как к родной.

А Ваня с Егорчиком продолжали, как и в прошлое лето, по целым дням на пруду играть в индейцев.

Иногда все ездили или ходили пешком в Каменку, где был тенистый сад, просторный дом. Забавляла тетя Варя, нравились темные образа, а особенно образ Меркурия, смоленского Святого, что держит в одной руке свою голову, а в другой икону Путеводительницы. Это был заветный образ дедушки Николая Дмитриевича, не сгоревший при нескольких пожарах. На тыльной стороне иконы была написана вся родословная Буниных.

Кроме того, появилось новое удовольствие. Весною этого года умер свекор племянницы Алексея Николаевича, Иван Васильевич Пушешников, умер внезапно, ему сделалось дурно за обедней, едва довели до дому, как он скончался. Это был ма-

* Есть юношеское стихотворение, посвященное А. В. Р., — это ей.

ленький полный старичок с короткой шеей, с длинными обезьяньими руками, очень серьезный, служил по выборам в уездном земстве, никогда не был женат, но детей имел и одного, от красавицы с цыганской кровью, усыновил. Человек он был образованный (в его библиотеке были и русские, и иностранные писатели). Скоро с Алексеем Николаевичем они рассорились, и Бунины перестали бывать у Пушешниковых.

Сын покойного, Алексей Иванович Пушешников, совершенно не походил на отца: высокий, красивый, никогда ничего не читавший, страстный охотник, веселый общительный человек с прекрасным голосом, он очень любил Алексея Николаевича, родного дядю своей жены и, конечно, вскоре после смерти отца поехал в Озерки, и отношения возобновились.

Если Озерки были живописнее Бутырок, то село Глотово было живописнее Озерок, — шире и с бóльшим населением. Там было четыре усадьбы: Глотовых, Казаковых, которые впоследствии продали свое поместье Глотовым, Бахтеяровых, с водочным заводом, и Пушешниковых; последнее называлось Васильевское. С двух сторон этих усадеб шли раскинувшиеся улицы с избами бывших крепостных этих помещиков; было две лавки, школа и церковь, возвышавшаяся на выгоне, рядом с Васильевским. На глотовской стороне жило духовенство. Поместье Бахтеяровых от других усадеб отделяла узкая речонка Семенёк.

Дом в Васильевском был одноэтажный, без балкона, комнаты большие, высокие, с широкими половицами, в окнах поднимающиеся рамы.

За лето Ваня вытянулся, загорел, из мальчика превратился в подростка.

5

В сентябре 1884 года в сильном волнении «прискакали» в Елец родители Вани и, заехав за ним, отправились на вокзал, где уже, в ожидании поезда, сидел Юлий с двумя жандармами. Они в полном смятении рассказали, что накануне в Озерки вернулся Юлий и быстро был арестован, по доносу их соседа Логофета, как им сообщили.

Юлий Алексеевич был арестован потому, что его адрес нашли в подпольной типографии. Он послал приятелю сапоги, а тот забыл разорвать обертку с адресом отправителя.

Юлий Алексеевич принимал участие в народовольческом движении, был на Липецком съезде; его деятельность заключалась в том, что он писал революционные брошюры под псевдонимом Алексеев. Он не был активным деятелем. Очень конспиративный, с мягкими чертами характера, он и на следователя, вероятно, произвел впечатление случайно замешанного в революционное дело, а потому и отделался легко.



В. В. Пащенко.

И в гимназии, и в университете ему прочили научную карьеру, но он от нее отказался ради желания приносить пользу народу и бороться с существующим строем. Из всей семьи он один обладал абстрактным мышлением, физически тоже был не похож ни на отца, ни на братьев, — был неловок, совершенно не интересовался хозяйством, боялся жизни.

В Воронеже среди гимназистов вел революционную пропаганду семинарист, о котором Юлий Алексеевич долгие годы говорил младшему брату с благоговением, как о «светлой личности».

Мать же после его ареста дала обет Богу никогда не вкушать мяса, наложила на себя и другие посты и держала их до самой смерти. Проводы Юлия были очень тяжелы: когда родители с Ваней вошли в зал третьего класса, то увидали Юлия где-то в дальнем углу, рядом сидели жандармы, оказавшиеся добрыми людьми.

Мать смотрела на сына сухими горячими глазами.

По воспоминаниям Ивана Алексеевича, у Юлия было смущенное лицо, очень худое, на нем была отцовская енотовая шуба, за что один из жандармов похвалил:

— В поезде будет холодно; хорошо, что дали шубу.

Мать, услыхав человеческие слова, расплакалась.

На этот раз и отец, было, приуныл; но быстро справился, пошел в буфет, выпил водки, а затем — к станционному жандармскому офицеру узнать, нельзя ли отправить сына с двумя жандармами-провожатыми в первом классе?..

После отъезда родителей в деревню Ване стало невыносимо, хотя он и вспоминал слова отца:

— Ну, арестовали, ну, увезли и, может, в Сибирь сошлют, — даже наверное сошлют, да мало ли их нынче ссылают, и почему и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца? Нельзя жить плакучей ивой! Пройдет дурное, пройдет хорошее, как сказал Тихон Задонский, — все пройдет.

Но эти слова еще больнее были для Вани. Ему казалось, что весь мир для него опустел. Долго он бродил в тот вечер по городу, который казался ему чужим, и чувствовал свое одиночество. Несколько месяцев жил под этим впечатлением, стал серьезнее.

На Рождестве было особенно грустно. Мать убивалась. Поразило Ваню, что на следующий день, как Логофет донес на Юлия, его убило дерево, которое рубили в его саду.

Раз Ваня съездил с отцом в Васильевское. Бывали они и в Каменке, где жили Христина Андреевна Бунина с сыном Петей, хорошим охотником, который нигде не учился, носил косоворотку навыпуск и смазные сапоги, отличался смелостью и тихим медлительным характером, когда был трезв.

Бывали и у соседей Рышковых. Гости бывали и у Буниных, гостил у них и Николай Осипович, родной дядя жены Рышкова. Как-то один из «мон-шеров», — так называли в шутку себя

помещики этой округи потому, что, обращаясь друг к другу, говорили «мон шер», — зло пошутил над Николаем Осиповичем. Тот схватил гитару и, размахнувшись, ударил по голове его так, что гитара, проломившись, оказалась на плечах обидчика.

В Озерках, по наследству от бабушки, остался живший у нее на покое старый повар, который раньше был ловчим; Ваня очень любил расспрашивать его о былом, о охотниках, мужиках, и два рассказа его записал:

— И вот еще был на дворе у вашего папаши дворовый по прозвищу Ткач, — вы тогда, барчук, и на свет еще не рождались. И до чего же был этот Ткач веселый, бесстыжий и умный вор! Не воровать он прямо не мог, и нужды нет никакой, а не может не украсть. Раз свел у мужика на селе корову и схоронил ее в лесу — будь коровьи следы, по следам нашли бы, а следов никаких; он ее в лапти обул! А у другого овцу унес: пришли с обыском, искали, искали — ничего не нашли. А он сидит в избе, качает люльку — и никакого внимания на них: ищите, мол, ваше дело! а овца в люльке: положил ее туда, связанную, завесил пологом, сидит и качает, приговаривает:

— Спи, не кричи, а то зарежу!

Эти рассказы забавляли мальчика, а то, что повар повествовал о охоте, воспроизведено в рассказе «Ловчий».

Как-то раз отец вернулся из Ельца, он был очень пьян, ехал в тележке. Когда распрягали лошадь, Ваня заметил, что во все тележные щели засунуты золотые монеты...

Рассказывали, что, когда умерла сестра Людмилы Александровны, то ее имение, по закону, должно было перейти к последней. Муж покойной, помещик Резвый, пришел и стал плакаться: «Остается одно: выйти с сумой на большую дорогу...»

— Да Бог с тобой, — перебил его Алексей Николаевич, — живи, как жил!

И имение осталось за ним, но это ему не помогло: он женился вторично, а через несколько лет жена его выгнала, и он пропал без вести.

Вернувшись в Елец, Ваня принялся серьезно работать, учил уроки, читал, стал меньше заниматься скульптурой, хотя ему доставляло удовольствие сознание, что его черепа и кости лежали на некоторых могилах...

К весне он успокоился и, выдержав экзамены, перешел в четвертый класс. И к концу мая был уже у себя в Озерках.

Этим летом он уже реже играл в индейцев, страдая за мать и беспокоясь о Юлии.

Иногда ездил в Васильевское, где у его двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой было четверо маленьких мальчиков, —

старший, Ваня, был какой-то странный, болел астмой, был необыкновенно религиозный, но в то же время проявлял деспотические наклонности. Мать из-за этой болезненности очень баловала и даже побаивалась его.

Как всегда, Ваня Бунин проводил много времени в библиотеке старика Пушешникова, зачитывался поэтами и русскими, и в переводах, стал и сам кропать стихи, но пока втайне, никому не показывая.

В это лето Евгений Алексеевич задумал жениться. Он искал себе жену не среди помещичьих дочек, а девушку серьезную, работящую, так как уже понимал, что хозяйство отца идет под гору. Остановился на падчерице винокура Бахтеяровых, Настасье Карловне Гольдман. Винокур, Отто Карлович Туббе, был очень милый немец, с редким благорасположением ко всем.

Катерина, любовница Евгения Алексеевича, переживала драму. Она всем сердцем была привязана к отцу своей дочери. Приходила из Новоселок в Озерки, голосила под бунинским домом.

В июне Евгений Алексеевич сделал предложение, Настасья Карловна приняла его. Он нравился ей, льстило, что выходит замуж за дворянина, сына помещика.

Когда Евгений Алексеевич ездил к невесте, всегда брал с собой младшего брата, который не замедлил влюбиться в сестру невесты, Дуню, и по вечерам они ходили в соседнее имени Бахтеяровых, Колонтаевку («Шаховское» в «Митиной любви»), оба вели своих дам под руку. Имение было запущено, отчего там было особенно поэтично.

— Как-то, — рассказывал мне Иван Алексеевич, — мы возвращались ночью из Озерок; Евгений поехал провожать Настю и взял меня, и я ехал с Дуней на дрожках. Как сейчас вижу: рассвет, гуси через дорогу, это уже было в Васильевском, и, не помня себя, осмелился — поцеловал едва-едва Дуню. Неизъяснимое чувство, уже никогда больше неповторимое: ужас блаженства.

Свадьба была назначена на Ильин день в Знаменском, приходе Озерок. Пир у Буниных до зари. Гостей было много — и родные, и друзья, и соседи. Приехала из Ельца родная племянница Людмилы Александровны, дочь ее сестры, Вера Аркадьевна, рожденная Петина. Она только что разошлась с мужем и поселилась в Ельце. Прогостила она у Буниных несколько недель, и тут они сговорились, что Ваня в учебное время будет жить у нее.

Свадьба была очень веселая: пели, плясали, было выпито много шампанского. Ваня веселился больше всех. Он в новом гимназическом мундире надевал туфельку невесте, положил туда золотой, ехал с ней в карете с образом к венцу, а потому чувствовал себя одним из действующих лиц.

Молодые поселились у Буниных, в Озерках, и Настя уже ходила по утрам хозяйкой в кружевном капоте, пока не стала заниматься делом.

К концу месяца, на вечерней заре, когда вся семья сидела на балконе за самоваром, послышался стук колес, и из брички вылез еще более похудевшим, чем был перед тюрьмой, Юлий Алексеевич. Радости не было конца. Он отделался легко: на три года под надзор полиции в Озерки. Все ликовали. Мать немного успокоилась, — все дети около нее.

В середине августа, рано утром, Евгений, разбудив Ваню, повез его вместе с Егорчиком в Елец. Дуня гостила у Буниных, и бедный Ваня чуть не плача, полусонный простился с ней.

При въезде в город его на этот раз поразили ворота монастыря, на створах которых во весь рост были написаны два высоких святителя в епитрахилях. Утро было серое, на душе у него — грусть.

Жизнь в Ельце у Веры Аркадьевны очень не походила на жизнь у Бякиных или у ваятеля. И Ваня в первый раз увидел провинциальную богему. Его кузина была женщиной общительной, любила гостей, и у нее постоянно толклись офицеры, чиновники, актеры; самовар не сходил со стола, а по вечерам, если она не ездила в театр, то принимала у себя. При ней жила бывшая крепостная Александра Петровна, очень ей преданная, с деспотическими чертами характера женщина.

Ваню поразили актеры с бритыми губами и подбородками, свободой в обращении, беспрестанным хвастовством своими успехами. Благодаря им он начал бывать по контрамаркам в театре и перевидал все новинки сезона.

10 октября ему минуло 15 лет, и он уже стал чувствовать себя юношей, больше читал, чем занимался в гимназии, особенно трудно ему давалась алгебра, но он не задумывался, так как жизнь у Веры Аркадьевны била ключом. Она была доброй, как большинство легкомысленных женщин. Ваню она очень полюбила и баловала.

Когда, соскучившись по нем, приезжали родители, то они теперь брали с собой в город и Машу. Конечно, они тоже останавливались у племянницы, ходили в театр, цирк.

Матери не нравилось, что Ваня все время находится на людях, мало занимается, но она утешала себя тем, что это только когда они гостят у Веры Аркадьевны.

В декабре Ваня жил, ожидая наступления праздничных каникул. Ему позволили вернуться домой одному через Измалково. Отто Карлович, по словам отца, вышлет за ним лошадь, и он, переночевав у них, поедет на следующий день домой.

Маша рассказала ему, что у младших дочерей Отто Карловича, Зины и Саши, гувернантка, молоденькая и милая девушка. И он стал мечтать о ней.



Орел. Болховская улица. 1913.



Орел. Московская улица. 1910.

22 декабря гимназистов распустили на Святки. Ваня считал часы до отъезда на вокзал. Он был горд, что едет один по железной дороге. Надеялся, что в этот же вечер он увидит гувернантку. На вокзал приехал за три часа до прихода поезда.

6

«Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени:

Конец декабря 1885 года,

...серых тучек, ветер северный, сухой забирается под пальто и взметает по временам снег... Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и уже представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике... и много еще хорошего.

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться... Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно... Что меня ждет? задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, от чего меня к ней влечет? Может оттого, что мне про нее много рассказывала сестра...

Наконец, я задремал и не слыхал как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине мятели и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с бо́льшим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

...потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка — но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и верно тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа, не такие, как светские резкие женщины... Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знако-

мого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце!.. На крыльце я увидал Дуню и ее, как я предполагал; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, думал я, я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя (...?) и натянуто и почти что не разговаривал с ней. Но она напротив была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью... Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцовать только ее одну, гулял и наконец перед ужином она сказала мне: «давайте играть в карты! Хотите!» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостинную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцовать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, сказала она, я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я кроме того влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит... но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», шепчут мои губы.

Исполнились мои ожиданья.

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем наверно будут из Васильевского и в том числе гуверн. в которую я влюблен не на шутку.

...в тот же!» Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцалуй!......

Да! Пиша эти строки я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется — скажут они! Так! Человеку занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — *И. Б.*). Но может быть именно более

всего святое свойство души любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и следовательно более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того чтобы удержать в душе напевы:

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит...
. . . .

(Строчка точек в подлиннике).

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец, пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же и она упала ко мне на грудь. «Милый, шептала она, милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцаловал я ее и мы расстались . . . .
. . . .

(Точки строчек в подлиннике. — *И. Б.*)

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым — да еще вдвоем только... Впрочем ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, что бы она с кем-нибудь даже разговаривала... Да, глупость, глупость это», разуверял я себя...

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки... пробовал стихи писать, — звуки путались и ничего не выходило... передать всё я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы Бог знает что, а возьмешь перо и становишься в тупик... Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу.

Тишина была немая... Я все еще не спал... Порой на луну, должно быть, набегали облачка и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя свежая и лунная... Я был тогда в саду... И снова все перемешалось... Я глядел в угол. Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет... Вдруг все изменилось; я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится... Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок и далеко несется по заре словно колокольчик голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня... вдруг они нагнулись все и подняли... гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятья и жаркими поцалуями покрывал ее свежее личико... Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне... Вдруг всё потемнело... Кругом поле на сколько можно разглядеть, на руках у меня Мила... она шепчет и цалует меня: «милый, милый»... Далеко где-то звенит колокольчик... и... я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит. Эк! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять...

27 января 1886 г.

Вечер. Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением... да нет, впрочем, даже по небрежности, не внес в свой журнальчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святок.

30 декабря я встал уже с сладким мучением влюбленного и опять с ревностью в груди но не только к Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать и, что всего удивительней, даже, хотя говорили о ней что-то хорошее и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уверен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подобные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из...»

«Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озёрках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием».

...Когда после Святок пришло время ехать в Елец, Ваня твердо заявил, что он не хочет больше возвращаться в гимназию, а будет учиться дома с Юлием.

7

Почему все же допустили старшие, чтобы он бросил гимназию?

Отец думал: «Зачем ему амаликитяне?» Но во хмелю кричал на него: «Недоросль!» — а позже: «Неслужащий дворянин!»

Мать от счастья, что сын будет жить при ней, не упрекала его, надеясь, что Юлий подготовит Ваню к аттестату зрелости, ибо она понимала, что ему необходим диплом, заработок.

Но почему Юлий не воспротивился тому, что брат бросил гимназию, пожелав после праздников остаться дома? Он ведь лучше матери знал, что такое жизнь и как нужно высшее образование.

Я думаю, что, с одной стороны, ему не нравилось, что Ваня в Ельце живет у Веры Аркадьевны, у которой дом полон провинциальными праздными гостями: пока Ваня был подростком, это было не опасно, но вот у него начинается юность, пробудилось чувство влюбленности и для его возраста — общество не подходящее. Он тоже надеялся, с другой стороны, что подготовит брата к аттестату зрелости или, по крайней мере, к седьмому классу гимназии за время своей ссылки. Он еще летом почувствовал, что Ваня — одаренный мальчик, но совершенно недисциплинированный, с неразвитым чувством долга, усваивает охотно и крепко только то, что ему нравится; словом, Юлий попробовал отговаривать брата, но настаивать не стал: несмотря на серьезность, в нем жило эгоистическое легкомыслие, присущее Буниным, — он чувствовал, что без Вани ему будет уж очень тоскливо...

И началась новая жизнь для бывшего гимназиста.

С середины января они засели за учебники четвертого класса. Все шло гладко, кроме математики — алгебру он совершенно не мог постичь: *а* плюс *в* равняется *с*, он так и не уяснил себе, — все абстрактное его ум не воспринимал. И как ни бился Юлий, ничего не выходило, пришлось махнуть рукой на математические науки. Познакомил его только с главными законами физики и астрономии и обратил все внимание на историю, языки и особенно на литературу. И тут Ваня удивил брата необыкновенными успехами в этой области.

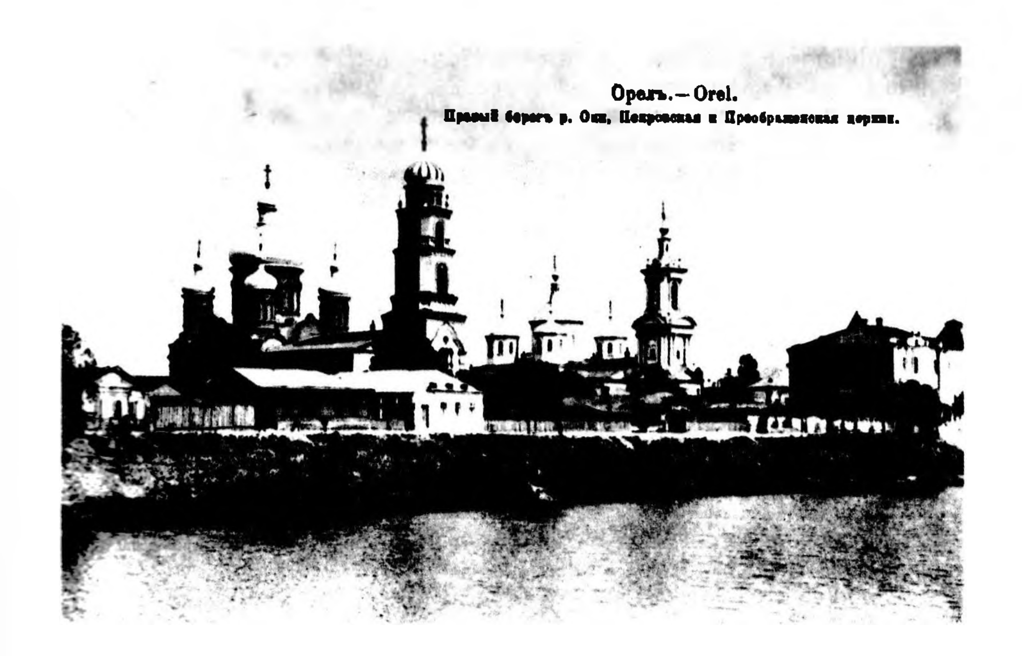
Юлий Алексеевич рассказывал мне: «Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца.

Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал «Неделя» и «Книжки Недели», редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса».

Обычно они гуляли два раза в день: перед дневным чаем и после ужина. Во время этих прогулок и велись серьезные разговоры, обсуждались произведения литературы. Юлий Алексеевич умел разнообразить темы, иногда прибегал к сократовскому методу беседы.

Близко от Озерок пролегала большая дорога, и они выходили на нее и в солнечные дни, и в лунные или тихие звездные вечера, когда там бывало сказочно хорошо. И тут иногда Юлий под клятвой сообщал Ване о своей подпольной деятельности, рассказывал, что еще в Воронеже у них был кружок гимназистов, который распропагандировал «очень умный и образованный семинарист», «светлая личность», член партии Земли и Воли. Узнал он, что Юлий присутствовал на знаменитом «Липецком съезде» в июне 1879 года, где революционеры партии «Земля и Воля» разделились на «Народную Волю» и «Черный передел», из которого вышла партия социал-демократов во главе с Плехановым, жившим за границей... Юлий был знаком с Софьей Перовской, незадолго до 1 марта 1881 года встречался с Желябовым, осенью 1879 г. близко сошелся с революционером Ал. Дм. Михайловым. Позднее, весной 1884 года, в Москве познакомился с Германом Лопатиным. После 1 марта 1881 года, осенью его исключили из Московского университета, и поэтому он и переселился в Харьков, где ему удалось поступить в университет и продолжать занятия по статистике. В Москве он жил вместе со своими воронежскими друзьями: Гончаровым, Пономаревым, Анциферовым, Преображенским и Босяцким; у них на квартире в Козицком переулке устраивались собрания, которые посещали и студенты университета, Петровской Академии, Технического училища и курсистки. Этими собраниями руководили настоящие революционеры. Главная цель их заключалась в помощи заключенным и ссыльным товарищам, расклеивали они на улицах и прокламации, рассылали их и по деревням и заводам. В Харькове у них была тайная типография. Юлий писал брошюры и листовки под псевдонимом Алексеев. На допросах он почти всегда отмалчивался и не дал себя поймать. По-видимому, на следователя Юлий Алексеевич произвел впечатление случайно попавшего в дело; он поверил, что сапоги были посланы прияте-



Орел. Правый берег реки Оки.
Покровская и Преображенская церкви.



Орел. Базар на берегу реки Оки.

лю по данному им адресу, о революционной деятельности которого он ничего не знал, — уж очень тих и спокоен бывал Юлий Алексеевич на допросах, и, не раздражая следователя, он обманул его, поэтому и была присуждена ему ссылка на родину, вместо Сибири.

После вечерней прогулки вся семья собиралась вокруг чайного стола. За самоваром сидела молодая жена Евгения Алексеевича. Она была сильная, энергичная женщина, трудолюбивая, — весь день что-нибудь делала. Когда отец бывал трезв, эти вечера были полны интереса: тут шли рассказы из другой области, больше воспоминания о старине. Алексей Николаевич поведал и о своем роде, о том, что они выходцы из Литвы: о роде Буниных в «Гербовнике дворянских родов» сказано, что Бунины происходят от Симеона Бутковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на службу к Великому Князю Московскому Василию Темному. Узнал Ваня в эти вечера, что при взятии Казани погиб их предок Александр Бунин, а другой, Козьма Леонтьевич, был стольником при великих князьях Иоанне и Петре Алексеевичах, и что это все записано в Воронежских дворянских книгах, что род их вписан в шестую книгу, которая называется бархатной, — все это занимало его, льстило ему, но под влиянием Юлия глубокого впечатления не оставляло.

Юлий же сообщил, что он читал, что первыми граверами были «знаменщики» или рисовальщики Серебряной Палаты, составлявшей отделение Оружейной Палаты. Среди первых московских граверов встречается имя знаменитого «знаменщика» Серебряной Палаты Леонтия Бунина. «Так там и написано, — продолжал Юлий Алексеевич: — плодовитый гравер сей Леонтий Бунин, кроме множества отдельных листов, награвировал целые книги: букварь Кариона Истомина 1692 («Сий Букварь очини Иеромонах Карион,) а знамени и резал Леонтий Бунин х ЗСВ — и Синодик 1700 г.» «Л. Б.». То, что в скобках, и последнюю фразу Юлий Алексеевич, по словам младшего брата, записал в книжечку, а начало рассказывал наизусть.

Иногда отец брал гитару и пел старинные русские песни; пел он музыкально, подняв брови, чаще с печальным видом и производил большое впечатление.

В своих стихах «На хуторе», написанных в 1897 году, Бунин дает картину этого вечера:

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалью печальной
Песни беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?

Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...
Не судья тебе я за грехи былого,
Не воротишь жизни прожитой назад!

Больше всего Ваня любил песню на два голоса, которую его отец пел один или с кем-нибудь. К сожалению, середину ее он забыл, и никто ему не мог ее восстановить; вот как он сам о ней записал:

«Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал:

— Что ты замолк и сидишь одиноко,
Дума лежит на угрюмом челе?
Иль ты не видишь бокал на столе?
Иль ты не видишь бокал на столе?

— Долго на свете не знал я приюту,
Долго носила земля сироту!
Раз, в незабвенную жизни минуту,
Раз я увидел созданье одно,
В коем все сердце мое вмещено!
В коем все сердце мое вмещено!

Средины песни не помню, — помню только ту печальную, но бодрую, даже дикую удаль, с которой вопрошавший друг обращался к своему печальному другу:

— Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!»

Эту песню приводит Иван Алексеевич в своем рассказе «Байбаки», потом озаглавленном «В поле», написанном в 1895 году, но и там нет середины. Вероятно, он не запомнил середины песни и писал этот рассказ вдали от отца, в Полтаве, не мог спросить, а потом забыл, так и пропала середина песни, которую так хорошо исполнял его отец. Он даже перед смертью жалел, что забыл ее.

Отец любил повествовать и о более близких предках, о своем деде, который был человек богатый, имел поместья в Воронежской и Тамбовской губерниях и только под старость поселился в своей родовой вотчине Орловской губернии, Елецком уезде, в Каменке. «Он не любил лесов, — а ведь не так давно все эти места были покрыты лесами, а теперь остался только Трошинский лес», — смеялся отец.

— При моем отце, Николае Дмитриевиче, — рассказывал

Алексей Николаевич, — был здесь уже полустепной простор, засеянные поля. Но сад еще был замечательный: аллея в семьдесят развесистых берез, а фруктовый сад какой! а вишенник, малинник, сколько крыжовнику, а дальше целая роща тополей, а вот дом оставался под соломенной крышей и горел несколько раз, потом опять отстраивался, икона безглавого Меркурия тоже несколько пожаров выдержала, даже один раз раскололась!

Рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей: «Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным».

Мать тоже иногда вмешивалась в разговор и сообщала детям, что ее предки были помещиками Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что в их семье жила легенда: некогда Чубаровы были князьями. Петр Великий казнил одного князя Чубарова, стрельца, сторонника царевны Софьи, и лишил весь род княжеского титула.

Иногда разговоры касались более близких родных, еще живых, например, тети Вари. Дети уже знали, что она «помешалась», когда отказала сделавшему ей предложение офицеру, товарищу по полку дяди Николая. Тут они узнали, что ее лечили и доктора, и знахари, возили ее и к мощам Митрофания в Воронеж, и к мощам Тихона Задонского. Долго ничего не помогало, ей казалось, как и ее тетке, Ольге Дмитриевне, что в нее по ночам вселяется «Змий эдемский и иерусалимский». Теперь она успокоилась, только стала очень неряшлива, живет в страшной грязи, у нее несколько десятин земли, корова и куры, она держит работника, который обращается с ней очень грубо: раз чуть не убил ее, замахнулся топором; она воскликнула:

— Ну, что же, убьешь меня, я в Царство Небесное попаду, а ты на каторгу, а потом в аду гореть будешь...

Все это очень веселило ее племянников и племянницу, и подобные вечера проходили очень оживленно, к юмору они все были чутки.

На масленице приезжали Туббе с гувернанткой и внесли оживление и веселье. Молодежь решила ехать ряжеными по соседям: Ваня был в восторге, предвкушая поездку в санях с Эмилией. Ему подвили его густые волосы, подрисовали углем усики, нарумянили свеклой щеки, одели добрым молодцем, и он лихо, вприсядку, отплясывал «русскую» вместе со своей невесткой. Юлий Алексеевич был наряжен пашой: в тюрбане и в материнском капоте. Вообще костюмы были незатейливые, но зато веселье было непосредственное и безграничное. Побывали они у Рышковых, в Каменке у Буниных, заехали и к Ромашковым, везде их радушно принимали и обильно угощали.

После масленицы, постом, опять принялись за занятия. Ваня, начитавшись поэтов, писал стихи, но они не дошли до меня. Он нигде не печатал их, но писал, по его словам, с удовольствием и увлечением.

17 марта, в день Алексея Божьего Человека, именины отца. Было много гостей. В Ельце Алексей Николаевич закупил вина, закусок, — деньги еще не перевелись, и вот в этот-то день дьякон из Знаменского съел один всю икру, два фунта, что так восхитило Чехова, когда он услышал это от Ивана Алексеевича, и этим он начал свою повесть «В овраге»; только у него не дьякон, а дьячок.

Именинник был в отличном настроении, много пел и один и вместе с Пушешниковым под гитару, пели они и любимую песню Вани, где один вопрошает, а другой отвечает. У Алексея Николаевича был небольшой, но приятный по тембру голос, а у Пушешникова — чудесный баритон.

После пения плясали под гитары: Ваня опять с редкой легкостью «выписывал ногами кренделя», стараясь пленить Эмилию, Настя закидывала «ножку за ножку», чем немного шокировала свекра, или плыла лебедем, держа платочек в поднятой руке.

Дней через десять к ним приехал из Васильевского Петя Бунин и сообщил, что с его зятем плохо: «упал утром в гостиной, потеряв сознание».

Отец взволновался, он любил Алешу Пушешникова и неожиданно предложил Ване ехать с ним в Васильевское. Мигом собрались и понеслись в бегунках.

Но там уже было спокойно: Алеша сам их встретил в передней, сказав, что чувствует себя хорошо и что он не понимает, что такое с ним приключилось.

— А ты пей поменьше, — посоветовал Алексей Николаевич.

Потом пошли навестить Туббе, где их угощали полотками, разными закусками, всякими наливками, соленьями и маринадами. Жена Отто Карловича, Александра Гавриловна, чистокровная русская, была дважды замужем за немцами, любила хозяйство и научилась всяким немецким блюдам вплоть до сладких супов, что не было по вкусу Буниным.

Ваня с Эмилией, взяв с собой детей, Зину и Сашу, отправились в любимую Колонтаевку. Девочки бежали впереди и не мешали влюбленным нести восторженный вздор. Ваня читал стихи, читал и свои произведения, которые на нее действовали, — она была по-немецки сентиментальна.

В поле было хорошо, вдали стояли в снегу деревья, ведущие к усадьбе. Колонтаевка принадлежала тоже некогда их матери, и Ваня всегда чувствовал грусть, что она у чужих.

Колонтаевка, действительно, была прелестна, но я воздержусь от описания ее, ибо она дана в «Митиной любви» под именем «Шаховское».

Вскоре пошла полая вода, и в том году она была бурна и обильна, и никто из Васильевского не приезжал к ним, и они никуда не ездили. К Пасхе подсохло, на первый день Святой вся семья решила отправиться к Пушешниковым и Туббе. Все были уже на крыльце, чтобы сесть в экипажи, как в воротах увидали сходящего с дрожек Петю.

— Вы к нам? — спросил он.

— Да...

— Как нельзя вовремя, — медленно в нос, немного нараспев по своей манере, продолжал он, — Алексей Иванович приказал долго жить, — сегодня утром вошел в спальню сестры, поздоровался, упал, и дух вон...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В Васильевском нашли покойника уже на столе, заплаканную жену и испуганных маленьких детей.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова образовала грань в жизни юноши Бунина, тем более что совпала с первой влюбленностью, точно наметила две главные темы будущего писателя: любовь и смерть.

Всякую смерть в детстве и в раннем отрочестве, когда все события, если и не стираются, то уходят куда-то под спуд, он переживал с необыкновенной остротой и болью и долго после не мог прийти в себя. В начале юности он переживал это уже несколько иначе.

Алексей Иванович ему нравился и своей удалью, и красотой цыганского типа, и очень приятным голосом, и тем родственным чувством, с каким он относился ко всей его семье. Бывал он с ним и на охоте, когда Алексей Иванович был очарователен в своей несколько дикой красоте и отваге.

Бунин выводит его в рассказе «Антоновские яблоки» — в лице Арсения Семеновича Клементьева.

«...А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, пользуясь суматохой, взлезает среди гостей на стол и начинает пожирать остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг, опрокидывает тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семенович стоит и смеется.



Орел. Ильинская площадь. 1913.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, в бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он декламирует баритоном:

— Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!» («Антоновские яблоки»).

И вот этот жизнерадостный человек лежит на столе. «В том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, щурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами, — до сих пор вижу их лиловато смуглую выпуклость, с великолепно расчесанными еще мокрыми смольными волосами и такой же бородой...» («Жизнь Арсеньева»).

Сначала Ваня тупо смотрел на покойника, ничего не чувствуя. Но к вечеру, к панихиде он понял, что случилось, и его объял ужас. Поражало и то, как «зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивыми «Христос Воскресе из мертвых» («Жизнь Арсеньева»).

После панихиды к вдове стали подходить знакомые и выражать ей сочувствие. Подошел и один из лавочников в Глотове со словами:

— Позвольте вас поздравить с новопреставленным...

И несмотря на ужас и горе, Ваня это поздравление запомнил и через двадцать один год в рассказе «Астма» приводит его.

Им с Юлием постелили в кабинете. Ваня так одетый и повалился на диван, спал со странными кошмарами, — все казалось, что сам покойник ходит вместе с гостями и все переставляет, переносит мебель из комнаты в комнату.

Утром его особенно остро пронзила лиловая крышка гроба, поставленная у главного крыльца. Весь день ходил, как ошалелый, по саду, заглядывал в детскую, где малыши уже беззаботно играли, не понимая, что случилось. Трогала и плачущая украдкой нянька, называвшая их сиротами.

В доме шли панихиды, приезжали и уезжали родные, соседи, заходили местные друзья и знакомые. Прислуга с ног сбивалась, подавая то обед, то чай, то ужин...

На утренней панихиде было положение во гроб, и в гробу покойник казался страшнее, особенно от замены простыни золотым парчовым покровом.

Вторую ночь Ваня почти совсем не спал, в коридоре через

дверь в зал он услышал чтение дьячка: «возвышают реки голос свой... возвышают реки волны свои...»

«Дрожь восторженных слез охватила меня...» («Жизнь Арсеньева»). Он вышел через коридор на заднее крыльцо и долго ходил вокруг дома по двору, затем остановился и стал смотреть за реку на флигель, где жили Туббе, увидел в одном окне огонь...

«Это *она* не спит, — подумал я, — «Возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои», — подумал я, — и огонь лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез счастья, любви, надежд и какой-то исступленной, ликующей нежности» («Жизнь Арсеньева»).

На третий день были похороны. Они воскрешены в «Жизни Арсеньева».

После поминального обеда все родные, друзья и знакомые разъехались. Остался только Алексей Николаевич с младшим сыном, который находился все «в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец которой я только что видел воочию» («Жизнь Арсеньева»).

Дни он делил между книгами, читал «Фауста» Гёте, и свиданиями с Эмилией, которая, увы, собиралась к себе в Ревель. Может быть, Туббе и отсылали ее, боясь этого юного увлечения. Конечно, для него это был удар.

В день, когда Эмилия уехала, он, после обильных слез, ушел пешком в Озерки, не дожидаясь отца, которому нужно было еще остаться, чтобы помочь племяннице-вдове в делах.

Мать, увидя своего любимца, обомлела, — до чего он исхудал за полмесяца!

Потеря близкого, любимого человека, затем разлука с Эмилией окончательно превратили его из подростка в юношу. Он почувствовал себя взрослым, хотя ему шел всего шестнадцатый год. И он уже стал задумываться о будущем.

За зиму он, под руководством Юлия Алексеевича, сильно развился, приобрел много знаний, перечитал немало книг — почти всех русских классиков, некоторых иностранных и уже видел мир не по-детски, а со всей остротой своей восприимчивой натуры.

После возвращения из Васильевского занятия с Юлием, беседы с ним, чтение серьезных книг продолжались с большим напряжением.

Начал он и о себе думать как о поэте, много писал стихов, по-новому стал смотреть на природу, как бы изучая ее, а не только восхищаясь ею. Он обладал тонким слухом, редким обонянием, зрение у него было удивительное: мог в созвездии Плеяд различать семь звезд.

Отец, желая отвлечь его от мрачных мыслей, подарил ему

Кабардинку, и он подолгу ездил верхом. Он на редкость хорошо сидел в седле, любил охоту, его приводили в восторг трубный глас и гон в осенних лесах.

Долго в ту весну за всем прекрасным он чувствовал смерть, повсюду чудилось быстрое увядание. Спасло от нервной болезни увлечение Эмилией, хотя оно было уже безнадежным. Но все равно ему, как поэту, это было по душе: он тоже страдает, — у него есть своя дама...

За лето он поздоровел, вытянулся, часто ездил в Васильевское, молодая вдова, — ей было всего 28 лет, — понемногу приходила в себя. У нее на руках было четверо детей, хозяйство по имению, и ей приходилось волей-неволей, несмотря на горе, втягиваться в жизнь.

Бывали Бунины и в Каменке, где теперь жил в одиночестве их двоюродный брат, Петр Николаевич Бунин, так как его мать, Христина Андреевна, переехала к дочери в Васильевское. Это была полная с усиками жизнерадостная женщина, очень энергичная, восторженная институтка, страстная картежница, более образованная, чем ее свойственники и соседи, говорившая по-французски и по-немецки. Иногда они с Николаем Осиповичем Ромашковым, воспитателем Вани, вели разговор на иностранном языке.

Юлий стал уже читать Ване лекции, даже некоторые университетские курсы: по политической экономии, истории и философии, стал его чувствовать по развитию почти равным себе, а по поэтической одаренности — выше.

Осенью Ваня особенно рьяно писал стихи. И уже Юлий начал поговаривать, что следует послать их в какой-нибудь журнал, например, в «Родину».

В Озерках жили еще хлебно. Урожай был хороший. Все были вместе. Отец иногда запивал, буянил, всех остроумно ругая, но не так еще свирепо. Когда он бывал трезв, то по целым дням читал; прочел даже все лекции Юлия, вплоть до высшей математики, а по вечерам чаще всего, сидя на лежанке, брал гитару и пел старинные песни, например:

На сумерки буен ветер загулял,
Широко мои ворота растворил,
Широко мои ворота растворил,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

Вся семья любила слушать его пение.

Осенью Ваня уже стал ездить с отцом и другими «моншерами» на охоту, — были еще и борзые и гончие.

Он вырос из своей гимназической формы. Начались страдания, когда нужно было отправляться куда-нибудь в гости. Юлий подарил ему свой серенький костюмчик, в котором его везли в тюрьму. Денег свободных на одежду у родителей не было. Но и в сереньком костюме ему становилось не по себе, — казалось, что все видят, что костюм на нем с чужого плеча. Особенно тяжело стало, когда приходилось, набив бумаги в носки ботинок, надевать отцовскую обувь. И он чувствовал, что и другие начинают относиться к нему не так, как прежде, когда у них все было.

Как-то он приехал к Пушешниковым на старой лошади и остановился у окна, возле которого сидел маленький Коля с черными внимательными глазками.

— Вы бедные? — спросил он, с грустью смотря на него.

И как потом дразнил его Иван Алексеевич этой фразой, когда обстоятельства изменились!

С непередаваемым юмором, хотя и некоторой горечью, он рассказывал, как однажды, когда он был на именинах у Вукола Иванова, богача по сравнению с его односельчанами, единокровного брата покойного А. И. Пушешникова, он именно был так обут. Хозяин схватил его под руку и, подведя к столу, в пьяном упоении от гостеприимства и сознания своего богатства кричал:

— Пей, глупец!

Запись Вани Бунина 20 декабря 86 года.

«Вечер. На дворе, не смолкая, бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный, резкий ветер бьет в лицо снегом. В непроглядной крутящейся мгле не видно даже строений. Едва-едва, как в тумане, заметен занесенный сад. Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает мятель да мурлычет какую-то песенку Маша. Прислушиваешься к этим напевам и отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Лень шевельнуться, лень мыслить.

А на дворе все так же бушует мятель. Тихо и однообразно протекает время. По-прежнему лампа горит слабым светом. Если в комнате совершенно стихает, слышно, как сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно. Всю ночь будет бушевать мятель и к рассвету нанесет высокий снежный сугроб».

В январе 1887 года младшего сына Буниных потрясла смерть Надсона. Вот как он воскрешает это событие в «Жизни Арсеньева»:

«...Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! Я кое-что из Надсона читал, и сколько ни

старался, никак не мог растрогать себя. «Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет» — это казалось только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет н а д прудом и даже склоняется над ним «зелеными ветвями». Но все равно, — Надсон был «безвременно погибший поэт», юноша с прекрасным печальным взором, «угасший среди роз и кипарисов на берегу лазурного южного моря...». Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, «утопавший в цветах», отправлен для торжественного погребения «в морозный и туманный Петербург», я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец тревожно поглядывал на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя.

— Ах, только и всего! — удивленно спросил он и сердито прибавил с облегчением: — Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!»

Но молодой Бунин долго не мог утешиться и они с Юлием без конца говорили об этом событии, возмущаясь, вместе со всей левой Россией, Бурениным, незадолго до смерти поэта грубо издевавшимся над ним в «Новом Времени».

Вероятно, эта смерть побудила его еще более рьяно писать стихи, и наконец он сдался уговорам старшего брата и послал своего «Деревенского нищего», написанного еще в 1886 году, в журнал «Родина». Почему выбрали именно это стихотворение? Стихи совсем не бунинские. Были лучше, например:

Шире, грудь, распахнись для приятия
Чувств весенних — минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтоб я слился с красою твоей.

Ты, высокое небо далекое,
Беспредельный простор голубой!
Ты, зеленое поле широкое!
Только к вам я стремлюся душой.

Написаны эти стихи 28 марта 1886 года, когда поэту было всего пятнадцать с половиной лет. Были и другие стихи. Почему же послали наиболее слабые? Думаю, потому, что в «Деревенском нищем» поэт будил «чувства добрые», и Юлий Алексеевич решил, что с этими «чувствами» скорее редакция примет, и не ошибся.

Конечно, волнений, особенно скрытых, было немало: напечатают ли?

Прошло месяца три, а в «Родине» его стихи не появлялись, он махнул рукой: «Не быть ему автором!»



И. А. Бунин, В. В. Пащенко. Полтава, 1892.

...Как-то в середине мая он поехал в Васильевское за книгами, на следующее утро он направился к Туббе, где ему всегда становилось грустно при воспоминании о Эмилии...

В 1938 году, когда Иван Алексеевич был в Ревеле, столице Эстонской республики, после вечера, где он выступал, подошла к нему полная, небольшого роста дама. Это была Эмилия!

Они долго говорили. Она расспрашивала о всех, поминутно у нее на глаза навертывались слезы при известии о смертях Евгения, Насти, Юлия, Маши, Отто Карловича и его жены. Узнала она, что ее воспитанницы, Саша и Зина, вышли замуж, что Софья Николаевна еще жива, как и все ее сыновья, кроме Вани, умершего в отроческие годы, всегда страдавшего астмой, что все Пушешниковы остались в России. Обо всех расспрашивала подробно. Иван Алексеевич взволнованно рассказывал мне об этой встрече. Вспоминал он Эмилию и их неожиданную встречу и незадолго до смерти.

2

На мосту, когда он шел от Пушешниковых к Туббе, его нагнал кучер Бахтеяровых, ездивший на почту, и протянул журнал «Родина» со словами:

— Он — Иван Алексеевич, а ничего!

Это была первая рецензия человека из народа. Грамотный кучер просмотрел по дороге журнал.

Поэт схватил «Родину», забежал на минуту к Туббе, сунул Отто Карловичу свои стихи. Добрый немец, увидав подпись, прослезился, а поэт, отказавшись даже от любимых полотков, помчался назад через мост в Васильевское и, показав Софье Николаевне стихи, «тотчас отправился пешком в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свои стихи, это утро никогда не забудешь!»

Дома он молча подал матери журнал, открытый на странице с его стихами. Все были горды. И раньше, когда отцу давали читать его стихи, он говорил: «Иван рожден поэтом, ни на что другое не способен...»

А когда Евгений, дразня Ваню, рисовал его в будущем маленьким чиновником, женившимся на хорошей хозяйке с приданым, имеющим детей, корову и птицу, то он от злобы готов был плакать...

Мать отнеслась спокойнее всех к этому событию: она всегда чувствовала, что он будет «особенный, необыкновенный»...

Юлий был доволен. Он понимал, что Ваня никогда из-за математики не приготовится не только на аттестат зрелости, но и не выдержит экзаменов в седьмой класс гимназии.

Маша по-детски прыгала, радуясь, что у нее брат — поэт!

После этого он перестал по ночам спать, наблюдая и изучая таинственную ночную жизнь, обходя усадьбу, иногда выходя на большак, и так месяца два засыпал только днем.

Лето было прекрасное, в саду было множество роз. Может быть, по его словам, «самое поэтическое во всей моей молодости». Он писал много стихов. Они с братом стали еще выписывать выходивший в Москве толстый журнал «Русская Мысль».

Выписывали же они все на имя Отто Карловича на Измалково, — от Бахтеяровых на почту ездили ежедневно, тогда как из Озерок очень редко.

В это время в «Книжках Недели» появилось объявление о выходе отдельного издания стихов Надсона, имя которого «гремело» по всей России, им зачитывались даже в медвежьих углах сельские учителя, доктора, семинаристы, дети помещиков и сами помещики. Действительно, слава Надсона была всероссийской.

Это объявление взволновало юного поэта, — он потом признавался, смеясь, что всероссийская слава Надсона его очень окрылила, и он решил «самому добиться подобной славы». Был нетерпелив: сказано — сделано. Прежде всего надо скорее прочесть всю книгу целиком, чтобы понять, чем вызвана такая слава! Значит, нужно отправиться в Елец, в библиотеку, и внимательно прочесть стихи. Но как добраться до города? Кабардинка, как на грех, захромала. Рабочие лошади были заняты, да и их было уже мало. Евгений ни за что не дал бы, — как все мелкопоместные дворяне, он был жаден на лошадей. Что же делать? Решил идти пешком. Юлий отсоветовал, а мать поддержала, — она сама в один день с бабами ходила в Задонск на богомолье, а потому ей казались пустяками тридцать верст! Вообще она была сильной и здоровой женщиной до своего заболевания астмой, — ей ничего не стоило, например, таскать детей из ванны на руках чуть ли не до четырнадцатилетнего возраста, чтобы они не простудились.

Вышел он на заре и без отдыха дошел до Ельца. Сначала шел по холодку большой дороги, а затем стало печь солнце, и от Становой он зашагал уже вдоль шоссе, часам к трем был у цели своего пути. Библиотекарша огорошила его:

— На Надсона запись. Раньше месяца не дождетесь.

Он чуть не заплакал, — путь был не малый!

Стоял, молчал, не зная, что делать?

Но барышня оказалась милостивой: она читала его стихи в «Родине», знала его в лицо еще гимназистом, когда сама училась, и дала ему собственный экземпляр.

Это была настоящая радость. Он схватил драгоценную книгу и опрометью бросился из библиотеки, чуть не сшиб с ног встретившуюся ему на крыльце барышню и, идя по мостовой в трактир, чтобы закусить и напиться чаю, не отрываясь, читал стихи за стихами.

...В трактире встретил озерских мужиков, которые радушно пригласили его к своему столу, обрадовавшись, что увидали своего барчука, а потом предложили довезти его до дому. Они приехали за кирпичами. После долгого чаепития все отправились на завод, где стояли телеги, мужики очень медленно накладывали кирпичи и почти в темноте тронулись в обратный путь. Юный поэт лежал на твердых кирпичах, держа в руках книгу. Было душно, началась гроза, да такая, что несмотря на то, что мужики укрыли его всем, чем могли, он промок до костей, но книгу, положив под себя, довез сухою. Дома очень беспокоились. К счастью, он не простудился.

Они с Юлием подробно обсуждали стихи Надсона, и Юлий Алексеевич поражался суждениями своего младшего брата, развенчивающего российского кумира, первого, но не последнего. И в будущем многие кумиры не стали его кумирами, — это было до последних дней его, на все был у него собственный взгляд, собственный вкус.

Но все же книга Надсона подхлестнула его. Он много читал и писал все лето и зиму. Особенно часто он перечитывал Пушкина. Он утверждал, чо «Пушкин был в ту пору подлинной частью моей жизни».

Ему было даже трудно определить, когда Пушкин вошел в его жизнь. Он считал, что это — благодаря матери, которую звали пушкинским именем Людмила и которая читала ему с младенчества стихи Пушкина, что он отожествлял со своей жизнью. Было это и со стихами Лермонтова, тем более, что родовое имение Лермонтовых находилось верстах в тридцати от Озерок.

Летом у поэта было два увлечения: сначала его сердце «пронзила» тоненькая, худенькая барышня, с которой он столкнулся при выходе из библиотеки. Оказалось, что она гостит у своих родственников Рышковых; но с ней он не познакомился, так как в то лето его отец был в ссоре с Рышковым, и семьи не бывали друг у друга. И они только при встречах с барышней раскланивались, когда она с матерью и Любовью Александровной Рышковой шли к пруду. У нее был чахоточный вид, ей запрещено было купаться, и она только сидела разутая в тени и грела худенькие ноги на солнце. Но в свои бессонные ночи поэт подолгу простаивал перед усадьбой Рышковых и смотрел в окно, где она спала, — он знал, что ей отвели комнату Егорчика, который в это лето не жил дома.

Юный поэт писал ей стихи, о чем она и понятия не имела.

Все кончилось после ее внезапного отъезда, но быстро явилось утешение еще более приятное.

К Цвеленевым приехали погостить из Петербурга две барышни, дальние родственницы. Младшая была красива, ловка, весела, свободна в обращении, так что он терялся, испытывая



Ю. А. Бунин. Полтава, 1890-е годы.

ее превосходство. И все же они были в дружеских отношениях и много времени проводили вместе. Хотя она и помыкала им, он чувствовал, что она любит его общество. По целым дням они играли в крокет, а на вечерней заре скакали, сломя голову, по большой дороге, и он уже начинал увлекаться этой амазонкой. По ночам писал и ходил вокруг усадеб, особенно долго в лунные ночи. Но и эта история неожиданно прервалась: как-то он пришел к Цвеленевым играть в крокет, и его огорошило известие, что барышни на следующий день уезжают в Крым.

После их отъезда образовалась пустота, которую он не знал чем заполнить. Стояла рабочая пора, и он начал ходить на косьбу, попробовал и сам косить, научился всаживать вилы в тяжелый сноп и вскидывать его на все растущий воз: работа трудная, но веселая. Затем стягивал воз крепкой веревкой и сопровождал его на гумно.

Во время молотьбы, когда особенно бывает уютно и оживленно в риге, он все время проводил там, и у него возникла дружба с молодыми бабами и девками.

Состояние Буниных, несмотря на урожай, таяло; началось переписывание векселей. Иногда не хватало денег на проценты, уже высокие. Отец чувствовал, что дела идут плохо, чаще запивал, порой бывал буен. Приходилось семье от него запираться, баррикадироваться в комнатах, он мог быть опасен, так как с ружьем во хмелю никогда не расставался. К счастью, это бывало не так часто.

Жили еще сытно. Хозяйствовала Настасья Карловна, женщина экономная, работящая. Евгений вовремя начинал пахать, сеять, косить, молотить, стараясь подтянуть полевое хозяйство.

В ту пору как-то, по поручению отца, младший сын поехал в Елец, чтобы запродать зерно.

Скупщик оказался оригинальным человеком, стал расспрашивать о его планах, оказалось, что он читал его стихи в «Родине», признался, что и сам в молодости писал. Советовал ему серьезно отнестись к своему дарованию, так как надеяться ему не на что, — он прекрасно был осведомлен о положении бунинских дел.

На вокзал Ваня ехал очень взволнованным от этого разговора.

В книжном киоске он увидел «Пестрые рассказы» А. Чехонте и купил их. Всю дорогу до Измалкова он, не отрываясь, читал и прочел все. С тех пор Чехов вошел в его жизнь.

10 октября ему минуло семнадцать лет. Он стал задумываться о своей судьбе. Его тяготило, что он ничего, кроме Ельца, не видел. Летом кончается срок ссылки Юлия, который уедет в Харьков, где у него друзья. Он обещает, когда устроится сам, выписать к себе брата.

А пока нужно продолжать занятия: читать, писать, слушать лекции Юлия и вести с ним беседы на всякие темы, — прав елецкий ссыпщик зерна.

Как-то его охватило сильное желание увидеть Толстого, которого он все выше и выше оценивал. Он оседлал своего коня и отправился в Ясную Поляну: путь держал на Ефремов, стоящий на Красивой Мечи, реке Тургенева, что его волновало. Он очень утомился за дорогу, и так как у него не было в этом городе знакомых, то он пошел в городской сад, сел на скамейку, а потом и заснул. Проснулся на заре и от утренней свежести, придя в себя, почувствовал робость. Денег у него было мало, и он повернул домой, гнал во всю прыть свою Кабардинку и когда вернулся домой, то работник покачал головой, увидев, в каком состоянии была его лошадь...

Жизнь в Озерках с начала 1888 года продолжала течь попрежнему, только все более и более чувствовалось оскудение.

Юлий вел оживленную переписку со своими друзьями, обосновавшимися в Харькове и звавшими его по окончании ссылки приехать туда, обещая устроить его на место.

Евгений с женой уже стали подумывать о том, чтобы отделиться и начать собственное дело. Вскоре они арендовали усадьбу Цвеленевых и поселились в доме. У Буниных стало просторнее и более беспорядочно. Когда варили варенье, то оно съедалось сразу столовыми ложками. За полевым хозяйством Евгений продолжал присматривать, но оно из-за отсутствия капитала и высоких процентов по векселям неуклонно шло на убыль.

Отец все чаще запивал, мать еще больше горевала, видя, что уже не бедность, а нищета не за горами. Болело сердце, что Юленька летом улетит, она понимала, что ему здесь делать нечего, и все же страдала от предстоящей разлуки. Юлий Алексеевич продолжал заниматься с младшим братом, но уже их занятия походили больше на университетские семинарии, Ваня писал много стихов, летом даже отважился послать несколько стихотворений в толстый журнал «Книжки Недели».

Зимой сыграли свадьбу младшей падчерицы Отто Карловича, той Дуни, которая некогда пленяла Ваню. Выдали ее за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа «Я всё молчу!». Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: «Прах моей могилы всё узнает» и «я все молчу»... Свадьба была пышная, свадебный пир происходил в помещичьем доме Бахтеяровых, которые все зимы проводили в городе. На пиру «молодой», сделав вид, что приревновал «молодую», оборвал ей шлейф, нарочно наступив на него, мучил он ее и в замужестве, иногда очень гадко, в конце

концов она не выдержала и бросила его, а он понемногу дошел почти до нищеты.

Когда рассказ «Я все молчу» был напечатан в газете «Русское Слово», кто-то показал его «Шаше». Тот прочитал и с возмущением сказал: «Уж если писать, так должен был писать всю правду, а не выдумывать...» (Видимо, он все же был доволен, что о нем напечатано в газете...)

Летние месяцы прошли в разговорах о переезде Юлия в Харьков. Мать сокрушалась, а младший брат двояко относился к этой разлуке: с одной стороны, без Юлия ему будет одиноко и скучно, а с другой — есть надежда выбраться из Озерок, пожить в губернском городе.

В июле очень поддержало его дух письмо Гайдебурова, взявшего три стихотворения для «Книжек Недели». Это уже не «Родина»!.. Там печатались знаменитые писатели и поэты... Весь дом радовался, а у юного поэта снова заиграли мечты, надежды...

23 августа они поехали в Елец, где Юлий Алексеевич получил свидетельство на выезд и жительство в Харькове.

24 августа наступил день отъезда Юлия. Ваня поехал его провожать до станции Измалково. Заехали проститься с Пушешниковыми и Туббе. Конечно, их оставили ночевать, и они поделили свое время между двумя близкими семьями. Их хорошо угостили, дали Юлию вкусных вещей в дорогу, на следующий день бывший поднадзорный отправился в Харьков. Пересадка была в Орле.

День был «свежий, осенний», записал младший брат. Пока ехали, говорили о пустяках, хотя на душе у Вани было печально. Юлий опять обещал, что выпишет его, как только устроится в Харькове. Но когда это будет?.. А пока все одно и то же!

На измалковском подъеме около имения графа Комаровского Юлий неожиданно предложил папиросу младшему брату, который в первый раз в жизни и закурил.

Очень характерный по легкомыслию бунинский штрих. Почему Юлий Алексеевич это сделал? Думал ли он, что куренье поможет Ване легче переносить их разлуку? Был ли он уверен, что все равно он скоро закурит? Или просто хотел подчеркнуть, что Ваня уже взрослый?

3

Проводив брата, Ваня вернулся в Васильевское, где и переночевал. На другой день, после обеда, набрав книг, он грустно поехал домой. Дорогой думал о писателях, особенно о Толстом и Лермонтове, так как они были «из одних квасов».

И как ему показалась его юность бедна, ничтожна и неинтересна по сравнению с их жизнью.



А. Н. Цакни. Одесса, 1898.

Да, юность у него была трудная, непохожая на юность большинства людей его круга. Но она была нужна ему как писателю.

Никогда бы он так не узнал, не почувствовал народа, если бы, кончив курс в елецкой гимназии, переехал в Москву и поступил в университет. Надо было жить в деревне круглый год, близко общаться с народом, чтобы все воспринять, как воспринял он своим редким талантом. Даже их оскудение принесло ему пользу. У него с самого раннего детства, как я писала, были друзья, сначала среди ребятишек, а потом из деревенской молодежи, с которыми он коротал много времени, бывая запросто в их избах, знал до тонкости крестьянский язык. Оскудение помогло ему глубоко вникнуть в натуру русского мужика, пережить на самом себе меняющееся отношение его к разорившимся барам, насмешливую презрительность.

Вернувшись домой, он застал семью в еще большем унынии, чем при проводах Юлия: мать сокрушалась, как устроится Юлий, отец запил, Маша слонялась без дела и только вертела для отца цигарки, а он ласково покрикивал: «Мукась, еще одну...» И, закуривая для отца, она незаметно приучилась курить сама.

К довершению пала Кабардинка, — ее опоили. Отец, желая утешить младшего сына, подарил ему свое любимое ружье, что Ваню тронуло до глубины души, ему всегда было тяжело сознавать, что отец очень мучается, считая себя виноватым перед детьми, особенно перед ним.

В сентябре Алексей Николаевич послал его запродать зерно, он остановился в «Ливенских номерах», и там случилось нечто, потрясшее его, как записано в его автобиографическом конспекте.

Вернувшись из Ельца, чтобы как-нибудь развеять тяжелое состояние духа, он все ездил верхом в Васильевское на винокуренный завод Бахтеярова, за подводами с картошкой. Осталась его запись: «Тепло, низкое солнце и зелено-золотой блеск накатанных дорог. Ноябрь, декабрь — еще стихи в «Книжках Недели».

В октябре ему стукнуло 18 лет.

Он послал корреспонденцию в «Орловский Вестник» о том, что в Глотове засыпало одного мужика во время того, как он копал песок для помещика. Корреспонденция была напечатана.

В конце года появились там и его стихи, и рассказы.

Первый рассказ «Нефедка» был помещен в «Родине», как и «Два странника», в 1887 и 1888 годах, а также и статья «Об искусстве»; стал он посылать в «Родину» и «Литературные обозрения». Не знаю, где напечатаны были «Мелкопоместные», «Божьи люди», «День за день». Перечисляя эти рассказы, Иван Алексеевич замечает: «Кажется, не было писателя, который так убого начинал, как я!»

Осенью после отъезда Юлия он стал делить свои досуги с сестрой. Ей было тринадцать с половиной лет, она была девочка, как я писала, восприимчивая и то, что делала, делала хорошо. Ей очень льстило, что брат стал приглашать ее на прогулки, и они два раза в день выходили из дому вместе: то гуляли вокруг пруда, то по большой дороге. Оба мечтали о будущем. Мечты брата были реальнее и выполнимее. Маша тоже страдала от одиночества. Единственное удовольствие было поехать в Васильевское: у Туббе были две дочери, подходящие ей по возрасту, но и они вскоре должны были перебраться в Ефремов, где их отец получил место.

Ваню мучила судьба сестры, но он был не из тех, кто мог посвятить свою жизнь другому, да и чувствовал, что при ее характере и лени с ней ничего не поделаешь, — учиться, систематически работать она не хотела, да и шел ей всего четырнадцатый год.

Молодые Бунины жили в усадьбе Цвеленевых, где они открыли лавку: у Евгения Алексеевича было в ту пору одно стремление — стать самому помещиком. Настасья Карловна не обманула его ожиданий: оказалась хорошей «поддужной», кроме того у нее были небольшие деньги, данные ей в приданое.

Ваня же стал подумывать об отъезде и заводил об этом речь.

По вечерам он уходил на часок в очередную избу «на посиделки», куда вносил оживление своими шутками, а иногда и рассказами.

Ходил и «на улицу», где «страдали», плясали, и он сам иногда придумывал «страдательные» или плясовые, которые вызывали смех и одобрение.

«Но, что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал, — признавался он мне перед смертью, — всегда меня точила одна мысль: мне уже восемнадцать лет! пора, пора!»

Развлекала его в ту пору охота, то с Евгением, то в одиночку, но охота была уже не прежняя: борзые перевелись, из гончих остались только две, с ними он и охотился. Приносил домой лишь русака, но и это было у них пиром...

Как-то он заехал далеко, незаметно очутился в Кропотовке, родовом лермонтовском имении. Дом был пуст, никто там не жил, присматривал за имением мужик, с которым он поговорил, угостив его табаком, грустно возвращался домой, думая о себе и сравнивая опять свою юность с лермонтовской... Какая разница!!!

На Святках брат и сестра поехали в Ефремов. Это был второй уездный город, который они посетили. Правда, брат один раз провел ночь в городском саду, когда, было, поехал к Толсто-

му в Ясную Поляну, но он города почти не видел. Теперь он остановился в номерах Шульгина, так как перед отъездом получил гонорар за стихи от Гайдебурова, Маша же гостила у своих подруг Туббе, только что обосновавшихся в этом городке, который после Глотова казался им очень интересным. На Буниных же он не произвел большого впечатления, хотя он стоит на Красивой Мечи, которую описывал Тургенев. Елец казался им живописнее.

Молодежь веселилась, ездили по знакомым домам ряжеными на розвальнях. Среди их новых знакомых были и мои свойственники, дети Юрия Гавриловича Ульянинского, беспутного, веселого помещика, давшего своей дочери библейское имя Руфь, а младшего сына, ставшего революционером, он назвал Вениамином.

Отто Карлович, которого прозвали «Ванажда», потому что он часто повторял это слово, образовав его из каких-то русских слов, — был очень радушен и неизменно веселился, радуясь на молодежь. Его жена, Александра Гавриловна, очень гостеприимная хорошая хозяйка, их закармливала.

С грустью они покидали Ефремов.

Осталась краткая запись Ивана Алексеевича: «Поезд, метель, линия сугробов и щитов».

Вернувшись домой, он опять стал по вечерам заходить в избы. В одной он увидел однажды следующее:

«Изба полна баб и овец — их стригут.

На веретьи на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

Овцы лежат смирно, только изредка пытаются освободиться, дергаются и бьются ногами и головой».

В другой раз попал на пение старинных песен:

«Все пели старинные песни:

— Матушка, с горы мёды текут,
Сударыня моя, мёды сладкие...
— Один-один мил — сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет!
— Что запил, загулял, друг Ванюшечка,
Что забыл да забыл про меня!
— Воротися, веселье мое,
Я тебе-ли да радость скажу!
— Уснул, уснул, мой желанный,
У девушки на руке,
На кисейном рукаве».

Вот и все его развлечения!

4

Наступил 1889 год, год жизненного перелома младшего Бунина.

Брат с сестрой продолжали дружить, но несмотря на то, что Маша острее чувствовала поэзию, чем Юлий, она все же не могла заменить старшего брата, с которым он привык делиться всеми своими радостями, печалями и сомнениями, показывать ему всякую написанную им строчку, а главное, недоставало ему собеседника, отзывающегося на всякий вопрос с редкой ясностью ума.

Еще с начала осени младший Бунин стал изучать английский язык, — ему нравились английские поэты, с которыми он был знаком по переводам. Начал переводить «Гамлета», хотя Гамлет не был его любимым героем. И никогда он этого перевода не кончил, но все же его занятие помогло ему преодолеть трудности английского языка и он в будущем сделает несколько переводов из Лонгфелло, Байрона, Теннисона, за которые будет получать денежные премии и золотые медали от Императорской Российской Академии Наук, хвалебные отзывы в печати и в письмах, даже от англичан, удивлявшихся его тонкому знанию английского языка.

С середины января он стал чуть ли не за каждым обедом и ужином заводить разговор о своей поездке к Юлию, указывая, что он уже взрослый и должен найти себе какой-нибудь заработок. Родители не возражали, понимая, что в деревне он пропадет, и стали добывать ему денег на дорогу.

Вскоре он поехал в Елец, к толстой старой ростовщице, — нужно было отвезти проценты за заложенные ризы с образов.

Зашел он тогда и к своему новому приятелю писателю-самоучке Назарову. Вот его запись:

«С Назаровым познакомился в Ельце, узнав от сапожника, что там появился автор. Я, конечно, отправился туда и несколько часов провел с ним в трактире». Он послужил Ивану Алексеевичу отчасти «прототипом Кузьмы», как он говорил, в его «Деревне».

Жена Назарова сказала, что мужу необходимо его видеть, но он ушел на биржу. Молодой Бунин кинулся туда. Вот что он там от Назарова услышал: издательница «Орловского Вестника» три раза заходила к Назарову, прося его передать и подействовать на него, чтобы он согласился стать помощником редактора в ее газете. Неофициальным редактором в ней был Борис Петрович Шелихов, ее гражданский муж. Он тоже говорил с Назаровым по этому поводу. Желторотый писатель был изумлен: «Вероятно, они не знают, что я не был в университете, и мне всего восемнадцать лет?» Оказалось, что им все известно. Они читали его «журнальное обозрение» в «Родине» и нашли,

что он вполне подходит к роли помощника редактора, может писать фельетоны, газетные заметки, театральные рецензии, — один Шелихов со всем в газете не справляется. Назаров хвалил издательницу, Надежду Алексеевну Семенову: «Очень милая молодая женщина».

После этого Ваня ежедневно еще настойчивее за столом стал заводить речь о своем отъезде.

— Разлетается, душа моя, наше гнездо, разлетается, — с грустью повторял Алексей Николаевич, обращаясь к жене, — разлетается!

Она только вздыхала.

Однако вести от Юлия не радовали: он устроился на грошовое жалованье из-за отсутствия вакансии. Надо ждать, а Ваня, как известно, с детства ждать терпеть не мог и не умел.

Из Озерок младший Бунин «вышел в мир», как он пишет в «Жизни Арсеньева» об отъезде Алеши из Батурина, уже с известным жизненным багажом — знанием подлинного народа, а не вымышленного, со знанием мелкопоместного быта, деревенской интеллигенции, с очень тонким чувством природы, почти знатоком русского языка, литературы, с сердцем, открытым для любви.

Одарен он был острым умом, наблюдательностью и независимым характером. Он очень в то время почитал Юлия, почти благоговел перед ним, но это не мешало ему с ним спорить, высказывать иногда очень резко свои мнения, например, о Надсоне. Юлий Алексеевич избегал резкостей. И даже в мою пору, когда Иван Алексеевич нападал на произведение очередной знаменитости, если оно было ему не по вкусу, Юлий Алексеевич говорил: «Это написано с его обычными достоинствами и недостатками»...

Разбирая архив Ивана Алексеевича, я нашла в его записях нигде не напечатанную заметку о Полонском. Привожу ее здесь.

«В ранней юности многим пленял меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так разно счастлив я был в моей воображаемой любви. Что я тогда знал! А как верно и сильно видел и чувствовал!

Выйду за оградой
Подышать прохладой,
Слышу милый едет
По степи широкой...

Степь, синие сумерки, хутор — и она за белой каменной оградой, небольшая, крепкая, смуглая, в белой сорочке, в черной плахте, босая с маленькими загорелыми ступнями...

Лес да волны, берег дикий,
А у моря домик бедный,



Сретенская церковь в Одессе.
Здесь Бунин и А. Н. Цакни венчались в 1898 г.

Лес шумит, в сырые окна
Светит солнце, призрак бледный...

И я видел и любил желтоволосую северо-цветисто одетую финку...

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей.
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей...

О какой грозный час, какое дивное и страшное таинство любви!»

Вот еще запись его о тех днях:

«Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастии с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во что вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназии, университета — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь, где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал».

5

В конце февраля или начале марта молодой поэт с малыми деньгами отправился в Орел, а затем в Харьков.

Ехал, как всегда, на Измалково через Васильевское, где и переночевал.

Мать благословила его родовой чубаровской иконкой в серебряной почерневшей ризе — трапеза Трех Странников у Авраама. Иван Алексеевич никогда с тех пор не расставался с нею. Она висела над его постелью, где бы он ни ночевал. Стояла она и в возглавии его все четыре дня, пока его тело пребывало дома, висит и теперь на том месте, где висела при нем.

Переночевав в Васильевском у Пушешниковых, с грустью взглянув на дом, где жили Туббе, он на следующий день отправился в Измалково, взял билет до Орла.

В вагоне он остро чувствовал и грусть по дому, и нетерпение.

Орел возбудил его прежде всего радостным сознанием, что «наверху — Москва, Петербург, а внизу — Харьков, Севастополь, сказочный город молодости отца и Толстого». В Орле было «мягко снежно». Побродив по улицам, зайдя в парикмахерскую, он отправился в редакцию «Орловского Вестника».

С бьющимся сердцем он подошел к длинному серому дому, стоящему в саду. Открыв дверь, он попал в типографию, был ошеломлен движением машин, их рокотом, большими белыми бумажными листами, запахом краски...

Узнав, что ему нужна редакция, рабочий проводил его туда.

Издательницей оказалась, действительно, молодая привлекательная женщина, Надежда Алексеевна Семенова, которая, расспросив его о сотрудничестве в «Книжках Недели», предложила ему стать помощником редактора ее газеты. Он поблагодарил, но сказал, что должен завтра ехать с пятичасовым утренним поездом в Харьков к старшему брату, с которым хочет посоветоваться. Она была так мила, что дала ему аванс и оставила ужинать, а потом предложила и переночевать в редакции. Как все это было типично для провинциального русского гостеприимства!

Весь вечер прошел в оживленном разговоре. Настоящий редактор, Борис Петрович Шелихов, маленький, взбалмошный сангвиник, с торчащими жесткими волосами, с горящими черными глазками, тоже за ужином уговаривал молодого сотрудника остаться в Орле и работать в их газете.

Его вывел Бунин в своем рассказе «Гость» в лице Адама Адамовича. У него вечно были всякие романтические истории. Иван Алексеевич говорил мне, что по внешности он всегда ему напоминал «настоящего дьявола».

Каким же был в ту пору молодой Бунин? Есть портрет, помеченный 1887 годом. Мне кажется, это ошибка Ивана Алексеевича: снялся он по всем данным не раньше весны 1889 года, когда уехал впервые из дома, в Орле или Харькове, когда ему было 18 лет, а не 16. На фотографии он старше 16-ти лет.

На портрете он уже с едва пробивающимися усиками, у него тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Волосы густые, расчесаны на пробор. Одет в мягкую рубашку, галстук широкий, длинный; однобортный пиджак застегнут на все пуговицы. По рассказам, глаза его были темно-синие, румянец во всю щеку. Сразу было видно, что он из деревни, здоровый юноша.

Орловское гостеприимство его очень подбодрило. Семенова очаровала и своей женственностью, и умом, и они сразу подружились.

Наутро он уехал к Юлию, по которому сильно стосковался.

И вот он в Харькове. Его поразил воздух еще более мягкий, чем в Орле, а главное свет, — свет был гораздо сильнее, чем тот, к которому он привык.

Он нанял извозчика и поехал к брату. Извозчики в Харькове были парные с глухарями бубенчиками. Они разговаривали друг с другом, к его удивлению, на «вы». Поразили его своей высотой безлистные тополя.

Было воскресенье, и брат, которого он застал дома, радостно с ним поздоровался, но шутя, как у них было в обычае, спросил:

— Собственно, зачем ты приехал?

Он стал объяснять, что приехал посоветоваться, как ему быть дальше? Подтвердил, что ему предлагают место и постоянное сотрудничество в «Орловском Вестнике», но Юлий Алексеевич, уже не слушая его, стал торопить идти обедать в низок, где столуется вся компания.

Младший брат стал поспешно умываться, чиститься. Поразило его убожество комнаты, пропитанной острыми кухонными запахами, которую Юлий снимал у бедного еврея портного.

Но думать об этом было некогда, Юлий очень торопил.

Харьков поразил его и великолепием магазинов, и высотой каменных домов, и огромностью площадей, и собором.

В кухмистерской он был ошеломлен количеством приятелей брата, их разговорами. Его приняли с распростертыми объятиями, как своего, немного подсмеивались над ним, как над поэтом, — большинство было чуждо поэзии, все они были политическими борцами.

Ваню удивил Юлий, который здесь оказался иным, чем в деревне. Там он был тихий и серьезный, а здесь веселый, разговорчивый и смеялся без конца, трясясь всем телом, большинство звало его «Жуликом» от французского слова Жюль — Юлий, намекая в то же время и на то, как он обошел следователя и не попал в Сибирь.

Он прожил в каморке Юлия месяца два, его полюбили, но он был юноша непокладистый, не скрывал своего отрицательного отношения к тому, что ему не нравилось, бросался в споры со всеми, несмотря на возраст и уважение, которое окружало того или другого человека. С некоторыми он подружился, в том числе с Босяцкими, присяжным поверенным и его женой Верой, с которой скоро перешел на «ты», так как они подходили друг к другу по возрасту. Много позднее мы с Иваном Алексеевичем один раз были у них в Москве; действительно, милые, умные, приятные люди. Сошелся с семьей Воронец. Подружился он с одним поляком-пианистом, богатым человеком.

Жили почти все бедно, кроме некоторых, которые имели состояние или хорошую службу и сочувствовали революционному движению, — вот у них все эти «радикалы» часто проводили вечера в спорах, слушали музыку. Иногда тайно приезжал бежавший из ссылки, иной раз и какой-нибудь известный революционер; тогда все подтягивались, вели бесконечные разговоры, обсуждая политическое положение, потом за ужином затягивали революционные песни и делились воспоминаниями, произносили тосты, шутили друг над другом.

Молодой поэт не подходил к этой компании, но все же, когда он в первый день попал в нее, он был ошеломлен массой волнующих его впечатлений, — он увидал то заповедное общество, о котором так таинственно рассказывал Юлий по вечерам на большой дороге.



И. А. Бунин, А. П. Чехов. На обороте фотографии надпись Бунина: «Чехов и я — в его кабинете, в доме в Аутке, на окраине Ялты. Я, как это часто бывало, что-то рассказываю, играя пьяного».

Низок, где они ежедневно столовались, восхитил деревенского барчука своей стойкой с южными закусками и жареными двухкопеечными пирожками.

Все отнеслись к младшему, еще совсем желторотому брату Юлия очень приветливо, сразу приняли его в свою среду и говорили в его присутствии обо всем. Вероятно, Юлий уже рекомендовал своего Вениамина, как человека, умевшего хранить тайны.

Но как этот Вениамин не подходил своим мироощущением, своим художественным восприятием жизни, непризнанием авторитета к этой среде!

Характер у него был вспыльчивый, независимый, порой дерзкий, мнения свои он отстаивал яростно, спорил со всяким, какого бы ранга он ни был. Ему почти все прощали его выходки, насмешки и восхищались его уменьем изображать кого-нибудь из отсутствующих.

Скоро у него оказались «друзья» и «враги», то есть те, кто для него были милы, и те, кто, по типу, ему были нестерпимы. Эта черта у него оставалась на всю жизнь и не зависела даже от того, как данное лицо относилось к нему. Начиналось с физического, «кожного» неприятия человека, а затем почти всегда это неприятие переходило и на его душевные качества.

Любимым его занятием в юности и до последних лет было — по затылку, ногам, рукам определять лицо и даже весь облик человека. А потом уже и характер и душевный склад его, и это бывало почти всегда безошибочно.

В России начинающие писатели, принося свои рукописи, иногда показывали ему карточки девушек, и он определял их характер на удивление молодым людям.

Конечно, в те времена он еще не дошел до той виртуозности, до какой доходил впоследствии, но все же очень выделялся в среде «радикалов» и «пострадавших», у которых именно отсутствует почти всегда этот интуитивный нюх на людей, чем и объясняется возможность провокаторов в их среде. Люди подполья определяют свое отношение к товарищам по их высказываниям и поступкам и не чувствуют фальши в их проповедях и действиях.

Нам рассказывали, что когда однажды Азеф пришел в семью известного революционера, то нянька доложила:

— Барыня, к вам провокатор пришел! — чем и вызвала общий смех.

А у нее было, конечно, художественное восприятие, какое нередко встречается в народе, и она сразу почувствовала, что этот Иван Николаевич дурной человек, а так как среди революционеров самым дурным считается провокатор, то она его так и определила.

И такое же непосредственное чувство людей было с молодых лет у младшего Бунина.

Возненавидел он и некоторые революционные песни, главным образом за фальшь, как, например, «Стеньку Разина» — о ней он уже писал, — или «Из страны, страны далекой...», особенно его возмущали строки: «Ради вольного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда...»

— Хорош труд: пьют, поют, едят, без устали болтают и спорят, большинство из них бездельники! Всем возмущаются, всех критикуют, а сами?..

Задевал его и язык их, совсем иной, чем язык его семьи, соседей, мужиков, мещан, язык бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и словечками, присущими этой среде, повторением одних и тех же фраз, например: «чем ночь темней, тем ярче звезды» или «бывали хуже времена, но не было подлей», «третьего не дано» и так далее.

6

В Харькове он прожил месяца полтора-два. Прожил приятно. Волновал его город, казавшийся ему огромным, пленявший его своим светом, распускающейся зеленью высоких тополей, грудным говором хохлушек, медлительностью и юмором хохлов.

Но времени он не терял: по утрам проводил несколько часов в библиотеке, где стал знакомиться и с литературой по украиноведению, читал и перечитывал Шевченко, от которого пришел в восхищение, но больше всего его увлекало «Слово о полку Игореве», которое он изучал. Оценив «несказанную красоту» этого произведения, решил побывать во всех местах, где происходила эта поэма. Многое он запомнил наизусть и часто читал целые куски Юлию, когда они после обеда отдыхали в их каморке, особенно восхищаясь «Плачем Ярославны». Размышлял и о «Думах» Драгоманова.

Иногда заходил в трактир, когда оказывалась мелочь в кармане, где прислушивался к новому для себя языку, наблюдал за женщинами, которые нравились ему своими повадками, загорелыми лицами, черными глазами, за местными мужиками, которые сильно отличались от великороссов. Бродил и просто по улицам, изучал толпу, словом, времени не терял.

А в час обеда, голодный, всегда бывал со всей компанией в низке, попадая совсем в другую среду, в которой кое-что его раздражало, но многое было приятно. Он уже полюбил некоторых, но опять не было сверстников, — почти все были лет на десять и более старше его.

После обеда они с братом возвращались в свою каморку и отдыхали, — это время Ваня очень любил, оно напоминало озерскую жизнь, их прежние бесконечные беседы. В эти часы он рассказывал о прочитанном, много говорили о Громаде, о том движении, которое начиналось в Малороссии, говорили они и о друзьях; некоторых младший брат критиковал, а старший за-

щищал, укоряя брата за нетерпимость к людям, которые все же жертвовали собой, переносили большие лишения; говорили и о родных, беспокоились за их судьбу, письма приходили оттуда грустные, отец все чаще запивал, мать горевала, Маша слонялась без дела...

По вечерам, когда не было заседания в земской управе, всей компанией ходили в гости.

Младший Бунин любил бывать у поляка-пианиста, немного сумасшедшего, состоятельного человека, который хорошо исполнял Генделя, Гайдна, Баха, Моцарта, Бетховена...

Для него открылся новый мир, о котором он и представления не имел: мир, «в который я вступал с восторженной и жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов (мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим), который дают только музыка да минуты поэтического вдохновения!» («Жизнь Арсеньева»).

Хотя и не все ему нравилось в музыкальных произведениях, — кое-что находил риторичным, — все же музыкальные вечера давали ему истинное наслаждение, он всегда вспоминал о них с благодарностью.

Как-то его друг, пианист, после игры рассказал, что был в Зальцбурге в Музее Моцарта, где находятся его старинные клавикорды, а в витрине — его череп.

Иван Алексеевич позднее, когда мы с ним были в Зальцбурге и первым долгом зашли в дом Моцарта, поведал мне, как он чуть с ума не сошел, услыхав рассказ от харьковского пианиста, что он здесь был, и как Ивану Алексеевичу тогда страстно захотелось прославиться, написать какую-нибудь замечательную вещь, тогда даже он чуть не ушел от ужина — такое у него явилось желание сразу попасть в Зальцбург и увидеть все своими глазами. И он долго стоял и смотрел то на череп, то на клавикорды...

В литературе он боготворил только Толстого и Пушкина, очень многое восхищало его в Лермонтове, но уже и тогда он возмущался, что печатают даже все его слабые произведения. Он ценил очень высоко Гоголя, любил Чехова, но многие, даже прославленные, писатели его мало трогали, некоторые раздражали.

Зато живые писатели, даже самые маленькие, вызывали в нем с юных лет большой интерес.

В Харькове он бывал у жены писателя-народника Нефедова, на которую смотрел восторженными глазами, хотя сам Нефедов, как писатель, ему совершенно не нравился...

Узнал он, что живет в этом городе настоящая писательница Шабельская, бывшая сотрудница «Отечественных Записок». Из всех ее произведений он читал только «Наброски углем и каран-



А. П. Чехов. Фотография с дарственной надписью: «Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги. Антон Чехов. 1901. II. 19».

дашом», которые, по мнению молодого Бунина, были «скучнее Нефедова»... «Но я воспламенился и тотчас решил бежать и на дом Шабельской взглянуть, и так и сделал»... Дом оказался самым обыкновенным, каких много было в те времена в Харькове; молодой энтузиаст все же смотрел на него с благоговением и решил нанести ей визит.

Юлий Алексеевич, узнав о его намерении, смеясь, стал отговаривать и уверять, что она очень бестолковая. И рассказал, что, когда он познакомился с нею, она, услыхав фамилию Бунин, решила, что это его стихи напечатаны в «Книжках Недели», и как он ни разуверял ее, что они написаны его младшим братом, она осталась при своем убеждении, решив, что Юлий Алексеевич, по скромности, отрицает свое авторство.

Но отговорить младшего брата было невозможно. Он отправился на поклон. Очень волновался. Когда горничная ввела его в гостиную, а через несколько минут вышла настоящая писательница, то он, и через свое волнение, заметил, что она еще больше, чем он, смущена и волнуется приходом поклонника. Но поэта она в нем не признала, все повторяла, что она познакомилась с его братом, поэтом, и на все уверения, что не брат, а он печатает стихи в «Книжках Недели», не обратила внимания. О своем посещении Шабельской Иван Алексеевич рассказывает в своих «Заметках» (I т. изд. «Петрополиса»).

Иногда младшему Бунину давали небольшую работу в земской управе. Получив немного денег, он стал мечтать о Крыме, — ему хотелось взглянуть на заповедный Севастополь, о котором так много наслушался. Кто-то, на его счастье, достал ему бесплатный билет на имя рабочего, ушедшего в отпуск в деревню.

И он, распрощавшись с Юлием и друзьями, поздно вечером влез в переполненный вагон. Он признавался мне, что ему было очень неприятно ехать под чужим именем, отравляла мысль, что он попадется, если спросят его фамилию... Но, к счастью, все прошло благополучно.

За время пребывания в Харькове он очень изменился и физически, и умственно, и душевно. Он обогатился знаниями по украинскому вопросу, почувствовал и полюбил серьезную музыку, в спорах о литературе он глубже понял Толстого, Чехова, хотя и на того, и на другого его новые друзья и приятели нападали: на Толстого за проповедь «непротивления», за «келью под елью», а Чехова большинство даже всерьез не хотело сравнивать с Короленко, Златовратским, прежде всего за то, что он «подписывался Чехонте, сотрудничал в юмористических журналах»... Молодого поэта такое отталкивание удивляло, он, конечно, не понимал их до конца, но чувство возмущения уже жило в нем, и он был рад хоть на несколько дней вырваться из среды, которая все же влияла на него и как-то мешала писать так, как ему хотелось...

В тесноте, духоте, дыму от цигарок он все же задремал. Очнулся на заре у какой-то станции. Огненно-розовый восток привел его в восхищение, но всего более удивил его курган... «...а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган... До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем мягким очертаниям, ни по тому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно» («Жизнь Арсеньева»).

На следующее утро было совсем лето. «Маленький белый вокзал, весь увитый розами»... «Как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда-же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднимавшейся в небосклон, что-то тяжко-синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождавшееся из влажных и темных недр ночных, и я вдруг с ужасом и радостью узнал его! Именно узнал!» («Жизнь Арсеньева»).

7

Севастополь, несмотря на красоту своей белизны, нарядность и совершенно новую толпу, его разочаровал. Он оказался не тем, каким с детства жил в его душе; от Севастополя той поры не осталось ничего, и только на Братской могиле он почувствовал нечто из прошлого.

О путешествии по Крыму он писал родным 13 апреля 1889 года:

«Дорогие папа, мама, Мусинька, Евгений и Настерочка!

Вам должно быть в эту минуту ужасно странно представить себе, что Ваня сидит в Севастополе, на террасе гостиницы, в двух шагах от которой начинается Черное море? Мне самому это как-то странно. Я приехал в Севастополь только сегодня и еще не привык к мысли, что я, наконец, — в Крыму... В особенности странно показалось, когда я сегодня проснулся на рассвете и взглянул из окна вагона. Картина представилась такая, какую вообразить себе, не видя Крыма, я думаю, невозможно: по обеим сторонам дороги в утреннем голубом тумане разбегались горы, покрытые лесами, виднелись ущелья, а внизу по долине — стройные, гигантские кипарисы и тополи. Какие-то особенные деревца, кажется рододендроны и олеандры, в полном цвету, — в белых розах. Станции утопают в яркой зелени. Поезд мчится то глубоко в долинах, то по отвесным скалам, то скрывается в туннелях. В туннелях жутко: темь буквально могиль-

ная, в особенности после станции «Бель-бек». Когда поезд, наконец, вынырнул из него на свет, я невольно замер: направо, глубоко внизу в широкой цветущей долине, в зелени, среди кипарисов утопал не то городок какой-то, не то аул, штук пятьдесят белых домиков; за ними по обеим сторонам горы, а среди гор — расстилалось в тумане и сливалось с горизонтом — море! В утренней голубой мгле — оно как-то особенно было величаво и бесконечно.

Севастополь мне не особенно понравился. Ты, папа, наверное, не узнал бы его: теперь он совершенно отстроился, но плох тем, что почти совершенно лишен зелени. Красоту его составляет, разумеется, море. Часа в три дня я нанял парусную лодку, ездил (конечно, не один, а с рыбаками) к Константиновской крепости, потом в открытое море. День сегодня был — прелестный; волны прозрачные, совершенно изумрудные. Даль видна верст на сорок. Вечером гулял на бульваре, слушал музыку, смотрел на закат солнца, — выбрал на самом берегу на возвышении скамеечку и одиноко сидел, глядя в даль, до тех пор, пока совсем не стемнело. Потом воротился в свой нумер и, вспомнив, что я теперь отдален от вас целою тысячею верст, загрустил немного.

До свидания, мои дорогие; завтра отправлюсь к Байдарским воротам, а потом в Ялту.

14 и 15 апреля.

Сегодня я отправился к Байдарским воротам. Ехать пришлось на перекладных (до Байдарских ворот две станции) по шоссе, в бричке. Бричка совершенно в таком же роде, как обыкновенные солдатские телеги, крашенные зеленою краскою; лошадей впрягается пара, в дышло. Ехать во всяком случае не очень-то удобно, да и дорога сначала, от Севастополя неинтересная; голая, песчаная и каменистая. Однако, начиная от Балаклавы, идут уже горы и местность меняется; чем дальше — горы все неприступнее и выше, леса по ним гуще и живописнее, становится дико и глухо, изредка где-нибудь у подошвы горы белеет одинокая татарская хатка; самая большая деревенька — это Байдары, в Байдарской долине. Там уже настоящая красота. Долина вся кругом в горах, вся в садах; не знаю почему, только горы постоянно в какой-то голубой дымке, — словом, роскошь. Около самых Байдарских ворот — станция. Байдарскими воротами называется широкий проход между двумя самыми высокими горами — вот как (изображено графически. — *В. М.-Б.*). В этом проходе, как видно на рисунке, построены искусственные ворота. Я слез на станции и спокойно пошел к воротам. Но едва я вышел из ворот, как отскочил назад и замер от невольного ужаса: море поразило меня опять. Под самыми воротами — страшный обрыв (если спускаться по этому обрыву по извилистой дороге — до моря считается версты три), а под ним

и впереди и направо и налево верст на пятьдесят вдаль — открытое море. Поглядишь вниз — холод по коже подирает; но все-таки красиво. Справа и слева ворот — уходят в небо скалы, шумят деревья; высоко, высоко кружатся орлы и горные коршуны. С моря плывет свежий, прохладный ветер; воздух резкий.

Ночевал я на станции и утром отправился обратно пешком (до Севастополя — сорок верст). Сначала шел прекрасно; в Байдарах есть трактир, зашел, ел яйца, пил крымское вино. На улицах — сидят на земле татары, пробуют лошадей и т. д. Около деревни встретил пастуха, загорелую круглую морду под огромной мохнатой шапкой. Сел, разговор начали:

— Сабанхайрос, — говорит пастух.

— Сиги-манан, — отвечаю я ему дружески.

Пастух осклабился; потом развернул какие-то вонючие шкуры, достал куски черного, как уголь, сухого хлеба — отмек кушаешь? — спрашивает и подает мне. Я взял, спрятал и пошел дальше.

Полдень застал меня в горах, жара — дышать невозможно; кое-как добрался до станции, потом нанял обратного ямщика и за тридцать копеек доехал до Севастополя. Ямщик оказался славный малый, солдат, настоящий тип. Низенький, коренастый; ватный картуз набок, на левом виске ухарски взбиты волосы. Сквернословит не смолкая — двадцать семь лет, живу здесь... рассказывал он; проклятая сторона! Хоть такое событие возьми: жил я тут с одной: полная... красивая. Только подарил я ей башмаки; глядь, а у ней полюбовник! А, каково? Не шкура?.. Однако и я не сплоховал: «нет, говорю, стой, я, говорю, не дозволю, — то и взял башмаки назад».

На дороге он на гривенник хватил спирту и осовел. Лицо запотело, картуз на затылке, смотрит вдаль глупыми глазами.

— Ишь зеленя-то! — забормотал он шепотом. — И у нас теперь зеленя, птички эти, бывалыча выдешь: глядь — журавчик — ти, ти, ти, ти... бегить, бегить; хвостик задрамши...

Скоро мое путешествие кончилось.

Прощайте же пока, мои дорогие.

Ваш *Ив. Бунин»*.

Письма Ивана Алексеевича о путешествиях, написанные под первым впечатлением, — как письма с Цейлона, которые он посылал брату сразу после виденного и пережитого, — нередко проникнуты сильной страстью. На меня они производили сильное впечатление; я все это видела, но, должна сознаться, не все замечала.

Такого быстрого аппарата, как у Ивана Алексеевича, я ни у кого не наблюдала. Бывало, говоришь: «Да посмотри на это!» — «Я уже видел!..» А я не понимаю: он смотрел в другую сторону. Но потом, через некоторое время, когда он писал об

этом, я с удивлением видела, что он мгновенно заметил то, на что, казалось, и не взглянул.

Вечером опять набитый мужиками вагон, полубессонная ночь, утром длинные села, маленькие станции, увитые розами, степи с курганами. Красивые хохлушки продают всякую снедь по очень низким ценам, но у него уже почти ничего не осталось в кармане... И так день и две ночи. А затем Харьков.

В каморке Юлия он застал молодую, необыкновенной привлекательности, «с грудным, слегка певучим голосом» женщину.

Она по-родственному поздоровалась с Ваней и быстро ушла к себе в гостиницу.

Юлий с большим смущением поведал младшему брату, что это «его любовь», как написал Иван Алексеевич в своем автобиографическом конспекте.

На Ваню это произвело тяжелое впечатление, несмотря на то, что Елизавета Евграфовна ему понравилась. Вот как он пишет в «Жизни Арсеньева»: «Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитанья, прекрасного сердца, застенчивая женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически-изысканном звуке голоса, равно как и в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, — необъяснимое очарование...»

Я думаю, что портрет точный. Их любовь была тайной, и Бунин писал о ней, когда уже ни ее, ни Юлия не было в живых. Вспоминал он о ней и перед смертью, почти в тех же выражениях и с тем же чувством.

Открытие, что у Юлия есть тайная от всей семьи (кажется семья так и не узнала об этой любви) жизнь, очень его задело. Он был ревнив к тем, кого любил, и стал, — правда, скрытно, — ревновать Юлия.

Елизавета Евграфовна была из богатой помещичьей семьи и, как многие дворянские девушки той поры, была увлечена революционными идеями. В юности она встретилась с молодым человеком, который, подобно ей, увлекался теми же идеалами. Они полюбили друг друга, и, несмотря на отговоры родителей, она вышла за него замуж. А он, став состоятельным барином, одумался, начал заниматься делами и через несколько лет совершенно охладел к революционному движению, хотя и придерживался радикальных взглядов. Она тяжело переживала свое разочарование в близком человеке, и понемногу ее чувство к нему стало угасать, но у них уже был ребенок.

В то время, когда Юлий Алексеевич скрывался под чужим именем от полиции, он приехал в Крым, где она жила с мужем и дочкой.

Понятно, что она увлеклась человеком, которого могли аре-



Ф. И. Шаляпин. Фотография с дарственной надписью: «Милый Ваня! Мой бог свободен от цензуры, и я ликую! Тебя любящий Федор Шаляпин. Бунину. 30.X.902».

стовать. Судя по фотографии, Юлий Алексеевич был в ту пору худ, с прекрасными на тонком лице синими глазами, был умен, образован, и у них начался роман.

Но как быть? У нее дочь, которую она любит со всей страстью своей натуры и которую обожает и отец... А Юлий вот-вот попадет в тюрьму... И она в отчаянии бросается в море, спасают рыбаки...

Это потрясло и Юлия Алексеевича, и мужа, который несмотря на изменение убеждений, оставался поклонником Чернышевского, его «Что делать?»; он не стал мешать им. Возник только вопрос о ребенке. Ради дочери родители остались жить под одной крышей, тем более, что вскоре Юлий был арестован: год тюрьмы и три года ссылки.

Может быть, муж надеялся, что за четыре года разлуки их любовь угаснет. Но она еще более укрепилась. И, когда Юлий Алексеевич осел в Харькове, она приезжала к нему время от времени, останавливаясь в гостинице, и на один из таких приездов попал Ваня.

На другой день она уехала домой. Но и Ваня недолго оставался у Юлия. Ему стало с ним тяжело.

Он купил себе за семь рублей костюм и каскетку и уехал домой, не завернув даже в «Орловский Вестник».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Измалкове Иван Алексеевич нанял на косых колесах тележку и отправился в Васильевское. Там переночевал. Софья Николаевна нашла его очень возмужавшим. На другой день она дала верховую лошадь, которую он при оказии должен был вернуть.

С отцом он вел бесконечные разговоры о белом городе, о том, какой Севастополь стал веселый, большой, наполненный нарядной публикой, моряками и матросами в белом.

Мать не могла наглядеться на сына, — ведь никогда она так надолго не расставалась с ним! Она видела, как он изменился, но в чем — понять не могла. Расспрашивала о Юлии. Ваня рассказывал подробно, не упоминая о Елизавете Евграфовне. Людмила Александровна сокрушалась, что ее первенец живет в таких условиях, но Ваня успокаивал, уверяя, что скоро освободится вакансия и у Юлия будет хорошая служба.

Дома пробыл недолго. Стал собираться в Орел, — говорил, что там, вероятно, он получит место. В семье уже царила бедность. Стали поговаривать о продаже земли: оставят себе только усадьбу и несколько десятин для собственного прокормления.

Пришел срок платить проценты в орловский дворянский

банк. Родители решили воспользоваться поездкой Вани, дали ему денег. Но он деньги не все внес в банк, а купил себе кавалерийские сапоги, синюю тонкого сукна поддевку, дворянскую фуражку, бурку и седло. И, конечно, сразу же снялся в этом наряде. Это было в 1889 году, а не в 1891, как ошибочно помечено на фотографии, приложенной к IV книге Библиотеки «Огонек», издательства «Правда».

В «Орловский Вестник» он пришел рано, застал Надежду Алексеевну Семенову за утренним чаем. Она встретила его как близкого знакомого. С интересом слушала его рассказы о Харькове, Крыме, настойчиво просила о сотрудничестве. Сказала, что сейчас познакомит его с двумя девицами: одна родная племянница Шелихова, дочь елецкого врача Пащенко, другая ее подруга, Елена Николаевна Токарева. (Она написала Ивану Алексеевичу в 1934 году, после Нобелевской премии, из Лиона, многое вспоминала. Она была замужем за Никитенко.)

Обе барышни вышли в «цветисто-расшитых русских костюмах». В те времена, особенно в провинции, была на них мода. «Пащенко, — как рассказывал Иван Алексеевич, — была в пенсне, но черты лица были у нее красивые». Она показалась ему умной, развитой девицей.

В Орле он пробыл недолго. По дороге, в Васильевском, познакомился с братьями Шейман. Заехал к ним и на оставшиеся деньги купил верховую кобылу.

Евгений сразу понял, на что были истрачены деньги, данные на уплату процентов в банк. Разразился скандал, но, как всегда у Буниных, быстро угас. Заступилась мать: «И прекрасно сделал, что оделся, — имение мое, а ему и так меньше всех досталось»... Отец только махнул рукой.

Летом он ездил в Елец и там познакомился и сразу подружился с Арсиком Бибиковым, сыном елецкого помещика, очень милым юношей, на два с половиной года моложе его. Он, оставшись чуть ли не на третий год в том же классе, решил поступить в земледельческую школу под Харьковом, чтобы «хозяйничать в своем имении по всем правилам науки»... И друзья уже мечтали, что будут, когда Ваня поедет к брату в Харьков, встречаться и вместе проводить праздники.

Когда Иван Алексеевич в ноябре поехал в Харьков, он завернул в редакцию «Орловского Вестника», где гостила племянница Шелихова, Пащенко. И он застрял там на неделю, и они за это время подружились, много спорили; она хорошо играла на рояле, даже мечтала о консерватории.

Она была почти на год старше Бунина.

Взяв небольшой аванс из «Орловского Вестника», молодой сотрудник газеты покатил в Харьков, где нашел перемены: уже не обедали в низке, а столовались всей компанией в семье Воро-

нец, состоявшей из мужа, жены и подростка сына. Хозяйка была избалованная женщина, — ее называли «королевой», — но денег было так мало, что (как она мне рассказывала, когда я встречалась с ней в Неаполе и на Капри, во время их эмиграции после 1905 года), «кждую фасоль надо было делить пополам»... Младшему Бунину не по карману было питаться даже у них, и он ел как попало.

В праздничные дни он ходил к Арсику, который учился в земледельческой школе под Харьковом. Замечательно: в подобные школы в стране земледельческой больше всего поступали ученики непреуспевающие.

Арсик был юноша одаренный, у него оказался сильный голос, он удачно играл в любительских спектаклях, писал стихи, но учиться не хотел. Внешность у него была хорошая: высокий рост, красивый, татарского типа, брюнет.

Он всегда провожал своего друга до самого города. Приходилось идти лесом, и его густой бас жутко звучал:

«Восстаньте из гробов»...

Иван Алексеевич вспоминал это и признавался, что ему бывало, действительно, не по себе в такие минуты...

Этот приезд был не очень удачный: младший Бунин заболел. Денег не было, — он недоедал. Когда слег, Воронцы взяли его к себе.

Есть его запись: «Я в Харькове в ноябре, нищий, больной у Воронцов».

Поправившись, он уехал в Орел, там опять стал зарабатывать, но был в таком душевном состоянии, что не мог сидеть на месте и отправился в Смоленск, Витебск, Полоцк, главным образом потому, что ему нравились названия этих городов.

В Смоленске он не остановился, а поехал прямо в Витебск, где его поразил костел с его органом. Вернувшись, он написал стихи под заглавием «Костел» и был долго под впечатлением поэтического посещения католического храма...

Из Витебска он поехал в Москву, но не было денег даже на ночевку. Зашел в редакцию «Русской Мысли» и не успел ничего сказать, как сидевший за столом господин закричал: «Если стихи, то у нас их на девять лет!..»

Молодой поэт повернулся и ушел.

Иван Алексеевич, рассказывая о своем первом посещении столичной редкции, всегда прибавлял: «Почему именно на девять лет, а не на десять или восемь? Вот как в наше время с молодыми поэтами обходились!»

Вернувшись в Орел, он работал в редакции, читал рукописи, поправлял их; писал стихи и рассказы, — за сезон 1889—1890 года напечатал несколько рассказов и 14 стихотворений.

...Наступил 1890 год.

Он уже чувствовал томление от влюбленности в Пащенко, стал скучать. Решил отправиться в Озерки, — он всегда скучал и по своим, — дома он чувствовал себя легче. Маша бывала всегда очень рада, когда он возвращался, ей было с кем гулять, разговаривать. Она пробовала сама писать стихи. Но он уже был другим, его мысли и чувства неслись в Елец. Дома он застал полное оскудение. Мать сама уже стряпала, и он с удовольствием ел котлеты, приготовленные ею необыкновенно вкусно: «Никогда таких не ел...» Но мясо уже не было их ежедневным питанием.

Ездил в Елец, узнал, что Арсик собирается бросить земледельческую школу и «хозяйствовать по старинке»...

Весь апрель он прожил дома, переводил «Песнь о Гайавате», которую любил с детства, читая ее, в неполном переводе Михайлова, с Николаем Осиповичем.

Евгений Алексеевич уже серьезно присматривал купить маленькое именьице. Землю в Озерках уже запродали, и он намеревался отхватить себе некоторую сумму: «За управление имением», — оправдывался он.

В начале мая Ваня поехал на Воргол к Бибикову, который вернулся домой. Имение находилось на реке того же имени, впадающей близ Ельца в Сосну, приток Дона. Там гостила девица Пащенко. Они «встретились очень радостно друзьями и проговорили часов пять без перерыву, гуляя по садочку. Сперва она играла на рояле в беседке все из Чайковского, потом бродили по дорожкам. Говорили о многом; она, честное слово, здорово понимает в стихах и музыке...» — писал он Юлию Алексеевичу.

«Потом мы вместе уехали в Орел, — через несколько дней, — слушать Росси. Опять пробыли в Орле вместе неделю».

(Из его письма к Юлию Алексеевичу от 28 августа 1890 г.)

Бунин, заработавши немного денег, решил отправиться на могилу Шевченко, находящуюся поблизости древнего города Канева. Уже полтора года Шевченко был его кумиром, он считал его большим поэтом, «украшением русской литературы», как он говорил и писал. Денег было, конечно, в обрез; ехал в третьем классе, а по Днепру плыл на барже с дровами, устроившись за гроши. Он говорил мне, что это первое странствие по Малороссии было для него самым ярким, вот тогда-то он окончательно влюбился в нее, в ее дивчат в живописных расшитых костюмах, здоровых и недоступных, в парубков, в кобзарей, в белоснежные хаты, утонувшие в зелени садов, и восхищался, как всю эту несказанную красоту своей родины воплотил в своей поэзии простой крестьянин Тарас Шевченко! Восхищался и тем, что он в детстве ушел в степь «искать конец света», и Иван Алексеевич грустно прибавлял: «Такие люди, которые в детстве искали конец света, не могут в дальнейшей жизни ничего себе на-

жить». Он признавался, что ни одна могила великих людей его так не трогала, как могила Шевченко, находившаяся близ старинного города Канева, «места крови», где почивают на старинных кладбищах герои и защитники казачества. Могила находится на горе, откуда открывается вид на Днепр, на далекие долины, на рассыпанные села, на то, что так любил украинский поэт.

Могила простая, с белым крестом, а рядом окруженная мальвами, маком и подсолнечниками белая хатка, мечта, не сбывшаяся в жизни Шевченко. В хатке на стене — большой портрет поэта, а на столе — «Кобзарь». Это особенно растрогало Бунина, который остро переживал его тяжелую жизнь, одиночество и нищету... К сожалению, денег было мало и у великорусского поэта: надо было возвращаться домой. Вернулся полный впечатлений, загоревшим, без конца рассказывая о пережитом.

«Орловский Вестник» предложил ему издать книгу стихов. Это была его заветная мечта, о которой он во время своего пребывания в Харькове поведал друзьям, и один из них обрушился на него:

— Что вы затеваете, ведь вы будете рвать на себе волосы через несколько лет от стыда!

Но наш поэт не внял мудрому голосу, а все силы приложил, чтобы его мечта осуществилась. И как потом всю жизнь, до самой смерти, сокрушался он о своем поступке. Много бы дал, чтобы эта книжка сгинула с лица земли...

«Орловский Вестник» сначала предложил 500 рублей за бесконечное количество экземпляров и требовал не меньше 150 стихотворений в книге. Поэт не согласился на эти условия. И книга была издана: 500 экземпляров за 100 рублей на одно издание.

Первая рецензия была литератора Ивана Ивановича Иванова, который очень раскритиковал книгу. Вторая — Буренина. Тот в газете «Новое Время» написал: «Еще одна чесночная головка появилась в русской литературе!»

Бунин написал о Николае Успенском, для этого съездил к его тестю, священнику, и матушка дала ему ценный материал об этом несчастном писателе. Иван Алексеевич всегда отзывался о нем как о писателе-художнике, что он особенно с молодых лет ценил. Он говорил, что и Глеб Успенский высоко ставил талант своего двоюродного брата, особенно его знание языков мещан, крестьян; он погубил себя из-за алкоголя и беспутной жизни, кончившейся самоубийством: зарезался на Кузнецком Мосту в Москве. Статья была напечатана в «Орловском Вестнике» в номере 125 за 1890 год. Переводил и Гайавату.

Его потянуло в Елец. Он только что прочел «Крейцерову сонату», которая в то время ходила по рукам в списках, — цензура запретила печатание ее. Впечатление было сильное. И, приехав в Озерки, он написал 12 июня 1890 года письмо Льву Ни-



Слева направо: стоят — С. Г. Скиталец, А. М. Горький;
сидят — Л. Н. Андреев, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин,
Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков. Москва, 1902.

колаевичу, прося о свидании: «Ваши мысли слишком поразили меня, высказанные Вами настолько резко, что я не то что не соглашаюсь с Вами, но не могу вместить Ваших мыслей». Юлию Алексеевичу он тоже написал по этому поводу: «Я положительно поражался, сколько правды в ней, да правда-то неприкрашенная; это мне тоже понравилось. Неправда тоже есть. Только это не толстовская, т. е. говорит Позднышев».

И, конечно, ему хотелось поделиться своим впечатлением и с ней; он уехал в Елец и зачастил к Пащенко.

Ее семья состояла из отца, матери, двух братьев и маленькой сестренки. Отец был широких взглядов и не мешал дочери вести себя, как ей вздумается. И влюбленные просиживали в их саду до поздней ночи. Ночевал он на подворье. Наконец, истомившись, они решили на время расстаться, и он уехал в июле домой, но ему было «смертельно жалко и грустно уезжать...». (Из письма к Юлию Алексеевичу от 28 августа 1890 года.)

В начале августа он опять уже был у них, но ненадолго.

8 августа он снова приехал к ним и «вместе с ее братом и с нею поехали к Анне Николаевне Бибиковой, в имение их, верст за десять от Ельца, на Воргле»... (из того же письма к Юлию Алексеевичу). Как всегда, у Бибиковых были еще гости. «Варварка», как звали девицу Пащенко, царила среди них, — она умела кружить головы, и в нее было влюблено несколько юношей, в том числе и Арсик Бибиков.

Они прогостили дней шесть. И в эти дни они «встретили любовь», как пишет Иван Алексеевич в одной из своих заметок.

«Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии». (Из того же письма к Юлию Алексеевичу.)

Они сговорились уехать в Орел через некоторое время, и он отправился в Озерки. Евгений стал его уговаривать бросить «всю эту канитель, не губить своей жизни». Но он уже был во власти своего чувства и скоро очутился в Орле.

Там он снял номер в гостинице близ вокзала на Московской улице, а Пащенко поселилась у «тетеньки», то есть в редакции, стала брать уроки музыки, вошла в «Кружок любителей сценического искусства», где обсуждались пьесы, которые этот Кружок будет ставить в зимний сезон с благотворительной целью.

Известно, как Иван Алексеевич относился к любительским спектаклям, — его не могло радовать, что Варвара Владимировна увлекалась ими, но он примирился с этим потому, что это удерживало ее в Орле. Сам он не принимал участия в развлечениях, свойственных его возрасту, смотрел на себя как на взрослого человека, хотя ему еще не было и двадцати лет.

Театры, концерты он посещал в качестве рецензента, благодаря чему Иван Алексеевич познакомился со знаменитым на весь мир Росси, видел, как тот «дрожал» перед выходом на сцену.

Бывал и на малороссийских спектаклях, единственный театр, который его очаровал и своей примитивностью, и талантливостью артистов, особенно восхищала его Заньковецкая, даже вызывала слезы.

2

Новый 1891 год он встретил с большой тревогой, — этот год был его призывным: он знал, что если его найдут годным, то ему придется отбывать воинскую повинность простым солдатом, целых три года, так как у него не было никаких льгот, — ведь он даже не кончил четырех классов гимназии. Знал он и свой необузданный характер, когда он мог в гневе натворить такое, за что не поздоровится. Дома тоже волновались и, по свойству бунинского характера, от отчаяния переходили к надежде: «Могут и забраковать, а если и забреют, то можно устроиться писарем, как Евгений»... Да и сам призывной находился в переменном настроении. Больше всего пугало его то, что придется расстаться на три года со своей возлюбленной, любовь к которой все росла и росла, хотя он и отдавал себе иной раз отчет в том, что ее чувство совсем не такое, как его. Минутами он был уверен, что чувство Варвары Владимировны не устоит в течение трех лет разлуки. За эту зиму он убедился, что и литературные вкусы у них разные, что его писание ей часто совсем не по душе: она не любит «описаний природы», предпочитая идеи, людей.

Она давно уговаривала его написать Чехову, спросить, считает ли он его талантливым? стоит ли ему заниматься литературой? Он долго не соглашался. Наконец уступил ее настойчивости и с большими извинениями послал Антону Павловичу письмо, — спрашивал, может ли он прислать ему два-три своих напечатанных рассказа?

Чехов ответил спустя некоторое время, в самом конце января, так как был в Петербурге. Написал, что он плохой критик и часто ошибался, просил присылать рассказы, еще не появившиеся в печати. Молодой писатель, несмотря на согласие Чехова, ни разу ничего ему не послал. А перед своей смертью Иван Алексеевич сетовал, что «Варварка уговорила его написать это письмо»... Он считал, что лишнее обращаться к известным писателям с просьбой прочитать произведение начинающего автора для того, чтобы узнать, есть ли у него талант и стоит ли ему заниматься литературой, ибо, если есть талант или только тяга к писанию, никто не отговорит. Хотя сам-то он впоследствии много прочел рукописей начинающих авторов всех возрастов и иногда внимательно с ними беседовал по поводу их произведений, себе же он не прощал своего первого письма к Чехову.

С осени 1890 года в редакции появились новые лица: Померанцева, Добронравов, Вологодка.

Сашенька Померанцева, как называл, вспоминая ее, Иван

Алексеевич, была очень милой девушкой, радикально настроенной, большим другом Буниных. Она приезжала к ним в 1893 году в Полтаву, где они все снялись группой; у меня имеется эта фотография.

Кто такая Вологодка, я не знаю. Весной 1891 года она травилась из-за своего несчастного романа с конторщиком «Орловского Вестника».

Было еще одно трагическое событие в газете — самоубийство корректора. После этого и пришлось Бунину замещать его, пока не нашли другого.

В середине января Пащенко уехала домой, за ней приехала мать, «маленькая неприятная женщина» по отзыву Ивана Алексеевича. Он говорил с ней о его желании вступить в брак с ее дочерью, но Варвара Петровна Пащенко отнеслась к его предложению грубо отрицательно, чем выбила его из рабочей колеи. Но все же, сказав, что ему нужно съездить домой, он проводил их до Ельца и, не заглянув в Озерки, вернулся в Орел.

Там сильно скучал и томился: письма ее не радовали, — она писала с оглядкой.

Вот его послание того времени к Юлию Алексеевичу:

О чем, да и с кем толковать?
При искреннем даже желаньи
Никто не сумеет понять
Всю силу чужого страданья...
И каждый из нас одинок,
И каждый почти что невинный,
Что так от других он далек,
Что путь его скучен и длинный.

Юлий Алексеевич получил в октябре 1890 года место в полтавском губернском земстве, в статистическом отделении, прилично оплачиваемое. Он стал звать младшего брата к себе, втайне надеясь отговорить его от такой ранней женитьбы, но он не знал о силе его любви.

Работать в «Орловском Вестнике» приходилось много, хотя первое время после разговора с В. П. Пащенко ему работать было трудно, — и он поругался с Шелиховым, который не знал о том, как его сестра приняла предложение молодого Бунина. Но, переломив себя, последний писал даже статьи о мукомольном деле или о крестьянских кредитах, о чем он не имел ни малейшего понятия. Он обращался за сведениями к брату, и тот присылал ему из Полтавы нужный материал. Приходилось отправляться и на заседания Городской Думы, писать о них отчеты, и этим он был так занят, что не мог бывать ни на концертах, ни в театре.

В феврале младший брат поехал погостить к Юлию.

Полтава его очаровала и своим еще более южным светом, и тенистыми садами, и широкими видами на беспредельные поля,

и жизнерадостными, сильными хохлушками, и чудесными песнями.

Конечно, братья много говорили о его намерении жениться. Юлий Алексеевич пробовал отсоветовать, указывая на его молодость, необеспеченность, но, поняв, что все доводы бесполезны, махнул рукой.

В это время Иван Алексеевич вошел в переписку с писателем Коринфским и критиком Лебедевым.

О Аполлоне Коринфском я нашла запись Ивана Алексеевича, помеченную 23 февраля 1916 года.

...«Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определений не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря, опять-таки, не его лично, но исходя из него и, сделав, например, живописца, самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с ней) голова в пошло картинном буйстве волос, в котором вьется каждый волосок, чистый прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик или пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанный зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом Христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице.

Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве, о Михееве, о Случевском (вот страшная истинно петербургская фигура)».

В это его пребывание в Полтаве произошла драма, как он пишет в конспекте, в семье знакомых Женжуристов, с которыми в будущем Бунины подружились. И младшему пришлось отвозить жену, худенькую, болезненную с превосходными «южными» глазами женщину, дочь народовольца Маликова, в Ромны.

Оттуда Иван Алексеевич опять пространствовал, заглянул в гоголевские места, побывал и в местах «Слова о полку Игореве». В марте его снова потянуло в Орел, — не мог долго жить в разлуке с Варварой Владимировной.

Он застал ее в Орле, но она скоро уехала в Елец.

По приезде он сразу попал на процесс Шелихова, куда был

вызван в качестве свидетеля. Дело было отложено из-за неявки всех свидетелей противной стороны.

Недолго пробыв в Орле, он отправился в Озерки. Вслед за ним туда пришло два письма от двух орловских земцев, предлагавших ему поступить в земское статистическое отделение, — объезжать с мая по август деревни и производить опросы, жалованье 50 рублей в месяц. Но для этого необходимо достать бумаги, за которые нужно было заплатить в елецкую гимназию 15 рублей.

Дома царило уныние. Удручало и изменившееся отношение мужиков к ним всем, и в частности к нему, что он скоро и испытал.

Он поехал на станцию Становую с соседом Цвеленевым. За переход через рельсы стрелочник, с грубой бранью, обрушился на него, хотя обычно все переходили через рельсы. Придя на вокзал, он потребовал «Жалобную Книгу». Жандарм, родственник стрелочника, спросил у него «пачпорт», которого при нем, конечно, не было. Тогда жандарм отправил его, под конвоем мужиков, в ближайшее волостное правление. Старшина был в отсутствии, и Ивана Алексеевича, до возвращения последнего, посадили под замок в холодную, где он просидел до позднего вечера, пока не вернулся старшина, отказавшийся тоже удостоверить его личность. Слава Богу, какой-то знакомый поручился за него, и его отпустили. Он понимал, что все произошло из-за их разорения.

Вернувшись на станцию Становую, он нашел письмо от подруги его кузины Веры Аркадьевны, что последняя в жару, — у нее тиф. Он очень взволновался и отправился ночью пешком по шпалам в Елец, с рублем и двадцатью копейками в кармане! Утром он немного поспал на вокзале. К счастью, кузине стало легче, — тифа у нее не оказалось.

По возвращении в Орел он отправился в земскую управу. Статистик Евдокимов сказал, что нужно представить бумаги до начала Страстной недели. Работа Ивана Алексеевича будет заключаться в опросах только помещиков, что гораздо легче, чем опрашивать крестьян. Отправка назначена на Фоминой неделе. Но где взять денег, нужно больше 29 рублей, чтобы «выкупить» бумаги из елецкой гимназии. Жалованье он будет получать 49 рублей в месяц.

Он решил опять ехать в Елец за бумагами, но его задержала на несколько дней Надежда Алексеевна, уговорив остаться до проследования через Орел траурного поезда с останками великого князя Николая Николаевича Старшего, скончавшегося в Крыму 19 апреля 1891 года.

Издательница «Орловского Вестника» очень благоволила к своему юному сотруднику, — он нравился ей, и она жалела его, видя его слепую любовь к «племяннице». Она понимала,



И. А. Бунинъ въ Турцiи въ 1903 г.

И. А. Бунин в Константинополе. Апрель 1903.

что они «из разных квасов», очень не подходят друг к другу. Видела, что и чувства их очень различны. Ей всегда хотелось отвлечь своего молодого друга от его «любовной болезни», как он впоследствии называл свое чувство к Пащенко. И она настояла, чтобы он отложил своей отъезд из Орла до этого траурного прибытия и поехал бы с ней на вокзал.

Он на всю жизнь запомнил сына покойного великого князя Николая Николаевича Младшего, — поразившего его своим необыкновенно высоким ростом гусара в красном доломане на тонких ногах с маленькой рыжей, курчавой головой, с правильными резкими чертами лица.

На Страстной неделе он съездил домой, но денег ему не удалось достать. Он был так нервен, что Маша прозвала его «Судорожным», поссорился с отцом. И бумаги остались невыкупленными. Но это дело провалилось: губернатор не разрешил в том году отправлять статистиков в уезд, может быть, из-за голода. Это не очень огорчило молодого влюбленного. Если бы он поехал, то не мог бы отлучиться из этой командировки даже на один день, а она должна была длиться месяца три, и его пугала такая долгая разлука с нею.

К середине мая Пащенко уехала из Орла домой.

Он тоже решил вслед за ней отправиться в Озерки, чувствуя себя очень нервным и зная, что только в деревенской тишине, при заботах матери, он обретет покой, несмотря на нужду и горе. Представлял, как там хорошо, — «всё цветет — белая черемуха, сирень, а затем станут снежными и фруктовые деревья...».

Ему было нестерпимо тяжело: в семье Пащенко все были против него. Брат Володя называл его «подлецом», раз он, не имея средств, хочет жениться»; даже ее подруга Токарева и его приятельница называла его «мальчишкой, могущим подохнуть с голода». И он чувствовал, что ему необходимо поехать к Юлию и там постараться устроиться на место. И, попросив у последнего десять рублей на дорогу, в июне он отправился в Полтаву.

Юлий был рад его приезду, он обожал своего младшего брата. Ему не хватало его оживления, веселости. И они с месяц прожили тихой размеренной жизнью. К сожалению, опять ничего не удалось устроить относительно службы. Заведующий статистическим отделением Кулябко-Корецкий, редкий по доброте человек, был в отсутствии, а без него нельзя было ничего предпринять.

Вставали рано, так как только по утрам, да с пяти часов вечера, можно было чем-нибудь заниматься.

Младший брат проводил время за чтением философских статей Куно-Фишера о германской литературе начала XIX века, что ему было очень интересно, из беллетристики он читал

Шпильгагена, переводы которого в то время печатались в «Русской Мысли».

Обедали они у доктора Женжуриста, флегматичного и добродушного хохла. Жена его вернулась домой. Кроме Буниных столовались у них Орлов, болгарин, Нечволодов и еще один статистик.

В Полтаве летом на каждом перекрестке стояло несколько будочек с продажей сельтерской воды, а по желанию и с ложечкой сиропа. И пока братья доходили до Женжуристов, они несколько раз останавливались, чтобы хоть немного освежиться колкой водой.

Восхищали их окраины Полтавы, совсем непохожие на окраины великорусских городов своими чистенькими белыми хатами в садиках с высочайшими тополями и черешнями. С конца июня там начали косить хлеба.

По вечерам всей компанией они ходили гулять куда-нибудь за город. Слушали по вечерней заре чудесные украинские песни, далеко разливавшиеся по окрестностям. Иногда, когда делали привал, Женжурист с Нечволодовым затягивали приятными голосами песню, чаще грустную. Возвращались домой после полуночи.

Однажды в месячную ночь решили всей компанией отправиться вниз по Ворскле в Терешки, место пикников молодежи, которая разводила костры, пекла картошку, и далеко разносилась украинская песнь, то грустная, то удалая.

Грести по течению легко. Ночь была прелестна. В Терешках, куда доплыли к полночи, они зашли к знакомым в хату, пили молоко и закусывали коржиками. Младший Бунин все не мог отделаться от впечатления, что хозяйка была актрисой в какой-то малороссийской труппе. Подкрепившись, гуляли по лунному хутору, слушая пение. Затем опять поплыли. Грести было труднее, и только на рассвете вернулись они в Полтаву.

Иван Алексеевич тосковал, все мысли и чувства неслись к Пащенко. Она не часто баловала его своими вестями. И в середине июля он, не выдержав, покинул Полтаву.

В Орле Варвары Владимировны не оказалось, и Надежда Алексеевна не знала, где она. Мать настроила всю семью против их романа, и молодой Бунин пришел в угнетенное состояние.

Издательница газеты стала уговаривать его поехать с ней в Москву на французскую выставку, открывшуюся 29 апреля 1891 года.

Ей хотелось его рассеять и дать ему возможность заработать корреспонденциями из Москвы, с выставки. Может быть, она надеялась, что он придет в себя и поймет все безумие своего желания связать крепко свою судьбу с судьбой «Варварки». Она лучше других понимала чету Пащенко, знала, что они никогда не согласятся на брак дочери с бедняком. Видела и колебания

«Варварки», различие их натур, стремлений, вкусов. Ей известно было, что семья стоит за Арсика Бибикова, который тоже влюблен в нее со всем юношеским пылом, к тому же у отца его есть имение под самым Ельцом в двести десятин, правда, чересполосицу, но все же это состояние. И как было бы удобно проводить лето в этой усадьбе под самым городом... Родители Варвары Владимировны явно выжидали, надеясь, что роман дочери с Буниным не примет серьезной формы; во всяком случае, доктор Пащенко советовал дочери не вступать в церковный брак.

Молодой сотрудник газеты, любивший больше всего ездить, с радостью согласился побывать на выставке и осмотреть Москву.

23 июля они выехали из Орла. Остановились в Туле, где у Семеновой были дела. Пока она занималась ими, он написал сказку, которую «навеял на меня сон». Она была напечатана в рождественском номере «Русской Жизни» в Москве в 1891 году.

Тула не понравилась ему, он называл ее «пустым и голым городом».

В Москву они попали утром 26 июля, остановились в центре, на Неглинном проезде, в номерах Ечкиной.

Сразу отправились на выставку, которая развернулась на Ходынском поле. Пробыли на ней до 3 часов дня. Иван Алексеевич делал заметки для газеты. Оттуда прямым путем поехали в Кремль, который произвел сильное впечатление на поэта своими зубчатыми стенами, соборами, древностью. Поднимались на колокольню Ивана Великого. Восхитила его церковь Спаса-на-бору, особенно ее название. Я нашла в его заметках:

«Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас на бору!»

«Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним».

Вечером были в летнем саду «Эрмитаж» на «Продавце птиц» с известным оперным певцом Тартаковым, спустившимся до оперетки, что возмутило молодого писателя, а оперетка показалась ему очень глупой и бездарной. На другой день после посещения выставки они обедали в «Большом Московском трактире под машину, игравшую попурри из опер». После обеда он отправился в Румянцевскую библиотеку для того, чтобы там собрать материал для корреспонденций в свою газету. Просидел там несколько часов.

В Москве они прожили с неделю, хорошо ознакомились с выставкой, — они получили бесплатные билеты и бывали там ежедневно и в разное время. Особого впечатления выставка не произвела, больше всего понравились фонтаны. Осмотрели и достопримечательности древней столицы, съездили и на Воробьевы горы, посидели в ресторане Крынкина, полюбовались видом на златоглавую Москву, лежащую в долине, заглянули и в Нескучный сад...

Его спутница не раз заводила разговор о его романе, но скоро убедилась, что он уже в таком состоянии, когда человек бывает глух и слеп.

Иван Алексеевич иногда, с грустной улыбкой, много лет спустя говорил мне, что Надежда Алексеевна была его «непростительной пропущенной возможностью». Он понял только позднее, что он «действительно, нравился ей, и что было бы лучше, если бы он увлекся ею, а не Пащенко». Повторял это он и незадолго до смерти, всегда восхищаясь этой умной, изящной, обаятельной женщиной. Но он был юн, когда в первый раз увидал ее, и она показалась ему недоступной.

Мучила его в те дни и мысль о призыве: возможно, если он окажется годным, то грозит разлука с Пащенко на три года! Как это перенести? Не было уверенности, что она не изменит ему...

В редакции атмосфера была любовная, особенно много романов было у Шелихова, последний роман серьезный, он расходился с Семеновой, бросил детей и решил соединить свою жизнь с Померанцевой. Это человек, редкий по темпераменту, «маленький с быстрыми движениями, с горящими глазами, — именно дьявол!» — повторял не раз Иван Алексеевич, — «постоянно со всеми бранившийся, особенно часто с высоким, мрачным корректором, на которого он, при своем маленьком росте, подпрыгивая, бросался с кулаками...»

По возвращении из Москвы, сдав все свои корреспонденции, молодой сотрудник поехал домой, а оттуда к Евгению в его новое имение. Оно было небольшое, двести десятин земли. Усадьба, с одноэтажным домом в фруктовом саду, находилась вблизи сельца Огнёвки. Бунин взял ее в свою поэму «Деревня», под названием Дурновка.

Стояли погожие августовские дни, он от зари до зари бывал в отъезжем поле.

Накануне своего отъезда они с Евгением проговорили до двух часов ночи. Главная тема: его любовь и желание вступить в брак с Пащенко. Евгений тоже был против этого брака, пытался отговаривать, но, конечно, без всякого успеха. Говорили и о планах последнего, который вместе с женой работает без устали, так как понимает, что только беспрерывный труд позволит им удержать Огневку, на которой лежит банковский долг. Они мечтали выкупить эту закладную, чтобы под старость иметь возможность отдохнуть. Младший брат укорял его, что он из-за благ земных забросил живопись, поставил крест на своем таланте. Евгений Алексеевич возражал, что уже поздно, что руки у него испорчены работой, а для себя он будет, когда немного приведет имение в порядок, ездить зимой в Москву, там работать под руководством какого-нибудь художника в его мастерской.

Оба сокрушались о родных. Евгений был уверен, что не пройдет и трех лет, как от Озерок ничего не останется: очень высо-

кие проценты по векселям, земля продана, а с усадьбы и нескольких десятин дай Бог им самим прокормиться. «Ну, конечно, как обзаведусь мебелью и всем необходимым, перевезу всех к себе...»

Волновало в эти дни поэта, что всего в нескольких верстах находится родовое поместье Лермонтовых, в котором он некогда был. Но в этот раз побывать там он не удосужился.

В августе Пащенко получила место в управлении Орловско-Витебской железной дороги. А Иван Алексеевич снова стал работать в «Орловском Вестнике». И проработал там до октября. Надо было ехать в деревню, — готовиться к призыву. Евгений советовал ему месяц голодать и почти не спать, чтобы явиться на медицинский осмотр в болезненном виде. В Озерки он только заглянул, боясь, что мать будет страдать от его режима, и направился к Пушешниковым, где и пробыл больше месяца.

Софья Николаевна рассказывала мне, что он «действительно ничего не ел и почти не спал, был нервен и под конец своего пребывания у них едва держался на ногах...»

Он много читал, писал Юлию, вел живую переписку с Варварой Владимировной, портрет которой стоял на его письменном столе. Его ранило спокойное ее отношение к тому, что его могут признать годным, и тогда разлука на три года! У нее не было стремления успокаивать его. Она знала, что он больше всего мучается при мысли о разлуке с ней... Но она не проявляла ни беспокойства, ни тревоги.

Утром 15 ноября он уехал в Елец на «ставку» и явился на медицинский осмотр в воинское присутствие, бросив на несколько дней свой пост, чтобы иметь силы добраться до города.

Он вынул дальний жребий, 471. Кроме того, доктор Пащенко, не смерив как следует его, крикнул, что объем груди у него ниже нормы, и он был зачислен в синебилетники, то есть в число тех, которых призывают только во время войны.

После освобождения его от воинской повинности Варвара Владимировна согласилась соединить с ним свою жизнь, уступив отцу лишь в том, что они не будут венчаться.

Молодой Бунин, несмотря на отказ от венчания, был счастлив. Он написал обо всем Юлию, который ответил, что ждет их к себе и что надеется, что рано или поздно ему удастся обоих устроить в статистическое отделение. Сообщил, что квартира уже снята.

Радостным он поехал домой, но нерадостное было свидание... Родные питались почти одними яблоками, даже хлеба не было вволю, так как то, что присылал Юлий, уходило на проценты по старым векселям. Мужики тоже отощали; в России был голод.

Из Озерок, через Васильевское, он приехал в Орел, где ждала его Варвара Владимировна. Прогостив несколько дней в уют-



И. А. Бунин с суданскими неграми. 1903.
На обороте фотографии подпись: «Ив. Бунин».

ной обстановке у «тетеньки», он, как ему тогда казалось, навсегда распрощался с «Орловским Вестником», о котором, несмотря на его бесконечные ссоры с Шелиховым, у него на всю жизнь сохранилось светлое воспоминание, особенно об издательнице. Вспоминал о ней и в последние недели своей жизни.

В Орле в эти годы ему порой бывало невыносимо тяжело. Но были и радости, как, например, издание его первой книги стихов «Орловским Вестником».

В редакции он научился работать, — чем только ему в ней не приходилось заниматься. Хорошо он узнал и типографское дело.

Кроме того, в дни одиночества, когда Варвара Владимировна уезжала домой, он особенно остро наблюдал за всем: и за посетителями редакции, и за людьми на улице, и в трактире, где он пил чай, следя с зоркостью за тем, что делалось вокруг. Когда водились деньги, он нанимал извозчика на вокзал и обедал там, рассматривая пассажиров, ехавших на север и на юг. Его жадный взгляд ловил все, но он еще не умел превращать свои наблюдения в творчество, от чего немало страдал, и ничего тогда, как он говорил потом, не было им написано, кроме стихов, очерков, перевода «Гайаваты», несколько же рассказов, которые он печатал в газете («Два странника», «Божьи люди», «День за днем») или статья «Об искусстве», по его мнению, были крайне слабы.

За эти годы он возмужал, изменил прическу. Остался портрет. Он ошибочно обозначил его 1889 годом; вероятно, смешал его с портретом в бурке, в ней он снимался в 1889 году, когда купил ее. Хронология у него иной раз хромала. На портрете, снятом в Полтаве, — а туда он попал впервые только в 1891 году весной, ему больше восемнадцати лет, — он в крахмальном воротничке, лицо тонкое, красивое, глаза печальные, высокий большой лоб с зачесанными назад волосами, и он старше, чем на портрете в бурке, где он очень красив и юн, — усы на портрете, снятом в Полтаве, настоящие, есть и пух под подбородком.

Художник Пархоменко, живший в ту пору в Орле, рассказывал мне при знакомстве, что у Ивана Алексеевича были очень красивые густые волосы и что ему хотелось его писать. Не помню, сделал ли он с него портрет. Иван Алексеевич терпеть не мог позировать, отказывал даже и знаменитым художникам.

3

Путь в Полтаву вместе с *нею* был одним из самых счастливых в его жизни, — ведь он еще верил в будущее, радовался, что та, которую он любит, решила делить с ним жизнь, — прекратилась, как ему казалось, его вечная мука.

Радовало то, что они будут жить в гоголевских местах, которые весною очаровали его на всю жизнь.

Радовало, что теперь он поселится вместе с Юлием, — по нем

он всегда тосковал в Орле, — ему недоставало их бесед да и крепко он любил его.

Юлий Алексеевич снял квартиру, место называлось Новое Строение, дом Волошиновой, снял без мебели и по своей беспомощности не мог один обставить ее даже самым необходимым. Первые ночи пришлось спать на полу.

В Полтаве началась его первая семейная жизнь. Все друзья и знакомые отнеслись к ним, как к мужу и жене, — в их среде к законному браку относились без пиетета.

Но почему они все-таки не повенчались тайно? Она не пожелала идти против воли отца? Это, конечно, объяснение слабое. Тем более, что мать, вдогонку им, послала ей очень грубую по содержанию открытку.

Юлий Алексеевич был счастлив, что его младший брат перебрался к нему.

Конец 1891 года, несмотря на голод в России, который всех сильно волновал, проходил оживленно. Раевский открывал столовые, кормил голодающих, к нему присоединился Толстой, который проявил большую энергию, привлекая молодежь и всех, кто хотел помочь этому бедствию. О Толстом всюду говорили, спорили: одних он восхищал, другие осуждали его. Младший Бунин, все более и более увлекавшийся им, бросался на его защиту.

Полтава очаровала и Варвару Владимировну. Их круг был менее революционно настроен, чем харьковский, но тоже радикальных взглядов, что «молодой» было по душе. Как и в Харькове, оказались состоятельные люди, сочувствующие радикалам, они устраивали приемы, вечера с обильными ужинами.

Полтавское земство было одно из передовых. Одним из членов управы был А. П. Старицкий, представитель очень просвещенной семьи, игравшей в Полтаве большую общественную роль. Среди гласных находились князь Кочубей, Смагин (друг Чехова), Синегуб, Башкирцев, брат известной Марии Башкирцевой, земский деятель, человек правых убеждений, по мнению Ивана Алексеевича, «дегенерат».

К общему их горю, Юлию Алексеевичу не удалось устроить своих на земскую службу, и «молодая» должна была уехать обратно в Орел, чтобы не потерять службы в управлении железной дороги. Старший брат уговорил младшего остаться с ним, надеясь, что для одного будет легче найти место в земской управе.

Обедали они не дома, — не стоило заводить хозяйство без хозяйки, — ходили в польскую кухмистерскую, где за баснословно дешевую цену давали борщ с очень густой сметаной, жаркое с овощами, плавающее в масле, а на сладкое какое-нибудь мучное блюдо, и все в таком количестве, что было трудно доесть даже и при их деревенских аппетитах.

После отъезда Варвары Владимировны ему стало очень тоскливо, тем более, что скоро обнаружилась ее неискренность, неаккуратность в переписке так же, как это было в орловский период. Порой он, возмущаясь, отвечал резко, и она замолкала; прекращал писать и он. Недолго длилось его безмятежное счастье.

У него к ней в эту пору была чистая любовь, как к жене, а она уже начала, видимо, тяготиться, — отлынивала от писем к нему. Помечала письмо не тем числом и попадалась, что тоже его сильно задевало, и он терялся в догадках.

Во время ее отсутствия он стал учиться считать на счетах, поступил на временное место «в статистику» за 15 рублей в месяц, делал бесконечные выкладки. Начал посылать корреспонденции в «Харьковские Ведомости», получил приглашение из «Полтавских Ведомостей» давать беллетристику с оплатой по две копейки за строку. Словом, появился небольшой заработок.

От критика Лебедева пришло письмо, в котором он укорял Бунина, как и в своей рецензии, за «невнимание к форме». Но восхищался «неподдельной поэзией» в стихотворении «Три ночи», что было автору приятно, ибо он считал эти стихи лучшими из всех, им до тех пор написанных.

Бывал он на концертах приезжих гастролеров: Серебрякова, Михайлова, Чернова; концерты действовали на него сильно, и он несколько дней ходил, как «очарованный». Особенно сильное впечатление произвел на него романс Рубинштейна на слова Гейне «Азра». Двадцать два года носил он в себе впечатление от «полюбив, мы умираем»... И пережил его в «Митиной любви».

В журнале «Север» (март 1892 г.) была хорошая рецензия о его первой книге «Стихотворения 1887—1891», изданной «Орловским Вестником».

Два статистика из харьковской земской управы вместе с Юлием Алексеевичем перекочевали в Полтаву, и как раз те, которых особенно любил младший Бунин. Один — Зверев, ставивший статистику выше всего на свете, крестьянского происхождения, веселый, с красивым лицом, очаровательно смеявшийся и говоривший на о. Фамилию другого я забыла. Это был высокий, бородатый, идеалистически настроенный человек, любивший поэзию, преклонявшийся перед поэтами, по натуре очень доверчивый, чем и пользовался младший Бунин, не знавший, куда девать свои неистощимые силы; иногда он и очень жестоко над ним подшучивал. Однажды он написал стихи под Пушкина и уверил его, что случайно наткнулся на них в каком-то старинном издании с подписью Пушкин. Идеалист, поверив, пришел в неописуемый восторг. И какое было для него огорчение, и какая обида, когда он узнал о мистификации! Иван Алексеевич

признавался, что ему было очень жаль его и стыдно за свою легкомысленную проделку.

Приятен был секретарь управы: сутулый в золотых очках, сильный брюнет, обладавший изяществом, любивший высокий стиль; например, он называл монастырь вдали на холме «застывшим аккордом» и очень изысканно всегда разговаривал с Варварой Владимировной.

К этому времени относится и увлечение младшего Бунина немецким литератором Берне; он советует и Варваре Владимировне познакомиться с его книгами.

Начинающие местные поэты иногда просили его прослушать их стихи и сказать свое мнение. И он не знал, как ему быть: стихи слабые, а огорчать молодежь не хочется.

Познакомился он тогда с первым толстовцем — Клопским, очень странным человеком, который больше всего любил огорошить всякого, был резок, иногда нахален, но забавен. Его вывел в своем рассказе «Учитель жизни» писатель Каронин. Жил в Полтаве в это же время и доктор Волкенштейн, толстовец, муж известной революционерки, отбывавшей наказание на каторге. Через него Клопский попал в высшие слои полтавского общества, — всем любопытно было посмотреть на такого толстовца.

12 апреля братья Бунины бросили квартиру и поселились у Женжуристов.

В третьей книге «Наблюдателя» книгу стихов Бунина очень разбранили, хотя треть ее печаталась именно в «Наблюдателе», но поэт не огорчился, так как рецензия была очень глупая.

Постоянного места, однако, ему все не выходило, и он уже просил Варвару Владимировну, чтобы она нашла ему заработок в Орле или чтобы через Надежду Алексеевну и Е. П. Поливанову похлопотала о месте для него в редакции «Смоленского Вестника»: «Смоленск ближе к Орлу, и можно было бы по праздникам видеться».

Стосковавшись по ней, он весной уехал в Орел.

Там он помирился с Шелиховым и начал снова работать в газете — это было ему на руку, жалованье 50 рублей в месяц. Кроме того, доктор Вырубов обещал его устроить в управление Орловско-Витебской железной дороги.

Юлий Алексеевич советовал ему поехать в Москву и попытать там счастья, но он решил остаться в Орле. Все же он просил Юлия похлопотать о месте в Екатеринославе, — Варвара Владимировна согласна туда переехать, если им обоим там найдется служба.

В мае они решили съездить в Елец. Иван Алексеевич должен был поговорить с ее отцом, — сделать, так сказать, официальное предложение.

Отворил дверь сам Пащенко и пригласил его в кабинет. За стеной «жених» слышал пререкания дочери с матерью. Иван Алексеевич в письме к Юлию остроумно описывает этот разговор, который «можно найти в каждом романе Назарьевой»... «Какой-нибудь незаконный сын влюблен в дочь богатейшего купца или графа, и граф узнал все...» «Граф ходил большими шагами по кабинету и говорил, что я Варваре Владимировне не пара, что я головой ниже ее по уму, образованию, что у меня отец — нищий, что я — бродяга (буквально передаю), что как я смел иметь наглость, дерзость дать волю своему чувству... Пащенко подал руку: «До свиданья! Все, что от меня зависит, сделаю для того, чтобы расстроить этот брак».

Выйдя из дома доктора, Иван Алексеевич уехал сразу в Орел. В письме к Юлию он сообщает, что у него «зреет мысль о самоубийстве», что он живет «как в тумане» и что он не может «привыкнуть к жизни».

Вскоре и Варвара Владимировна вернулась в Орел на службу. И опять на предложение повенчаться тайно она твердо сказала, что «они венчаться не будут», но что она будет с ним попрежнему жить нелегально, как жена.

Зачем Варвара Владимировна допустила этот разговор между ним и отцом, зная непримиримость того, объяснить трудно.

Летом они решили проехаться в Рославлев, Смоленской губернии, вокруг которого находятся чудесные леса. Они много бродили пешком, устали и выкупались в ключевой воде.

Вернувшись в Орел, он почувствовал сильный озноб, смерили температуру, оказался жар. Пригласили доктора Вырубова, который поставил диагноз: плеврит с левой стороны. «Левый бок завалило словно каменьями», — писал Иван Алексеевич, немного прийдя в себя, Юлию. Доктор Вырубов ездил ежедневно, — болезнь была серьезная. Неделю он пролежал с «острыми болями», «с тяжелым дыханием». Лежал он в редакции, — никого там не было, так как Надежда Алексеевна решила окончательно порвать с Шелиховым и переехала на другую квартиру, скрыв ото всех свой адрес. Шелихов неистовствовал, скандалил.

Денег не было, Варвара Владимировна приносила лекарства из управления, где служила.

Доктор запретил ему работать и, как только он будет в силах, велел ехать в деревню, прописал кумыс, сказав, что у него затронуто левое легкое.

Утешало одно, — в июле обещано место в управлении Орловско-Витебской железной дороги. Вырубов сказал ему, что 99% за это.

Но было огорчение: Шелихов, заявив, что ему необходим помощник, взял на его место Померанцеву.

За Ваней приехала Настасья Карловна, чтобы его везти в Глотово, где они временно жили, не знаю почему. Там он оставался с месяц и поправился.

В Орел он вернулся окрепшим. Шелихова в редакции уже не было, — его Семенова выселила с полицией, и он перебрался в Елец.

Но и Семенова не оставила Бунина в газете, сказав, что во время его отсутствия ей пришлось пригласить другого редактора...

Он писал брату, чтобы тот похлопотал о месте или в Полтаве или через приятелей в Екатеринославле. Сообщил мнение Вырубова, что ему грозит туберкулез. Слава Богу, этого не случилось, но при всяком легочном заболевании место, пораженное плевритом в ту далекую пору, всегда воспалялось — вплоть до самых последних недель его жизни.

В самом конце июля он поступил все же в управление Орловско-Витебской железной дороги, но прослужил недолго.

В письме к Юлию в Полтаву младший брат писал, что Надежда Алексеевна сказала ему: «Варя говорила, что она решила со мной расстаться... просила Надежду Алексеевну отказать мне от обеда в редакции (Варя живет в редакции, потому что Борис Петрович навеки выселен), чтобы не встречаться со мною.

Теперь гляди: я вот уже почти месяц служу здесь в управлении, получаю 30 рублей, освоился с делом, работаю прекрасно, и это я должен бросить! В Орле при таких обстоятельствах, т. е., не видясь с ней, я жить не могу!!!» (письмо от 3-го августа 1890 г.).

В тот же день и Надежда Алексеевна Семенова написала письмо Юлию Алексеевичу, сообщая, что Иван Алексеевич «раскис», что ему надо отсюда уехать и лучше всего к Юлию Алексеевичу; сожалеет, что ему приходится бросить место.

Нервы у него, после болезни и сообщения Семеновой, были в таком состоянии, что на какое-то замечание начальника он надерзил ему и, бросив службу, уехал в Полтаву.

Все лето его еще очень волновала холера, которая в том году свирепствовала по России, а он боялся этой болезни панически. Волновался и за родных, зная их невоздержанность, особенно когда наступала ягодная или фруктовая пора. Умолял их есть все вареное, но они исполняли одно: принимали перед едой несколько капель соляной кислоты. Слава Богу, никто в Озерках не болел холерой.

4

В очень тяжелом состоянии духа Иван Алексеевич уехал из Орла.

К счастью, Юлию Алексеевичу удалось его устроить в своем статистическом отделении. Но он не проявлял на службе большого усердия; он признавался потом, что его радовало одно: можно было требовать, сколько угодно, бумаги, перьев и карандашей всех цветов. Он вносил такое оживление, что ему все прощалось. Все же вскоре стали подумывать о создании для него места библиотекаря при архиве губернской земской управы.

Не знаю, как произошло примирение его с Варварой Владимировной, но она тоже приехала в Полтаву, и ее устроили на работу в канцелярии, тоже по статистике. Она оказалась хорошей работницей.

Перед ее прибытием Бунины переменили квартиру, сняли флигель у медлительно-ленивого чиновника Кованько на просторном дворе с каменным колодцем, двумя белыми акациями и высоким, затемняющим окна, каштаном. Наняли прислугу, дом стала вести молодая хозяйка.

Радикально настроенная молодежь решила ознакомиться с «Капиталом» Маркса. Образовался кружок по изучению его. Младший Бунин, побывав дважды на этом изучении и прослушав обсуждение первых глав «Капитала», на третий раз упал посреди комнаты на колени, поклонился в землю и обратился ко всей братии: «Отпустите меня, грешного, с миром!» — и перестал посещать эти марксистские собрания.

Зато его влекло толстовство. Доктор Волкенштейн свел его с осевшими на землю под Полтавой или занимавшимися ремеслами толстовцами: с Д. Леонтьевым, бывшим пажом, красивым худым человеком, который столярничал; с бондарем Тенеромо-Фeерманом, «нестерпимым ритором», по словам Ивана Алексеевича. Вскоре он поступил к нему «на послушание», набивал обручи на бочку, слушал его поучения.

В повести Бунина «На даче» отразилось увлечение его толстовством.

Когда начались земские собрания, то вся семья Буниных с большим интересом посещала их, когда это было возможно. А младший Бунин стал посылать корреспонденции в газеты «Киевлянин», «Харьковский Вестник», что увеличивало его заработок. Кроме отчетов о земских собраниях, он посылал корреспонденции о текущих делах, о борьбе с насекомыми, об урожаях свекловицы и т. д. Тома три-четыре могло бы прибавиться к его томам.

К зиме холера прекратилась, и все вздохнули свободнее, — очень волновали и холерные бунты и все, что за ними следовало.



Дом С. Н. Пушешниковой в имении Васильевском
в селе Глотове, Орловской губернии.
Бунин жил здесь летом — начиная с 1906 и до октября 1917.

В Полтаву на зимний сезон приехала малороссийская труппа с Заньковецкой, Крапивницким и Саксаганским. Кажется, последний поселился в том же доме, где квартировали Бунины. Вскоре с ними познакомились и друзья Буниных. Иван Алексеевич еще с Орла был очарован этим примитивным театром и его талантливыми, музыкальными артистами. Состоятельные люди приглашали к себе чуть ли не всю труппу. И тогда не было конца пению, пляскам, всяким выдумкам и рассказам. Известно, что артисты часто проявляют больше блеска в дружеской компании, чувствуя настоящих ценителей искусства, так бывало и с Шаляпиным: нигде он так не пел, как на «Среде» у Телешовых, когда ему аккомпанировал Рахманинов.

Украинцы, действительно, были редко даровиты, и младший Бунин, относившийся отрицательно к актерам, был долгие годы пленен этими артистами, оценившими, в свою очередь, его живость и одаренность.

Иногда статистик Зверев брал с собой молодого писателя, когда объезжал села и деревни для опросов, и это было большим наслаждением для него. Со Зверевым всегда бывало весело, Бунин любил его заразительный смех. Мог он и сравнивать тамошних мужиков с нашими великороссами, его восхищала их чистота, спорость в работе, домовитость и большая независимость. Восхищала и природа. Познакомился он и с местной интеллигенцией, среди которой были и увлеченные украинским движением.

Возвращался он всегда очень освеженным, и после каждой поездки появлялся рассказ или стихи.

Новый 1893 год встретили в большой компании, у богатого помещика, побывавшего в ссылке, очень милого, скромного человека, тщедушного, маленького роста. Произносились речи и спичи, которые называли «речками» и «спичками». Было оживленно, ужин был новогодний, много ели, лилось шампанское, велись жаркие споры. Младший Бунин воздерживался от всего — боясь своего наставника Тенерома.

Жизнь текла по-прежнему, только он все больше увлекался толстовством, часто ходил к своему учителю и уже наловчился набивать обручи на бочку.

В мае он получил длительный отпуск, — делать ему, как библиотекарю, летом было нечего, и он отправился к Евгению в Огневку. Варвара Владимировна должна была приехать туда позже в июле, когда получит отпуск. Настасья Карловна пригласила и ее погостить.

Бабы в Тульской губернии одевались иначе, чем в Орловской: носили паневы, вышитые рубахи, а на голове рога, сделанные из кос и покрытые платком, завязанным на затылке.

Новые помещики Бунины очень редко бывали в Озерках, к огорчению родителей и Маши, к возмущению братьев, но они оправдывались, что у них так много работы, что отлучаться им из имения невозможно.

Строго говоря, судить Евгения Алексеевича не следует, хотя его осуждали всегда и за скупость и за то, что он погубил свой недюжинный талант художника-портретиста. Но, если вдуматься в его жизнь, многое можно объяснить и понять. Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл. Пока был молод, он, по-бунински, оставался беспечен, но с летами, присмотревшись к хозяйству, понял, что отца не переделаешь, что в будущем грозит полное разорение. Ему было 26 лет, когда он решил жениться. Выбрал, как известно, он девушку работящую, не из дворянского гнезда, знал, что ему нужна «поддужная», которая помогла бы выйти в люди. Он любил повторять: «руби дерево по себе». В своем выборе он не ошибся, но была одна беда: Настасья Карловна не могла иметь детей. А ему хотелось иметь наследников. В первые годы их жизни он, впрочем, даже и об этом не думал. Дума была одна: стать помещиком! Года через два после свадьбы они завели лавку, а через семь лет приобрели именьице.

Нужно сказать, что в Огневке они работали споро: ни у кого не бывало такого урожая, как у них; жили не по-дворянски, ни с кем, кроме родственников, да и то редко, не видались, работали, не покладая рук. И в 1906 году, когда он продал Огневку, у них было уже порядочное состояние. Руки у него огрубели, но все же он писал портреты, иногда удачные, а после революции, когда выгнали из дому и все деньги отняли, он портретами зарабатывал буквально на кусок хлеба, живя в полуразвалившейся хибарке за городом. Под старость у него появились дети: сын и дочь, от служанки, которая и оставила их у него. Он дал им свое имя, Настасья Карловна любила их.

Есть записи Ивана Алексеевича тех дней:

«3 июня 1893 года, Огневка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги густо чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, заколосились. В колеях блестела вода. Впереди предо мной на западе — синие-синие тучи горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними — и золотые столпы уперлись в них, и края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом.

Деревня Басова в хлебах».

Он тогда испугался, что опять простудился и у него будет воспаление легких. Выпил водки, и все обошлось.

Съездил он в Озерки и привез весть, что и усадьба уже запродана Цвеленеву. Отец переселяется в Каменку, в «хижину дяди Тома», к сестре Варваре Николаевне. Мать и Машу он уговорил переехать к Софье Николаевне Пушешниковой «на пансион». Он уже побывал в Васильевском и обо всем условился. Это, конечно, временно: потом все переедут в Огневку, когда хозяева обзаведутся необходимой для всех мебелью.

Приехала Варвара Владимировна. Она не понравилась Евгению Алексеевичу, и это она почувствовала. Прогостила недолго и вместе с Иваном Алексеевичем отправилась к доктору Варгунину, крупному помещику близ станции Казаки, соседней со станцией Измалково. Он был либерал, земец, бесплатно лечил крестьян, пользовался большой популярностью.

От Варгунина они по железной дороге вместе доехали до Измалкова. Он слез на этой станции, а она проехала в Орел к Семеновой, куда он должен был за ней заехать, устроив мать и сестру в Васильевском. Прогостив несколько дней у Пушешниковых, назначив день переезда своих к ним, он верхом отправился в Озерки.

Можно представить, как он переживал полное разорение родителей. Он чувствовал их горе: они лишались крова, прожив всю жизнь помещиками, понимал и буйство отца и безысходное горе матери. Отцу шел семидесятый год, а матери было пятьдесят девять. Они, как я писала, уже испытывали разницу отношений к себе со стороны мужиков.

В Озерках у них было уже нестерпимо. Отец пил, буйствовал, не расставался с ружьем. Накануне отъезда Людмила Александровна с детьми не решилась ночевать дома. Отправились к Рышковым, где они провели почти бессонную ночь. Наутро вернулись домой. Из Васильевского приехали экипаж и подвода. Надо было все окончательно уложить.

Людмила Александровна, измученная, не удержалась и упрекнула мужа, что он всех их «пустил по миру, — надо жить по чужим углам...». Он рассвирепел, кинулся на нее, она выскочила из дому и быстро, несмотря на возраст, вскарабкалась на черемуху, росшую около лесенки на балкон. Алексей Николаевич в полном безумии вскинул ружье...

Был послеобеденный час. У Рышковых все взрослые спали. Две маленьких девочки, воспользовавшись свободой, полезли на чердак с балкончиком, откуда видна была бунинская усадьба: дом, сад, дерево, куда вскарабкалась Людмила Александровна. Услыхав выстрел и увидав распростертую Людмилу Александровну, дети с криком бросились вниз: «Алексей Нико-



В. Н. Бунина. Москва, 1907.

лаевич убил Людмилу Александровну...» Мгновенно послали прислугу. Прислуга вернулась успокоенная: «Барыня раньше выстрела свалилась на землю...»

Вся семья, включая и отца, была потрясена.

Вдумываясь во все эти драматические события бунинской семьи, я многое себе уяснила, чего раньше не понимала, ибо у всех Буниных рассказы об этом не облекались в драматическую форму, а передавались с юмором, а главное, они никогда не обвиняли отца, всегда после его отрицательного поступка расскажут о его широком жесте, щедрости, точно желая уничтожить первое впечатление.

Поняла я, почему мать так выделяла своего любимца, говоря, что «никто ее так не любит, как Ваня, и что ни у кого нет такой тонкой души, как у него». Да, ни один из сыновей не приехал в самую драматическую минуту ее жизни. Ведь почувствовать только, что стоило ей выйти из дома, где она родилась, где протекало ее детство, юность, откуда она пошла под венец, где скончалась ее мать... А он приехал, нарочно оставшись в деревне, понимая, как она должна будет страдать. И я не сомневаюсь, что он был в эти дни в Озерках нежен с ней так, как только мог быть вообще нежен с теми, кого действительно любил, и еще с детьми. Кто его не знал до конца, тот и представить не может, на какую нежность была способна его душа. Есть люди, которые считают его холодным, строгим, даже злым. Правда, иногда он хотел таким казаться, — он ведь был первоклассным актером. Поняла я, почему он всю жизнь так боялся бедности, нищеты. «Ты не испытала этого, ты не можешь почувствовать, что это такое». Поняла я, почему в его ранних рассказах герои — старики. Какое знание старых людей в 22—23 года и какая любовь и нежность к ним.

Устроив мать и сестру, которая одна только была отчасти рада переезду в Васильевское, где было веселее, чем в Озерках, — ей шел девятнадцатый год, — он уехал в Полтаву, с заездом в Орел за Варварой Владимировной.

Он подробно рассказал ей обо всем, и, может быть, окончательное разорение произвело на нее тяжелое впечатление не только потому, что ей было жаль стариков, а еще потому, что она почувствовала и его нищим. Да еще, того и гляди, станет настоящим толстовцем!

Неизвестно, когда у нее закралась мысль бежать и выйти замуж за Бибикова, у которого, как я уже писала, было двести десятин под самым Ельцом, с усадьбой на берегу реки: можно будет проводить лето и всем Пащенко, что необходимо для «папки», которого она считала замечательным человеком и доктором, хотя это был очень ограниченный обыватель и плохой лекарь.

Однажды он вздумал написать статью для «Орловского Вестника», в которой, восхищаясь, одобрял Городскую Думу за то, что она поместила светящиеся часы на своем здании:

«и в темную ночь можно по ним легко ориентироваться». Дочь всех умоляла: «Тише, тише, папка статью пишет...» И писал он ее чуть ли не неделю!

В обычае у Буниных было задалбливать смешное, и эти слова повторялись при всяком подходящем случае.

Конечно, Варвара Владимировна виделась с Арсиком; вероятно, он приезжал в Орел. Она поняла, что он по-прежнему влюблен в нее. Знала его покладистый характер, мягкость натуры, была уверена, что он никогда ни в чем не станет перечить ей. Эти чувства и мысли, вероятно, еще только бродили в ней.

Замечательно одно: как раз в это лето Пащенко написал ей, в ответ на ее письмо, что хочет ее видеть, но Бунина согласен принять — не раньше того, как они повенчаются. Она скрыла это письмо от Ивана Алексеевича; он так и умер, не зная, что доктор Пащенко соглашался на узаконение их союза.

5

Вернувшись в Полтаву, они стали жить, как жили: она работала в «статистике», он много писал в своей сводчатой библиотеке, пока не наступило время подготовки к земским собраниям, перед которыми ему и приходилось выдавать разные отчеты, доклады земской управы, журналы земских собраний, «Сборники» и «Вестники» членам управы, статистикам, земским гласным. Ему в этом помогал архивариус, который весь архив знал наизусть: странная дореформенная личность, выведенная в «Святочном рассказе» в лице Фисуна.

Перед самыми земскими собраниями младшего Бунина засадили за сложную статистическую выкладку, за которую он получил, работая почти круглые сутки, 200 рублей, сумму для него в то время большую. Кроме того, он уже стал постоянным сотрудником в «Киевлянине». Он считал, что за жизнь в Полтаве у него набралось бы статей по статистическим вопросам тома на три, а может быть, и больше, как я уже писала.

Во время какого-то вопроса, который должен был разбираться при закрытых дверях, предводитель дворянства Бразоль «выставил» его из залы, как корреспондента «Киевлянина». Он вспоминал об этом, когда познакомился в эмиграции с его сыном, на машине которого мы бежали из Парижа при приближении немцев. Иван Алексеевич признавался, как ему тогда не хотелось покидать собрание.

Написал он в те времена рассказ «Без заглавия» и послал его в «Русское Богатство». Редактор переименовал его, к ужасу автора, в «Деревенский эскиз». Утешало, что Михайловский, другой редактор, написал Бунину, что из него выйдет «большой писатель». Это его очень подбодрило, — ведь Михайловский

был «властителем дум», и Юлий Алексеевич, как и Варвара Владимировна, его очень почитали. И Иван Алексеевич принялся писать и до конца года написал три или четыре рассказа.

В эту же пору завязалась у него переписка с поэтом Жемчужниковым, который, оценив его стихи, помог устроить их в «Вестнике Европы», где редактором был М. М. Стасюлевич.

За 1893 год было написано шесть стихотворений. Сильно страдая за мать, чувствуя, как ей тяжело жить не у себя, чтобы хоть немного порадовать ее, он написал стихи «Мать» и послал ей. Привожу их целиком:

И дни, и ночи до утра
В степи бураны бушевали
И вешки снегом заметали,
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом —
И стекла в рамах дребезжали,
И снег сухой в старинном зале
Кружился в сумраке ночном.

Но был огонь — не угасая,
Светил в пристройке по ночам
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая,
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила...

И ночь тянулась без конца...
Порой дремотой обвевая,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца,
Когда ж буран в порыве диком
Внезапным шквалом налетал,
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым дальним криком
В степи на помощь призывал.
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами...

Из рассказов, написанных в то время, свет увидели только два: «Вести с родины», в нем был выведен крестьянин, друг детства, отрочества и ранней юности автора, умерший во время всероссийского голода. В другом же рассказе, «На чужой стороне», показаны темнота и безвыходность положения мужиков, идущих на заработки из своих голодных мест.

Писанию мешало его увлечение толстовством. Он надеялся этим способом войти в сношение с Львом Николаевичем, который все больше и больше занимал его сердце, все больше он восхищался его несравненным творчеством.

В конце декабря толстовец Волкенштейн, собравшись в Москву, предложил младшему Бунину поехать с ним, обещая

познакомить его с Толстым. Я не буду излагать их медленное путешествие с заездами к братьям в Харьковскую губернию, все это желающие могут найти в «Освобождении Толстого» Бунина.

Скажу только, что когда, в 1906 году, в начале нашего знакомства, Иван Алексеевич рассказывал мне о своем посещении Толстого, то волновался так, как будто это свидание было несколько дней тому назад. О ночи после Хамовников он вспоминал: «Это было не то сон, не то бред; я вскакивал, мне казалось, что я с ним говорю...»

А ведь прошло после первого свидания с Львом Николаевичем тринадцать лет!

1894 год застал его на пути в Москву. И ему здорово влетело от Волкенштейна за то, что он поздравил его «с Новым Годом!».

— Все дни одинаковы, — мрачно ответил он, — что значит новый год?

Вернувшись домой, Иван Алексеевич сразу свалился от инфлюэнцы и проболел долго.

Тяжело подействовала на него смерть толстовца Дрожжина, сельского учителя, отбывавшего наказание в дисциплинарном батальоне за отказ от военной службы в 1892 году.

Фейерман-Тенеромо обсуждал с толстовцами, как устроить ремесленную школу. Леонтьев предложил Ивану Алексеевичу взять на себя распространение изданий «Посредника», на что он с радостью согласился и написал об этом П. И. Бирюкову.

Варвара Владимировна стала серьезно опасаться, что Иван Алексеевич слишком увлекается толстовством. Она, боец по природе, обладала даром речи, — в Московском женском клубе ее называли «наш Гегечкори». Она умела хорошо работать в канцелярии, была спорщицей, не любила хозяйства, являлась типичной представительницей «третьего элемента» и по своему языку, и по образу мыслей. Как же она могла сочувствовать человеку, который из всех учений того времени избрал толстовство! Иван Алексеевич уже поговаривал о том, что хорошо бы сесть на землю, а это по толстовскому учению значит полный отказ от всякого наемного труда — всю работу нужно делать самим. Она же видела, как тяжела жизнь толстовок под Полтавой...

Весной Иван Алексеевич отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе «Аркадий», на котором он тогда поднялся вверх по Днепру.

19 мая он ходил пешком в дачное место под Полтавой, Павленки. Он впоследствии не мог припомнить, у кого был в гостях,

но хорошо помнил, что попал под дождь и вернулся домой весь мокрый. Очень опять испугался, что заболеет.

В конце зимы Иван Алексеевич открыл «Книжный магазин Бунина», но покупателей почти не было. Он решил раздавать книжки «Посредника» управским сторожам, но вскоре обнаружилось, что эти книжки они употребляют на цигарки. Тогда он стал ходить по ярмаркам и базарам, продавая вразнос. Однажды, в Кобеляках, он был задержан урядником «для составления протокола за торговлю без законного на то разрешения». Возникло судебное дело, и судья приговорил его к трем месяцам тюрьмы, но Иван Алексеевич был амнистирован по случаю восшествия на престол Николая II.

Получив отпуск, Варвара Владимировна уехала в Елец, — она после письма отца помирилась с родителями. Вот в это-то время она, конечно, и сговорилась с Бибиковым. Иван Алексеевич чувствовал по письмам, что она обманывает его, ловил ее во лжи, но ему и в голову не приходило, что она затевает. Он в своих письмах умолял ее об искренности и, не понимая ее поведения, очень мучился, чувствуя, «как от него отходит радость жизни», «пропадает его неисчерпаемая веселость». Выезжал он навстречу ей в Харьков, но напрасно...

Статистик Зверев пригласил его поехать с ним на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село отправлялось в Уссурийский край.

Он под свежим впечатлением, что с ним бывало редко, написал рассказ: обычно деревенские рассказы он писал в Полтаве, а украинские в деревне, но тут он сделал исключение. Однако он рассказ никуда не послал. Озаглавил его «На край света».

«15 авг. 94, Павленки.

Солнечный ветреный день. Сидел в саду художника Мясоедова (наш сосед, пишет меня) в аллее тополей на скамейке. Безоблачное небо широко и свежо, открыто. Иногда ветер упадал, свет и тени лежали спокойно, на поляне сильно пригревало, в шелковистой траве замирали на солнце белые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями плавали в воздухе, твердые листья сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начинался шелковистый шелест тополей, с другой стороны, по вершинам сада, приближался глухой шум, разрастался, все охватывал — и свет и тени бежали, сад весь волновался... И снова упадал ветер, замирал и снова пригревало».

Бунины переменили квартиру, переселились на Монастырскую улицу.

Вернулась домой и Варвара Владимировна.

Она не знала, как ей быть? Боялась Ивана Алексеевича,

знала, какой он бывет в гневе, ревности, когда его глаза, по определению Маши, становятся «нулями». Действительно, в подобные минуты он напоминал мне Сальвини в роли Отелло, так сверкали белки его глаз. И она терялась, как уехать из дому, избежав скандала? Прошел в этих колебаниях сентябрь, прошел и октябрь, а она все не находила подходящего случая.

Помогло внешнее событие. В Ливадии заболел Александр III. Все с волнением следили за ходом его болезни. Сколько было разговоров, обсуждений, споров. Варвара Владимировна во всем этом принимала горячее участие.

«20 октября ст. стиля в 2 ч. 45 минут смерть Александра III в Ливадии, — записал Иван Алексеевич. — Привезли в ПТБ 1 ноября, стоял в Петропавловском соборе до 7 ноября (до похорон)».

После смерти Александра III возникли упования на ослабление режима.

6

4 ноября была назначена присяга новому императору.

Все мужчины отправились в собор и в приходские храмы.

Варвара Владимировна, отпустив со двора прислугу, оставила странную записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом...» — и, захватив кое-что из своих вещей, бежала из Полтавы, а чтобы замести следы, заняла у друга-идеалиста денег на проезд в Петербург, объяснив ему, будто бы она хочет «поступить на курсы, а Ваня не соглашается...».

По возвращении домой братья увидели беспорядок в спальне и нашли записку...

Есть запись Ивана Алексеевича: «Вскоре приехал Евгений. С ним и Юлием в Огневку».

Иван Алексеевич на службу больше не ходил. Юлий Алексеевич беспокоился, когда он оставался один дома. Решил выписать Евгения, чтобы тот увез младшего брата к себе. Но и Евгений один не решился ехать с ним. Тогда друзья, посоветовавшись, устроили Юлию Алексеевичу отпуск, и в декабре братья двинулись в путь, не оставляя младшего ни на минуту одного.

Он настойчиво требовал, чтобы они остановились в Ельце. Старшие братья долго отговаривали его, но в конце концов уступили, и ему пришлось еще раз пережить на крыльце дома Пащенко тяжкую минуту. Отворил ему дверь сын доктора и, волнуясь, резко сказал, что «адреса сестры они не знают, а родители не желают его принимать...»

Из Ельца братья поехали на Бабарыкино, в Огневку, где уже собралась вся семья Буниных.

...Легче всего было Ивану Алексеевичу с отцом, который без всяких слов умел его успокаивать, иногда брал гитару и тихонько напевал приятным голосом старинные русские песни. Только раз он сказал ему: «Помни, нет большей беды, чем печаль...» И в последние месяцы перед своей кончиной Иван Алексеевич очень мучился о последних годах жизни отца. Он представлял, в каких условиях он жил и в каких условиях застала его смерть среди снегов, без медицинской помощи, а болел он тем же недугом, каким и Иван Алексеевич. Вспоминал же он всегда его с несказанной любовью, восхищался его образным языком, считал, что он унаследовал от него свой художественный талант, повторял часто его слова: «Все в жизни проходит и не стоит слез...»

Мать, конечно, страдала за сына и много молилась. Один Евгений едва сдерживал свою радость, что эта «история кончилась». Юлий уговаривал младшего брата поехать в Петербург: «Необходимо тебе завести личные сношения с редакторами, ты уже печатаешься в толстых журналах, а с тобой никто не знаком...» Советовал на обратном пути побывать и в Москве, познакомиться с редакторами «Русской Мысли» и «Русских Ведомостей». «У тебя ведь есть, — говорил он, — новый рассказ, написанный летом, «Тарантелла» («Учитель»), и его следует устроить получше...»

Особенно уговаривать и не было нужды: Иван Алексеевич сам рвался из деревни. Несмотря на горе, он в это время с особенной зоркостью и остротой ко всему присматривался, — все его ранило с особой силой — и нищета деревни, и некультурность помещичьих домов, и какая-то отрешенность деревни от всероссийской жизни.

Удерживала его в деревне надежда, что он узнает о ней. И он оставался в Огневке до конца декабря, когда от нее пришло письмо, поражающее сухостью, какой-то неженской логичностью — точно она ушла из какого-нибудь учреждения, а не от близкого человека. Для меня ясно, что Лика — не Варвара Владимировна. На клочке бумаги Иван Алексеевич написал: «Лика вся выдумана». Только в самом начале Лика — девица Пащенко, но и то внешность ее приукрашена, приувеличен рост.

Критик Кирилл Зайцев правильно написал: «Существовала ли Лика? Такой, как она изображена в романе, — никогда. Но, переживая наново свою жизнь, поэт именно так ее увидал, — создал ее и наново влюбился в созданный им образ, — влюбился так, что испытывал блаженство и страдания любви и ревности».

Это верно. Он сделал Лику женственней, человечней. Повторяю, «Жизнь Арсеньева» не жизнь Бунина, а роман, основанный на автобиографическом материале, художественно измененном. Лика умерла, а Варвара Владимировна благополучно вышла замуж за Бибикова.



В. Н. Бунина. 1907.

...Эти последние годы были ознаменованы в России неожиданными событиями: 1891 — голод; 1892 — холера; 1893 — начало переселенческого движения; 1894 — смерть Александра III и вступление на престол Николая II.

Полтавское земство, будучи передовым, горячо отзывалось на все это. Молодому человеку было о чем подумать, слушая различные мнения, принимая участие в спорах, обсуждениях. Это больше университета! За жизнь в Полтаве у него окрепла начавшаяся в Харькове любовь к Малороссии, по-нынешнему к Украине, которую он исходил и изъездил вдоль и поперек; бывал он со статистиком Зверевым на всяких опросах на местах, что позволило ему ознакомиться с населением и сравнить его с великорусским. Со Зверевым он ездил и на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село тронулось в далекий Уссурийский край.

Главное же, что дали ему полтавские годы, это увлечение толстовством, то есть возможность глубоко заглянуть в свою душу, подумать о Боге, о жизни и хоть недолго и не вполне — жить в духовно нравственном «послушании». Он скоро от толстовства отступил при одобрении самого Льва Николаевича, быстро понявшего, что это не для него.

За это время в Полтаве он снимался. Осталось три фотографии. О первой я писала. На второй фотографии, снятой в 1892 году, они стоят вдвоем — Варвара Владимировна в русском вышитом костюме, вероятно, в том, в каком он увидел ее впервые. Она облокотилась на балюстраду, полная, стриженая, в пенсне, что не гармонирует с ее нарядом, черты лица у нее правильные, взгляд твердый, уши крупные, шея короткая. Он стоит, заложив руки назад, в пиджаке, в крахмальной с отложным воротником рубашке, галстук маленький, черный. Прическа изменена на косой пробор, волосы пышные, глаза большие, грустные, тонкие усы. Всякий, взглянувши на этот портрет, почувствует, что эти люди очень разные и по восприятию жизни, и по своим стремлениям.

Третья фотография — группа. К Буниным приехала в 1893 году Сашенька Померанцева, вероятно, разошедшаяся с Шелиховым, и гостила у них. Может быть, ей хотелось тоже устроиться в полтавском земстве, а может быть, она была послана из Ельца посмотреть на семейную жизнь молодых Буниных.

Кроме нее, в группе стоит Юлий Алексеевич, еще худой, умное тонкое лицо, усы и бородка клинышком. Впереди сидят «Варварка» и Иван Алексеевич. Она с прошлого года похудела, лицо стало тоньше, и в глазах через пенсне чувствуется тревога. На ней шелковая длинная черная юбка с рюшем на подоле и светлая баска. На этой карточке она красивее, чем в русском

костюме. Иван Алексеевич одет так же, как и на предыдущей фотографии, так же причесан, но лицо более возмужалое. Сидят они рядом, но как-то отдельно.

Варвара Владимировна недооценивала дарования Бунина и переоценивала одаренность Бибикова. Кроме того, тот был покладистым, ему был всего 21 год, и она чувствовала над ним свою власть, авторитет.

7

К Арсению Николаевичу Бибикову у Ивана Алексеевича не было не только злобы, но и дурного чувства.

Когда Бибиковы в 1909 году стали зимовать в Москве, то Иван Алексеевич встретился с ним дружески, несмотря на то, что вскоре после брака Бибиков написал такое письмо Ивану Алексеевичу, которое сам назвал «грубым и пошлым» и в котором сам искренне раскаивался, прося в следующем письме «забыть то, что можно забыть». Там же он писал: «Я протягиваю руку первый»...

Была у нас в гостях и Варвара Владимировна, но у Ивана Алексеевча с ней установились лишь внешние отношения.

С семьей Бибиковых дружил племянник Буниных, Николай Алексеевич Пушешников. У Бибиковых родилась дочь, Милица, она оказалась очень одаренной в музыкальном отношении, поступила по классу рояля в консерваторию.

В Москве сначала они поселились на Арбате в меблированных комнатах «Столица», потом сняли квартиру на Никитской улице (теперь улица Герцена) и назвали ее «Никитской волостью». Жизнь у них била ключом, всегда была толчея. Девочка в возрасте тринадцати лет заболела туберкулезом и была отправлена в снега Давоса. Во время войны из санатории написали, чтобы родители взяли больную. Отец с большими трудностями добрался до Швейцарии. Нашел Милку в плохом состоянии, повез домой. Дорогой она скончалась, кажется, в Стокгольме. Он заказал большую фотографию дочери на смертном одре в церкви. В «Безумном художнике» эта фотография в измененном виде описана.

В 1909 году 1 ноября, когда Бибиковы обедали у нас, перед тем, как мы должны были встать из-за стола и перейти в гостиную пить кофе, горничная подала мне телеграмму. Я немного встревожилась, не из Ефремова ли, где жила мать Ивана Алексеевича.

Я распечатала: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский».

Для нас это была неожиданность: мы не знали, что в этот

именно день выборы почетных академиков. По Москве ходили слухи, — как мне передавал через два дня Александр Андреевич Карзинкин, — что академиком изберут Брюсова...

Я взглянула на Бибикову, уже вставшую из-за стола. Она была бледна, но спокойна. Через минуту она раздельно сказала: «Поздравляю вас».

1 мая 1918 года, рано утром, я еще лежала в постели и услышала мужские шаги: кто-то вошел в комнату Ивана Алексеевича. Это оказался Бибиков. Только что скончалась его жена, и он кинулся к нему.

О чем они говорили, я не спрашивала. Думаю, что рассказ Бунина «В ночном море» зародился и вырос из этого свидания.

Вечером я поехала одна на квартиру Бибиковых, — они жили далеко, где-то у Красных Ворот. Панихиды не было. Покойница лежала исхудавшая, маленькая, помолодевшая, — я сразу себе представила ее в пору их романа.

В соседней комнате на примусе трещала яичница, какие-то женщины суетились, готовя ужин. Присутствовала и сестра покойной, Вера. Скончалась Варвара Владимировна от туберкулеза.

Она и в мое время была стриженой, в пенсне, всегда одинаково одета в тайер, даже и на юбилеях. Она в женском клубе имела поклонниц, — ее, как я уже писала, — называли «наш Гегечкори». Ко мне она, как передавали, относилась хорошо. И при встречах мы всегда бывали любезны друг с другом. С моей мамой, которая не знала о ее прошлом, она дружила.

Иван Алексеевич не был на похоронах. На следующий день, вместе с Ю. И. Айхенвальдом, отправился в Козлов, Тамбов, Пензу, где им за выступления платили окороками, — Москва уже начала голодать.

В архиве Ивана Алексеевича я нашла страничку, написанную его рукой.

«Арсений Николаевич Бибиков умер от чахотки (в Москве — когда? в 23 г.?). (Умер А. Н. Бибиков не в 1923, а 1927 году, пятидесяти четырех лет отроду. — *В. М.-Б.*)

Так исчез из мира, в котором я еще живу, человек, отнявший у меня В. Что сталось с его Ворголом, где в ту далекую летнюю ночь мы встретили с ней любовь?

Вся Россия стала мужицкой — и кажется мне пустой, печальной, — ни одной усадьбы! И то, что у нас с ним когда-то была другая Россия, что мы жили в ней и были друзьями первой молодости, — как теперь кажется, — счастливы, точно сон какой теперь.

Коля мне писал, что перед смертью у него, страшно худого, высокого, была темная пегая борода, восковое лицо».

И он все звал всех незадолго до смерти куда-то вместе ехать

то за границу, то на Кавказ. Был, как всегда, ко всем благостен и добр.

После смерти жены он года через три вторично вступил в брак с артисткой Полиной Афанасьевной Полянской.

Варвара Владимировна поступила правильно: такая женщина не должна быть женой творческого человека. Для этого в ее натуре не было необходимых черт. Творческий человек сам, прежде всего, живет для своего творчества, и ему нужно устроить жизнь так, чтобы она была приноровлена к его работе.

Трудно, — и не сразу можно это почувствовать, — только с годами отдаешь себе отчет, почему тот или другой поступок и та или другая обстановка необходимы, чтобы писатель, художник, композитор, ученый мог творить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Юлий Алексеевич не ошибся: поездка в столицы преобразила Ивана Алексеевича.

Он попал в Петербург хотя и молодым писателем, но уже печатавшимся в толстых журналах, обратившим на себя внимание таких корифеев, как Гайдебуров, Жемчужников, Михайловский.

С 1892 по 1895 г. у него написано десять рассказов, главная тема восьми — деревенская нищета, обеднение помещиков, голод, сельская интеллигенция средней полосы России. В рассказе «На Донце» изображен Святогорский монастырь. Интересно сравнить его с «Перекати-поле» Чехова, где тот же монастырь: у Чехова больше людей, у Бунина — природа и история.

«На даче» — почти повесть, действие происходит не то под Полтавой, не то под Харьковом, там — толстовство и отношение к этому учению южнорусской интеллигенции, есть и автобиографическое из его толстовского «послушания».

«Кастрюк», «На хуторе», «В поле» (раньше озаглавлен этот рассказ был «Байбаки»), «Мелитон» (раньше — «Скит»). Интерес автора (в возрасте 22—25 лет) к душевной жизни стариков. Объяснение я уже дала: непрестанная дума о драматической старости родителей.

По приезде в северную столицу он сразу отправился в редакцию «Нового Слова». Руководили журналом Скабичевский и С. Н. Кривенко, а издательницей была О. Н. Попова. Принят он был там очень любезно.

Нанес он визит и поэту Жемчужникову, с которым несколько лет состоял в переписке. Жумчужников сразу оценил его стихи

и помогал на первых порах устраивать их в «Вестнике Европы». Старший собрат принял молодого поэта с распростертыми объятиями, пригласил обедать и много рассказывал о прошлом. По словам Ивана Алексеевича, он «был изящен, свеж, бодр, всегда надушен одеколоном». К нему он был ласков, «иногда трогательно, почти отечески, заботлив к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».

Он подарил новому другу сочинения Козьмы Пруткова и рассказал — что авторы, по молодому легкомыслию, нанесли кровную обиду своему камердинеру, выставив на обложке его имя и фамилию. Как известно, за этим псевдонимом скрывались братья Жемчужниковы (Алексей и Владимир) и их двоюродный брат Алексей Константинович Толстой. Портрет Козьмы сделал Лев Михайлович Жемчужников в сотрудничестве с художником Бейдеманом и Лагорио.

— Но что поделаешь, были молоды, непростительно проказливы, ежедневно сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Вот и набрался том, — рассказывал, весело блестя глазами, поэт Жемчужников.

Иногда он жаловался:

— Я поэт не Бог весть какой, а все-таки, думаю, не хуже, например, Надсона или Минского. Кроме того, могу смело сказать, я достаточно своеобразен, — даже более, совершенно оригинален, что ведь что-нибудь да значит, силен в стихе... А вот поди же, почти никто и знать меня не хочет, а если и хочет, то только как Козьму Пруткова. В чем тут причина, мой дорогой друг? Думаю, что уж очень я разных кровей со многими теперешними. Ведь это совсем недаром говорят мужики об этом, что даже у людей существуют разные крови, и ведь что такое кровь, как не душа?

И Иван Алексеевич, выписав эти слова, замечает, что теперь в науке признано, что существуют разные крови у людей.

«— Так что Жемчужников был прав, как пенять на равнодушного читателя, на враждебного критика! Что с него взять, когда у него даже кровь, может быть, другая, чем у тебя».

Жемчужников, по словам Ивана Алексеевича, был «светски очарователен в обращении, говорлив, как говорливы красивые старики высшего круга, привыкшие блистать в гостиных, и неизменно бодрящиеся люди».

«— Вот все теперь говорят о новой поэзии, — сказал он однажды с заигравшими вдруг глазами. — Теперь все стараются писать как-то по-новому. Вас, по вашей молодости, это, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избави Бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте рассказать вам один старинный немецкий анекдот, — может быть — вы его не знаете? Студент приходит к своему профессору и говорит:

— Господин профессор, я хочу создать новое солнце.



И. А. Бунин, В. Н. Бунина. Фотография с надписью Бунина: «Весна 1907 г. Первое путешествие в Сирию, Палестину».

— Что же может быть лучше, мой дорогой друг! — отвечает профессор. — От души радуюсь за вас и желаю успеха.

— Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно для этого? — говорит студент.

— О, пустяки! — отвечает профессор. — Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна.

— Пятна? Зачем?

— А затем, мой друг, чтобы обойтись без них».

Сообщаю этот анекдот потому, что он приведен Иваном Алексеевичем в «Записях» (1 том издания «Петрополис», которого нет больше в продаже). Он много объясняет и во взглядах Бунина на то, что считалось и считается новым...

Посчастливилось увидать ему в этот первый свой приезд в Петербург и Григоровича, который рылся в книгах в магазине Суворина.

«Мои впечатления от петербургских встреч были разнообразны, резки. Какие крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологуба, например! И то же было в Москве, где я встречал то Гольцева и прочих членов редакции «Русской Мысли», то Златовратского, то декадентов».

В Петербурге он оставался недолго и поехал в Москву.

Встретился с Бальмонтом, который не признавал Тургенева. Вместе поехали к Брюсову, но дома его не застали. В то время Брюсов был еще студентом, жил на Цветном бульваре в доме отца, торговавшего пробками. Оставили записку. На другой день Бальмонт получил письмо от Брюсова, сожаление, что его не было дома. «Очень рад буду видеть вас и Бунина, — он настоящий поэт, хотя и не символист». Отправились снова. Брюсов поразил Ивана Алексеевича своей высокомерностью. «Говорил, произнося слова с гнусавой четкостью». Иван Алексеевич очень похоже передавал его «лай». Брюсов говорил обо всем, что касалось искусства, крайне революционно. Договорился до того, что предлагал все старые книги сжечь дотла: «Вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!»

Ивана Алексеевича поразило: несмотря на крайность взглядов, аккуратность, — на все свои правила, — он, например, попросил на несколько дней какую-то книгу, а Брюсов отказал.

«— Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми блестящими, как у птицы, черными глазами, и с чрезвычайной галантностью, но весьма резко отчеканил: «Никогда, никому не даю ни одной из своих книг даже на час!»

В этот приезд в Москву познакомился Иван Алексеевич и с поэтами-самоучками. По его словам, это был «жалкий, трогательный народ». Бедность и редкая одержимость к литературе. Воспевали они, конечно, свою нищету, горько оплакивали свою долю, несправедливость, царящую в мире... Самым даровитым из них был Спиридон Дрожжин, очень милый, трогательный человек.

В 1913 году в Художественном Кружке, под председательством Бунина, праздновали двадцатипятилетний юбилей его поэтической деятельности. Юбилейный банкет был овеян сердечностью: Дрожжина любили и уважали за то, что он остался крестьянствовать у себя на родине в Тверской губернии, беззаветно любя литературу. Жена его милая, простая женщина. На юбилее она была в новом платье.

На другой день я случайно на Малой Дмитровке (ныне улице Чехова) увидала Дрожжиных. Он шел в шубе, какие носили мещане, лицо его с бородкой клинышком сияло радостью, а она в платочке, мелкими шажками едва поспевала за мужем, высоко подобрав юбку, из-под которой виднелись полсапожки с резинками по бокам и красная бумазейная юбка.

Осталась страничка Ивана Алексеевича о писателях из народа:

«Писателей из народа и прежде было немало. В молодости многих из них я знал в Москве, встречался с ними, получал от них письма, всегда очень многословные и лирические, — этим особенно отличался отец известного теперь писателя Леонова, служивший приказчиком в какой-то галантерейной лавочке. Один из этих писателей видел однажды Толстого и вот как рассказывал он об этом:

— Мне довелось однажды воочию видеть патриарха русской литературы Льва Николаевича Толстого. Дело было так, что я разметал возле своей калитки, когда показалась передо мной фигура маститого старца, совершавшего свою обычную прогулку. Я отставил в сторону лопату и, сняв шапку, приветствовал его поклоном, при чем он вступил со мной в беседу:

— Надеюсь, что вы не пьете много вина? — спросил меня великий писатель земли русской.

Я сказал: «Наоборот», добавив при этом, что «очень страдаю от своей слабости». И тогда он тотчас посоветовал мне совсем бросить эту пагубную привычку и доставить себе нравственное удовлетворение. Потом он спросил меня: «Чем вы занимаетесь?» Тут я не удержался, сказав, что я писатель из народа, на что он ответил:

— Ну что ж, пишите только всегда правду, а не какие-нибудь выдумки.

Встреча эта глубоко врезалась мне в память».

2

Юлий Алексеевич решил переселиться в Москву и отправился в марте 1895 года искать там службу. Он предложил младшему брату поехать с ним в Белокаменную.

Провинция надоела: Елизавета Евграфовна жила с семьей в Москве, Иван Алексеевич должен будет если не жить, то часто бывать там.

Но в этот приезд Юлий Алексеевич ничего не нашел подходящего для себя. Ему предлагали в Петербурге хорошее место в министерстве финансов, но он не мог, по своим убеждениям, поступить на государственную службу.

Пришлось вернуться в Полтаву, а младший брат, несмотря на его отговоры, поехал в Огневку, уверяя, что соскучился по своим и хочет поделиться с ними впечатлениями. Но, конечно, в нем жила надежда узнать что-либо о Варваре Владимировне. Узнал ли он что-либо о ней и когда до него дошла вся правда, мне неизвестно.

До самого лета он оставался в Огневке. Писал, переводил, много читал. Потом поехал к Юлию. На службу там он не поступил, охладел и к толстовству. Полтавские друзья ему обрадовались, и с ними он чувствовал себя недурно.

Он съездил в Святогорский монастырь, который и изображен в рассказе «На Донце», писал и другие рассказы, в том числе и «Велга»; много он тогда писал и стихов. Иногда в кругу друзей читал произведения.

Рассказ, написанный в прошлом году, «На край света» он решил отправить в журнал «Новое Слово», где он и был напечатан в октябрьской книге.

Рассказ имел успех, переселенческий вопрос волновал всю передовую Россию, я уже об этом упомянула. В Петербурге решено было устроить литературный вечер в пользу переселенцев. И его пригласили участвовать в нем.

Зимой он едет сначала в Москву, где опять видается с Бальмонтом. Как-то они сидели в ресторане «Московском», пили красное вино, Бальмонт несколько часов сряду читал свои стихи. Уходя, они узнали, что Чехов остановился в этой гостинице, и чуть было не поднялись к нему ночью, но вовремя опомнились и решили отправиться с визитом на следующий день. Тут им не повезло: Чехова не было дома, но в номер зашли, — горничная убирала его. Конечно, кинулись к столу, увидали начало рукописи «Бабьего царства»... Через несколько лет Иван Алексеевич рассказывал юмористически обо всем этом Антону Павловичу. Чехов очень смеялся и сетовал, что они не разбудили его: «Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью внезапно...»

12 декабря состоялось их знакомство с Чеховым.

14 декабря Бунин дарит ему оттиск рассказа «На хуторе» с надписью: «Антону Павловичу Чехову в знак глубокого уважения и искреннего сердечного расположения. Бунин».

В это же время он знакомится с Эртелем, который тоже останавливался в «Большом Московском». Эртель очаровал его. Они нередко сиживали и впоследствии в этом ресторане за бутылкой шампанского, которое Эртель любил. Оба они досконально знали деревню и мужиков, — завязалась и переписка.

Как-то Иван Алексеевич читал мне очень интересные эртелевские письма, где тот описывает свое «государство». Он управлял огромными имениями в Воронежской и Тамбовской губерниях. Ценил он Эртеля и как писателя, его язык, особенно его «Гардениных».

Познакомился он в Москве, а потом и подружился с поэтессой Миррой Лохвицкой, сестрой Тэффи. У них возникла нежная дружба, он всегда восхищался ею, вспоминая «снежный день на улице, ее в нарядной шубке, занесенной снегом. Ее считали чуть ли не за вакханку, так как она писала стихи о любви и страсти, а между тем она была домоседкой, матерью нескольких детей, с очень живым и чутким умом, понимавшая шутку».

В Петербурге он остановился «в номерах на Литейном проспекте, возле памятника Ольденбургскому, который был в снегу».

Привез с собой рассказ «Байбаки».

Заказал в первый раз сюртук.

В этот приезд у него заводятся знакомства среди молодых писателей: Федоров, поэт, романист, впоследствии и драматург, очень в себе уверенный сангвиник, подвижной, любящий путешествия; поэт и левый земский деятель Ладыженский, — милый наш Володя, человек редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии; Михеев, необыкновенной толщины, — его я не встречала, — знаток иностранной литературы, очень образованный и умный сибиряк; Будищев — которого я тоже никогда не видала и не имею о нем представления; Потапенко, — с ним я познакомилась в каком-то петербургском ресторане, куда мы однажды поздно ночью заехали с Иваном Алексеевичем. Он сидел один и пил красное вино. Меня поразил его странный синеватый цвет лица. А в пору их первых встреч он был красив, молод, хорошо пел, имел большой успех в литературе и у женщин. Баранцевича, Гиппиус, Мережковского, Минского, как и артистку Савину, и Вейнберга с Засодимским он увидал на вечере в пользу переселенцев, о котором он писал в своих «Воспоминаниях».

Гиппиус прочла стихи «Я люблю себя, как Бога...», чем вызвала бурю...

Поэт и переводчик П. И. Вейнберг прочел свое «Море»:

Развернулось предо мною
Бесконечной пеленою
Старый друг мой — море.
Сколько власти благодатной
В этой шири необъятной,
В царственном просторе...

Засодимский «выпалил свое неизменное из Некрасова»:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!

Бунин имел успех, несмотря на то, что, по совету Баранцевича, сначала стал читать тихо, но, поняв, что Баранцевич ошибся, поднял голос. И понятно, его рассказ «На край света» был как нельзя кстати, что называется, попал в самую точку.

После такого успеха он получил приглашение стать сотрудником в «Мире Божьем», издательницей которого была Александра Аркадьевна Давыдова, жена известного виолончелиста. Редакция и квартира ее находились на Лиговке. Старшая дочь Давыдовой, Лидия Карловна, была замужем за известным марксистом Туган-Барановским, — первое знакомство Бунина с «врагами» народников.

В 1894—1896 гг. были шумные выступления в Петербурге Струве вместе с Туган-Барановским и другими марксистами в схватках с народниками в заседаниях научных обществ. Иван Алексеевич однажды слышал их в Вольно-Экономическом Обществе. Струве был совсем молодой, красивый, энергичный, носил большую рыжую бороду. Он вел марксистский журнал «Новое Слово». Ему, как и другим марксистам, возражали Михайловский и особенно яростно В. В. (Воронцов), ядовито называвший Туган-Барановского: «Господин Туган»...

Младшая дочь Давыдовой, еще совсем молоденькая, с горячими глазами, живая брюнетка, очень остроумная, вечно хохотавшая Муся, Бунину понравилась, и они подружились «на всю жизнь». У них или в редакции «Русского Богатства» он познакомился с Елпатьевским, писателем, врачом и политическим борцом, побывавшим в сибирской ссылке, человеком большой привлекательности.

Его дочь Лёдя или Людмилочка, подруга Муси, в первый год знакомства с Буниным еще была гимназисткой. И они тоже «подружились на всю жизнь».

Издательница О. Н. Попова предложила выпустить книгу рассказов Бунина под заглавием «На край света», и он получил аванс, что очень его окрылило. Он почувствовал себя настоящим писателем.

У меня нет этой книги, но помнится, что она была небольшая, в переплете, в нее вошли все написанные до тех пор рассказы, кроме самых ранних, и повесть «На даче». Этого произведения не было в I томе «Знания», и я прочитала его впервые именно в издании О. Н. Поповой.

Из Петербурга он выехал в хорошем настроении: первое публичное выступление и с таким успехом! Множество новых знакомств, видел почти весь литературный Петербург, с некото-

рыми уже подружился, почувствовав себя настоящим писателем. Завязал личные отношения с несколькими редакциями журналов. И даже продал свою книгу рассказов!

Он направился в Огневку, но решил остановиться в Ельце. И попал на гимназический бал, где он гимназистом, в мундирчике и белых замшевых перчатках, танцовал, влюбляясь то в одну, то в другую гимназистку. На балу директор, которому он иногда дерзил, отнесся к нему как к «знаменитости»: «Вы — честь нашей гимназии», учителя жали ему руку, а гимназисты таращили глаза: «настоящий писатель!» — барышни млели, и он, много лет не танцовавший, неожиданно для себя стал носиться то в польке, то в вальсе, то в «grand rond», ухаживая за дамами.

На следующий день он был в Огневке. Вся семья сияла, слушая его рассказы. А рассказывал он чудесно, представляя всех в лицах.

Пробыл в деревне месяца два. Писал стихи. Охотился. Ездил в Ефремов с Машей к Отто Карловичу, которого любил, как и всю его семью.

3

Из Огневки поехал в Полтаву, прожил там у Юлия до конца мая, когда его опять потянуло вдаль. Он уехал с какой-то М. В. в Кременчуг, где их пути разошлись. Переночевав в гостинице «Варшава», она направилась в Киев, а он на другой день по приезде сел на пароход, идущий в Екатеринослав. Есть краткая запись: «Ветрено. У песчаного островка видел утопленника. Вечером показались заводы».

31 мая он поплыл из Екатеринослава через «Пороги» по Днепру. Его запись: «Днепровские пороги, по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года.

31 мая Екатеринослав. Потемкинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринославом на пологом берегу Днепра Лоцманская Каменка. В верстах в пяти ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галагана — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — пороги: первый самый опасный — Неяситец или Ненасытец; потом тоже опасные: Деде и Волнич; за Волничем в четырех верстах, последний опасный — Будило, за Будило — Лишний; через пять верст — Вильный и наконец Явленный».

После порогов он отправился по Днепру в Александровск — в тот же вечер по железной дороге — в Бахчисарай. Денег у него было больше, чем в первое крымское путешествие.

Из Бахчисарая верхом он съездил в Чуфут-Кале, посетил

монастырь под Бахчисараем и «пещерный город» в лесных горах. Пустыня, тишина, только переливчатое пение дроздов. Впечатление было сильное. Вспоминал «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, ханские времена с их любовными драмами.

Через Севастополь отправился уже не пешком, а в дилижансе, проехал Байдары, ночевал в Кикенеизе, оттуда в Ялту, из Ялты в Гурзуф, который его манил, — там жил Пушкин.

В Гурзуфе переночевал и на другой день рано утром поднимался на Аю-Даг, где почти целый день бродил по горным тропинкам. Очень остро чувствовал одиночество. Иногда, лежа, смотря в небо, отдыхал и потом шел, шел. Думал о себе, как о писателе, думал и о ней. Уже знал, что она замужем. Но странно, к Бибикову он не чувствовал ни злобы, ничего дурного, во всем обвинял ее. Он знал, что Арсик в юности любил ее, и даже стал понимать, что они подходят друг к другу. В глубине души он чувствовал, что он с Варварой Владимировной очень разные люди. Теперь издали он видел все ее недостатки и даже в некотором отношении был рад своей свободе, — она могла бы мешать ему. Но самолюбие оскорблено, оскорблена и его большая любовь, и доводы не успокаивали его, а еще больше возбуждали против нее.

Я нашла две страницы, написанные рукой Ивана Алексеевича об этом времени.

«Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти — многие годы моих дальнейших скитаний, — постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшиеся неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов — самая темная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.

Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, пряно пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шел по его лесистым склонам все вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон, обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Кругом, в тишине в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, — в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового



Е. А. Бунин, его жена Настасья Карловна и их дети.

запаха цветущего желтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов. Потом...»

Остался портрет, снятый в Полтаве в 1895 году. Мне он нравится больше всех его портретов. Он, как называли их в России, кабинетный. За два года Иван Алексеевич сильно изменился: стал носить пышные усы, бородку. Крахмальные высокие с загнутыми углами воротнички, темный галстук бабочкой, темный двубортный пиджак. На этом портрете у него прекрасное лицо, поражают глаза своей глубиной и в то же время прозрачностью.

«Вторая ночь в Гурзуфе — Пушкин, Раевский...»

Из Гурзуфа в Ялту. Там он познакомился с морским писателем Станюковичем и Мировым (Миролюбовым). Огромным человеком, с большим голосом basso profundo; он был принят в московский Большой театр, но из-за застенчивости не мог петь на сцене и позднее занялся редакторством. Вел «Журнал для всех», умел выпрашивать хорошие рассказы у знаменитых писателей, например, у Чехова «Архиерея». Говорил с литераторами только с глазу на глаз.

9 июня Иван Алексеевич отправляется к Федорову, который настойчиво приглашал его к себе погостить.

И вот он в Одессе. Город сразу его восхитил. Федоровы жили за Большим Фонтаном на даче. Жена Федорова, Лидия Карловна (старше мужа года на три, в прошлом актриса), женщина с тонкими губами, оборотистая, умевшая работать и держать дом, полная противоположность своему легкомысленному мужу. Она помогала ему при писании: он, расхаживая по комнате, диктовал ей свои длинные романы, рассказы, очерки, драмы и стихи, и она сначала писала пером, а потом выстукивала на машинке его произведения. Писателем он был плодовитым.

У Федоровых Иван Алексеевич провел три дня и уже 14 июня направился в Каховку. Оттуда по Днепру до Никополя; вероятно, тогда и записал псальму слепого кобзаря. Любовался плавнями — песчаными, густо заросшими островами, и поехал к Юлию, у которого прожил около двух месяцев.

В ночь с 15 на 16 сентября отправился из Екатеринослава в Одессу, и опять к Федорову, у него пробыл неделю, 26 сентября сел на пароход, идущий в Николаев, и вернулся в Полтаву.

В Полтаве, в тишине, когда Юлий Алексеевич уходил на службу, он писал стихи. Нет ни одного рассказа, помеченного 1896 годом.

4

Книга «На край света» должна была выйти в издании О. Н. Поповой в декабре 1896 года. Он едет в Петербург и попадает на именины Николая Константиновича Михайловского.

Эти именины бывали всегда многолюдны, обильны по угощению. Приезжал поздравлять, как говорили, «весь литературный Петербург».

Бывала и молодежь, и, конечно, Ивану Алексеевичу было очень весело и с Мусей, и с Людмилочкой, и с Соней Кульчицкой, закадычной подругой Лёди Елпатьевской. Они все были на редкость остроумные и живые девушки, умели подмечать смешное, что их очень связывало с молодым Буниным.

Молодому Бунину хотелось познакомиться с Короленко, и он просил приятеля Михеева устроить это знакомство. Вскоре Михеев передал ему слова Владимира Галактионовича: «Я знаю Бунина, очень интересуюсь его талантом и рад познакомиться».

Встретились они 7 декабря 1896 года на юбилее морского писателя Станюковича в ресторане «Медведь», где среди дам, литераторов, артистов и адвокатов выделялись своими мундирами адмиралы. Чествующих было больше полутораста.

На этом же юбилее Бунин познакомился и с Анненским, одним из редакторов «Русского Богатства».

Не знаю наверное, когда он попал впервые на именины Мамина-Сибиряка, который жил в Царском Селе. Иван Алексеевич поехал раньше, чтобы хоть поверхностно осмотреть пушкинский городок, который его очаровал, и он с хорошим аппетитом сел за именинный пирог. Бунин любил Мамина за его ум, за остроумие. Например, о Волынском за его открытие «новой мозговой линии» Мамин заметил: «Что с него взять? Это, мне кажется, именно про него говорит одна купчиха у Лейкина: «Миазма млекопитающая...» А про всю редакцию «Северного Вестника» он продекламировал:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

Чаще всего Иван Алексеевич проводил время у издательницы «Мира Божьего» А. А. Давыдовой, где он особенно сблизился с молодежью. В этом доме бывали почти все писатели, особенно часто Мамин-Сибиряк, постоянным гостем был Н. К. Михайловский, друживший с хозяйкой дома, умной красавицей; бывала и переводчица Пименова, высокая и полная дама. Заглядывали и марксисты, так как зять Давыдовой, Туган-Барановский, был женат на ее старшей дочери.

Привожу выдержку из письма Людмилы Сергеевны баронессы Врангель, дочери писателя Елпатьевского:

«...Иван Алексеевич был еще не женат, когда бывал на наших вечеринках у Александры Аркадьевны Давыдовой. В ее

большой гостиной висел портрет — во весь рост — ее покойного мужа К. Давыдова — бывшего после Антона Рубинштейна директором петербургской консерватории, знаменитого виолончелиста и автора прелестных романсов.

Наша юная компания, во главе со старшей дочерью Александры Аркадьевны, Лидией Карловной Туган-Барановской, нашей покровительницей и общей любимицей, собиралась здесь часто. Это были М. И. Ростовцев и его любимая ученица, моя подруга Соня Кульчицкая, дочь Давыдовой Муся, вышедшая впоследствии замуж за А. И. Куприна, сыновья Михайловского, Гайдебурова и разные молодые люди, достававшие нам билеты в «Александринку» на Комиссаржевскую и в «Мариинку» на Валькирию с Литвин.

Веселая насмешливая молодежь.

Иван Алексеевич сидел у окна и, опустив свою красивую голову, рассматривал свои новенькие блестящие щиблеты и спрашивал нас:

— Не правда ли, я похож на Гейне?

Мы смеялись с ним и тогда не знали, какое мировое имя получит Иван Алексеевич в литературе. Я тогда кончала гимназию, а Иван Алексеевич был очень молод и не женат».

И никто из этой молодой компании и не подозревал о той драме, которую он еще не изжил.

Вспоминала Людмила Сергеевна в другой раз, когда она уже была курсисткой, как она приглашала его поехать на какое-то собрание рабочих. Он, подсмеиваясь над их увлечением социализмом, сначала отказался, что ее огорчило. Но, когда она на следующий вечер сидела «в ледяной конке», то увидела бегущего Ивана Алексеевича «в высокой барашковой шапке и зимнем черном пальто с барашковым воротником». Она была в восторге, думая, что и он заинтересовался рабочим движением...

Мне же кажется, что он больше интересовался «Людмилочкой», как он называет ее в одной своей записи.

Познакомился и вошел в приятельские отношения с переводчиком Ф. Ф. Фидлером.

Он был из русских немцев. У него тоже в день его рождения бывал «весь литературный Петербург». Я раз попала к нему на подобное сборище; буквально с трудом можно было протолпиться.

Он был страстным коллекционером; кроме автографов и других литературных реликвий, он брал у каждого курящего литератора папиросу. Иван Алексеевич восхищался: «Ведь это характерно — кто какую папиросу курит! Я, например, очень тонкую, а вот Мамин — толстенную, как и цигарки, у каждого разные... Вообще он прелестный человек!» — прибавлял он неизменно.

У Фидлера было большое горе: жена парализована. Когда я

видела ее, паралич дошел уже почти до самой шеи. Но она была очень благостно ко всем настроена, улыбалась.

В редакции «Нового Слова» Иван Алексеевич познакомился с молодой писательницей, сестрой профессора философии Льва Михайловича Лопатина, писавшей под псевдонимом К. Ельцова. Я знала почти всю эту замечательную семью. С Екатериной Михайловной была дружна в эмиграции, познакомилась же с ней, когда мне было тринадцать лет.

Ею написаны интересные воспоминания о Соловьевых, часть их напечатана в «Современных Записках».

Она росла с детьми историка Сергея Михайловича Соловьева, была на «ты» и с знаменитым философом.

Оригинальная, и не потому, что хотела оригинальничать, а потому, что иной не могла быть, она — единственная в своем роде, такой второй я не встречала.

В те годы худая, просто причесанная, с вдумчивыми серосиними большими глазами на приятном лице, она своей ныряющей походкой гуляла по Царицыну, дачному месту под Москвой, в перчатках, с тросточкой и в канотье, — дачницы обычно не носили шляп. Очень беспомощная в жизни, говорившая чудесным русским языком, она могла рассказывать или спорить часами, без конца. Хорошая наездница, в длинной синей амазонке, в мужской шляпе с вуалью, в седле она казалась на фоне царицынского леса амазонкой с картины французского художника конца девятнадцатого века. Была охотницей, на охоту отправлялась с легавой, большею частью с золотистым сеттером.

Ей было в ту пору за тридцать, она на пять лет старше Ивана Алексеевича. Я понимаю, что он остановил на ней свое внимание. Между ними завязалась дружба. Она пригласила его бывать у них в Москве. Они жили в собственном старинном особняке, на углу Гагаринского переулка.

Из Петербурга Иван Алексеевич направился в Елец, там он опять попал на бал. На следующий день, полный новых впечатлений, едет в Огневку, куда вносит своими рассказами оживление и смех. Прожил в семье до 11 марта. Писал рассказ «Без роду-племени», чуть касаясь пережитой драмы. Писал и стихи: за 1897 год появилось шесть стихотворений.

5

В марте Иван Алексеевич едет в Полтаву.

Осталась запись:

«Еду из Огневки в Полтаву. Около 11 часов утра. Только что выехал с Бабарыкиной. Даль ясная, далекие на горизонте облака, как осенью — перламутро-лиловатые, лесочки чернеют.

Грустно и люблю всех своих.

В Крыму на татарских домах крупная грубая черепица».

...В Полтаве живет больше месяца. С этих пор он редко где подолгу уживается.

Нашла запись, объясняющую эту непоседливость:

«Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его... Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и «сезонными толчками крови» у людей...

Совсем, как птица, был я всю жизнь!»

30 апреля он отправляется в Шишаки. Есть запись его:

«Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша «хочет невозможного».

Миргород, там ночевал».

Вернувшись в Полтаву, он пробыл там до 24 мая.

Из Люстдорфа, от Федорова, он получил приглашение опять погостить. Люстдорф — немецкое село за Большим Фонтаном, дачное место, не очень дорогое. Иван Алексеевич решает принять приглашение и составляет план: Кременчуг — Николаев, оттуда морем в Одессу.

Его записи:

«Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь дороги.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды... бегут сквозь решетку палубы...

Впереди море, строй парусов.

Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской... Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости... Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи пароходной кухни... Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпку с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.

Пароходный лакей, похожий на Нитше, густо усатый, рыжий.

...Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.

Там внизу, где работают стальные пароходные машины, все шипит, все в горячем масле, на котором свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.

Неподвижные, крупные металлические белые электрические высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.

Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалея о чем-то!»

«29 мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом — в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустынность моря».

К соседям Федоровых, Карашевым, приехал их друг, молодой писатель Куприн.

Утром Иван Алексеевич вместе с Федоровым пошли купаться.

Из воды вылез человек, неуклюжий, лохматый, с острыми глазками, Федоров сказал:

— Это Куприн.

И познакомил Бунина с ним.

Иван Алексеевич внимательно взглянул на него.

Куприн сразу ему понравился той редкой художественной одаренностью, которой они обладали оба, что встречается не так часто даже среди писателей.

Они вместе купались, вели разговоры, которые они потом всю жизнь вели только друг с другом — какое-то смакование художественных подробностей. Быстро стали называть друг друга то Гастоном, то Альбертом, то Васей, то Петей, то Карпом... Бунина восхитило в Куприне нечто звериное; это «звериное» отличало Куприна: у него было нечеловеческое обоняние, он сразу по запаху мог определить, кто что курил или пил...

В то время на вид Куприну было лет за тридцать, хотя он был ровесником Бунина. Глазки узкие, очень зоркие на татарском лице, — мать его была татарская княжна. Я однажды навестила ее, по просьбе Александра Ивановича, во Вдовьем Доме в Моск-

ве, когда она была больна, я сразу поняла, что весь купринский талант от нее: такая же образность и отрывистость речи, так же «по-купрински» щурила глаза.

Это было самое приятное лето последних годов. Иван Алексеевич уже успокоился от пережитого, наслаждаясь приморским зноем, который с этих пор он очень полюбил, молодостью и новой дружбой с человеком, художественно чувствующим все, как он сам... Они с Александром Ивановичем много бродили по обрывам над спокойным летним морем. Иван Алексеевич читал его рассказ в «Русском Богатстве» и оценил его, и он стал уговаривать Куприна писать, а тот был в подавленном состоянии, и ему казалось, что «он не знает о чем писать: нет темы». Бунин стал расспрашивать о солдатах, дал тему о новобранце, который, стоя на часах, вспоминает деревню и сильно тоскует. Куприн жаловался, что он деревни не знает. Бунин поделился подробностями, и таким образом появился прекрасный купринский рассказ «Ночная смена». Он был послан в «Мир Божий», и Давыдова скоро напечатала его в своем журнале.

После этого Куприн написал еще рассказ. Ему нужны были деньги, так как и обувь совсем поистрепалась от частых прогулок по обрывам. Бунин уговорил его поехать в Одессу и отвезти рассказ в «Одесские Новости». Около редакции Куприн оробел, ни за что не соглашался лично предложить свой рассказ, боясь отказа. Никакие уговоры не действовали. Тогда Бунин, со свойственной ему быстротой, когда он хотел кому-ниудь помочь, выхватил рассказ у автора, вбежал в редакцию и «схватил» 25 рублей авансу, по тем временам сумму значительную. Куприн глазам не верил. Тотчас отправились в магазин обуви, были куплены щиблеты, а оттуда на извозчике закатились в «Аркадию», где Александр Иванович угостил своего друга «жареной скумбрией и белым бессарабским вином».

Болезненно самолюбивый Куприн часто во хмелю кричал: «Никогда не прощу тебе! Как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого...»

В трезвом же состоянии он рассказывал мне об этом с благодарным чувством и без всякого раздражения. Говорил еще:

— Мы ведь все его обкрадываем, он не замечает, как щедро сыплет в своих разговорах всякие драгоценные подробности...

Куприн очень сложный человек, но о нем я буду писать позднее, когда коснусь наших встреч.

Вероятно, у Федоровых они познакомились с одесскими художниками, очень сплоченными, веселыми, полными жизни, талантливыми молодыми людьми. С некоторыми у Бунина на всю жизнь создались близкие, дружеские, почти братские отношения. Но этим летом он видел их мельком.

От Федоровых он направился в Полтаву. Юлий вернулся из своего отпуска. Они прожили некоторое время вместе. Юлий

уже твердо решил переехать в Москву и заканчивал свои дела в статистическом отделении, а Иван писал стихи, делал заметки, много читал, иногда ездил с Зверевым на опросы.

6

Из Полтавы он поехал в Огневку. Мать он нашел в плохом состоянии, — у нее началась астма. Получила она этот недуг после того, как сидела на полу, натирая мазью ноги и руки Маши, у которой был суставной ревматизм.

Решили показать Людмилу Александровну профессору Захарьину. Повезли ее в Москву Настасья Карловна и младший сын. Остановились в гостинице Фальцфейна на Тверской. Профессор Захарьин прописал только папиросы Эспик и посоветовал жечь при сильных припадках селитряную бумагу. Но это было не радикальное лечение. Астма не оставляла ее до конца жизни. И была она настолько сильная, что Людмила Александровна (несколько лет спустя после визита к знаменитому профессору) не могла спать лежа — и ночи проводила в кресле.

Конец года Иван Алексеевич жил в Москве, куда уже переехал старший брат, ставший соредактором педагогического журнала «Вестник Воспитания». Издавал его врач Николай Федорович Михайлов, богатый человек, из семьи фабрикантов текстильщиков.

У братьев Буниных с этого года завязались дружеские отношения с ядром будущей «Среды»: Телешовым, Белоусовым и Махаловым, познакомились они и с Гославским, и с Голоушевым, и с Златовратским, прожившим всю жизнь в Гиршах, — были тогда в Москве, на Бронной, корпуса с дешевыми квартирами, — выезжавшим летом на дачу в Апрелевку, под Москвой. И так за всю жизнь Златовратскому не удалось увидеть моря, хотя он и мечтал об этом. Один раз он съездил к сыну во Владикавказ, но завернуть на черноморское побережье у него не хватило средств...

Самая большая дружба конца этого года и первой половины 1898 была у него с Катериной Михайловной Лопатиной. В журнале «Новое Слово» начал печататься ее роман, и они вместе читали корректуру. Чтение сводилось к тому, что Бунин все советовал сокращать и сокращать: она страдала многословием. У нее был несомненно художественный талант, только она не умела в полной мере им овладеть.

Иван Алексеевич так пишет о ней, приводя ее рассказ о Толстых в своей книге «Освобождение Толстого»:

«Лопатина была женщина в некоторых отношениях замечательная, но очень пристрастная».



Въезд на Красную площадь левее Исторического музея,
вид на часовню Иверской Божьей Матери.



Часовня Иверской Божьей Матери (не сохранилась).

Они никогда не соглашались в оценке Льва Николаевича, как человека, как учителя, — она была проникнута философией Соловьева, а известно, что эти два больших мыслителя друг друга не выносили. Как художника, она с детства оценила Толстого, ставила его выше всех. Ее знакомство с произведениями этого писателя началось с чтения «Севастопольских рассказов».

«Я не могла равнодушно слышать даже это название, — будто не читаю, а совершенно вижу грязную изрытую дорогу и солдата в серой шинели, бегущего с бастиона с двумя ружьями...» — вспоминала она не раз. Толстых она знала хорошо: в молодости она вращалась с его дочерьми в одном и том же кругу; бывала она и у них в гостях в Хамовниках, в Ясной Поляне, но обаянию этой семьи она не поддалась. Ей больше всех нравилась Татьяна Львовна, с которой она была на «ты». Близким другом ее была Вера Сергеевна, дочь Сергея Николаевича Толстого.

Иван Алексеевич посещал лопатинский особняк с колоннами, выходивший в Гагаринский переулок, а подъезд был с Хрущевского. Он имел какую-то художественную ценность, за что и помещен в журнале Крымова «Столица и усадьба».

На их журфиксах бывало общество смешанное: аристократы, иногда сам Толстой, ученые, философы, друзья брата, судейские. Ее отец, Михаил Николаевич, в прошлом гегельянец, судебный деятель, поклонник судебных реформ Александра II, был человеком умным и образованным. Мать — очаровательная худая, высокая, старая барыня, с большой добротой и мягкостью, но с характером. Она воспитала детей: четверых сыновей и дочь, которая, после домашнего образования, посещала курсы Герье, открытые в начале восьмидесятых годов прошлого века. Младший сын, Владимир Михайлович, большой друг Георгия Евгеньевича Львова, бывший судейский, выйдя в отставку, стал артистом Художественного театра.

После издания книги «На край света» Бунин редко появляется в печати с прозой.

Мне кажется, что Петербург его ошеломил, и хотя у него были уже определенные вкусы и художественная оценка, но все же надо было преодолеть все эти новые «мозговые линии» Волынского, выходки Гиппиус, анархический «лай» Брюсова, предлагавшего сжечь, подобно Омару, все написанное до него! Кроме того, чем сильней был литературный рост Бунина, тем он более критически относился к себе. И все труднее ему было высказываться художественно. То, о чем он пишет в «Жизни Арсеньева» — муки и страдания от невозможности писать, как хочется, «ни о чем», — зародилось именно в эти годы.

В политике тоже было шумно: выступления в Петербурге Струве, Туган-Барановского, Булгакова, Бердяева, их схватки с народниками на заседаниях в разных обществах.

Вскоре появился и Горький со своим «Челкашом», от кото-

рого большинство приходило в восторг, но Бунину он не нравился, он чувствовал всегда в горьковских произведениях фальшь и никогда не восхищался им, как писателем, хотя и признавал в нем большое дарование.

Все это мешало ему самому писать, не была устроена и его жизнь. Зарабатывал он немного, жить скромно на одном месте он не мог, — ему надо было все видеть, все понять, а это он мог делать только в «движеньи». Недаром он всегда напевал: «В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи...» Когда иссякали деньги, он ехал в Огневку, где жизнь ему обходилась дешево.

7

Под влиянием Толстого, писавшего о ночлежных домах, Иван Алексеевич с Катериной Михайловной, как он ее всегда звал, ходили по ночлежным домам и притонам в Проточном переулке, близ Новинского бульвара.

У Катерины Михайловны в то время были очень сложные отношения с психиатром Т., который лечил ее недавно скончавшегося брата, Николая Михайловича, собирателя русских песен и сослуживца моего отца. Николай Михайлович заболел душевно, что на сестру произвело сильнейшее впечатление, и она с тех пор стала интересоваться психиатрией, впоследствии сделалась настоятельницей Никольской общины, где читала сестрам лекции по уходу за душевнобольными. Она оставила интересные воспоминания об этой своей деятельности. Они хранятся у меня.

Из романа с психиатром у нее ничего не вышло, так как у него была связь с француженкой, от которой он имел дочь, и он считал долгом узаконить этот союз, а затем развестись, но в то время разводы были очень сложным делом в России. И Катерина Михайловна чувствовала, что из этих проектов ничего не выйдет.

Иногда они с Иваном Алексеевичем, шутя, говорили о браке: он был на пять с половиной лет моложе ее, и утешали себя тем, что у Шекспира жена была девятью годами старше мужа.

Иван Алексеевич определял свои чувства к Катерине Михайловне романтическими, как к девушке из старинного дворянского гнезда, очень чистой, но несколько истеричной.

— Подумай, — рассказывал он, — зайдем в Прагу, а она начинает говорить: «Нет, не могу есть в ресторанах, с тарелок и пить из фужеров, из которых ели и пили другие...» Если бы я на ней женился, я или убил бы ее или повесился, — смеясь говорил он, — а человек она все же замечательный.

А она рассказывала:

— Бывало, идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: «Вот вы все смеетесь, не верите, а вот

увидите, я буду знаменит на весь мир!» Какой смешной, думала я...

Вспоминала она об этом, гостя у нас на Бельведере в Грассе, после получения Иваном Алексеевичем Нобелевской премии.

Поживши в Москве, он, в начале 1898 года, съездил в Огневку на короткий срок.

Сестра была невестой, ей шел двадцать пятый год. По деревенским понятиям, она считалась перестаркой. Бывала только в Ефремове в семье Отто Карловича. Там она познакомилась с молодым машинистом, водившим поезда мимо Бабарыкина, довольно культурным по виду, — он был поляк, Иосиф Адамович Ласкаржевский, моложе ее года на два. Братья были в ужасе, но что делать? Она была настроена романтически, писала стихи и видела его преображенным. На своей карточке, снятой в Ельце, когда она была невестой, написано: «Моему будущему другу жизни и возлюбленному мужу Иосифу Ласкаржевскому от его Марии».

А он был высокий брюнет с правильными чертами угрюмого лица, лишенный чувства какой-либо поэзии и большой хвастун. Не знаю, почему эта фотография оказалась у брата в эмиграции, вероятно, он взял ее у Маши, когда она разошлась с мужем.

Ранней весной Ивана Алексеевича опять потянуло в Москву, и он поселился в «Столице» на Арбате, в двух шагах от Юлия Алексеевича. И опять зачастил к Лопатиным на журфиксы и в будни. Они то спорили, то держали корректуру ее романа, который он немилосердно уговаривал сокращать, — вот, действительно, сошлись две противоположности! — то опять ходили по ночлежным домам.

В конце апреля они съездили в дачную местность под Москвой, Царицыно, снимать дачу для Лопатиных, и Иван Алексеевич все удивлялся, зачем им такая большая дача для четырех человек? А впоследствии сам снимал просторный дом для нас двоих.

Начало лета он провел в Царицыне, поселился в «стойлах», как мы называли комнаты с балконом в саду Дипмана, где были ресторан, летний театр и номера для одиноких дачников. Там в то время жил молодой писатель, друг Бунина, Телешов, первый писатель, с которым я познакомилась в отрочестве. Красивый, высокий, очень милый человек. Иногда при встречах в огромном вековом царицынском парке они подолгу беседовали с моей мамой на литературные темы. Он подарил ей две свои книжки небольшого формата, и меня очень занимало, что я знакома с тем, кто их «сочинил»...

Среди знакомых в Царицыне было известно, что под Ельцовой скрывается Е. М. Лопатина, некоторые посмеивались, но все же читали ее роман в толстом журнале. Она была горда,

ее забавляло, что она получит за него больше тысячи рублей! И когда она об этом сообщила своей матери, та покачала головой и вполголоса заметила:

— Что ж, мания величия!.. — до того ей это показалось невероятным...

А философ, Владимир Сергеевич Соловьев, говорил:

— Ты, Катя, счастливее меня: я никогда таких гонораров за свои статьи еще не получал...

И в Царицыне она продолжала, вместе с Иваном Алексеевичем, держать корректуру. Несмотря на сокращения, роман оказался длинным. Они много гуляли, и один раз мы с мамой столкнулись с ними. Екатерина Михайловна познакомила нас. Об этой встрече я пишу в своих воспоминаниях: «Беседы с памятью».

Катерине Михайловне в ту пору было очень тяжело из-за осложнения в отношениях с психиатром Т., и она уже начала заболевать нервно, а потому и прощанье с Иваном Алексеевичем было болезненно трогательным. Он уезжал в Огневку, а оттуда к Федорову под Одессу.

Расставались поздно вечером, на следующий день рано утром он должен был ехать в Москву, а она вставала всегда к полудню. Был одиннадцатый час, но еще светила заря в лесу, только что прошел дождь. Она плакала, может быть, чувствовала, что их дружбе, душевной близости приходит конец. Она была глубоко религиозна и надела на него маленькую иконку.

В Огневке он на этот раз зажился, увлекшись писанием. И только в конце июля уехал в Люстдорф к Федоровым. Куприн, как и в прошлое лето, гостил у Карышевых. Возобновились прогулки, смакование художественных подробностей, восхищение Толстым, Куприн особенно приходил в восторг от Фру-Фру, лошади Вронского, погибшей на скачках, от Холстомера. «Он сам был лошадью!» — повторял кто-нибудь из них. Шутили и над Федоровым, у которого недавно появился на свет сынишка Витя. От него счастливый отец всю жизнь приходил в восторг. «Мой мальчик!» — восклицал он, восхищаясь необыкновенными талантами сына с его младенчества. Однажды, провожая на пароходе Чехова, он ему так надоел своим Витей, что Чехов жаловался Ивану Алексеевичу: «Хотелось смотреть, как работает лебедка, поднимая на пароход корову, а он все бубнил: «Мой мальчик, посмотрите, как он... и так далее...» Посмеивались и над его романами, и над его упоением самим собой: «Я сложён, как бог!..»

Однажды к Федоровым приехали в гости их друзья, греческая чета Цакни, он, издатель и редактор «Южного Обозрения», в прошлом народоволец, эмигрант, жил несколько лет в Швейцарии и Париже. Потерял красавицу жену, от которой имел

дочь. Через несколько лет он женился на гречанке, Элеоноре Павловне Ираклиди, учившейся пению у знаменитой Виардо, которая никогда не начинала урока, прежде чем ученица или ученик не положит на рояль луидор. Мать Э. П. Ираклиди ездила в турне со знаменитым скрипачом и композитором Венявским — в качестве аккомпаниаторши.

Цакни пригласили молодых писателей к себе на дачу. Через несколько дней они отправились к ним, на седьмую станцию.

При входе в разросшийся по-южному сад они увидели настоящую красавицу, как оказалось, дочь Цакни от первого брака.

Иван Алексеевич обомлел, остановился.

И чуть ли не в один из ближайших вечеров сделал ей предложение.

Он говорил мне: «Если к Лопатиной мое чувство было романтическое, то Цакни была моим языческим увлечением...»

Предложение было принято. Отец предоставлял дочери полную свободу, мачехе же жених сначала очень понравился, и она была довольна предстоящей свадьбой, а может быть, хотела скорее выдать замуж свою падчерицу. Все случилось скоропалительно. Анне Николаевне шел двадцатый год, но она была еще очень невзрослой, наивной, — мачеха умела заставлять ее поступать по своей воле.

В автобиографическом конспекте у Ивана Алексеевича написано:

«...Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон из дачи (со второго этажа). Аня играла «В убежище сада...». Ночую у них, спал на балконе (это, кажется, в начале сентября).

23 сентября. Свадьба».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Свадьба была назначена на 23 сентября, венчались они в церкви на Греческом базаре; жили Цакни на Херсонской.

Незадолго перед этим они потеряли сына и упросили Ивана Алексеевича не увозить от них «Аню», а поселиться вместе с ними, — квартира у них была большая. После свадьбы молодые должны были поплыть в Балаклаву к греческим родственникам Цакни.

Иван Алексеевич к таинствам, после своего увлечения толстовством, относился совершенно равнодушно. Отец Цакни, как я уже упомянула, был неверующий народоволец. И если бы жених предложил венчаться совсем просто, только с двумя свиде-

телями, то Анна Николаевна, по всем вероятиям, согласилась бы, как уверяла меня Лидия Карловна Федорова, но Иван Алексеевич так был равнодушен к венчанию, что ни во что не вмешивался. Всем верховодила жена Цакни. Она, как полагается, заказала белое венчальное платье, купила фату с флёр д'оранжем и в карете привезла невесту в храм. Мальчиком с образом был младший, единокровный брат невесты, Бэба.

Жених пришел на свадьбу пешком.

После венчания «молодой» с тестем, заговорившись, вышли на паперть и бессознательно пошли вдвоем домой. Можно представить, какое впечатление произвело это на «молодую». А тут еще подлила масла в огонь мачеха, да и Лидия Карловна Федорова, вероятно, не внесла мира.

На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с «Аней», а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных.

Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха.

Зачем Федоровы отравили первый день «молодым», понять трудно. Об этой свадьбе всего подробнее рассказывала мне Л. К. Федорова. А Федоров использовал этот эпизод в своем романе «Природа».

Я спрашивала Ивана Алексеевича, как это он мог уйти после венчания без жены?

— Я не придавал никакого значения этому, к тому же мы о чем-то очень интересном разговорились с Николаем Петровичем, я и забыл, что молодожены должны возвращаться вместе...

По Фрейду этот брак не мог быть длительным. Так и случилось.

На следующий день они отправились в Крым, где провели медовый месяц. Побывали и в Балаклаве, посетили родственниц «молодой», очень толстых, неподвижных, старых гречанок, которые угощали их розовым вареньем с ледяной водой и всякими греческими сладостями.

Из Балаклавы они вернулись в Севастополь и поплыли на пароходе «Пушкин» в Ялту, остановились в гостинице возле мола. Побывали в Гурзуфе. Возвращались оттуда в Ялту на маленьком пароходике. Из Ялты пошли, уже на большом, в Одессу. Была качка.

Вернувшись в Одессу, они пожили там недолго. Бунину нужно было по своим литературным делам побывать в Москве и Петербурге, а Анне Николаевне хотелось посетить столицы. Кажется, до тех пор она не бывала на севере России.

В Москве они попали на первое представление «Царя Федора Иоанновича» в «Общедоступном Художественном театре»,

а затем были на юбилее Златовратского, праздновавшемся в Колонном зале «Эрмитажа». Бунин познакомил жену со всеми своими друзьями и знакомыми; все восхищались ее красотой. Народу на юбилее было множество, говорились речи, тосты, банкет затянулся, как в таких случаях шутили, «далеко за полночь».

В Петербурге оставались недолго и, вернувшись в Москву, были на первом представлении «Чайки» в том же театре «Эрмитаж», где начинал свою деятельность Художественный театр, в первые годы своего существования называвшийся «Общедоступным Художественным театром». Действительно, цены в нем были в те годы очень низкие.

На Рождество они вернулись на Херсонскую. И началась для Ивана Алексеевича вторая семейная жизнь и дружба с одесскими художниками.

Присмотревшись к укладу жизни в доме Цакни, Иван Алексеевич стал возмущаться, — многое ему было не по душе. Элеонора Павловна, мечтавшая в юности стать оперной певицей и не ставшая ею, заполняла свою неудавшуюся артистическую жизнь тем, что ставила оперы с благотворительной целью. В том году шли у них на квартире часто репетиции «Жизни за царя» Глинки, спектакль должен был быть в зале на Слободке Романовке. И больше всего возмущало Ивана Алексеевича, что к этому была привлечена Аня, у которой не было ни оперного голоса, ни артистических способностей. Конечно, со сцены она казалась еще красивее, чем в жизни. После брака она очень похорошела. Особенно ей шли бальные туалеты, и когда она танцевала с каким-то красавцем офицером, все восхищались этой парой... «И я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбки и ног; музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым, с тем противоестественно высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, — все-таки он был на две головы выше ее и, тесно обняв и плавно длительно кружа ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем нечто ненавистное мне...» («Жизнь Арсеньева»).

Эта сцена перенесена из Одессы в Орел. Да и Варвара Владимировна не была так высока и красива, чтобы ею любоваться, как можно было любоваться Анной Николаевной. Иван Алексеевич признавался мне, что ревновал жену, когда она танцевала в Одессе на балу, к какому-то красавцу офицеру, и всегда при этом повторял: «Действительно, они оба были хороши...»



И. Бунин На Цейлонѣ. Мартъ 911 г

И. А. Бунин. Коломбо, март 1911.

Повторяю: Лика в «Жизни Арсеньева», как записал Иван Алексеевич, «вся выдумана».

Жили Цакни, как я писала, на Херсонской улице, во дворе, квартира была просторная.

Она хорошо одевалась, и Ивану Алексеевичу нравилось, когда жена опускала черную вуаль, из-под которой блестели глаза, когда они вместе куда-нибудь шли.

Стол был обильный. С этих пор Иван Алексеевич полюбил морскую рыбу, особенно кефаль по-гречески.

Цакни много выезжали, бывали на итальянской опере, артисты которой постоянно толпились в их гостеприимном доме. Элеонора Павловна принадлежала к богатой греческой семье. Бывал у них хорошенький талантливый юноша Морфесси, известный и в эмиграции исполнитель романсов.

Единокровный брат Анны Николаевны, Бэба, целыми днями носился по квартире с собакой. Это тоже перенесено в «Жизни Арсеньева» в Елец, в квартиру доктора, отца Лики.

Много шутливых стихов написано о Бэбе. Когда Павел Николаевич Цакни был у нас на вилле Жаннетт в Грассе, он читал их, но, к сожалению, вероятно, от усталости, которую я почти всегда испытывала во время последней войны, мне не пришло в голову записать эти стихи. Иван Алексеевич многое совершенно забыл и весело смеялся, слушая их.

2

Иван Алексеевич полюбил порт, который его всегда возбуждал, — тянуло в дальние странствования; он иногда проводил там часы. Ездил он с Анной Николаевной к морю, в ближайшую дачную местность, Ланжерон, где хороши скалы, особенно под кипящими волнами.

С этого года у него возникает дружба с одесскими художниками, которые в 1890 году образовали «Товарищество южно-русских художников»; самым чтимым из них был Костанди.

Начал он бывать на обедах Буковецкого, который, будучи состоятельным человеком, устраивал пиршества, но приглашал только мужчин. Обеды были еженедельно, по четвергам. На них бывало весело, шумно, непринужденно; стол у Буковецкого отличался тонкостью и своеобразием, — рыба подавалась до супа. Буковецкий, изысканный человек, умный, с большим вкусом, старался быть во всем изящным. Он писал портреты. Одна его вещь была приобретена Третьяковской галереей.

С первых же месяцев знакомства с этой средой Иван Алексеевич выделил Владимира Павловича Куровского, редкого человека и по душевным восприятиям, и по особому пониманию жизни. Настоящего художника из него не вышло: рано женился,

пошли дети, и ему пришлось взять место в городской управе. С 1899 года он стал хранителем Одесского музея и получил при нем квартиру. Музей помещался на Софиевской улице (ныне ул. Короленко), в бывшем дворце Потоцкой, трехэтажном особняке классической архитектуры начала девятнадцатого века.

Иван Алексеевич очень ценил Куровского и «несколько лет был просто влюблен в него». После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему свое стихотворение «Памяти друга», где поэт объясняет, чем Куровский был ему так близок:

Ты верил, что откликнется мгновенно
В моей душе твой бред, твоя тоска.
Как помню я усмешку, неизменно
Твои уста кривившую слегка.
Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепою!

Те радости и муки без причин,
Та сладостная боль соприкасанья
Душой со всем живущим, что один,
Ты разделял со мною, — нет названья,
Нет имени для них, — и до седин
Я донесу порывы воссозданья
Своей любви, своих плененных сил...

Выписываю эти строфы потому, что в них ярко выражается не только, что Бунин любил в одном из самых ближайших друзей, но и то, чем он сам жил.

Семья Куровских состояла из жены, двух дочерей и сына; все дети были привязаны к Ивану Алексеевичу, который их нежно любил.

Подружился он и с Петром Александровичем Нилусом, дружба длилась многие годы и перешла почти в братские отношения. Он кроме душевных качеств ценил в Нилусе его тонкий талант художника не только как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин, — и все уговаривал его начать писать художественную прозу. Ценил он в нем и музыкальность. Петр Александрович мог насвистывать целые симфонии.

Сошелся и с Буковецким, ему нравился его ум, оригинальность суждений, меткость слов. С остальными вошел в приятельские отношения, со всеми был на «ты», некоторых любил, например, Заузе, очень музыкального человека (написавшего романс на его слова «Отошли закаты на далекий север»), Дворникова, которого ценил и как художника, маленького трогательного Эгиза, необыкновенно гостеприимного караима. Забавлял его и Лепетич. Познакомился и со старшими художниками: Кузнецовым, Костанди.

Жили в то время Буковецкий с Нилусом на Николаевском бульваре. Иногда Анна Николаевна провожала мужа, а затем приходила и ждала его на скамейке бульвара.

В Москве в 1899 году вышел его перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Перевод имел успех и даже был оценен Академией Наук, и Бунин впервые получил денежную премию и золотую медаль в 1903 году. Он трижды был награжден Академией Наук Пушкинскими медалями. Все три золотые медали были у нас украдены в Софии после эвакуации из Одессы в 1920 году.

Отношения его с женой стали портиться главным образом из-за ее участия в опере. Элеонора Павловна начала на него сердиться, восстанавливать падчерицу против мужа. И весной он один на неделю-полторы уплыл в Ялту. В одной записи, сделанной его рукой, вопрос: «Почему один?» Вероятно, уехал из-за тяжелой атмосферы. У Анны Николаевны был характер, совершенно невыносимый для Буниных: обидевшись или рассердившись, она замолкала. А все Бунины были отходчивы и враждебного молчания не выносили.

В Ялте он возобновил знакомство с Чеховым, встретившись с ним на небережной, пил у него в аутском саду утренний кофий, — дача еще строилась. Встретился через несколько дней опять с ним на набережной, он шел вместе с Горьким, и Чехов их познакомил.

В тот день Горький с Буниным провели вместе несколько часов. Бунин зашел к нему, и он показывал карточки своей жены и сына и шелк, купленный на кофточку Екатерине Павловне.

В Ялте же он виделся с Лопатиной, которая после тяжелой зимы была отправлена врачами в Крым. Мать ее, многие знакомые, в том числе и моя мама, приписывали ее нервную болезнь отъезду Бунина и его женитьбе, не зная ее драмы с психиатром.

Они дружески провели несколько вечеров, она сообщила, что ее роман «В чужом гнезде» прошел в журнале и выходит отдельной книгой.

Встретился он в Ялте и с Мусей Давыдовой, с которой ему неизменно бывало весело. Она ехидно поздравила его с законным браком. Он нравился ей, было досадно, что он, став женатым, как бы отделился от их компании.

Заходил он и к Елпатьевским, они тоже строили себе белую дачу где-то очень высоко — над Ялтой.

3

Летом вся семья Цакни поехала в свое имение «Затишье». Поехали туда и Бунины.

Иван Алексеевич не повез Анну Николаевну к своим род-

ным, — понимал, что она совершенно из другой среды, и огневская жизнь была бы ей до жути непонятна. Душевно они никогда не были близки.

Настоящего интереса к его писаниям она не проявляла. В ней было много восточных черт и никаких «стремлений». По натуре чистая, неиспорченная, не допускающая компромиссов, она была не в состоянии понять сложную натуру мужа.

В «Затишье» и произошел первый разрыв. Все началось из-за пустяков. К Цакни приехала погостить знакомая чета, которая не понравилась зятю, а он не умел или не хотел скрывать своего отношения к ним. Элеонора Павловна вознегодовала и каким-то способом поссорила его с женой, уверяя ее, что он только и любит из всех них собачку. Ссора кончилась тем, что среди лета он уехал в Огневку.

Все же осенью он вернулся. Поехал на Николаев, было «солнечное раннее утро». У супругов состоялся род примирения. Она еще нравилась ему, он на всю жизнь запомнил ее серое платье, солнечное утро, когда они куда-то шли.

Репетиции «Жизни за царя» возобновились. И опять «Аня» должна была участвовать в них. И опять «двери на петлях не держались...».

Чаще он стал проводить время с художниками, бывать на «Четвергах» у Буковецкого, ездить в Отраду к Федоровым, заходить на Софиевскую к Куровским, что ей не нравилось, но все же крупных ссор не было. Работать же, писать по-настоящему он не мог, — в доме вечный праздник, суета, многолюдство, музыка, шум, обстановка не для писателя.

Новый Год, — когда поднимались споры, последний ли он в XIX веке или первый в XX, — прошел шумно и многолюдно, с пением и музыкой.

В январе обнаружилась беременность Анны Николаевны. Она стала еще обидчивее, отношения супругов делались все напряженней и напряженней. Иван Алексеевич понял, что из их жизни ничего не вышло и не выйдет хорошего, и, боясь за ее здоровье, с совершенно разбитыми нервами, в начале марта, после длительного, упорного молчания с ее стороны, «уложил свои вещи в чемодан, взял извозчика на вокзал и уехал в Москву».

Юлий Алексеевич испугался его вида и уговорил обратиться к знаменитому профессору по нервным болезням Роту, редкому по душе человеку.

Рот нашел его в дурном состоянии, посоветовал, если это возможно, отправиться в деревню, вести правильный образ жизни, рано ложиться, рано вставать, заниматься физическим трудом и ничего не пить.

Иван Алексеевич быстро уехал в Огневку, где вскоре и появился «Листопад». Он начал его раньше, но тут он окончательно его отделал. До Страстной недели прожил у Евгения.

За 1899 год стихов он написал мало: всего четыре стихотворения! И один рассказ в две страницы — «Поздней ночью». А в 1900 году, после разрыва, в Огневке, кроме «Листопада» — поэмы в пять с половиной страниц, были еще написаны двадцать четыре стихотворения. Из прозы 1900-ым годом помечены «Антоновские яблоки», «Эпитафия» и «Над городом».

Среди записей я нашла на листочке следующую: «Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки. Аня только 12-ти лет вернулась в Россию, в Одессу с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо, а я, приехав в Одессу в августе 1898 года, случайно познакомился с Цакни и вскоре сделал Ане предложение. От этого брака и родился наш с нею сын Коля, лет пяти умерший после скарлатины».

«На этой фотографической карточке ему...»

«Может быть вы знавали в Париже доктора психиатра Львова (высокого, красивого человека)? Это был родной дядя Ани, с которой я разошелся вскоре после ее беременности только благодаря тому, что моя теща или, лучше сказать, полутеща...» Тут обрывается.

Ясно чувствуется, что причиной всего их разлада была Элеонора Павловна. Это утверждала и сама Анна Николаевна, когда она видалась с Иваном Алексеевичем уже в мое время.

Маша была замужем, переселилась в Ефремов, с нею жила и Людмила Александровна. Ласкаржевские ждали ребенка. Иван Алексеевич ежедневно, до самых родов, писал ей письма, умоляя ее быть осторожной...

4

На Страстной Иван Алексеевич едет в Ялту. В Севастополе и Ялте для Чехова Художественным театром давались пьесы («Эдда Габлер» Ибсена, «Одинокие» Гауптмана, «Чайка» и «Дядя Ваня» Чехова).

Об этом съезде актеров и писателей подробно рассказано в книге «О Чехове» Бунина и в книге «Чехов в воспоминаниях современников».

С этой весны укрепляются дружеские отношения Чехова с Буниным. Антон Павлович оценил талантливость Бунина и, по воспоминаниям Станиславского, всегда находился там, где что-

нибудь рассказывает или представляет Бунин, явно предпочитая ему всяких знаменитостей. Вспоминая это, Станиславский прибавляет: «Никто, как Бунин, не умел смешить Антона Павловича, когда он бывал в хорошем настроении».

Значит, и для чужого глаза было заметно, что Ивану Алексеевичу бывало тяжело. Конечно, драма с женой его мучила. Это и ввело в заблуждение Ивана Николаевича Сахарова, решившего, что его плохое настроение вызывается присутствием знаменитостей. И он был так неделикатен, что стал советовать ему скорее уехать из Ялты...

Иван Алексеевич очень рассердился и дерзко ответил, что его литературный путь отличается от других: он будет академиком и неизвестно, кто кого обгонит... Тут сказался в нем его отец.

Из Ялты Иван Алексеевич поехал в Ефремов к матери и Ласкаржевским, на целый месяц. Приехал туда и Юлий Алексеевич, довольный своим положением в редакции журнала «Вестник Воспитания». Издатель Николай Федорович Михайлов предложил ему квартиру при редакции, полное содержание и какое-то ежемесячное вознаграждение. Юлию Алексеевичу, человеку, не приспособленному к жизни, подобные условия подошли, он был освобожден от всяких хозяйственных забот.

Летом в Огневке Иван Алексеевич окончательно подготовил к печати «Листопад». Собираясь отправить свою поэму в «Новую Жизнь», редактором которой был Поссе, он предварительно написал Горькому, близкому сотруднику этого журнала.

Приехав в Москву, он передал ее Алексею Максимовичу.

«В овраге» Чехова тоже появилось в «Новой Жизни».

В это время Иван Алексеевич писал «Антоновские яблоки».

Из Москвы, в октябре, Иван Алексеевич едет в Одессу, — 30-го августа 1900 г. у него родился сын; назвали его Николаем — в честь деда Цакни. Бунин останавливается не у Анны Николаевны, а живет у Куровских, у которых прекрасная квартира при городском музее.

Отношения с женой не улучшились. Ему стало несказанно тяжело. Анна Николаевна была самолюбива и замкнута по характеру, она чувствовала себя оскорбленной и, по-видимому, не желала даже думать о примирении.

Есть запись Ивана Алексеевича:

«Какой-то Одиссей, какая-то Итака... Почему, зачем вошло это в мою жизнь с детства, как и многое другое — Авраам, Исаак, Дон-Кихот, Гамлет, Чацкий и т. д.? И нужно же было случиться так, что моя жена была гречанка, род которой был с Итаки!»

В октябре одесская городская управа решила послать Куровского за границу для обследования рынков в разных городах Европы, и тот стал уговаривать своего друга ехать с ним, так как видел, что опять Бунин приходит в болезненное состояние, — и он серьезно опасался, что отношения Цакни с Иваном Алексеевичем доведут его до тяжелой нервной болезни.

Иван Алексеевич, подсчитав свои средства и где-то взяв аванс, с радостью согласился, — ему было приятно отправиться в свое первое заграничное путешествие с таким тонким человеком, как Куровский.

Они «выработали маршрут», как говорилось в семье у Буниных, и в самом конце октября пустились в путь.

5

«Отъезд с Куровским за границу: Лупов, Торн, Берлин, Париж, Женевское озеро, Вена — Петербург. Потом я в Москве».

Они побывали в Берлине, Париже, где в этом году была всемирная выставка. Там жила теща Куровского, у которой они и остановились. Это была нервная, с уклоном в психопатию, много курящая женщина, с блестящими карими глазами. Если ей возражали, она сердилась, заявляя: «Со мной нельзя спорить...»

Куровский везде осматривал рынки. Они ходили по музеям, по выставке, очень утомились и с радостью уехали в Швейцарию, где решили передохнуть. Действительно, там они вели чистый образ жизни, бросили курить, пили мало вина и много ходили пешком.

Куровский был редким спутником, с ним всегда было интересно: он, как никто, умел замечать и в людях, и в природе то, что проходило мимо глаз и внимания большинства.

Иван Алексеевич, как я уже писала, был «прямо влюблен в него». Те, кто близко соприкасались с этим человеком: семья, друзья, даже знакомые, — все относились к нему, как к замечательной личности.

Особенно им было хорошо в Швейцарии. Женева и Женевское озеро отразились в рассказе «Тишина» Бунина, написанном в 1901 году (может быть, когда он гостил на даче Чехова. Во всяком случае, он делал там заметки о их путешествии по Европе).

Иван Алексеевич переводил в то время Манфреда, и ему захотелось заглянуть всюду, где «бывал Манфред». Восхищался, как Манфред зачерпывает на ладонь воды и бросает ее в воздухе, вполголоса произнося заклинания. Под радугой водопада появляется Фея Альп.

Ездили они из Женевы на трамвае в горы, где чуть было не остались без ночлега: пришлось с детьми, данными им в проводники, подниматься выше конечной станции трамвая, но там

отель оказался уже закрытым. Дети проводили их вниз. Они продрогли, Иван Алексеевич стал бояться воспаления легких, но, к счастью, не простудился, и наконец, после долгих странствий, они отыскали какой-то пустой отельчик, который не был закрыт окончательно, хотя владельцев в нем уже не было. После ужина они легли спать в ледяной комнате. Утром любовались Монбланом. Затем отправились в Лозанну. Оттуда в Монтрё. Посетили и Шильонский замок. Много ходили пешком. Оба находились в повышенном настроении, и о этих днях не только впоследствии, бывая в Швейцарии, но и перед смертью вспоминал Иван Алексеевич.

Из Лозанны они, распрощавшись с французской Швейцарией, по железной дороге, через Берн, направились в немецкую. В Берне, на вокзале, ели какое-то редкое блюдо, чуть ли не из медвежатины, которое потом, десятки лет спустя, тщетно искал Иван Алексеевич, желая угостить им меня, когда мы бывали с ним на этом вокзале.

В Туне они не остановились, а проехали вдоль Тунского озера до Интерлакена, где сделали привал. Там они купили шерстяные чулки, горные палки, а Иван Алексеевич еще теплый картуз и варежки. Решили, несмотря на серую погоду, отправиться в горы, — ведь Манфред был у Юнгфрау... Нашли за 15 франков проводника и поехали к вечным снегам Юнгфрау. По дороге кучер вызвал в одном селении из домика своего знакомого, сказал ему что-то, и тот вынес очень длинный рог и пустил звук. Эхо отозвалось на тысячу ладов. Об этом Иван Алексеевич никогда не мог забыть. Он сравнивал его с аккордом, взятым на хрустальной арфе могучей рукой в царстве гор и горных духов... Жалел, что мне не довелось услышать ничего подобного.

Погода разгулялась. Стало солнечно. Внизу, в долине еще осень, а там, где они ехали — зима. Кучер все время «пел дико «иоделем», — это глубокое нутряное пение».

На следующий день они в поезде доехали до зубчатой дороги, чтобы подняться еще выше. Но, увы, она была уже закрыта. Тогда они решили подниматься в горы пешком. Дорога сначала шла еловыми лесами. Выйдя из них, они увидели Ангер и Юнгфрау с Мёнком. Оттуда по снегу они добрались до Мюрена. Нашли в «этой горной тишине» пустой отель. На этот раз их приняли, подали вкусный обед. Потом Куровский в пустой гостиной играл Бетховена. «И я почувствовал на мгновение все мертвое величие гор», — рассказывал, вспоминая о вечере среди величественных снегов, Иван Алексеевич.

Из Интерлакена поплыли по Бриенцкому озеру до Бриенца, находящегося на противоположной стороне его. Из Бриенца через Брюнинг попали в Люцерн, где их захватил дождь. На следующий день отправились по озеру до Фиснау, чтобы под-

няться на Риги-Кульм. Но горная дорога не действовала, и они опять решили подниматься пешком. Погода была серая, вокруг — листопад; шли более пяти часов, уморились очень, шли одно время среди облаков, в мертвой тишине. «С нас, как с лошадей, валил пар». По дороге в каком-то еще не совсем закрытом отельчике перекусили на скорую руку. Долго шли по снегу. Туман не рассеялся. И они сокрушались, что не увидят во всей красе Бернских Альп. Но все же до Риги-Кульм добрались. На их счастье в одном из трех отелей прислуга еще оставалась. Их впустили, подали обед, и они переночевали в ледяной комнате. Спали не раздеваясь, в шапках.

На следующее утро туман не рассеялся, и знаменитый на весь мир вид остался для них скрытым.

Из Люцерна они поехали в Цюрих, где Куровский осматривал рынки, а затем направились в Мюнхен и Вену. Конечно, кроме базаров и рынков, они побывали и в картинных галереях, а в Вене глубокое впечатление на них произвел собор Святого Стефана с его замечательным органом.

Из Вены они поехали в Петербург, где тоже не миновали Эрмитажа, музея Александра III, музея Штиглица.

Куровский поехал домой, в Одессу, а Иван Алексеевич в Москву, где, пробыв недолго, отправился в Огневку, но и там он не усидел и вернулся в Белокаменную.

Зимние швейцарские горы отразились у Бунина в «Маленьком романе» (первое заглавие «Старая песнь»), написанном много позднее, уже при мне, 1909—1926 гг.

В 1937 году мы с Иваном Алексеевичем провели несколько дней в швейцарском курорте Вегесе. Из Вегеса он доплыл на пароходе до Фиснау и поднялся, только не пешком, а по зубчатой дороге, на Риги-Кульм и, наконец, увидал во всей красе панораму Бернских Альп, которой ему с Куровским, когда они были молоды и счастливы своим поэтическим странствием, не удалось насладиться.

6

В Москве к этому времени переорганизовался по-новому, в расширенном виде, кружок «Парнас». Возник он в первой половине девяностых годов прошлого столетия из небольшого содружества «Парнас». Он состоял из молодых людей купеческого звания, страстно любивших литературу и желавших знакомить друг друга со своими опытами. Беллетрист Телешов, поэт-переводчик Шевченко Белоусов и драматург Махалов были основателями его. «Парнас» собирался в низких антресолях старого дома Телешовых на Валовой улице в Замоскворечье. Первое время интересы его ограничивались лишь отечественной литературой и тем, что писали его члены, но по мере того, как молодежь крепла, начиная кое-где печататься и расширять свои

Псальма про сироту.

Я эту псальму, этотъ [redacted] южно-русскiй сказъ слышалъ въ херсонскихъ степяхъ, въ [redacted] низовьяхъ Днѣпра, въ тепломъ и темномъ весеннемъ вечерѣ давно, въ молодости.

Сказывалъ и пѣлъ его лирникъ Родiонъ, молодой нищiй изъ-подъ кiевскаго города Василькова, рябой слѣпецъ, странствовавшiй безъ поводыря [redacted] куда Богъ на душу положитъ — отъ Бахмача на Сумы, отъ Лубенъ [redacted] на Умань, отъ Хортицы [redacted] къ гирламъ, къ лиманамъ...

Изъ конца въ конецъ Малороссiи странствовалъ и я въ ту весну. Весна выдалась ранняя, чудесная. [redacted] На сѣверѣ она была ясная, прохладная; съ звонкими „суховiями", съ изумрудомъ озимей, съ голыми метлами хуторскихъ тополей, далеко видныхъ среди степныхъ равнинъ, гдѣ, какъ въ морѣ, были малы и терялись люди, пахавшiе на волахъ подъ яровое. А на югѣ тополя уже одѣлись [redacted] зеленѣли и церковно благоухали: пробовали чадъ пили первые апрѣльскiе [redacted] грозы. Розоватымъ цвѣтомъ цвѣли сады, празднично были [redacted] большiя старинныя села, цвѣтисто наряжались молодыя казачки: [redacted] еще недавно смолкъ кiевскiй пасхальный звонъ, на травѣ подъ вѣтряками еще валялась скорлупа крашеныхъ яицъ.

Въ гирлахъ (было днемъ) знойно, много стрекозъ вилось надъ очеретомъ, много „скигило" рыбалокъ, отражавшихся въ серебристомъ разливѣ теплаго, весенняго Днѣпра. Теплы и темны были ночи.

И. А. Бунин. Псальма про сироту (позднейшее заглавие — «Лирник Родион»; автограф, датированный автором: «28 февр. (13 марта) 1913 г. Анакапри».

литературные знакомства, характер содружества стал понемногу меняться. Известный в то время писатель Михеев, очень своеобразный человек, знаток западной литературы, первый обратил внимание этих писателей на Ибсена, пробудил интерес к заграничным писателям; художественный критик Сергей Глаголь (Голоушев) явился связью с миром художников; Ю. А. Бунин, вошедший в этот кружок, заразил молодых литераторов общественностью. Понемногу стали примыкать к нему и другие писатели, сначала москвичи, потом иногородние: Чехов, Тимковский, Хитрово, — любитель литературы и сам писавший, редактор «Русской Мысли» Гольцев, литератор и изобразитель своих юмористических и забавных сценок — Ермилов, председатель «Общества любителей Российской Словесности» Грузинский, писатель из народа Семенов, А. М. Федоров, Короленко, Куприн...

С 1900 года писатели собирались по-прежнему у Телешова, но уже не на Валовой улице, а на Чистых Прудах (куда он переехал после своей женитьбы на художнице Елене Андреевне Карзинкиной, принадлежавшей к одной из самых видных и просвещенных купеческих фамилий), сначала собирались по вторникам, а потом неизменно по средам, и «Парнас» был переименован в «Среду» или «Середу». Число членов этого кружка продолжало расти. К этому времени вошли в него: брат хозяйки Александр Андреевич Карзинкин, льняной король, знаток живописи, член художественного Совета Третьяковской галереи и любитель литературы, особенно стихов, Горький, который вскоре рекомендовал в члены «Среды» Андреева, а потом и Скитальца, Чириков, Серафимович, Вересаев, Гарин-Михайловский; Андреев в свою очередь привел на «Среду» Бориса Зайцева, большого поклонника Леонида Николаевича, совсем еще юного студента.

После собрания, когда кружок окрестили именем «Среды» и когда за обильным ужином было много выпито, уже на улице, кто-то сказал:

— А как бы, братцы, не заела нас «Среда»...

И быстро, как это иной раз бывало с младшим Буниным, он ответил:

Я не боюся, господа,
Что может нас заесть «Среда»,
Но я боюсь другой беды,
Вот не пропить бы нам «Среды»!

Елена Андреевна Телешова отличалась редкой скромностью и застенчивостью, всегда просто одетая, в темном, приютившаяся на уголке стола, она не казалась хозяйкой; на «Среде» с публикой, иногда, какая-нибудь актриса, ее не знавшая, обращалась к ней с вопросом:

— А где здесь хозяйка?

Она не переносила убийства, и в их имении целая конюшня была отдана слепым лошадям.

Во время Великой войны она с утра до вечера кроила белье для раненых, так что у нее болели пальцы правой руки от ножниц.

Тип лица у нее был восточный, красивый. Она была образованна, очень начитанна.

— Из всех друзей только Юлий Алексеевич читал столько, сколько я, — говорила она мне с сокрушением, — писатели вообще читают мало...

Когда подрос ее сын, Андрюша, она стала ему и мужу передавать содержание произведений иностранных авторов, еще не переведенных на русский язык.

Мать Карзинкиных, красавица, в девичестве Рыбникова, была сестрой собирателя народных песен. У нее была замечательная библиотека, много книг в художественно-изящных дорогих переплетах. Приобретала она и картины лучших русских мастеров, среди них был «Христос на Генисаретском озере» Поленова, где так тонко передан цвет неба и воды. Эта картина висела у Телешовых в столовой, когда они переехали на Покровский бульвар в дом Карзинкина.

7

Я нашла среди бумаг Ивана Алексеевича следующую страницу:

«С начала нынешнего века началась беспримерная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области литературной, театральной, оперной... Близился большой ветер из пустыни... И все-таки — почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа, что появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция — перед Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой премьеры Художественного театра, от каждой новой книги «Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно, с ужимками очень опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами? «Солнце всходит и заходит» — почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же, как и пошлую разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой шеей, притворявшийся гусляром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на публику: «Вы — жабы в гнилом болоте!» и публика на руках сносила его с эстрады; Скиталец все позировал перед фотографами то с гуслями, то в обнимку с Горьким или Шаляпиным! Андреев все крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих головокружительных успехов; щеголял поддевкой тонкого сукна, сапога-

ми с лакированными голенищами, шелковой рубахой навыпуск; Горький, сутулясь, ходил в черной суконной блузе, в таких же штанах и каких-то коротких мягких сапожках».

Еще запись:

«Писателем я стал, вероятно, потому, что это было у меня в крови: среди моих дальних родичей Буниных было не мало таких, что тяготели к писательству, писали и даже печатали, не приобретя известности, но были и такие, как очень известная в свое время поэтесса Анна Бунина, был знаменитый поэт Жуковский, сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки, получивший фамилию своего крестного отца Жуковского только потому, что был он сыном незаконным. Я еще мальчиком слышал много рассказов о нем в нашем доме, слышал от моего отца и о Льве Толстом, с которым отец, тоже участник Крымской кампании, играл в карты в осажденном Севастополе, слышал о Тургеневе, о какой-то встрече отца с ним где-то на охоте... Я рос в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов, — имение Лермонтова было поблизости от нас, — но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков... И все это: эти рассказы отца и наше со всеми этими писателями общее землячество, все влияло, конечно, на мое прирожденное призвание. Мне кажется, кроме того, что и отец мой мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал он художественную прозу, так художественно всегда все рассказывал и таким богатым и образным языком говорил. И немудрено, что его язык был так богат. Область, о которой я только что сказал, есть так называемое Подстепье, вокруг которого Москва, в целях защиты государства от монгольских набегов с юго-востока, создавала заслоны из поселенцев со всей России».

Привожу заметку о родителях и тетке Ивана Алексеевича, внучатой племянницы Людмилы Александровны, княгини Маргариты Валентиновны Голицыной, — в девичестве Рышковой, в которой тоже течет бунинская кровь, — жившей в имении родителей напротив усадьбы Буниных в Озерках, по другую сторону пруда:

«Насколько я помню Людмилу Александровну (пишет она о матери Ивана Алексеевича), она была небольшого роста, всегда бледная, с голубыми глазами, неизменно грустная, сосредоточенная в себе, и я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась.

Я видела ее в последний раз в Глотове (это, значит, во время Японской войны, когда она жила с Машей и внучатами у Пушешниковых, а Ласкаржевский был призван на войну. — *В. М.-Б.*).

В противоположность Людмиле Александровне, Алексей Николаевич (муж ее) был выше среднего роста, довольно-таки плотного сложения, с открытым, веселым розовым лицом, с бело-седыми волосами, которые заканчивались на шее локонами. Был всегда оживлен, весел, быстр, очень хорошо играл на гитаре и пел русские песни; он отличался остроумием.

Варвара Николаевна Бунина (сестра Алексея Николаевича), — ее помню уже в глубокой старости. Она была небольшого роста, сгорбленная, с бледным восковым, овальным лицом, с крючковатым носом, а ее острый подбородок загибался вверх, и это мне в детстве напоминало открытый клюв птицы. Была она очень живая, веселая, помню, как у нас она играла на фортепьяно и пыталась что-то подпевать своим беззубым, шамкающим ртом. Она была, как бы, знаешь, ненормальна, например, когда моя бабушка ей предлагала ехать говеть, она отвечала, что ее «каждый день Царица Небесная и без того приобщает». Жила она во флигеле, в нескольких саженях от дома Буниных (в Каменке) и, когда Митя (сын ее племянницы, Софьи Николаевны Пушешниковой) со своими сверстниками, вывертывая полушубки вверх овчиной, пугали ее, она отлично их узнавала и кричала в окно: «Митя, Николашка, Вася, не пугайте меня, я до смерти боюсь!» Вообще она в жизни была очень неряшлива, ходила иногда без белья, в одном халате, но тщательно запахиваясь, а на голове ее был какой-то странный шлык, из-под которого торчали седые пакли волос. Однажды она лежала на траве и спала. Здесь же ходили куры, и петух, набросившийся на нее, выклевал у нее глаз.

Когда мы об этом узнали, то спросили у Алексея Николаевича, как же это произошло? Он на это нам ответил:

— Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно, — он всегда острил.

Умерла она 83 лет, а в каком именно году, не помню, так как была в эту пору в Ельце.

Добавлю, что в 1901 году умер в Орле у своей племянницы Бессоновой Николай Иосифович Ромашков, воспитатель и учитель Ивана Алексеевича».

Запись Ивана Алексеевича, относящаяся к этому времени:

«Поле, осень, мелкий дождь.

На дороге в грязи стоят новые беговые дрожки с новыми медными гайками на втулках колес. На дрожках возле щитка сидит в кошелке связанный индюк, тянет бугристую малиновую голову. На меже возле дороги лежит вниз лицом пьяный мужик, бормоча ругается. Высокая темная лошадь, запряженная в дрожки, по-человечески смотрит на него, повернув голову».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Марья Павловна Чехова, собираясь на рождественские каникулы с матерью в Ялту, пригласила Ивана Алексеевича, когда он зашел к ней, погостить у них на праздниках.

— Мы не так будем одиноки на Святках без Антоши, — говорила она: Чехов проводил ту зиму в Ницце.

Ивана Алексеевича прельстило это приглашение: зимой в Крыму он не бывал и пожить в уютном гостеприимном доме ему, бездомному, было по душе.

Вслед за Марьей Павловной и Евгенией Яковлевной он приехал в Аутку. И сразу почувствовал себя хорошо: по утрам, в погожие дни, солнце заливало его комнату; хозяйки были заботливыми, мастерицами в кулинарном искусстве, умели создавать подходящую для писателя обстановку.

Антон Павлович, как это выяснилось после опубликования его писем, был доволен, что Бунин гостит у них, и жалел о своем отсутствии.

Евгения Яковлевна полюбила гостя и закармливала его, а с Марьей Павловной у Ивана Алексеевича возникала дружба.

Они ездили в Учан-Су, Гурзуф, Су-ук-Су. Марья Павловна рассказывала о юности и молодости брата, о его неистощимом веселье и всяких забавных выдумках,о Левитане, которого она талантливо копировала, подражая его шепелявости, — он, например, вместо Маша произносил Мафа, — о его болезненной нервности, психической неустойчивости. Поведала и о том, что «ради Антоши» она отказалась выйти замуж:

— Когда я сообщила ему о сделанном мне предложении, то по лицу его поняла, — хотя он и поздравил меня, — как это было ему тяжело.. и я решила посвятить ему жизнь...

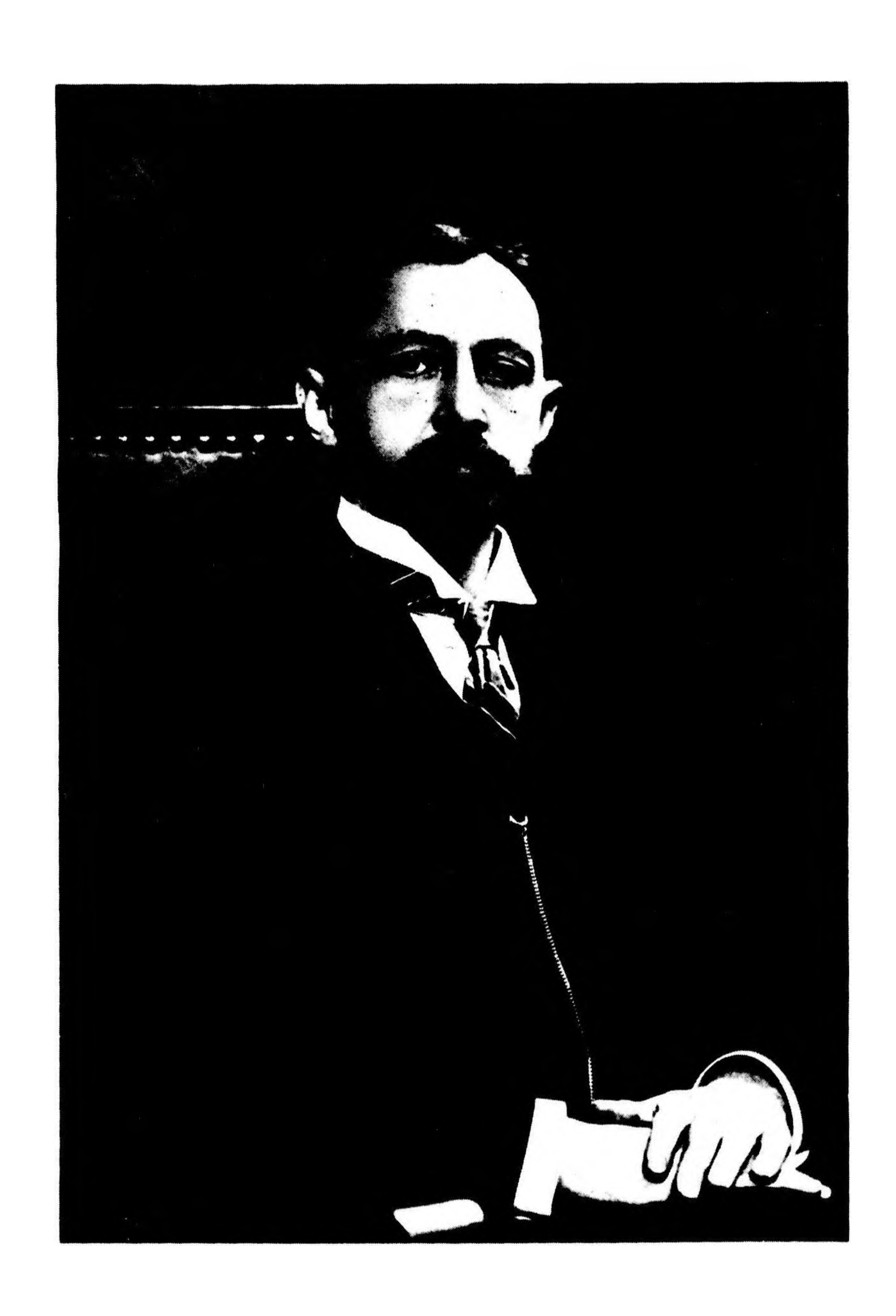
Рассказывала и о увлечениях Антона Павловича, иногда действительных, иногда воображаемых. Он был очень скрытен и о своих сердечных делах никому вообще не говорил.

Занята была Марья Павловна и продажей именьица Кучукоя Перфильевой.

Вскоре по приезде в Ялту Марья Павловна в письме к брату привела только что сочиненные строки Бунина:

Позабывши снег и вьюгу,
Я помчалась прямо к югу,
Здесь ужасно холодно,
Целый день мы топим печки,
Глядим с Буниным в окно
И гуляем, как овечки.

Последняя строчка ей не понравилась, она нашла ее «глупой». А Иван Алексеевич утверждал, что она самая лучшая...



И. А. Бунин. Фотография с его надписью: «6.III.1915».

В такой спокойной обстановке, полной забот о нем, Иван Алексеевич еще никогда не жил. И несмотря на свою семейную драму, боль от которой он, впрочем, скрывал, за едой бывал оживлен и остроумен, чем особенно пленил Евгению Яковлевну.

По утрам и днем, когда он сидел дома, он начал приводить в порядок свои заметки о путешествии с Куровским, а потом засел за рассказ «Сосны», который и окончил после отъезда Марьи Павловны (12 января). Она просила его не оставлять «мамаши» до возвращения Антона Павловича.

После ее отъезда стало еще тише и спокойнее, и Иван Алексеевич быстро закончил свой рассказ. Он, как я уже упоминала, всегда писал о северной зиме, когда жил на юге; вероятно, в другой обстановке в его воображении все возникало ярче, мелочи отпадали, оставалось только главное, типичное.

За 1901 год написано восемь рассказов.

На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет.

С Евгенией Яковлевной он жил душа в душу. В свободные от занятия и прогулок часы или за столом он расспрашивал ее о Антоне Павловиче, о его детстве, ранней юности, и она, со счастливым лицом, радостно предавалась воспоминаниям.

Запись Ивана Алексеевича:

«Зима 1901 г., я все еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г. я у Чеховой. Су-ук-Су...»

«Крым зима 1901 г. на даче Чехова».

«Чайки, как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена, как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!)».

31 января в Москве первое представление «Трех сестер». Марья Павловна обещала прислать телеграмму к Синани, в книжный магазин. Евгения Яковлевна волновалась. Арсений, чеховский слуга, был послан вниз, в Ялту. Собрались кое-кто из друзей, зная о обещанной телеграмме, на дачу Чехова: начальница ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкеевич, Середины и еще кто-то. Когда раздался телефонный звонок и Иван Алексеевич подбежал и взял трубку, то услышал радостный задыхающийся голос Арсения: «Успех аграмад-

ный»... Эту фразу Иван Алексеевич часто повторял при подходящих случаях.

В середине февраля вернулся домой из Италии Антон Павлович. Накануне его приезда Иван Алексеевич переехал в гостиницу «Ялта». Провел тяжкую ночь, — в соседнем номере лежала покойница. Чехов подтрунивал над ним за его страх перед мертвыми...

Он требовал, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра ежедневно, и иногда, с прихода Ивана Алексеевича до тех пор, пока позовут их в столовую, оставались в кабинете, просматривая газеты, журналы, приходившие в большом количестве со всех концов России. Иногда они часами молчали, а бывало, Чехов разражался смехом, прочтя что-нибудь забавное в провинциальной прессе, и они бранили рецензентов, критиков за полное непонимание того, о чем они писали. Нередко Чехов укорял своего младшего собрата за малописание, за то, что он относится к литературе как дилетант... но об этом уже рассказывал сам Иван Алексеевич в книге «О Чехове».

Антон Павлович в то время почти всегда держал корректуру своих произведений. Когда он уставал, то иной раз Иван Алексеевич брал какой-нибудь из прежних, иногда даже полузабытых автором рассказов с подписью Чехонте и начинал читать. И как заразительно смеялся Чехов!.. Особенно смеялся он, когда слушал «Ворону», восхищаясь, как Бунин изображал пьяных, — много он с детства на них насмотрелся. Однажды, после чтения рассказа «Гусев», который высоко ценил Иван Алексеевич, чего и не скрыл от Чехова, тот, помолчавши, неожиданно сообщил ему, что он женится.

Ивану Алексеевичу не нужно было спрашивать — на ком? Он был дружен и с Ольгой Леонардовной, но все же не думал, что их увлечение кончится браком.

Он всегда утверждал, что для Чехова брак был смертельной опасностью, «хуже Сахалина»... Понимал и драму Марьи Павловны, как ни верти, а хозяйкой станет Ольга Леонардовна, особенно, если она бросит театр. А если не бросит, то какое одиночество и какую тоску будет чувствовать он, когда она — будет жить в Москве, а он — в Ялте, где у него очень мало близких и друзей. Но, понятно, Иван Алексеевич ему ничего не сказал, а Чехов стал шутить, что немки тщательней умываются, любят порядок и детей лучше воспитывают...

Вероятно, сам Антон Павлович понимал все не хуже Ивана Алексеевича, но, судя по письмам Книппер, она настаивала на браке. Чехов был увлечен ею, соединяло их и то, что она играла в его пьесах, она как бы являлась связью его с Художественным театром, который хотя и боготворил его, но все же пьесы его понимал не по-чеховски, а по-своему, что всегда раздражало автора.

В феврале погода в Ялте была мягкая, приятная. Приехал из

Петербурга Миролюбов. У Чеховых толпились гости, от которых он страдал. Приятен ему был только Иван Алексеевич, — в письме к Ольге Леонардовне он пишет:

«Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день».

Они рассказывали друг другу о своей жизни, но все же не были до конца откровенны. Я уже писала, что Иван Алексеевич поднимал дух Чехова. Ведь для туберкулезных больных настроение, или, как теперь говорят, мораль, играет большую роль. И при нем Антон Павлович почти всегда был весел, оживлен, любил над ним подшучивать. Он любил вместе с ним выдумывать всякие забавные истории. Это, конечно, возбуждало и младшего писателя, он становился неистощим на выдумки, поэтому-то Антон Павлович и писал, что Бунин, «к счастью, бывает каждый день...».

Чехов в это время как раз занимался изданием своих сочинений у Маркса. Многие рассказы он переделывал, чуть ли не писал заново, — до того они ему не нравились. Но Маркс требовал, чтобы все напечатанное было предоставлено ему.

В конце февраля Иван Алексеевич должен был покинуть Ялту, о чем Чехов с большим огорчением сообщил невесте.

2

Ранней весной 1901 года Синод отлучил Толстого от Церкви. Для Ивана Алексеевича, как и для всей той России, которая почитала великого писателя, это было большим потрясением.

В письме от 24 марта Чехов выражает сожаление, что Бунин уехал, и спрашивает, когда они увидятся. Сообщает, что весной он будет в Москве и остановится в гостинице «Дрезден».

В конце марта Иван Алексеевич приехал в Одессу. В письме он запросил Чехова, не согласится ли Антон Павлович позировать скульптору Эдварсу, его приятелю, талантливому человеку. Чехов попросил отложить сеансы до осени, так как он в апреле уезжает из Ялты.

Ивана Алексеевича из Одессы потянуло опять в Ялту, — несмотря на дружбу с художниками, ему всякий раз там было очень тяжело. Были и осложнения у него со свиданиями с сыном. И он написал Антону Павловичу, что, может быть, на Страстной он опять попадет в Крым.

Чехов обрадовался и ответил, что будет его ждать.

На Страстной Иван Алексеевич приплыл в Ялту, куда приехала и Марья Павловна, и совершенно неожиданно с нею прибыла и Ольга Леонардовна. Антон Павлович был оживлен, весел и, несмотря на то, что у Чеховых гостила Книппер, продолжал настаивать, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра до

позднего вечера, и когда тот отказывался, то никаких отговорок не принимал.

Куприн жил тоже в Ялте, он снял комнатку в Аутке и часто бывал в гостеприимном доме Чеховых.

Иван Алексеевич привел Куприна к Елпатьевским. Они недавно отстроили высоко над Ялтой свою белую дачу.

Елпатьевский, по словам дочери, всегда относился к Бунину с любовью. Ему нравились его рассказы, особенно «На край света» и «Тарантелла» (теперь озаглавленная: «Учитель»). И Иван Алексеевич, когда бывал в Ялте, поднимался к ним.

Вот еще выписка из письма баронессы Врангель, дочери С. Я. Елпатьевского:

«Иван Алексеевич после своей женитьбы на барышне Цакни, родственнице наших знакомых в Балаклаве, часто приезжал в Ялту и всегда бывал у нас.

Отец угощал его вином из погреба Токмакова, которым они запивали жареную скумбрию, под бесконечную критику писателей, на которых они смотрели по-разному.

Когда они пришли к нам с Куприным, рассказы которого Сергей Яковлевич ценил, то в кабинете они залюбовались отражением в стенном зеркале Учан-Су и всей перед ней долиной...»

Куприн после этого стал частым гостем Елпатьевских. Ему нравилась дочь «Людмилочка» (или «Лёдя», как звали ее родные), интересна была и жена Елпатьевского, Людмила Ивановна, красивая, статная, породистая женщина с сильным характером.

Вот запись Ивана Алексеевича о пасхальном визите к В. К. Харкеевич:

«Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости и к начальнице ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкеевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы (с Куприным) пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую к пасхальному столу и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи»; и стали, хохоча, сочинять, и я написал:

«В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил».

Написал он на скатерти, а хозяйка потом вышила эти строки. У Чеховых долго смеялись их выходке.

Ольге Леонардовне нужно было вернуться в театр в начале пасхальной недели, и она уехала в Москву: уехал и Куприн, а Бунин оставался еще некоторое время.



Москва, Поварская, 26 (ныне — ул. Воровского, 26).
Здесь жили И. А. Бунин и В. Н. Бунина с 26 октября 1917 до 21 мая 1918.



Москва, Поварская, 26.
Бунин и Вера Николаевна жили на первом этаже в квартире № 2:
от входа налево. 1917—1918.

14 апреля они, — Марья Павловна, Антон Павлович и Иван Алексеевич, — отправились завтракать в Су-ук-Су. Там при гостинице был ресторан с большим залом, выходящим на море, с гостиными в мягких удобных креслах. Во время завтраков и обедов играли итальянцы, иногда исполнявшие неаполитанские песни. Владелицей этого курорта была красавица Березина, вдова инженера.

Завтрак прошел оживленно, Чехов был весел, все были в самом лучшем расположении духа. Когда пришло время расплачиваться, Иван Алексеевич вынул кошелек, Антон Павлович удержал его руку, сказав, что дома он представит ему счет. Вернувшись, он с лукавым видом что-то долго писал и считал на бумажке, потом протянул ее Ивану Алексеевичу со словами:

— Вот, господин Букишон, извольте заплатить.

Иван Алексеевич прочел:

Счет Господину Букишону.

1 переднее место у извозчика	5 р.
5 бычков ала фам о натюр	1 р. 50 к.
$1^1/_2$ бут. вина экстра сек	2 р. 25 к.
4 рюмки водки	1 р. 20 к.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салад тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.
	Итого 27 р. 75 к.

20 апреля Чехов пишет Ивану Алексеевичу укоризненное письмо по поводу того, что он сосватал его с «Скорпионом»...

«Зачем вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?

Зачем?»

В мае Чехов, через академика А. Ф. Кони, хлопочет, посылая книгу стихов Бунина в Академию «на пушкинскую премию» (если не ошибаюсь, это были «Листопад», сборник стихов, и перевод «Гайаваты» Лонгфелло).

Летом Иван Алексеевич, узнав, что Чехов на кумысе, из Огнёвки пишет ему, а ответное письмо получает от 30 июня; в нем Чехов просит поздравить его с законным браком, но письмо адресовать уже в Ялту. Из этого письма узнаем, что Иван Алексеевич в скором времени едет в Одессу. Чехов пишет: «Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». Это письмо он и подписал «Аутский мещанин»...

...Ивана Алексеевича тянуло в Одессу к сыну, и некоторые думали, что, может быть, если бы Анна Николаевна не была так непримирима, то они бы сошлись и наладили свою жизнь. (В будущем она станет жалеть о своей непримиримости и объяснять ее влиянием мачехи.) Но, мне кажется, едва ли им удалась бы совместная жизнь, уж очень разные у них были и натуры и характеры. Да и могла ли она побороть, будучи такой молодой и неопытной, свою гордость, свое самолюбие: когда дело шло относительно обстановки для писания, ей приходилось бы всегда уступать. Насколько я знаю, Иван Алексеевич два года после разрыва надеялся на примирение. Перестал же он этому верить, махнул рукой только в 1902 году.

Незадолго до своей кончины Иван Алексеевич мне передал, что один раз Антон Павлович очень деликатно коснулся этой стороны его жизни, указав, что сын будет очень страдать от разрыва родителей. Рассказывая мне это, Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил: «Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, — она говорила Чехову: «Ведь непременно должны быть жертвы... Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе».

Но Чехов не имел представления о Анне Николаевне, не знал он по-настоящему и той жизни, которая велась у Цакни и которую Анна Николаевна не хотела бросать, не знал он до конца и характера Ивана Алексеевича, человека очень необычного, сложного, не умеющего приспособляться, могшего писать только в созданных им самим условиях.

В августе Бунин написал Чехову из Одессы и задал Антону Павловичу ряд вопросов. Чехов ему отвечает, что после 1 сентября он остается вдвоем с Евгенией Яковлевной. Просит художника Нилуса, которому хотелось написать портрет, отложить сеансы до весны, так как он очень занят, а потом скоро уедет в Москву. Намерению же Ивана Алексеевича приехать он очень обрадовался: «Буду (с первого сентября) день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами... Не обманите, голубчик... Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете...»

В этот период своей жизни он никому писем таких не писал.

4 сентября Иван Алексеевич на пароходе идет в Ялту, 8-го обедает на аутской даче с каким-то прокурором. И опять ежедневно бывает у Чехова. Сначала Антон Павлович чувствовал себя больным, но 9 сентября в письме к жене он сообщает: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».

В это время в Ялте жил актер Орленев, которого Иван Алексеевич увидел в первый раз и нашел его талантливым, но очень нервным человеком.

Собрался было Чехов перед отъездом в Москву позавтракать

с Иваном Алексеевичем в Гурзуфе, но поездку пришлось отменить: Чехов получил приглашение к Льву Николаевичу Толстому в Гаспру.

В этот день Иван Алексеевич отправился с Елпатьевским в Массандру, где познакомился с Николаем Карловичем Кульманом, который ему понравился своими живыми глазами, веселостью и остроумием, хотя он и оказался победителем какой-то Веры Ивановны, за которой они оба ухаживали, пробуя вино в подвалах Удельного ведомства, заведовал которыми некий Качалов.

По возвращении в Ялту Иван Алексеевич тотчас поспешил к Чехову, чтобы узнать о его посещении Толстого, и с большим интересом слушал, что рассказывал тот, всячески восхищаясь Львом Николаевичем. Чехов признавался, что боится его. И опять говорили о глазах Анны, «которые она сама видит, как они светятся в темноте», и как это написал Толстой, словом, весь вечер был посвящен Льву Николаевичу. И за ужином Антон Павлович еще усерднее подкладывал на тарелку своему любимому гостю и сам немного больше ел и меньше ходил по столовой.

Это случилось за три дня до отъезда Ивана Алексеевича в Москву. Он тогда спешно уехал из Ялты на тройке в Симферополь, где поймал курьерский поезд.

Не знаю точно, в каком году Иван Алексеевич встретил Рахманинова в Ялте, но знаю только то, что эта встреча произошла до 1902 года. Я думаю, осенью 1901 года, когда Ивана Алексеевича познакомили с Сергеем Васильевичем на каком-то ужине в гостинице «Россия». Знаю одно — в те времена Рахманинов еще не был женат.

За ужином они оказались рядом и сразу же разговорились. Оказалось, что у них одинаковое мнение относительно того, что в те времена начали называть «декадентством». За ужином они пили Абрау Дюрсо, затем встали из-за стола и пошли на террасу. Сошли в сад и за разговором не заметили, как очутились на молу. Сели на канаты и от нелюбимого ими декадентства перешли к любимым поэтам. И так они тогда увлеклись беседой, вспоминая стихи, что не заметили, как прошла ночь. Иван Алексеевич, говоря о ней, определил ее, как беседу, которая могла быть во времена романтические, во времена Герцена, Станкевича, Тургенева.

Я думаю, что тогда Рахманинов приехал в Ялту с Шаляпиным, которому он аккомпанировал.

Однажды в Жуан ле Пен, за завтраком у Марка Александровича Алданова, Сергей Васильевич в присутствии Ивана Алексеевича, Галины Николаевны Кузнецовой, Татьяны Сергеевны (младшей дочери Рахманинова), Леонида Федоровича Зурова

и меня рассказал, как Чехов однажды после концерта заметил ему:

— Из вас выйдет большой музыкант.

— Почему вы так думаете? — спросил Сергей Васильевич.

— Я смотрел все время на ваше лицо за роялем.

В Москве Бунин часто захаживал к Чеховым на Спиридоновку, в дом Бойцова, в двух шагах от Большого Вознесения. Они сняли флигель во дворе, квартира была уютная, Чехову она нравилась, но дамы находили, что она тесна.

А Куприн в это время переехал в Петербург. Стал близким сотрудником в «Мире Божьем», — его очень оценила издательница Александра Аркадьевна Давыдова, в доме которой он стал частым гостем.

Летом, будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи, и среди них «На глазки синие прелестные...». Это стихотворение, конечно, о сыне... Привожу его:

На глазки синие, прелестные
Нисходит сумеречный хмель:
Качайте, ангелы небесные,
Все тише, тише колыбель.

В заре сгорели тучки вешние
И поле мирное темно;
Светите, дальние, нездешние,
Огни в открытое окно.

Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, свернувший лепестки,
Лампадка, бережно хранимая
Заботой Божеской руки.

Всего стихов было им написано около пятидесяти. Лучшими из них он считал: «Был поздний час...», «Зеленый цвет морской воды», «Раскрылось небо голубое...», «Зарницы лик, как сновиденье...» За 1901 год были написаны рассказы: «Новая дорога», «Сосны», «Мелитон», «Костер», «В августе», «Осенью», «Новый год», «Тишина». Начиная с весны он стал посылать их в разные журналы («Жизнь», «Мир Божий», «Журнал для всех», «Русскую Мысль»).

В конце октября Чехов, покинув Москву, уехал в Ялту. Но и после его отъезда Иван Алексеевич часто бывал в его семье, с которой он сходился все больше.

В те дни в Москве много говорили о новой пьесе Немировича-Данченко «В мечтах». Книппер играла в ней роль очень шикарной дамы, и ей нужно было заказать туалеты у лучшей портнихи. Роль красавицы отдана была Андреевой, и, действительно, она в ней была изумительно хороша. Кантату для этой пьесы написал Гречанинов... Шла речь и о новых постановках: «Михаил

Крамер», «Дикая утка». Радовались успеху «Одиноких» и тому, что в театре строят планы о переезде в новое помещение, ибо в Каретном ряду много неудобств, уже тесно.

В начале ноября Горький с семьей должен был из Нижнего Новгорода переехать в Крым. Он хотел провести день в Москве, повидаться с друзьями, поговорить о делах «Знания» с Пятницким (нарочно приехавшим для этого из Петербурга), и с переводчиком Шольцем, который тоже ждал Горького в Москве.

Поезд пришел утром, но власти Горькому не разрешили провести день в Москве, семье же позволили поехать в город. Екатерина Павловна сразу кинулась к Телешовым и сообщила о запрещении, потом направилась к Пятницкому, где застала Шольца. Телешов известил Андреева, Бунина, и они все поехали на Курский вокзал, но там узнали, что вагон с Горьким отправлен в Подольск, где он и пробудет до вечернего севастопольского поезда, в котором и поедет его семья. Тогда все приехавшие встречать Горького на вокзал с первым же поездом отправились к нему в Подольск.

Об этом подробно рассказывает Н. Д. Телешов в своей книге «Записки писателя».

Иван Алексеевич потом вспоминал немца-переводчика Шольца, как он «выпучивал глаза на самородков», то есть на Горького и Шаляпина... В Подольске местная полиция не знала, что ей делать.

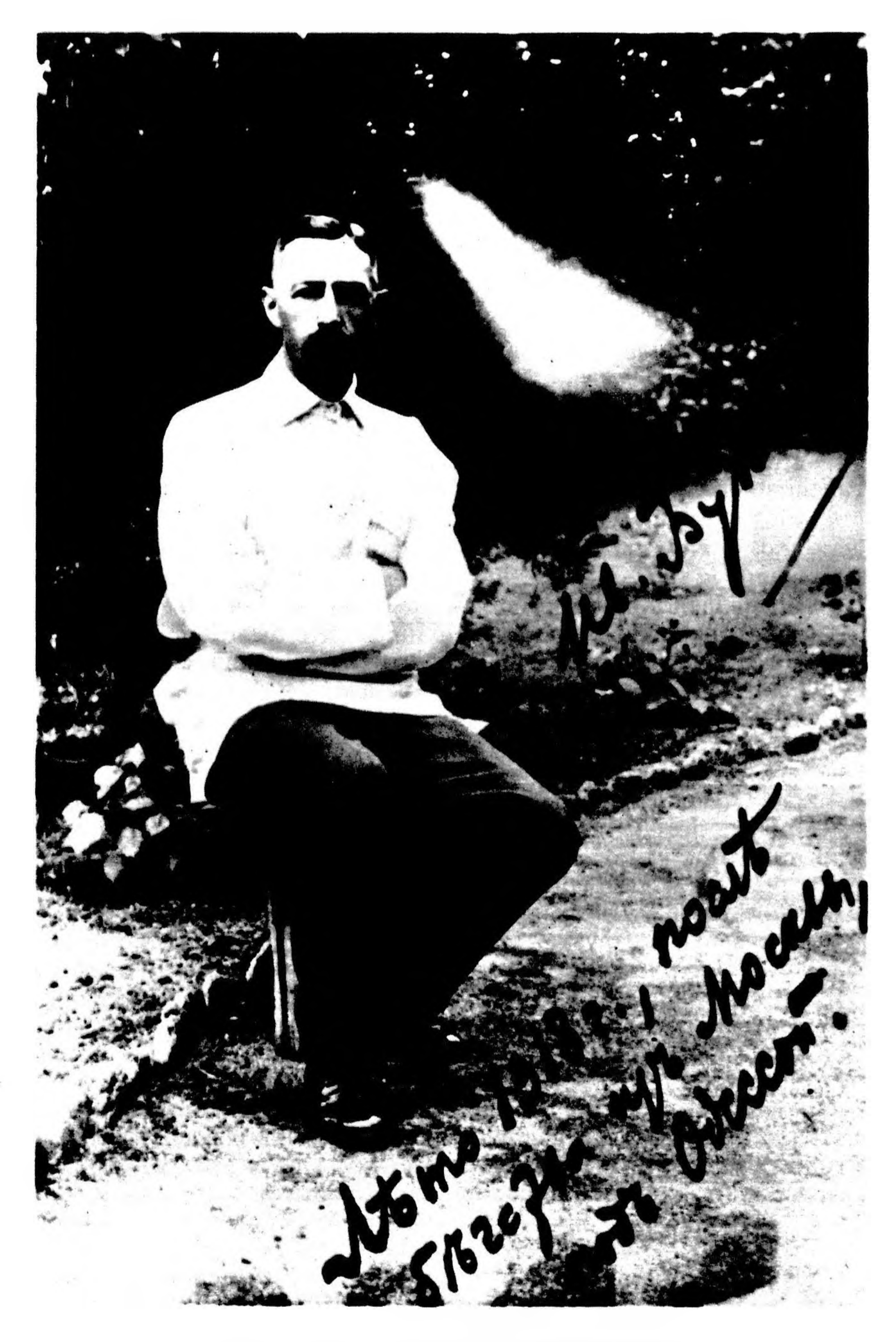
Шаляпин уже был на подольской платформе, когда писатели туда приехали, и тут они впервые с ним познакомились.

Часа три друзья пробыли в Подольске. Пили шампанское. Севастопольский поезд остановился буквально на минуту, чтобы принять единственного пассажира, Горького, и быстро двинулся дальше.

После этого провожавшие вернулись в Москву. Иван Алексеевич бросился к Чеховым, там застал Куприна, который очень жалел, что не провожал Горького.

Иван Алексеевич объяснял эту меру со стороны московских властей тем, что они испугались манифестации студентов и курсисток на Курском вокзале. И под первым впечатлением живо представил, какие были в Подольске у всех лица и кто что говорил.

Чеховы решили переменить квартиру. Начались поиски, остановились на квартире в доме Фирсановой-Ганецкой, где были знаменитые на всю Москву Сандуновские бани, и вскоре туда переехали. Иван Алексеевич побывал у них на новоселье. Квартира была просторная, но находилась на третьем этаже, без лифта.



И. А. Бунин. Фотография с его надписью:
«Лето 1918 г., после бегства из Москвы, под Одессой».

В это время в газете «Курьер», в номере 3185, была напечатана статья Глаголя о стихах Бунина, где критик, сам будучи художником, сравнивает Бунина с Левитаном. «Бунин в области стиха такой же художник, каким является «поэт русского пейзажа» Левитан — в живописи». Тогда Ольга Леонардовна, в письме к мужу, находила, что «перехвалил Глаголь»... Думаю, что теперь она переменила свое мнение. В этом же письме она сообщает, что «в субботу Букишон читает о Бёклине в Кружке. Маша пойдет, а я занята».

Никогда я ничего не слыхала об этом докладе.

Московская беспорядочная жизнь сказывалась на Иване Алексеевиче: вид был скверный, он чувствовал себя очень утомленным, стал подумывать о деревне, но ему хотелось посмотреть «Детей Ванюшина». Премьера была назначена на 14 декабря 1901 года, и пьеса прошла с большим успехом.

Побывав на премьере, в театре Корша, он отправился к Пушешниковым, в Васильевское, где и пробыл все Святки.

3

В январе 1902 года Иван Алексеевич поселился на Арбате в меблированных комнатах «Столица». Это было в двух шагах от Староконюшенного переулка, где жил Юлий Алексеевич.

Ежедневно в пятом часу, когда кончается прием в редакции, у Юлия Алексеевича в двухэтажном флигеле, в глубине просторного двора, за большим особняком с садом доктора Михайлова, издателя журнала «Вестник Воспитания», в нижнем этаже, происходит чаепитие. Младший брат, во время своего пребывания в Москве, не пропускает этих сборищ, куда почти ежедневно приходили: журналист Николай Алексеевич Скворцов (покончивший жизнь самоубийством в Киеве в 1918 или 1919 году), милый, горячий, умный человек, всем сердцем преданный Юлию Алексеевичу, и другие приятели из «Русских Ведомостей», а когда племянники Пушешниковы стали учиться в Москве, то и они были неизменными гостями. И тут начиналось большое оживление, смех, шутки и рассказы младшего Бунина о том, где он был накануне или в этот день. Затем возникали споры о литературе. Юлий Алексеевич старался угомонить своего брата, нападавшего то на одно, то на другое произведение, уже шумящее, и попутно представлявшего в лицах своих друзей и недругов, да так, что все помирали со смеху. Обсуждались у Юлия Алексеевича и текущие политические события.

В середине января Иван Алексеевич получил от Чехова новогоднее поздравление со всякими шутливыми пожеланиями. Спрашивает, писал ли он о «Соснах»? (Бунин послал ему оттиск этого рассказа.) «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень

хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона».

«Осенью» ему не понравилось, о чем он и пишет жене в ответ на ее сообщение, что она вслух читала этот рассказ Марье Павловне и художнице Дроздовой и что ей рассказ понравился: «с сильным настроением»... Начали они после этого читать «В цирке» Куприна, но «стало скучно», и она пошла писать письмо мужу. На это Чехов ей возражает: «Осенью» Бунина сделано несвободной рукой, «во всяком случае купринская «В цирке» гораздо выше. «В цирке» — это свободная, наивная, талантливая вещь, притом написана знающим человеком... ну, да Бог с ними! Что это мы о литературе заговорили?» Мнение Чехова об этих рассказах Иван Алексеевич знал, но не знал, по какому поводу оно было высказано...

Из Москвы Иван Алексеевич едет в Петербург, везет новые рассказы, получает в «Мире Божьем» гонорар за «Осенью».

Бывает чуть ли не ежедневно в гостеприимном доме Давыдовых, проводит время в их огромной зале, где постоянно толпится молодежь: подруги Муси, муж Сони Кульчицкой, молодой ученый Михаил Иванович Ростовцев, умный, талантливый, веселый человек, в будущем мировая знаменитость, сыновья Н. К. Михайловского и другие. Ивану Алексеевичу эта компания была по душе своей живостью, остроумием, ядовитой насмешливостью. Особенно этим отличалась молодая хозяйка, хорошенькая Муся, которая впоследствии, когда мы с нею познакомились и проводили ночи в Лоскутной гостинице, меня уверяла, что ей очень нравился Иван Алексеевич, но он был женат...

Однажды вечером Александра Аркадьевна Давыдова поехала к Михайловскому. Между ними по какому-то поводу возник крупный разговор. Она разволновалась. Ей сделалось дурно, и ее привезли в полубессознательном состоянии домой. Все переполошились; послали за врачом. Она пришла в себя и, позвав Мусю, выразила свою предсмертную волю: «выйди замуж за Александра Ивановича Куприна», которого она ставила, как писателя, высоко. Она боялась, что после ее смерти журнал захиреет, если во главе не станет авторитетное лицо. Она не надеялась, что Муся одна справится с этим трудным делом. Между тем, если и был спасен журнал, то только Марьей Карловной, которая была умна и деловита. Думаю, что Александр Иванович ничего не дал журналу, кроме имени и своих произведений, — он в жизни был беспомощным, даже его личными литературными делами ведали его жены.

Александра Аркадьевна больше думала о журнале, чем о счастии дочери, у которой, как и у Куприна, был бешеный характер и которая к Куприну не чувствовала ничего, кроме дружбы. Кажется, и Куприн отдавал предпочтение Лёде Елпатьевской, к тому же он уже пил.

После этого предсмертного волеизъявления Муся выскочила из спальни матери и бросилась к Ивану Алексеевичу, который был у них в этот вечер, с вопросом: что ей делать?

Он отговаривать не стал.

Вскоре после похорон Александры Аркадьевны Муся стала невестой Куприна, а затем они повенчались.

Из Петербурга Бунин опять вернулся в Москву, бывал на «Средах» у Телешовых; обедал у них, и запросто, подружился с женой, Еленой Андреевной, которая трогательно относилась к нему, выделив его из всех писателей, даже самых в ту пору знаменитых.

Посещал он и «Литературный Кружок», где Бальмонт его познакомил с Любовью Ивановной Рыбаковой — Любочкой, как ее все звали, женой известного психиатра и сестрой литератора Георгия Чулкова, одного из создателей «мистического анархизма».

К этому времени Иван Алексеевич оправился от пережитой драмы с женой и примирился с тем, что он опять один. За эти годы он возмужал, стал «похож на себя», то есть на того, каким его узнала я в 1906 году. Он был красив, носил пышные усы и бородку клинышком, — девки в деревне прозвали его «клочком», — был элегантен, одевался уже у лучших портных, и никто не догадывался, в каких примитивных условиях живет он у брата в деревне...

Из Москвы он съездил в Огневку. Повидался с родными, заехал в Ефремов к матери и Ласкаржевским, у которых был уже сын Женя. Оттуда махнул в Одессу и остановился опять у Куровских. Бывал он на собраниях художников. Буковецкий был женат, жил он в своем прелестном особняке на Княжеской и не так часто принимал своих друзей и приятелей. Художники же решили продолжать свои «Четверги» и собираться по этим дням в ресторане. Они выбрали ресторан Доди, там во втором этаже был большой отдельный кабинет, где стоял во всю длину комнаты стол. Они раскладывали на нем свои альбомы и рисовали друг друга, тут же им подавали ужин, обильный, с большим количеством вина, каждый платил за себя.

Заузе садился за пьянино. Нилус с Куровским часто пели дуэты, оба были музыкальны, у обоих были приятные голоса. Бунин рассказывал, представлял всех в лицах, а иногда, когда бывало особенно оживленно и весело, плясал. Каждый проявлял свое дарование. Женщин приглашали редко. Жен одесситов никогда, но приезжих иногда допускали. Я бывала на этих ужинах, когда мы гостили в Одессе, — всякое наше путешествие, куда бы мы ни держали путь, начиналось и кончалось Одессой. Все участники «Четвергов» горячо любили эти дружеские сборища.

Вскоре по приезде Ивана Алексеевича к Куровским в Одессу приехали «молодые» Андреевы. Они отыскали Бунина. Куровские угощали их обедом из южных блюд. После обеда все отправились на Ланжерон, и «молодые», уединившись, долго сидели и смотрели, как разбивались волны о прибрежные камни.

Андреев называл себя Велигорским; он был женат на нашей курсистке Велигорской, очень хорошенькой, с которой я была знакома. Горький называл ее Дама-Шура, всегда вспоминал ее с большой нежностью.

Пешковы поселились в это время в Алупке у Токмаковой, на даче «Нюра».

В марте Горького избрали в академики.

Иван Алексеевич списался с Чеховым относительно портрета, который хотел писать с Антона Павловича Нилус. И друзья в самом конце марта поплыли в Ялту.

Из Москвы приехал Телешов, часто у Чеховых бывал Елпатьевский, к которому нередко на его белую дачу поднимался Бунин, и «они весело попивали токмаковское вино, заливая им жареную скумбрию». Вели бесконечные разговоры о литературе, а главное о болезни Льва Николаевича, которого навещал Сергей Яковлевич Елпатьевский, и Бунин мог слушать его без конца.

Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. После своей зимней болезни и тревоги за жизнь Толстого он успокоился. Волновало его только неутверждение Горького академиком, но это было другое волнение, которое на здоровье не отражалось.

Ольга Леонардовна играла в Петербурге, где Художественный театр давал свои представления. Ставили, среди других пьес, и пьесу Горького «Мещане», которая, несмотря на всякие слухи и страхи полиции, прошла без демонстрации.

По прибытии в Ялту Нилус принялся за портрет Антона Павловича. На сеансах, правда, коротких, в полчаса, всегда присутствовал, по настоянию Чехова, Бунин, отчего они проходили незаметно, среди оживленных разговоров, шуток и смеха.

По вечерам же у Чеховых собирались гости: Нилус, Телешов, Елпатьевский, Куприн, иногда Горький.

«После ужина Бунин или Букишон, — вспоминает Н. Д. Телешов, — как ласково называл его Чехов, предложил прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, который Антон Павлович давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдерживаться».

Вот в эти-то вечера Чехов говорил, что это он проложил дорогу, «стену лбом прошибал» для маленьких рассказов, и как за это ему влетало от всяких критиков и историков литературы...

Много времени посвящали и обсуждению того, что Горького не утвердили академиком. Возмущались, ругали власть предержащую. Чехов очень волновался, говоря, что он поставлен в глупое положение: он первый поздравил Алексея Максимовича и теперь должен, как академик, примириться с этим неутверждением.

Антон Павлович нетерпеливо ждал приезда жены из Петербурга, но был в легком, хорошем настроении. На Страстной неделе приехал из Москвы Иван Павлович, что особенно было приятно брату.

5 апреля телеграмма: Ольга Леонардовна заболела. И посыпались ежедневные телеграммы из Ялты в Петербург и из Петербурга в Ялту. Решено было, что больную привезут к Антону Павловичу; в Ялту приехал Немирович-Данченко, подробно рассказав, в чем дело.

Конечно, писание портрета было прекращено, — он так и остался незаконченным. Приезжие стали разъезжаться.

На первый день Пасхи Ольгу Леонардовну с температурой 39, на руках, с парохода перенесли на аутскую дачу. Страдания были невыносимы. Но уже 25 апреля муж пишет сестре, что больной лучше и что не сегодня-завтра ее спустят с постели.

4 мая, в письме Ивану Алексеевичу, он сообщает, что жена поправляется и что после 20 мая они переедут в Москву.

Из Ялты Иван Алексеевич направляется в Огневку, откуда, прожив несколько месяцев, едет в Одессу, поселяется на Большом Фонтане, на даче Гернет, на 13-ой станции парового «трамвая» — от Одессы на Большой Фонтан.

Занимал он маленькую белую комнатку, с окном, выходящим на море.

Неподалеку жили на даче Нилус с Буковецким.

В это лето Иван Алексеевич изучал море во все часы дня и ночи.

Запись Бунина:

«2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладный ветерок; каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрестанный поднимающийся и повышающийся шум и плеск. С юга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая,



И. А. Бунин. Портрет работы Е. И. Буковецкого.
Одесса, 1919.

еще дальше — лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега в воду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут острыми крыльями, с резким криком взлетают и опять опускаются».

У него шел роман с Верой Климович, дочерью богатого дачевладельца.

Пробыл он там до сентября. В Одессе обнаружилась чума, и Иван Алексеевич, конечно, быстро собрался и, как он пишет, «уплыл от чумы в Ялту».

Мне кажется, что Иван Алексеевич ошибся, он уплыл не в Ялту, а в Николаев, оттуда поехал в деревню, а затем в Москву. Ни в конце авуста, ни в сентябре Чехов ни в одном письме не упоминает, что Бунин в Ялте, а это на него не похоже.

Из Огневки после 10 сентября Иван Алексеевич едет в Москву. Везет рассказ «Надежда» и 14 стихотворений. Одно — как бы прощальное — жене:

> Если б вы и сошлись, если б вы и смирилися,
> — Уж не той она будет, не той!..

Урожай небольшой, но это понятно при его цыганском образе жизни. Работал он над переводом «Манфреда», задумал переводить и «Каина»...

Часто в Москве он бывал у Чеховых, встречался там с Найденовым, Дроздовой, доктором Членовым, Сvolume Середиными, с Иваном Павловичем Чеховым.

6 октября была генеральная репетиция «Мещан». На следующий день Иван Алексеевич отправился к Чеховым, чтобы поделиться впечатлениями, встретил у них Суворина, который говорил без умолку, бранил пьесу, с ним спорили. Иван Алексеевич с интересом наблюдал за ним, зная о его прежней дружбе с Антоном Павловичем, зная все его и недостатки, и достоинства по отзывам Чехова. Человек любопытный, самородок, легко менял свои убеждения. В то время относились к нему хорошо только правые. Была в этот вечер у Чеховых и Марья Григорьевна Середина, будущая жена А. Т. Гречанинова.

После пятнадцатого октября приехал в Москву Антон Павлович. В письме к Куприну от 18 октября он сообщает: «Вчера у меня был Бунин, он в меланхолическом настроении собирается за-границу». Но за границу в том году он не поехал, а поселившись в «Столице», прожил почти до Рождества в Москве. С Юлием Алексеевичем виделись они ежедневно, иногда по два, по три раза в день. Связь у них была прочная, и на многое они смотрели одинаково, хотя младший брат все воспринимал острее, а старший старался все смягчать, но, конечно, несмотря на умственную и душевную близость, они были разные люди, с разными устремлениями.

В этот сезон Бунины познакомились с Зайцевыми; Иван Алексеевич посещал вечера Рыбаковых, где собирались «декаденты» и «декадентки», с Бальмонтом во главе. Последние так облепляли его, что сидели у его ног, на ручках его кресла и чуть ли не у него на коленях... Молодая хозяйка, художница, воодушевляла всех своей легкостью, непосредственностью. Она красива, настоящая флорентинка, сложена как мальчик, всегда в платье с высокой талией, большим вырезом; на щеки спадают черные локоны, огромные глаза сверкают радостью...

Бывал Иван Алексеевич и на генеральных репетициях в Художественном театре. Видел и короткие пьесы Метерлинка: «Слепые», «Втируша» и «Там внутри», но Метерлинком не восхищался, не приходил в восторг и от «Дикой утки» Ибсена.

Художественный театр переехал в новое помещение в Камергерском переулке. Он не был похож на обычные театры, все было в серых тонах, что поклонникам и особенно поклонницам очень нравилось, и многие свои гостиные и будуары стали обставлять в этом стиле.

Из Художественного театра в том году ушел Мейерхольд, но в некоторых пьесах его заменил Качалов, который понемногу становится кумиром женских сердец.

Приехал в Москву Горький, стал посещать «Среды», бывал у Чехова, где встречался с другими писателями.

На «Среде» читал он свою новую пьесу «На дне». Эта «Среда» была необычной: были приглашены артисты, некоторые литераторы, не бывшие членами «Среды»: писательница Крандиевская, Щепкина-Куперник, Вербицкая, присутствовали и журналисты, художники, интересующиеся литературой, врачи и адвокаты. Была эта «Среда» не у Телешовых, а у Андреева. Успех был огромный. По Москве пошли слухи: «Горький написал замечательную пьесу из жизни хитровцев...»

В конце этого года, после завтрака в Альпенрозе, где кроме писателей, входивших в состав первой книжки «Знания», был и Шаляпин, Горький предложил поехать в фотографию Фишера и сняться группой. Снимались дважды: на одной группе Иван Алексеевич в профиль, на другой — анфас.

Чехов из Ялты запрашивает жену: «В каком настроении Бунин? Похудел? Зачах?»

Значит, душевного покоя у Ивана Алексеевича не было, а жизнь он вел беспорядочную среди бесконечных романов, флиртов и всяких женских дружб. Только уезжая в деревню, теперь чаще в Васильевское, к своей кузине С. Н. Пушешниковой, начинал он вести здоровый образ жизни и не брал в рот вина.

Племянники Пушешниковы, как я уже писала, из юношей превращались в молодых людей. Колю, самого нелепого, но одаренного, Иван Алексеевич выделил, стал руководить им, настав-

ляя его, помогал ему разбираться во всех вопросах литературы и жизни. Ему рано пришлось оставить гимназию из-за астмы и частых воспалений легких, и он подолгу жил в деревне, когда его братья учились в гимназии.

Будучи очень любознательным, он по книгам Мензбира изучил птиц, наблюдая за ними, хорошо знал звездное небо, чем особенно пленил Ивана Алексеевича, с детства любившего темное ночное небо.

Старший брат Коли, «Митюшка», как его в шутку все звали, с этого года учился в московском университете, выбрав юридический факультет. Этот племянник дружил с Юлием Алексеевичем, который в свою очередь много дал ему в смысле развития. Он стал завсегдатаем его пятичасового чаепития.

В Москве, Петербурге, Одессе, даже в Крыму Иван Алексеевич часто бывал в ресторанах, много пил, вкусно ел, проводил зачастую бессонные ночи. В деревне он преображался... Разложив вещи по своим местам в угловой, очень приятной комнате, он несколько дней, самое большое неделю предавался чтению — журналов, книг, Библии, Корана. А затем, незаметно для себя, начинал писать. За все время пребывания в деревне, как бы долго он там ни оставался, он жил трезвой, правильной жизнью. Пища в Васильевском была обильная, но простая. Он сразу облекался в просторную одежду, никаких крахмальных воротничков, даже в праздники, не надевал. Почти никуда не ездил, кроме того, что катался по окрестностям. Знакомства ни с кем из помещиков не заводил. Почти все свои досуги проводил с Колей, который еще не учился в Москве (куда он поехал позднее для уроков пения).

Перед своим отъездом в Одессу, в декабре, Иван Алексеевич смотрел первое представление пьесы Горького «На дне».

Привожу заметку о ней самого Ивана Алексеевича (1 том изд. Петрополиса).

«Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. Авторское заглавие было хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами, твердо и настойчиво:

— Заглавие — всё. Понимашь? Публику надо бить в лоб и без промаха. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто. «На дне». И всё. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь?» Ерунда была бы. Пошлость. А я написал «Жизнь человека». Что, не правду говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот, что ты похвалил мою самую элементар-

ную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом».

Иван Алексеевич часто вспоминал, что «после первого представления «На дне» автора вызвали девятнадцать раз! Он появлялся на сцене после долгого крика, стука публики, наполнявшей зрительный зал и столпившейся у рампы. Он был в блузе и в сапожках с короткими голенищами, выходил боком со стиснутыми губами, «бледный до зелени». Он не кланялся, а только закидывал назад свои длинные волосы».

Затем он пригласил в ресторан на ужин, где его встретили громом аплодисментов. Он стал сам заказывать метр д'отелю:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой такой, черт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь!

И тут, изображая Горького, Иван Алексеевич заливался добродушным смехом.

Тотчас же за этим воспоминанием шло другое: рядом с ним оказался Василий Осипович Ключевский, который поразил его своим «беспечно-спокойным и мирно-веселым видом». Остальные приглашенные были возбуждены донельзя. Он стоял, как всегда, «чистенький, аккуратный, искоса поблескивая очками и своим лукавым оком».

Когда он услышал о распоряжении Горького относительно рыбы, ее величины, он тихо заметил:

— Лошадь! Это хорошо, конечно, по величине приятно. Но немного обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

Есть два рода людей: одни не выносят повторных воспоминаний, рассказов, а другие выслушивают их спокойно по несколько раз. Я принадлежу ко второму разряду, ибо как бы человек ни передавал воспоминание, всегда что-нибудь да опустит, иногда прибавит, и меня это забавляет, кроме того, если рассказчик талантливый, то это все равно, что перечитывать хорошую книгу. И я очень любила слушать это воспоминание: уж очень живо бывали представлены и Горький, и Ключевский с их интонациями и говором...

В эту пору Бунин подружился с Найденовым, который ему нравился тем, что он не старался произвести впечатление своей внешностью, одеждой и поведением, как делали это другие знаменитости.

Раз как-то шли Телешов, Найденов и Бунин по фойе Художественного театра, а навстречу им Горький, Андреев и Скиталец. «Вдруг, — вспоминал в те далекие годы Николай Дмитриевич Телешов, сидя со мной рядом на каком-то юбилее, — Иван Алексеевич с глупым видом, весь подтянувшись, кидается к ним со словами из «Плодов Просвещения»: «Вы охотники?» — произ-

неся эти слова тоном Коко. Я так и обмер, — признавался Николай Дмитриевич, — а с него, как с гуся вода!..»

Рассказывал об этом со смехом и Найденов, вспоминая лица «охотников»...

В этом же декабре, забыла какого числа, был литературно-музыкальный вечер в пользу «Общества помощи учащимся женщинам» или, как в шутку называли, «Общества помощи шипящим женщинам».

Организатором этого вечера был Л. Н. Андреев. Устроен он был в Колонном зале Благородного собрания; участники литературной части были все члены «Среды»: Телешов, Найденов, Бунин и Скиталец. В те годы интерес к писателям был очень велик, и огромный зал был набит битком. Писатели имели шумный успех. Последним выступил Скиталец: огромный, на толстой шее лохматая голова, синий широкий бант вместо галстука и, конечно, в блузе. Он встал у самого края эстрады и отрывисто начал декламировать:

Пусть лежит у нас на сердце тень...

Дальше говорилось, что его песнь не понравится, сравнивал ее «с кистенем по пустым головам». Объявил, что он явился, чтобы возвестить, что «Жизнь казни вашей ждет»... И после этих виршей в зале поднялся крик, сопровождаемый не только аплодисментами, но и стуком, топотом... Едва ли на пушкинском утре Достоевскому была сделана такая овация...

А когда он прочел: «Вы — жабы в гнилом болоте!» — восторгу не было границ. Кончил угрозами:

Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!

Тут присутствовавший полицейский не выдержал, вскочил и закрыл собрание. Публика, как ошалелая, ринулась к эстраде с криком «качать»...

Полицейский крикнул, чтобы тушили огни, и в зале наступила темнота.

Исполнителей из артистической попросили удалиться, после чего и публика спустилась вниз; она еще долго толпилась у подъезда.

Писатели, во главе с «знаменитостью», отправились в ресторан Большой Московский. Скиталец «заказал себе щей и тарелку зернистой икры, — вспоминает Бунин, — зачерпнул по ложке того и другого и бросил салфетку в щи: «Нет, я есть не хочу... Больно велик аплодисмент сорвал!»

Кончилось тем, что Скиталец укатил на Волгу, «шипящие женщины» получили с вечера хороший сбор, а Андреев, как подписавший афишу, был привлечен к судебной ответственности... Писателей допрашивали. Газету «Курьер» за отчет о вечере и напечатание стихов Скитальца «Гусляр» закрыли на несколько месяцев. Андреева судили, но он был оправдан.

Иван Алексеевич стал чувствовать свое литературное одиночество и опять мало появлялся в печати с рассказами. Он не был знаниевцем, ему претило то серое, что далеко от настоящего искусства, бездарное и фальшивое, что там печаталось. Модернисты, во главе с Брюсовым, его раздражали своим ненужным подражанием Западу. А между тем книги «Знания» расходились, по словам Горького, тысячами, а тираж «На дне» дошел до ста тысяч! Гремел и Гамсун, Пшебышевский, Бальмонт со своими «Будем, как солнце» — в этом лагере многое не только оскорбляло его вкус, но вызывало смех, недоумение. Со «Скорпионом» он порвал окончательно; выкупив свою книгу и дополнив ее «Новыми стихотворениями», он продал ее в «Знание» в десять раз дороже. Она вышла «Вторым томом» его сочинений. «Первый том» состоял из рассказов.

Перед отъездом из Москвы к нему в «Лоскутную» пришел пожилой господин. Вошел в номер очень нерешительно, смущаясь. Лицо показалось знакомым, но кто, не знал. Оказалось, что это его гимназический учитель русского языка. Он принес свою рукопись с просьбой просмотреть и... устроить. Бывший ученик признался, какой страх нагонял на него он во время уроков.

— А я шел к вам с бьющимся сердцем. Вот как изменились обстоятельства!

И оба от души засмеялись. Бывший учитель жил на Молчановке в нижнем этаже, Бунин заходил к нему. И всегда говорил о нем с большой нежностью.

Показал мне его квартиру. О судьбе его рассказа я не помню.

4

Наконец «Бунин и Бабурин», как шутя прозвал Чехов Ивана Алексеевича и Найденова, сели в международный вагон и укатили в Одессу, где тоже предстояли выступления, пиршества и свидания с друзьями.

Одесситы очень гостеприимны и темпераментны, поэтому Чехов, хорошо знавший этот город, читая одесские газеты, мог вывести заключение, что их «на руках носят».

Остановились молодые писатели на этот раз в Крымской гостинице, она была не самая лучшая.

Время проводили по-одесски: ездили к Федоровым в «Отраду», самую близкую дачную местность, где Федоровы на зиму снимали вместе со своими друзьями, сестрами Вальц, двумя старыми девами и их племянником, большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево. Летом в «Отраде» селились те, кому было необходимо целые дни проводить в городе. Комнаты высокие, просторные, что давало Федоровым возможность при-

глашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело. Чествовали приезжих в Артистическом Кружке сотрудники местных газет совместно с любителями литературы: «Дети Ванюшина» уже гремели по всей России. Веселились они у Доди на «Четвергах», а свободные вечера просиживали в пивной Брунса за кружкой пива с сосисками, — хозяин был австриец. Туда же к 11 часам приходили художники и все сидели до полуночи.

У Федорова в это время был роман с очень молоденькой Лизой Д., — он жить не мог без романов, — и потому только заглядывал на дружеские пиры, спеша на очередное свидание; дома же говорил, что едет к художникам. Приятели не выдавали его, но, конечно, иногда зло издевались над ним за измену дружбе. Лиза была худенькой нервной барышней, без памяти влюбившейся в писателя. Ничего серьезного между ними не было, но в юности все кажется серьезным, драматичным. И она, приревновав его, решила покончить с собой; бросилась с моста, но, к счастью, зацепилась за что-то юбкой, и была спасена. Все знавшие ее взволновались: дело сумели замять, и огласки оно не получило.

10 января 1903 года Чехов пишет Гославскому: «На днях в Ялте будет И. А. Бунин. Я поговорю с ним, и если он посвятит меня в тайны «Знания», то я тотчас же напишу Горькому или Пятницкому, не медля и Вас уведомлю, это непременно». Видимо, у писателя Гославского произошло с издательством «Знания» какое-то недоразумение, о котором он писал Чехову.

Ясно, что Иван Алексеевич намеревался из Одессы отправиться в Ялту, но это ему не удалось. 20 января Чехов пишет сестре: «Бунин и Найденов прославляются в Одессе, скоро, вероятно, приедут».

Но они не приехали, а 16 февраля в письме к жене Чехов удивляется: «Бунин почему-то в Новочеркасске».

Значит, он сообщил Чехову, что вместо Ялты попал в Новочеркасск. А поехал потому, что туда перевели мужа Маши и там жили мать и семья Ласкаржевских. План Ивана Алексеевича был таков: сначала пожить в Ялте, отдохнуть от всяких чествований, а оттуда добраться до Новочеркасска. Но Маша заболела и, как всегда, подняла тревогу из-за пустяков: вызвала Юлия из Москвы и Ивана из Одессы. Он ежедневно посылал матери открытки, правда, очень краткие, но все же она знала, что он «жив и здоров» и где находится. Братья перепугались: Маша ожидала второго ребенка, они знали, что их матери будет не под силу ухаживать за больной дочерью, всегда трудной во время болезни, и внуком Женей, который был всецело на ее попечении (это была радость последних лет ее). С мужем она видалась только, когда гостила с Ласкаржевскими у Евгения. Трудно, видимо, было ей простить мужу, что он «пустил детей по миру...».



Е. И. Буковецкий, художник.
Одесса, Княжеская, 27 (ныне — ул. Баранова, 27), 1916.
Комната, в которой жили И. А. Бунин и Вера Николаевна в 1918—1920 гг.

Когда братья съехались, Маша уже была на ногах. Она оправдывалась, что испугалась своей болезни, так как была высокая температура, которая неожиданно упала.

Нужно сказать, что деревенские жители панически боятся всякого заболевания. Малейшее недомогание им кажется уже преддверием смертельной болезни. Меня очень забавляло, когда я стала жить в Васильевском, как Софья Николаевна при малейшем поднятии температуры у кого-нибудь из взрослых сыновей начинала нервно ходить по зале и утирать слезы. Я долго не понимала, в чем дело? А потом сообразила: отсутствие медицинской помощи в деревне всегда вызывает страх, что болезнь обернется в опасную, смертельную... Но Маша жила в городе, могла позвать врача...

Конечно, братья побранили ее, а потом все были рады свиданию и весело провели время. Мать несказанно радовалась, что увидела своих сыновей, — в чужом для нее городе она больше тосковала по ним, особенно по младшему. Страдала она, что семейная жизнь Ивана Алексеевича опять не удалась. Он привез ей портрет своего Коли, снятого в платьице. Она нашла, что он напоминает маленького Ваню.

Через несколько дней Юлий стал собираться в Москву, Иван тоже решил ехать с ним, вспомнив о каких-то делах.

В Москве он оставался недолго. В начале марта на «Среде» он, встретившись с Марьей Павловной Чеховой, сообщил ей, что скоро едет в Ялту. Она попросила отвезти брату ножницы.

Чехов только что перенес очередной бронхит, стал поправляться, когда Иван Алексеевич, наконец, попал в Ялту. И опять он бывал в Аутке чуть ли не каждый день.

В это время у них часто заходила речь о «Мещанах» Горького, которые шли в Москве. Такого успеха, какой вызвала постановка «На дне», не было. Чехов находил, что «Мещане» — «гимназическое произведение», но заслуга Горького, по его мнению, была в том, что «он восстал первый на мещанство и как раз, когда общество было к этому подготовлено». Чехов говорил, что, когда перестанут читать произведения Горького, его имя останется, за его протест против мещанства.

Много смеялись над рассказами Бунина о первом представлении «На дне» и над вечером «шипящих женщин», где гвоздем оказался Скиталец. Особенно веселила Чехова «салфетка, брошенная в щи», и восхищало: «Велик аплодисмент сорвал...»

Ненадолго в Ялту приехал Куприн, у которого родилась дочь, чем он очень гордился, ее назвали Лидией в честь рано скончавшейся тетки, Лидии Карловны Туган-Барановской, рожденной Давыдовой. Писатели катались верхом. Куприн хвалил Бунина за посадку. Говорил не раз и мне: «За его верховую езду я прощаю ему все...»

После разрыва с мужем приехала в Ялту Голоушева, актриса Художественного театра. Приплыл и писатель Федоров из Одессы, — ему хотелось поговорить с Чеховым о своих пьесах, которые он в ту зиму посылал ему: одну он мечтал устроить в Художественный театр, но из этого ничего не вышло.

В конце первой апрельской недели Федоров с Буниным уплыли в Одессу. Куприн, соскучившись по жене и дочке, укатил домой, в Петербург.

В Одессе Иван Алексеевич начал хлопотать о билете на пароход, шедший в Константинополь. Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве. 9 апреля он отплыл в Царьград.

5

Случайно у меня в руках оказалось письмо Ивана Алексеевича к старшему брату:

«Константинополь 12 апр. 1903 г. Вечер.

Милый Юленька. Выехал из Одессы 9 апр., в 4 ч. дня, на пароходе «Нахимов», идущем Македонским рейсом, т. е. через Афон. В Одессу мы приехали с Федоровым 9-го же утром, но никого из художников, кроме Куровского, я не видел. Да и Куровский отправлялся с детьми на Куликово Поле — народное гулянье — так что на пароход меня никто не провожал. Приехал я туда за два часа до отхода и не нашел никого из пассажиров первого класса. Сидел долго один и было на душе не то, что скучно, но тихо, одиноко. Волнения никакого не ощущал, но что-то все-таки было новое... в первый раз куда-то плыву в неизвестные края. Часа в три приехал ксендз в сопровождении какого-то полячка, лет 50, кругленького буржуа-полячка, суетливого, чуть гоноровитого и т. д. Затем приехал большой плотный грек лет 30, красивый, европейски одетый, наконец, уже перед самым отходом жена русского консула в Витолии (близ Салоник), худая, угловатая, лет 35, корчащая из себя даму высшего света. Я с ней тотчас же завел разговор и не заметил, как вышли в море. «Нахимов»—старый, низкий пароход, но зыби не было, и шли мы сперва очень мирно, верст по 8 в час. Капитан, огромный, добродушный зверь, кажется, албанец, откровенно сказал, что мы так и будем идти все время, чтобы не жечь даром уголь: зато не будем ночевать возле Босфора, а будем идти все время, всю ночь. Поместились мы все, пассажиры, в верхних каютах, каждый в отдельной. За обедом завязался общий разговор, при чем жена консула говорила с ксендзом то по-русски, то по-итальянски, то по-французски, и все время кривляясь а ла

высший свет невыносимо. И все шло хорошо... медленно терялись из виду берега Одессы, лило вечерний свет солнце на немного меланхолическое море... Потом стемнело, зажгли лампы... Я выходил на рубку, смотрел на еле видный закат, на вечернюю звезду, но недолго: наверху было ветрено и продувало прохладой сильно. Часов в 10 ксендз ушел с полячком спать, грек тоже, а я до 12 беседовал с дамой — о литературе, о политике, о том, о сем... В 12 я лег спать, а утром солнечным, но свежим пошел на корму... поглядел на открытое море, на зеленоватые тяжелые волны, которые, раскатываясь все шире, уже порядочно покачивают пароход. Добрался до каюты. Затем заснул и проснулся в 11 ч... Балансируя, пошел завтракать, съел кильку, выпил рюмку коньяку, съел паюсной икры немного — и снова поплелся в каюту; завтракал только капитан и полячок. Остальные лежали по каютам, и так продолжалось до самого входа в Босфор. Пустая кают-компания, утомительнейший скрип переборок, медленные раскачивания с дрожью и опусканиями — качка все время была боковая, — пустой полусон, пустынное море, скверная серая погода... Проснусь, — ежеминутно засыпал, спал в общем часов 20, — выберусь, продрогну, почувствую себя снова хуже — и опять в каюту, и опять сон, а временами отчаяние: как выдержать это еще почти сутки? Нет, думаю, в жизни никогда больше не поеду. К вечеру мне стало лучше, полное отсутствие аппетита, отвращение к табаку и тупая сонливость продолжалась все время. К тому же солнце село в тучи, качка усилилась — и чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких еще более возросло. Заснул часов в семь, снова выпил коньяку, — за обедом я съел только крохотный кусок барашка, — изредка просыпался, кутался в пальто и плэд, ибо в окна сильно дуло холодом, и снова засыпал. В 2 часа встал и оделся, падая в разные стороны: в 4 часа, по словам капитана, мы дожны были войти в Босфор. Выбрался из кают-компании к борту — ночь и качка — и только. Сонный лакей говорит, что до Босфора еще часа 4 ходу. Каково! В отчаянии опять в каюту и опять спать. Вышел часа в 4 — холодный рассвет, но ни признака земли, только вдали раскиданы рыбачьи фелюги под парусами... кругом серое холодное море, волны, а внизу — скрип, качка и холод... Снова заснул... Открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко гористые берега. Качка стала стихать. Выпил чаю с коньяком — и в рубку. Сюда скоро пришли и остальные, за исключением дамы; солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор...

До завтра, пора спать, половина десятого. В противоположном доме, который от подворья отделен улицей в 2 шага, музыка. Что-то заунывно страстное. Играют, не знаю на чем, — как будто на разбитом фортепьяно. Теперь заиграли польку... В подворье тишина.



И. А. Бунин. Париж, июль 1920.

13 апр. (воскресенье) 1903 г.

Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию... Подробно все расскажу при свидании, а пока буду краток. Босфор поразил меня красотой, К.(онстантинополь). Часов в 10 мы стали на якорь и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможне два турка долго вертели в руках мои книги, не хотели пропустить. Дал 20 к. — пропустили. В подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню».

Как это типично для Бунина! Он всегда, приезжая в новый город, прежде всего поднимался на самое высокое место, чтобы сверху осмотреть все, понять в целом, а потом уже начинал знакомиться по частям.

Его записи:

«Незабвенная весна (апр. 1903 г.), первый раз в Константинополе...

Золоченый каик на Босфоре. Гребец в короткой расшитой безрукавке, в феске, толстомордая негритянка-служанка и женщина в белой легкой чадре и в черном, атласном, широком бурнусе, ее молодая маленькая нога в черной лаковой туфельке.

Пятно табачного цвета на глазных яблоках. Оч. смуглый, рябой, черный длинный халат, феска обмотана пестро-золотистым платком».

Пребывание в Константинополе я считаю самым поэтическим из всех путешествий Ивана Алексеевича: весна, полное одиночество, новый, захвативший его мир.

У него не было знакомых, видался и разговаривал он только с проводником Герасимом, необыкновенно милым человеком, никогда не расстававшимся со своим зонтом.

Он очень хорошо показал ему Константинополь, — когда через четыре года я попала туда вместе с Иваном Алексеевичем, то была поражена его знанием этого сказочного города.

Кроме обычных мест, посещаемых туристами, Герасим водил его в частные дома, к гречанкам необыкновенной толщины, похожим на родственниц Цакни, любезно угощавшим его вареньем со студеной водой, где-нибудь на Золотом Роге.

Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствововал ее, зато Ислам вошел глубоко в его душу.

Вот что он пишет в своей «Тень Птицы»: «Не знаю путешественника, не укорившего за то, что они (турки) оголили храм. Но

турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой босыми входят сюда молящиеся, — входят, когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном храме:

Во имя Бога, милосердного и милостивого!
Хвала Ему, Властителю вселенной!
Владыке Дня, Суда и Воздаяния!»

Трогает Бунина то, что «тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному Камню в пустыне Измаила и Агари...».

Я считаю, что пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни.

После женитьбы, после разрыва с женой, после беспорядочной жизни в столицах, Одессе и даже Ялте он, наконец, обрел душевный покой, мог, не отвлекаясь повседневными заботами, развлечениями, встречами, даже творческой работой, подумать о себе. Отдать себе отчет в том, как ему следует жить.

Он взял с собой книгу персидского поэта Саади «Тезкират», он всегда, когда отправлялся на Восток, возил ее с собой. Он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, «усладительного из писателей». «Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний; тридцать — на странствования и тридцать — на размышления...»

Бунину было в эту весну 32 года, и он мечтал пойти по следам Саади, то есть, прожив тридцать лет, приобретая познания, тридцать лет отдать странствиям, — и тут он решил никогда ни с кем не связывать свою судьбу, «не делить ни с кем своих дней»...

Он чувствовал, что не рожден для семейного очага, сознавал, вероятно, свои недостатки, как мужа. Ему, как поэту, нужен весь мир. То, что царило в то время в литературе, ему было не по душе, он должен идти своим путем, который не даст ему много денег и славы, но даст возможность, по словам Саади, «оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира!».

В Константинополе его поражала двойственность: величие, красота, богатство и — убожество, грязь, нищета.

Босфор, Золотой Рог, Скутари «со своей деревенской тишиной, домиками с решетчатыми окнами балконов, где томятся жены не очень богатых турок, с фонтанами, с белыми изящны-

ми минаретами среди мшистых развалин, с знаменитым кладбищем под высокими густыми темными кипарисами, под которыми стройно белеют столбики в чалмах, где воздух оглашает пение соловьев, говорившее о радостях любви и жизни...».

Есть фотография тех дней: Бунин снят с двумя суданскими неграми: один в низкой феске, другой в каком-то непонятном головном уборе, а сзади них, положив руки им на плечи, стоит он — в темном костюме, в мягкой белой рубашке с длинным галстуком, без шляпы. Причесан на косой ряд, узенькая прядь на лбу, худой, с очень серьезными глазами.

День он проводил с милым Герасимом, который уже был не в шляпе, как на пароходе, а в картузике, но с неизменным тяжелым зонтом под мышкой.

Посетили они много всяких таверн, харчевен, ели кебаб прямо на улице, стоя, из кипящего жиром огромного котла... И Герасим всегда повторял: «Кусай, кусай, пойдесь домой, будесь рассказывать...» и они «кусали и кусали»... Заходили и в кофейни, где злоупотребляли турецким кофием, сладким, душистым и крепким, смотрели на турок, куривших кальян, молча сидевших по целым часам, скинув одну туфлю и поставив ногу на узенький диван.

Много раз проходили по знаменитому базару, где продавцы хватали за рукав и тащили в свои лавки, чтоб показать товар, отлично зная, что покупать они у них не будут, но им нравилось показывать, вызывать восхищение у смотрящего. Там Иван Алексеевич насмотрелся на бесценные ковры, шали, вышивки золотом и серебром, медные кувшины с тонкими узорами, столики из черного дерева с инкрустациями, словом, на все, что продается на Востоке. Все было изящно и красиво. Там на память о этих днях он купил себе чудесную феску, которая ему очень шла, — он становился похож на красивого турка.

Неизгладимое впечатление произвели на него дервиши. За несколько мелких монет впустили его с Герасимом в высокий восьмигранный зал, с трех сторон хоры, украшения — суры Корана.

Дервишей было около двадцати, ими руководил шейх: «И по мере того, как все выше и выше поднимались голоса флейт... все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри... и все крепче топал ногой шейх: приближалось страшное и сладчайшее «исчезновение в Боге и вечности...» («Тень Птицы»).

На Башне Христа он переживал нечно подобное, что и у дервишей: «Теплый сильный ветер гудит за мною в вышине, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность...» («Тень Птицы»).

Он рассказывает, что вихрь вокруг шейха зародился в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем — упоение Божеством... и ему припоминаются слова Саади:

«Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомяни его добрым словом!.. и как назвать человека, не чувствующего этого восторга?

— Он осел, сухое полено» («Тень Птицы»).

Так Бунин заканчивает свою «Тень Птицы», написанную после нашего первого путешествия на Ближний Восток в 1907 году, но там все из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году, в ту «незабвенную весну».

Прошел месяц, иссякли деньги, нужно возвращаться в обыденный мир, столь далекий от того, что он пережил в этом сказочном городе: ранние утра где-нибудь в Скутари, где тишину нарушали лишь соловьи, дни в Стамбуле, уже почти мертвом. Там, выходя к Мраморному морю, он иногда подолгу стоял, — оно порой делалось от игры волн на солнце подлинно мраморным. Несказанно прелестны были лунные ночи, когда бывало грустно-приятно от своей отчужденности от всего мира и от всего пережитого. Вспоминал с болью в сердце своего Колю и родную семью, которая никогда не увидит, не почувствует того, что ему посчастливилось пережить. Поэтичны были и темные звездные ночи, полные разноцветных фонариков на судах всех наций, стоявших на Босфоре.

Трогал его обычай, что с минарета несется молитва о тех, кто в эту ночь страдает бессонницей.

Позднее он написал стихи:

ТЭМДЖИД

Он не спит, не дремлет.
Коран

В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть средине ночи, — раздается
Грустный и задумчивый Тэмджид.

На средине, между ранним утром
И вечерним сумраком, встают
Дервиши Джелвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид поют,

Спят сады и спят гробницы в полночь,
Спит Скутари. Все, что спит, молчит.
Но под звездным небом, с башни
Не для спящих этот гимн звучит:

Есть глаза, чей скорбный взгляд с тревогой,

С тайной мукой в сумрак устремлен,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.

Тяжела, темна стезя земная,
Но зачтется в небе каждый вздох:
Спите, спите! Он не спит, не дремлет,
Он вас помнит, милосердый Бог.

Этот обычай восхищал Ивана Алексеевича, и он часто вспоминал о нем в свои бессонные ночи в последние годы своей жизни.

На возвратном пути он был полон впечатлениями и даже мало уделил внимания пароходной жизни, которую впоследствии изучил во всех тонкостях.

6

В Одессе он пробыл несколько дней у Куровских, повидал сына, может быть, на берегу моря, об этом он написал пронзительные стихи, которые не напечатал, посидел в ресторане с Нилусом и укатил в Москву, где тоже пробыл недолго.

Повидался с Телешовыми и Карзинкиным, много повествовал о своем пребывании на Босфоре, уговаривал «Митрича» посетить те края, зная отлично, что тот никогда не соберется. Вообще, как это ни странно, русские люди мало путешествовали по Ближнему Востоку. В Святой Земле бывали только паломники, духовные лица. Отправлялись туда и магометане из Ташкента, с Кавказа и других мест; совершали паломничество и евреи, большею частью из Польши. Интеллигенция же не решалась на такое путешествие — только разве ученые, — не отдавая себе отчета, до чего все хорошо было организовано и для плавания, и для пребывания в Палестине. Удивительное невежество и отсутствие интереса к тому, что выходило из рамок шаблона.

В середине мая приехал в Москву Чехов. Иван Алексеевич заходил к нему, делился своими впечатлениями, особенно приятно было вести на эту тему разговор потому, что Антон Павлович из московских знакомых его был единственный, который побывал в Константинополе, хотя Востоком не увлекся.

В конце мая Иван Алексеевич направился в Огневку, где коротали свои дни отец и Евгений Алексеевич с женой.

Отец, сильно состарившийся, — ему шел восьмидесятый год, — был все же по-прежнему бодр и остроумен. Он никогда не жаловался, хотя жизнь его была тяжелая. Обстановка была убогая, питание более чем скромное, так как хозяева, как одержимые, старались копить деньги, под старость пожить по-человечески... На руки денег отцу давать было невозможно: сейчас же появлялась водка...



Портрет Бунина с надписью под фотографией:
«Дорогой Марии Самойловне ⟨Цетлин⟩ от соэмигранта.
Ив. Бунин. Париж, 1922 г.»

Алексей Николаевич с неизменным интересом слушал рассказы младшего сына о Константинополе, о турецких обычаях. Удивляло его, что за проход по мосту взимали плату; очень его забавляли верблюды, идущие по ступеням лестницы и собаки, которых никто не смел обидеть, — их встречали на каждом шагу и смиренно обходили. Слушал с упоением о красоте Босфора, Скутари, Стамбула, жалел, что Айя-София в руках неверных; на него произвел впечатление рассказ, что ежегодно выступает там на стене лик Спасителя и ежегодно турки его замазывают. Восхищали голуби в куполе, размеры храма. Ивану Алексеевичу было всего приятнее рассказывать отцу — он при своем воображении все ярко представлял.

Набросился отец и на книги, привезенные сыном, — все свои досуги начал отдавать чтению. Маленьких рассказов не терпел: «Увидишь птицу, нацелишься, а она уже улетела, вот и вся недолга!»

Иногда Иван Алексеевич читал вслух. Однажды он взял новое произведение Горького, сказав, что это только что написанный рассказ Толстого. Вдруг брат Евгений прерывает его и говорит:

— Нет, это Горький пишеть...

Удивительно одаренный был человек и читал мало, а сразу схватывал стиль писателя.

Понемногу Иван Алексеевич втянулся в занятия. Но о путевых впечатлениях еще не мог писать, принялся за отделку перевода «Манфреда», который надеялся устроить в «Знании», и такая размеренная жизнь протекала до приезда матери и Маши с двумя детьми. Маша сразу внесла оживление и беспорядок, и заниматься стало трудно, мешал старший сын ее, забегая ежеминутно к дяде, а он писал стихи.

Прозу писать опять стало трудно, — за весь 1902 год он написал только «Надежду», а за 1903 — два рассказа, объединенные под заглавием «Чернозем»: «Золотое дно» и «Сны» (мне неизвестно, где он писал эти рассказы, в деревне или в Москве, для первого сборника «Знание» под редакцией Горького). Стихов же за 1903 год написано много, и они вошли в 3-ий том его сочинений в издании «Знание», вышедший в 1906 году.

Чувствуя, что в Огневке ему писать трудно, он дождался Юлия, приехавшего из-за границы, и после отъезда того в Москву решил перекочевать в Васильевское.

Там было жить приятно: большая угловая комната с тремя окнами на запад и юг. Тишина, здоровый стол, племянники. С двумя старшими ему было приятно делить свое свободное время.

Кроме «Манфреда», он там писал стихи, а среди них — «Канун Купалы», «Обрыв Яйлы», «Норд-остом жгут пылающие зори», «На окне, серебряном от инея», «Жена Азиса», «Северная береза», «В сумраке утра проносится призрак Одина», «Мы

встретились случайно на углу», «Проснулся я внезапно без причины», «Ковсерь», «Старик у хаты веял, подкидывал лопату», «звезды горят над безлюдной землею», «Ночь Аль-Кадра», «Далеко на севере Капелла», «Уж подсыхает хмель на тыне».

Осталась запись тех дней:

«Проснувшись, открыл окно в сад, щурясь от утреннего низкого солнца. В свежем воздухе пахло горькой сладостью осеннего утра. На поляне перед окнами слепило таким ярким и теплым светом, что похоже было на лето. Только солнечное тепло было смешано с этой пахучей горькой свежестью, с запахом покрытых крупной росой опавших листьев, и солнечный свет был слегка розовый, а вдали, в тени старых деревьев, уже багряных, желтых и оранжевых, стоял тончайший лазурный дым легкого ночного тумана».

«Поздними вечерами лежали на ометах новой соломы. Очень свежо, но тонешь в теплоте этой новой соломы. Темно, но вверху огненная жизнь бездны звездного неба и в разные стороны летящие зеленые полосы падающих звезд».

«Осень, осень! Уже летают паутины на жнивьях, ярки кустящиеся зеленя.

Вечера золотистые, потом ярко-красные. Небо над закатом темно-синее, ниже вогнутое, прозрачно-сиреневое. Бледность жнивья.

Черные липы сада, загораживающие всходящую за садом зеленую луну.

Неяркие звезды на смутном южном небосклоне».

После десятого сентября начались разговоры об отъезде. Младший племянник Петя был уже в Орле, — он еще учился в гимназии, к нему на всю зиму должна была переехать мать. Коля оставался в деревне, — решил с бабушкой и дядей зимовать в Каменке. Митюшка с Иваном Алексеевичем должны были ехать в Москву.

На этот раз Иван Алексеевич остановился в меблированных комнатах Гунст, в Нащокинском переулке, рядом с особняком Лопатиных, где он некогда проводил почти все свои досуги.

Телешовы еще жили на даче в Малаховке, которая наполовину принадлежала им. На берегу озера у них был высокий двухэтажный дом в скандинавском стиле.

Погода была хорошая, и Елена Андреевна пригласила Ивана Алексеевича погостить у них. Он, было, согласился, но после первой же ночи, проведенной на даче, рано утром уехал, не повидавшись с хозяевами. Это один из его непонятных поступков. Иван Алексеевич мне объяснял, что комната была ему не по душе, он чувствовал, что в ней он будет не в состоянии писать.

Как объяснить это? И от смущения, не зная, что ему делать, он сбежал...

Елена Андреевна с большим недоумением мне рассказывала об этом. Я тоже не решилась объяснить ей причину.

Этой осенью жил в Москве и Найденов. Бунин с ним еще больше сблизился. Найденов нравился и Чехову. Он говорил, что Найденов может написать еще несколько неудачных пьес, а затем напишет опять превосходную, так как он считал его единственным настоящим драматургом из живых авторов.

Сутулый, выше среднего роста, в криво висящем пенсне, немного неуклюжий, с крупной головой, волнистыми темными волосами, застенчивый, Найденов производил сразу приятное впечатление.

На людях он был сдержан, замкнут, по-купечески недоверчив, но натура у него была страстная, склонная к размаху, даже безумствам... В денежных делах он был очень щепетилен.

В его жизни случилось то, что народ называет по «щучьему веленью»: больше пятидесяти лет тому назад в Москве жил никому не ведомый Сергей Александрович Алексеев и жил очень дурно, — служил приказчиком в маленьком магазине готового платья где-то на Тверской, а в одно ненастное утро, по дороге на службу, развернул газету, и в глаза ему так и ударило: «Грибоедовская премия Литературно-Художественного театра присуждена за «Детей Ванюшина» Найденову».

Остановился, прочитал несколько раз и, немного придя в себя, повернул домой, а в магазин готового платья так больше и не заглядывал — махнул рукой и на причитавшееся ему жалованье. На следующий день — Петербург, и тоже, как в сказке «Конек Горбунок»: нырнув в литературно-драматический котел приказчиком из магазина готового платья Алексеевым, он сразу превратился в премированного драматурга Найденова.

Легко представить себе, что затем было: и просьбы театральных директоров о пьесе, авансы, мир кулис, актеры, актрисы, поклонники, писательский круг, лесть, почет, аплодисменты, деньги...

Как известно, в то время в России особенными любимцами публики были писатели. И так как баловать своих кумиров она умела не только со всей ширью славянской души, но и с истеричностью, то редко у кого из достигших в то время «славы» не закружилась голова.

У Найденова голова не закружилась, хотя успех был прочный — вся Россия ставила его пьесу. Я думаю, что все, бывавшие в театрах, пересмотрели «Детей Ванюшина». Много пьеса эта вызывала разговоров, споров, рефератов...

Найденов, по рассказам Ивана Алексеевича, ненавидел

рекламу, презирая всю нарочитую шумиху, которая создавалась в ту пору почти вокруг каждой знаменитости (и, конечно, не без благосклонного разрешения ее самой). Ему это было органически противно и вовсе не потому, что он был лишен честолюбия, — а потому, что он не переносил всего, что не было действительно прочно и достойно. И это особенно влекло к нему Ивана Алексеевича, который тоже во всем любил настоящее, а не дутое.

Никогда Найденов не наряжался ни в поддевку, ни в сапоги.

В молодости он был неудержим. Получив от отца небольшое наследство, он на Волге так загулял, что сразу остался нищим, и ему пришлось тяжким трудом зарабатывать кусок хлеба, так он и докатился до приказчика в магазине готового платья.

Жизнь Ивана Алексеевича в Москве протекала обычно: чаепитие у Юлия Алексеевича, прогулки с ним, если не надо куда-нибудь ехать, «Среды» у Телешовых, интимные обеды у них, у Чеховых, у Граф (жена его — в девичестве Клочкова, дочь богатого воронежского городского головы; он чуть тронул ее в «Чистом понедельнике», взята — ее квартира), вечера в Кружке или на журфиксах у Рыбаковых...

Раза два за осень Иван Алексеевич ездил в Петербург. Побывал в редакции «Мир Божий», где хозяином был уже Куприн, у которого начала кружиться голова от славы, на что ему жаловалась умная, все понимающая Марья Карловна. Говорила, что хочет увезти мужа в Балаклаву, — собутыльники губят его, льстят и приносят ему большой вред, и что в Петербурге ему трудно работать. Жаловалась она и на его ревность и дикие выходки. И правда, раз в присутствии Бунина и других гостей, Куприн, увидав, что жена вышла в легком черном газовом платье, которое ей шло, взял и поджег его спичкой снизу, — едва удалось затушить, закидав огонь подушками с дивана. В другой раз, — не помню уже, в этом ли году или в другом, — Куприн, войдя в столовую, где был накрыт обеденный стол на двенадцать персон, на что-то рассердившись, схватил за угол скатерть, и все зазвенело, разбилось — и тонкое стекло, и дорогой обеденный сервиз. Конечно, оба раза он был во хмелю.

Обедал Иван Алексеевич и у Ростовцевых, которые повенчались в 1900 году. Жили они на Морской. После обеда они всегда просили его почитать стихи, и он иногда читал написанные летом, не появившиеся еще в печати. Лето было урожайное, он написал тридцать три стихотворения. Особенно имело успех «Одиночество», посвященное художнику Нилусу. Многие строчки запомнились и часто повторялись, особенно «Что ж, камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить». Нравились и «Канун Купалы», и «Портрет», и «Надпись на чаше», и «Могила поэта»...

Начал Иван Алексеевич бывать и в доме профессора и академика Нестора Александровича Котляревского, жена которого, Вера Васильевна, красивая, обаятельная дама, была артисткой Александринского театра. Они быстро стали друзьями и ценителями Бунина.

В Петербурге Иван Алексеевич собрал деньги и стал подумывать о поездке за границу.

Вернувшись в Москву, он начал уговаривать Найденова поехать вместе на юг Франции и на север Италии. Подумав, тот согласился, хотя и не преминул выругать Запад.

В декабре в Москву приехал Чехов, и Иван Алексеевич бывал у него каждый вечер, просиживал «далеко за полночь». В эти ночные бдения они особенно сблизились. Чехов рассказывал ему о своих братьях, Иван Алексеевич кое-что тоже поведал ему из хроники своей семьи. Антону Павловичу, вероятно, было тяжело, что он болен и лишен возможности принимать участие в развлечениях жены, но никогда об этом он даже не намекнул. А она в ту зиму жила полной жизнью, домой возвращалась поздно.

Шли репетиции «Вишневого сада», Чехов жаловался, что режиссеры делают из его комедии драму, что многое, что там написано, совершенно не подходит к драме, и все повторял: «Уверяю вас, ни Алексеев, ни Немирович толком не прочли пьесы, а ставят то, что им самим хочется, уверяю вас, актеры отстали в развитии на целых семьдесят пять лет...»

Среди беспорядочной жизни Иван Алексеевич докончил два рассказа «Сны» и «Золотое дно» и, озаглавив их «Чернозем», передал для первого сборника «Знание». Получив за них аванс и прибавив его к тому, что собрал в Петербурге, уехал с Найденовым 24 декабря за границу.

Это было его любимое — быть под великие праздники в пути...

Он не был на Ривьере, не знал Италии.

7

С ними до Варшавы ехала Макс-Ли, журналистка, романистка, дружившая с обоими писателями, особенно с Буниным. Он кое-что взял от нее в «Генрихе».

Найденов к западной культуре был враждебен. Его все раздражало, казалось искусственным, тесным, продажным. Жизнью чужой страны он не интересовался, иностранных языков не знал и не хотел даже заучить самые необходимые фразы.

Порою был мрачен, на что-то сердился, порой мил, рассказывал о своих волжских кутежах, когда он прокучивал отцовское наследство. Признавался, что в «Детях Ванюшина» есть кое-что



И. А. Бунин. Париж, 1921.
Портрет работы Л. С. Бакста.

автобиографическое. Много пил. Они проехали Вену, Земмеринг, остановились в Ницце. Иногда в горах его раздражал какой-нибудь высоко стоящий замок, и он восклицал:

— Вот бы его к черту!..

В Ницце они выбрали отель «Континенталь».

Там «Бунин и Бабурин» ссорились из-за того, что «Бабурин» не хотел гулять, осматривать город. Он любил сидеть перед камином и тянуть коньяк. Он выучил единственную фразу: «Анкор коньяк». Но все же они кое-что осмотрели: были в Каннах, Монте-Карло, где Бунин проиграл 200 франков, проиграл какую-то сумму и «Бабурин», но игрой ни тот, ни другой не увлеклись.

Кто-то познакомил их с семьей богатого харьковского помещика Гладкого, у которого была вилла в Ницце и автомобиль. Они пригласили писателей поехать в Больё, к Максиму Максимовичу Ковалевскому, где чуть не погибли: сели на возвратном пути в машину, стоявшую задом к морю, шофер, позабывши об этом, стал заводить ручной мотор, и вдруг автомобиль пошел задом... К счастью, шофер успел вскочить и затормозить.

Иван Алексеевич поздравил Антона Павловича с Новым Годом и сообщил свой адрес, и Чехов быстро ответил ему очень ласковым и даже лирическим письмом, что очень тронуло Бунина.

Из Ниццы они поехали во Флоренцию, потом в Венецию, остановились в гостинице возле площади Святого Марка.

И Флоренция, и Венеция с ее дворцами, Св. Марком, с ее бесшумными гондолами и красавцами гондольерами оставили глубокий след в душе Бунина, хотя вполне уйти в итальянский мир ему мешал «Бабурин» со своим отталкиванием от всего, что нерусское. Иногда они ссорились, упрекали друг друга в эгоизме, но это не нарушало их дружеских отношений.

Из Венеции они «выехали с экспрессом в Москву. Туда приехали в морозный день перед вечером». Остановились в Лоскутной и, не раскладывая чемоданов, полетели в «Прагу», где прежде всего Найденов потребовал всего, чего был лишен за границей, — черного хлеба, икры, водки, и заказал селянку из осетрины. Иван Алексеевич, как почти всегда, заказал рябчика, который по его вкусу приготовляли в «Праге», красного хорошего вина, но и от икры, и от черного хлеба не отказался.

И вот вернувшиеся россияне, в радости, что они дома, что в «Праге» слушают Гулеско, играющего на цитре, среди блеска и родного говора увидали высокую дородную фигуру с седой длинной бородой, Дмитрия Ивановича Тихомирова, известного педагога. Он уже уходил из ресторана и, минуя их, воскликнул:

— Кто же, господа, ест икру с черным хлебом?..

Они пригласили его присесть и объяснили, что вернулись час

назад из-за границы... А потому и накинулись и на икру, и на черный хлеб... «Бабурин» стал бранить Запад, уверять, что там все невкусно, и женщин нет таких, как в России, и в Ницце, даже в богатых виллах, холодно так же, как и в Италии. И нигде нет простора, как на Волге. Бунин посмеивался и защищал Запад. Тихомиров держал нейтралитет. Он едва ли много путешествовал, тоже любил Москву с ее редакциями, журфиксами, юбилеями, ресторанами, любил и Алушту, где у него было поместье, и в заморские страны его не тянуло.

Побывал Иван Алексеевич на «Вишневом саду», где его многое удивило, — он до поездки был на репетициях отдельных актов и в целом пьесы не видел. Многое ему не понравилось, но он скрыл свое впечатление, боясь, чтобы это не дошло до Антона Павловича. Слушал рассказы о первом представлении, о чествовании Чехова, о некоторых бестактностях. Воображал, что должен был чувствовать в этот юбилейный вечер виновник торжества.

11 февраля он отправился на «Среду», где впервые после возвращения встретился с Чеховым, который приехал с Ольгой Леонардовной и вошел под руку с ней в столовую, когда уже чтение было окончено и все сидели за ужином. Конечно, их усадили на самое почетное место, хозяева были счастливы, как и вся «Среда».

Иван Алексеевич поразился, как за шесть недель их разлуки Антон Павлович подался. Он почти ничего не ел, кроме ложечки икры, выпил глоток чудесного французского белого вина из погреба А. А. Карзинкина. Почти все время молчал, только ласково улыбался, откидывая прядь волос со лба. Оживление, какое всегда бывало за этими дружескими ужинами, упало, все увидели, что ему стало хуже за этот месяц. Он сообщил, что на днях уезжает в Ялту. Пробыли Чеховы недолго. После их отъезда всем стало тяжело, хотя, конечно, никому и в голову не приходило, что через пять месяцев его не станет.

Ивану Алексеевичу нужно было съездить в Петербург: взять остаток гонорара за «Чернозем», продать оставшиеся в портфеле стихи, написанные за 1903 год, получить за книжку для народа, изданную «Знанием». Надеялся он и на аванс в некоторых журналах. Перед отъездом поехал к Чехову, но у него был недолго. Узнал, что они решили переменить квартиру, искать ее с лифтом, так как одышка у Антона Павловича усилилась и подниматься ему на третий этаж большая мука.

В Петербурге Куприных не было, они уехали в Балаклаву. Иван Алексеевич обедал у Ростовцевых, узнал, что Александр Иванович пьет, иногда у него происходят скандалы с кем попало... Очень жалели, так как Куприн писал все лучше и лучше.

На лето Иван Алексеевич поехал в Огневку, чтобы пожить с матерью и Ласкаржевскими. У Маши было уже трое детей, родилась девочка, назвали в честь бабушки Людмилой. Там Иван Алексеевич писал стихи на восточные темы, перечитывал Коран, просматривал и перевод «Манфреда», писал и на русские темы.

Доктора послали Чехова в Германию на курорт Баденвейлер. Он с Иваном Алексеевичем изредка переписывался. Последнее известие было успокоительное: Антон Павлович заказал себе белый костюм, так как во всей Европе наступила нестерпимая жара.

В начале июля Бунин поехал на почту в Лукьяново. Заехал к кузнецу, чтобы перековать лошадь, сел на порог кузни и развернул газету: «и вдруг точно бритва полоснула мне по сердцу...»

Домой вернулся поздно. Ездил по вечерней заре среди хлебов, уже начинавших золотиться, и плакал, плакал... Конечно, писать он бросил.

Действительно, потеря для него была большая. Единственный из писателей, Чехов по-настоящему был с ним близок, любил его и ценил; Иван Алексеевич чувствовал это и сам питал к нему восхищенную любовь.

Вскоре вернулся Юлий Алексеевич из своей заграничной поездки, а из Васильевского приехал погостить старший брат Пушешников. Видя, что Иван Алексеевич в тяжелом душевном состоянии, не может писать и куда-то рвется, решили недели на три поехать на Кавказ, где никто из них не был. Уговорили и мать Митюшки дать ему денег на поездку.

Подробный маршрут мне неизвестен. Вообще Иван Алексеевич мало мне рассказывал о Кавказе. Думаю, потому, что был в тоске и печали. Я нашла только одну коротенькую запись об этой поездке. Как всегда, красота природы все же спасала его в горе.

«Раннее, но уже жаркое солнце, расходящийся свежий, душистый, светлый туман в горных лесах, радующая душу блестящая белизна снеговых вершин за лесистыми горами над их зеленью...

Кавказ, молодость, молодые утренние снега. Весь мир, вся жизнь — счастье».

Знаю только, что они проехали по Военно-Грузинской дороге, а возвращались морем из Батума.

Вернувшись в деревню, он осел у Пушешниковых. Вскоре после его возвращения пришло письмо из «Знания»: писатели затеяли сборник памяти Чехова. Он принялся писать воспоминания о Антоне Павловиче, но не дописал, поехал в Москву, где

и окончил. Читал их осенью в «Обществе Любителей Российской Словесности».

Перед смертью ему попалась эта книга — «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге:

«Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.».

Перечитал и весь сборник. На первом месте стоят стихи Скитальца. Иван Алексеевич руками развел, перечитав их: «Как же Горький мог напечатать подобные вирши?.. — восклицал он. — Ума не приложу!..»

Вот некоторые строфы:

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Неумолимый рок унес его в могилу.
Болезнь тяжелая туда его свела.
Она была в груди и всюду с ним ходила:
Вся жизнь страны родной — болезнь его была.

И еще четыре подобных строфы, а в шестой, особенно смешившей Ивана Алексеевича, было:

И поздно понятый, судимый так напрасно,
Он умер от того, что слишком жизнь бедна,
Что люди на земле и грубы и несчастны,
Что стонет под ярмом родная сторона.

Хороша и восьмая:

О, родина моя, ты вознесешь моленья
И тень прекрасную благословишь, любя,
Но прокляни же ты проклятием презренья
Бездушных торгашей, что продают тебя!

В девятой:

Пусть смерть его падет на гадов дряхлой злобы,
Чьи руки черствые обагрены в крови,
Кто добивал его, а после был у гроба
И громче всех кричал о дружбе и любви!

— Не понимаю, — повторял Иван Алексеевич, — как Горький допустил это стихотворение? Или, может быть, это было сделано без его ведома? Хотя, как могли без него поставить на первое место?.. Это пошлее устричного вагона... Впрочем, может быть, потому гроб поставили в устричный вагон, что там был холодильник?.. Забыли только снять надпись...

Под стихами Скитальца стоит краткая, но сильная оценка Ивана Алексеевича этого виршеплета.

Смерть Чехова потрясла всех, кто имел отношение к литературе, и его читателей. Жалели его, как больного: понимали его тоску в одинокие зимние вечера в опустевшей Ялте, когда ему так хотелось быть с женой в Москве, где ставились его пьесы, имевшие шумный успех.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Москве Иван Алексеевич часто заходил к осиротевшим Чеховым, которые ему бывали рады, зная, как относился к нему покойный.

Потом он отправился в Петербург, распродал все написанное им за весну и лето, отвез свои воспоминания о Чехове в «Знание» для «Чеховского сборника», попытался выпустить в этом издательстве «Манфреда», но попытка эта не увенчалась успехом.

Вернувшись в Москву, он жил под гнетом смерти Антона Павловича, бывал часто у Ольги Леонардовны и у Марии Павловны, ходил в Художественный театр, где тоже все были в большом горе.

26 ноября он выехал в Одессу и по дороге остановился на сутки в Киеве, чтобы повидаться с Найденовым, который ставил там свою пьесу.

В Одессе он опять жил у Куровских. Видал сына, которому шел пятый год, мальчик был очень милый, не по летам развитой, всякое свидание с ним раздирало сердце. С женой он не встречался. Все было ему здесь тяжело, и он быстро уехал.

Через Москву он проехал в Васильевское, где, отдохнувши, стал писать, и писание его успокоило. 1904 годом помечено 17 стихотворений и рассказ «Счастье» (переименованный потом в «Заря всю ночь»).

Начало этого рассказа с описанием дождя восхитило Л. Н. Толстого. Не помню, в чьих воспоминаниях мы читали, что он сказал: «Ни я, ни Тургенев не написали бы так дождь...»

Конец года, как и начало января, он пробыл в Васильевском, деля время между писанием, чтением текущей литературы, любимых классиков, Корана, Библии и незатейливыми деревенскими развлечениями — сначала только с Колей, который, узнав, что Иван Алексеевич у них, вернулся домой из Каменки. К Рождеству приехал из Москвы и Митюшка, затем прогостила с неделю на Святках Лида Рышкова, крестница Софьи Николаевны, превратившаяся в красивую девушку, она внесла женское оживление: стали гадать, играли в снежки во время вечерних прогулок, чаще ездили кататься на розвальнях днем, когда снег так чудесно отливает всеми цветами на солнце.

Иван Алексеевич стал уговаривать Колю ехать в Москву учиться пению, — у него был необыкновенной красоты бари-

тон, — но мать, приехавшая из Орла, его не отпустила, боясь, что зимой в чужой обстановке он в шестой раз заболеет воспалением легких. И на семейном совете было решено, что он поедет в Москву следующей осенью, когда еще стоит хорошая погода.

Новый Год встретили по-деревенски с гостями, пришла местная интеллигенция: Лозинские с тремя дочками, винокур с супругой, монопольщик с женой, сыновья дьякона.

Молодежь гадала, спорила на литературные темы, строила планы о будущем. Старшие засели за рамс. Иван Алексеевич несколько раз заглядывал в парадные комнаты, бросал острые взгляды на желавшую выбиться в люди молодежь. Он знал, что барышни Лозинские хотят держать экзамены за курс прогимназии, чтобы стать сельскими учительницами, сыновья дьякона уходят из духовного сословия. (Старший уже медик, а другой мечтает поступить в Педагогический Институт в Москве.)

К ужину Иван Алексеевич вышел. Было оживленно, пили цимлянское, и никто не подозревал, какой удар нанесет ему наступивший январь.

После Святок он получил известие сначала о болезни, а потом и о смерти своего Коли, скончавшегося «после скарлатины и кори от сердца».

Когда Ивана Алексеевича не было в живых, Софья Юльевна Прегель принесла мне выписку из книги «Жизнь и Любовь. Сцены» Юрия Морфесси. Иван Алексеевич знал его, когда Морфесси было всего16 лет. «Он был хорошеньким мальчиком, очень музыкальным, с прекрасным голосом, был своим человеком в семье Цакни, — рассказывал мне Иван Алексеевич, — принимал участие в опере «Жизнь за царя». В Париже они встречались на разных благотворительных вечерах и всегда вспоминали Одессу.

В книге Морфесси написано:

«Вспоминаю мою первую встречу с тогда только вошедшим в славу поэтом-писателем И. А. Буниным. Он был мил и изящен. Познакомился с ним в семье издателя «Южного Обозрения» — Н. П. Цакни. На его дочери женат был Бунин. Очаровательным ребенком был сын Бунина, пяти лет, говоривший стихами. Увы, этот феноменальный мальчик угас на моих руках, безжалостно сраженный менингитом».

Ни о менингите, ни о том, что Коля говорил стихами, Иван Алексеевич не рассказывал. Жаловался, что порой семья Цакни препятствовала его свиданиям с сыном, вспоминал, что иногда он находил его на берегу моря. У него были, как я писала, стихи на эту тему, очень пронзительные, но нигде не напечатанные. Раз он прочитал их мне...

Писание после смерти сына было заброшено, оставаться в Васильевском у Ивана Алексеевича не было сил. Софья Николаевна дала лошадей, и он с Колей отправился в Огневку. Отец лучше других умел успокаивать своего любимого сына, и он потянулся к нему. Матери там не было, она теперь постоянно жила с Машей, привязываясь все больше к старшему внуку, Жене.

Промучившись некоторое время в деревне, Иван Алексеевич бросился в Москву к Юлию Алексеевичу, с которым всегда делил свои печали и радости. В этот приезд он с ним почти не расставался.

В горе Иван Алексеевич был скрытен, но предпочитал быть на людях. Одиночество ему было непереносимо.

Вскоре после смерти сына Ивана Алексеевича рассказывала мне в Москве Вера Алексеевна Зайцева: «На днях встретила Бунина на улице, была поражена его видом, — у него умер сын, вот скрутило его горе! Ты и представить не можешь, как он изменился!..» И мне тогда стало несказанно жаль его, хотя в ту пору я с ним не встречалась. Вспомнила его в Царицыне, когда маму и меня познакомила с ним Екатерина Михайловна Лопатина.

2

В Москве вся левая часть интеллигенции была потрясена событиями 9-го января. И на журфиксах, которые продолжали еще быть в моде, и на званых обедах, и на вечерах только и была речь о Гапоне. Продавались его фотографические карточки. Из редакций «Русских Ведомостей» шли известия, которые не могли попасть в печать. Приезжие из Петербурга рассказывали то, что нельзя было предавать гласности. В высших учебных заведениях, даже в старших классах средней школы только и было слышно: «Гапон, расстрелы безоружных рабочих» и т. д. Рассказывали о замечательном слове священника Григория Петрова на похоронах убитого на улице студента Политехнического Института, обращенном к его сраженной горем матери, которая после этого как-то смиренно успокоилась.

Иван Алексеевич не мог усидеть в Москве, кинулся в Петербург, — Юлий Алексеевич, зная натуру брата, настаивал, в свою очередь, чтобы тот поехал и узнал все на месте из первых рук.

В Петербурге все люди его круга были возбуждены. Он повидался с друзьями: с Куприными, Елпатьевскими, Ростовцевыми, Котляревскими, заглянул во все редакции, с которыми был связан, в «Знание», отправился и на заседание «Вольно-экономического Общества», где произносились смелые речи.



Портрет А. Н. Толстого с автографом И. А. Бунина под фотографией
и с его датой: «1921 г.»
На обороте фотографии А. Н. Толстой надписал:

«Чемпион мира, Иван Дуголомов. Изобретатель знаменитого приема борьбы: тройной кроват с удушением противника вонью, для коего предварительно вводит во внутрь себя секретную смесь вареного гороха с квашеной капустой. Имеет ордена: королевы Вильгельмины «Большой Голландский с кистью», персидский эмалированный «Жоли Паша» для бесплатного проезда по железным дорогам; бронзовую медаль Парижской академии наук с выпуклым изображением сладострастных органов птицы Страуса; полтинник золоченый на ленте великомученика Сидора; большой знак Генриха Плешивого; похвальный отзыв Императорского филологического общества; медицинское свидетельство о половой зрелости; свидетельство от главного врача о неимении претензий к вступлению в брак; пожарный знак водяной дружины города Дрищи и пр. и пр. Холост. Препятствий к законному браку не имеет, за исключением употребления вина и табаку».

Северная столица отвлекла его, но рана не заживала, да и зажила ли она когда-нибудь? В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына... В чем-то Иван Алексеевич был скрытен. Жаловался на Цакни, что у них «двери на петлях не держались» и скарлатину занес кто-нибудь из гостей... Обвинял Анну Николаевну, что она не захотела уехать из родительского дома, где он не мог писать от вечной сутолки... Хотя последнее время он говорил о ней с нежностью, вероятно, потому, что она была матерью его сына.

В марте он вернулся в Москву, остановился опять в тихих меблированных комнатах Гунст, в тихом Хрущевском переулке, бывал у Юлия, у Телешовых, но уже меньше вносил оживления, присущего ему.

Он получил портреты Коли на столе и в гробу, окруженного цветами и игрушками — были среди них и его подарки. Эти фотографии разорвали ему сердце, но они с ним были до последних его дней.

Весной опять в Васильевском, где он проводил досуги с Колей, который с увлечением изучал астрономию, хорошо разбираясь в звездном небе. Он делился своими познаниями с Иваном Алексеевичем, уже оценившим некоторые дарования своего двоюродного племянника. Они привязывались друг к другу. Несмотря на чудесный голос Коли, Иван Алексеевич почувствовал, что певца, особенно оперного, из него не выйдет. Он начал уговаривать его изучать языки. В случае, если из пения проку не будет, он может стать переводчиком. Коля тонко чувствовал художественную литературу, умел схватывать главное в ней. Не выносил фальши. Был влюблен в Толстого и Флобера, все это очень их сближало, и хотя Иван Алексеевич подтрунивал над ним, над его нелепостями и застенчивостью, но любил его.

3

В конце июня Иван Алексеевич получил письмо из Огневки, что заболела мать. Он мгновенно собрался и уехал.

Всех он нашел в большой тревоге: мать на холодной заре вымылась в сенцах и схватила, по-видимому, воспаление легких, температура высокая. Младший сын чуть с ума не сошел, — ведь со дня смерти маленькой сестры он был в вечном страхе за жизнь матери, — тут она жила в глуши, без хорошего врача, с ее астмой и ненадежным сердцем... Решили пригласить земского елецкого врача Виганда, замечательного диагноста и целителя, человека высокого роста, с обветренным красным лицом.

Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. «Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков все время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома...» — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины. Ему было тяжело, — он был суеверен, за год третье испытание, — две смерти он пережил.

К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться.

Из заграничной поездки вернулся и Юлий Алексеевич. Младшему сыну стало легче, и он принялся за писание, прерванное известием о болезни матери.

Это полугодие дало хороший урожай: более тридцати стихов помечены 1905 годом. Среди них «Сапсан» и «Русская весна» (написаны до известия о смерти сына).

Затем наступило молчание, и только весной он снова стал писать стихи. Среди них «Новая весна», «Ольха», «Олень», «Эльбурс» (иранский миф), «Послушник» (грузинская песнь), «Хая-Баш» (мертвая голова), «Тэмджид» (с эпиграфом из Корана), «Тайна» (с эпиграфом из Корана), «Потоп» (халдейский миф), «С острогой», «Мистику», «Стамбул».

Видно, что он пристально читал Библию и изучал Коран, вспоминал прошлогоднее путешествие по Кавказу и, конечно, пребывание в Константинополе «незабвенной весной 1903 года».

4

«В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, — писал Иван Алексеевич, — я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно и очень нелегко для меня: все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть

этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно в с е осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной».

Осталась краткая запись Ивана Алексеевича:

«Маленькая Ялта, розы, кипарисы... Кофейня на сваях возле набережной, мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся на воде».

Так грустно и тихо текла жизнь до 17 октября, когда зазвонил телефон и раздался взволнованный голос приятельницы Чеховых Софьи Павловны Бонье, страстной поклонницы всех писателей. Она, сама себя перебивая, сообщала, что в России революция, что поезда не ходят и т. д. и т. д.

Иван Алексеевич сбежал в город, там тоже узнал приблизительно то, что рассказывала Бонье. Его охватил страх застрять в Ялте. Он кинулся на пристань и в порту узнал, что на следующее утро отходит в Одессу пароход «Ксения». Вернувшись, он сообщил Чеховым о своем отъезде, но они его уже не задерживали, понимая, что ему будет беспокойно жить вдали от родных. Ночь он почти не спал, встал ни свет, ни заря, быстро напился кофию и, «чуть не плача», распростился с Марьей Павловной и «мамашей» и к отходу парохода был на месте.

Привожу дневник Бунина этих дней:

«Ксения» 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения,

кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский Вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский Вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только

смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости Градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного Обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — «Почему?» — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софиевской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что

в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей Одесского Градоначальства».

В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режуть». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами — идуть на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке — «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп, по всему фасаду.

— Я спросил: по ком это вы? — «На всякий случай».

Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:

— Да, с хуторов идут...

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски...

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

«Южное Обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Всать, ура государю императору!» И все в конке подымаются и отвечают «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то есть, Думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на Слободке Романовке «почти не осталось жидов!»

Эдварс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на Слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, Господи! Трусятся, позамерзли. Их сами козаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели...»

Русь, Русь!»

5

Весь ноябрь и почти весь декабрь Иван Алексеевич прожил в Москве.

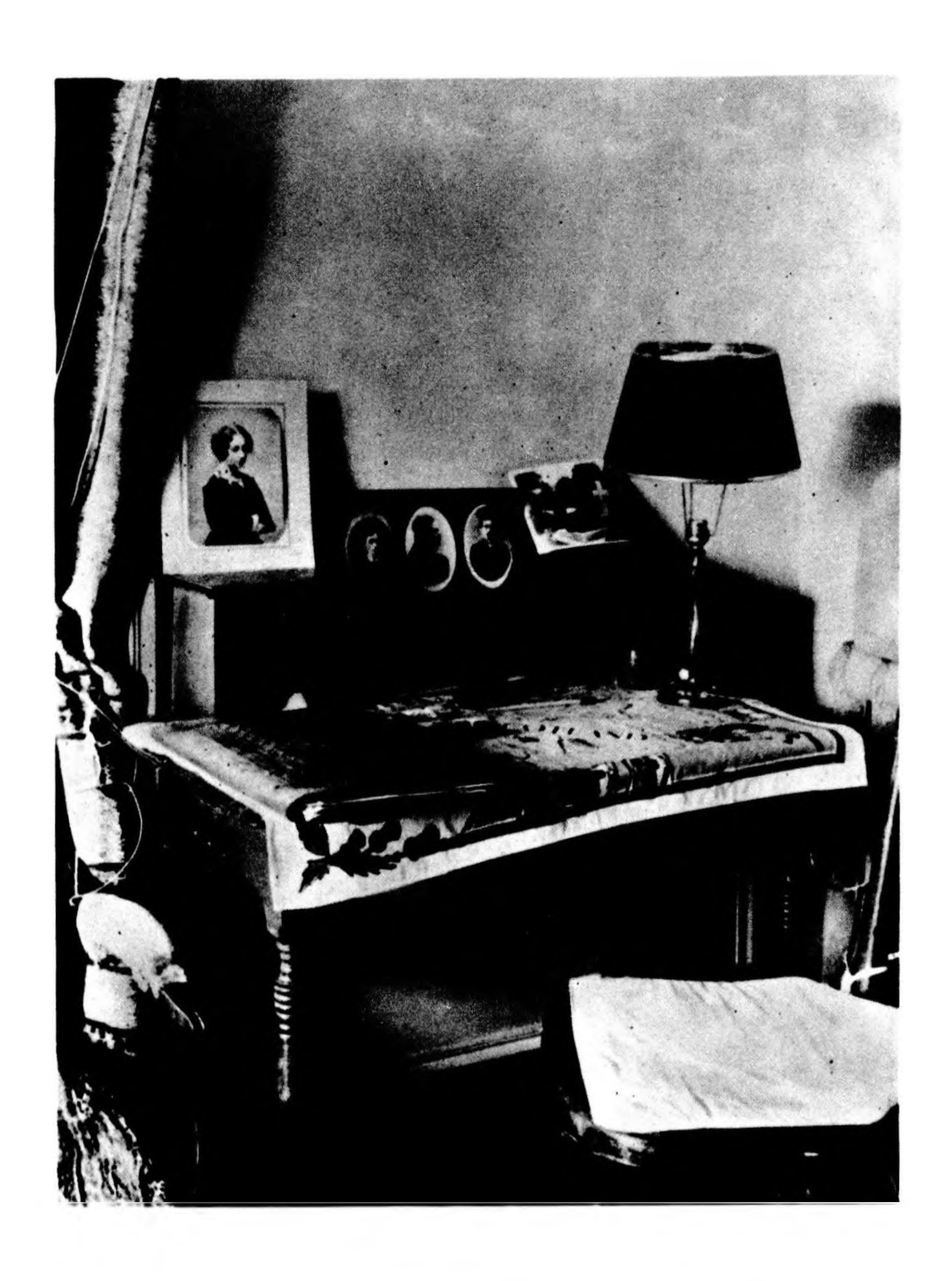
Пережил там и «вооруженное восстание», как тогда называ-



Подъезд дома в Париже на улице Жака Оффенбаха, 1,
где жили Бунин и В. Н. Бунина, —
«Яшкина улица», как называла ее Вера Николаевна.



Парижская квартира Бунина.



Парижская квартира Бунина.



Парижская квартира Бунина.
На переднем плане — столовая, в глубине — рабочий кабинет.



Парижская квартира Бунина.

ли декабрьские дни в Москве, когда Москва покрывалась баррикадами; когда было разгромлено реальное училище Фидлера, «где заседали революционеры», когда грохотали пушки и стучали пулеметы, когда зарево озаряло пресненский район, — горела шмитовская фабрика, которую отстаивали большевики.

Иван Алексеевич заходил иногда к Горькому, который со своей второй женой Марьей Федоровной Андреевой, артисткой Художественного театра, занимал квартиру на Воздвиженке. Квартира была забаррикадирована, и вооруженные кавказцы охраняли писателя от нападения черной сотни, но никакого нападения не произошло, и они вскоре покинули Москву, уехали через Финляндию в Америку.

Иван Алексеевич купил тогда, — это делали почти все мужчины, — револьвер «на всякий случай», и после того, как Дубасов с Мином усмирили Москву, ему не хотелось сдавать его в участок, как это было приказано. Он решил отвезти револьвер в деревню, когда отправлялся туда с братьями Пушешниковыми. Он положил его под свою высокую барашковую шапку, — потом удивлялся своему легкомыслию: «всякий жандарм мог ударить по ней, а что тогда было бы?..» Ехал он в первом классе, и никто его не обыскивал.

В Васильевском царило оживление: приехала погостить из Огневки Настасья Карловна, а с ней знакомая Софьи Николаевны по Ефремову, молодая жена офицера, служившего в Смоленске.

Евгений Алексеевич решил после лета 1905 года расстаться с Огневкой и купить дом в Ефремове; в его округе летом было приблизительно то, что воссоздано в «Деревне» Бунина (в Дурновке). После пятнадцати лет работы супруги Бунины имели состояние и стали чаще бывать в Ефремове и присматривать недвижимость.

Когда гости на Рождестве собрались уезжать, Иван Алексеевич отправился с ними в Ефремов, где у Отто Карловича и встречал Новый 1906 Год. Память об этой встрече запечатлелась в стихах «Новый Год».

В этих стихах отразился его короткий роман с женой офицера. Летом он на несколько дней съездил в Смоленск, но, кажется, больше сидел в гостинице, чтобы ее не скомпрометировать, — муж у нее был болезненно ревнивым человеком. Иван Алексеевич говорил, что она была прелестна, на редкость легкая по характеру женщина, но жизнь ее с мужем была нудной.

Весной опять Москва, Петербург, устройство литературных дел. Обычное времяпрепровождение — обеды у друзей, сиденье по ночам в ресторанах, затем опять Огневка, — где Иван Алек-

сеевич повидался с отцом, который стал заметно сдавать, — и в Васильевское. Там он много писал стихов, переводил из «Золотой легенды» Лонгфелло и «Годиву» Теннисона.

Муж Маши был призван во время Японской войны, и она с матерью и детьми жила у Пушешниковых. Мария Алексеевна потеряла в этом году младшую дочь. Ласкаржевский еще не вернулся из Сибири. Она, по-бунински, не могла после смерти ребенка оставаться в Васильевском, и они все уехали к Евгению, который сам уже был на отлете. Иван Алексеевич остался у Пушешниковых, где и прожил несколько месяцев.

Есть записи об этом периоде:

«Глотово (Васильевское), 14 мая 1906 года.

Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью, недавно вышедшей из-под снега земли, прелого жнивья. На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом, облачные розоватые горы. Темнеет — в Острове кукушка, за Островом зарницы. И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого вечного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к себе самому), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. Господи, Господи, за что Ты так мучишь нас!»

«Из окна кухни блестели куриные кишки — петух сорвался с места и, угнув голову, быстро, мелко, деловито подбежал, сердито рвет, клюет, обматывает кишку от кишки. Отбежал — и опять набежал, роет».

Летом Иван Алексеевич поехал в Огневку и оттуда со всеми, кроме отца и Настасьи Карловны, в Ефремов.

Остановились на подворье Моргунова. Есть записи его:

«16 июня 1906 г. Ефремов.

Переезд с подворья Моргунова в дом Проселкова, который мы сняли весь за 18 рублей в месяц. От Моргунова впечатление гнусное. Двор в глубоком сухом навозе. Мрачная опухшая старуха, мать хозяина, в валенках... Такие горластые петухи, каких, кажется, нет нигде, кроме постоялых дворов.

Вечером в городском саду. Есть кавалеры и девицы с подвязанными гусками — зубы болят. Некоторые из девиц перед отправлением в сад, моют дома полы, корову доят, а в саду для них гремит кэк-уок».

В начале июля приехал из своей заграничной поездки Юлий Алексеевич. А затем вернулся и Ласкаржевский с войны, привез всем подарки, больше всего чесучи, — всех одел в нее.

Разгон Государственной Думы произвел большое впечатление на всю их семью, а на Ефремов это событие не произвело большого впечатления.

Конечно, без конца обсуждали и причину разгона Думы и «Выборгское воззвание», получали от друзей письма с подробностями, но ясно всего не представляли. Юлий Алексеевич, как всегда, в самом конце июля должен был возвращаться к работе в редакцию. На этот раз он даже не жалел, что отпуск кончается, а Иван Алексеевич его не удерживал, — так было интересно, чтобы Юлий Алексеевич повидался с редакцией «Русских Ведомостей».

В конце августа Иван Алексеевич съездил в Огневку. Это было последнее свидание с отцом, — он еще постарел, но все же не вызывал тревоги за жизнь, по-прежнему, несмотря на слабость, был бодр, шутил, называл себя «Дрейфусом на Чертовом острове», — жаловался он только в шутках.

6

В первых числах сентября Ивана Алексеевича потянуло в Москву. Хотелось самому понять политическое положение, в какое попала Россия после разгона Государственной Думы, повидаться со столичными друзьями, узнать от них то, что не попадает в печать.

В Москве оставался недолго. Много времени проводил с Юлием, который всегда очень хорошо разбирался в политических событиях. Побывал на даче у Телешовых. И поспешил в Петербург. Остановился в Северной гостинице, — из окон его номера был виден памятник Александру III на площади перед Николаевским вокзалом.

Познакомился он со Свечиной, близкой подругой Яворской. Из Одессы в это время приехал Федоров тоже распродавать свой литературный урожай, как всегда, по его мнению, необыкновенно хороший, «никогда я так не писал!». Они много времени проводили в ресторанах и кабаках, много пили в бессонные ночи. Бывали и на литературных собраниях, где входил в славу Блок и другие символисты.

Однажды они с Федоровым, после обеда у Палкина, придя в хорошее настроение, на извозчике стали сочинять совместно нелепое «декадентское» стихотворение, — один придумает строчку, другой вторую — и так, смеясь, сочинили несколько строф и приехали на сборище поэтов, может быть, и на башню Вячеслава Иванова.

К сожалению, я не записала этих виршей. Начинались они так: «О вечный, грозный судия, по улице две...» Остались в памяти еще строчки: «Шпионы востроносые на самокатах жгут. Всем задаю вопросы я, вопросы там и тут»...

Когда они с Федоровым явились на это сборище, Бунин с задором сказал, что вот они только что прочли новые стихи, в которых ничего не понимают. И он с большим пафосом продеклами-

ровал их. Аничков, профессор литературы, вскочил и с запальчивостью воскликнул: «Что ж тут непонятного...» — и стал объяснять.

Бунин, не выдержав, перебил восторженного критика:

— Да мы с Федоровым сейчас на извозчике всю эту белиберду насочинили.

— Вы сами не понимаете, что вы сотворили, — это гениально! — возопил со свойственным ему темпераментом Аничков.

— Но позвольте, — смеясь возразил Федоров, — я понимаю, если бы один из нас создал их, то можно было бы говорить о гениальности автора... Но ведь мы же вдвоем, по очереди, выдумывали эти бессмысленные строчки...

Поднялся крик, шум, чуть дело ни дошло до дуэли между Аничковым и Буниным, но... в конце концов все уладилось...

К октябрю опять Бунин вернулся в Москву, и я второй раз в жизни увидала его у постели несчастного поэта Пояркова. Вид у Бунина был все же свежий, понравился хорошо поставленный голос. Вскоре я услышала, что он опять укатил в Петербург, где вел жизнь еще более нездоровую, чем в сентябре; проводил бессонные ночи, перекочевывал из гостей в рестораны. В Петербурге даже в частных домах начинался вечерний прием чуть ли не с полуночи, и иногда самая тесная компания засиживалась до шести часов утра, как например, у Ростовцевых.

Есть письмо этого времени к Петру Александровичу Нилусу, письмо покаянное: в нем Бунин клянет себя, что «жил в Петербурге безобразно», стал кашлять. «Завтра отправлюсь к врачу, — писал он. — Если врач найдет что-нибудь серьезное, то я поеду на юг». Что нашел доктор, я не знаю; вероятно, ничего угрожающего. И Иван Алексеевич остался в Москве.

В ту осень стал выходить «Перевал». Его издатель Ланденбаум, молодой человек, большой поклонник Бунина, назвал журнал «Перевалом». «В честь вашего рассказа», говорил он Ивану Алексеевичу у Яра, когда возил всех своих сотрудников по ночным ресторанам.

Остановился Иван Алексеевич опять в меблированных комнатах Гунст — вблизи Юлия Алексеевича, с которым вошло в привычку видаться каждый день, — ему нравился тихий переулок в этой части Москвы.

Часто в этот приезд бывал у Телешовых, и Елена Андреевна строила планы: ей хотелось предоставить Ивану Алексеевичу рядом с ними маленькую квартиру. Телешовы недавно переехали на Покровский бульвар в дом ее брата А. А. Карзинкина, который жил в большом особняке. Из синей, со старин-

ной мебелью, его гостиной открывался чудесный вид на Кремль.

Елена Андреевна понимала, что Иван Алексеевич страдает от своего одиночества и потому так мечется по белому свету. Она высоко ценила его, как поэта и писателя, понимая, что гостиничная жизнь в Москве вредна и для здоровья и для писания.

Они обсуждали это: «Если вам будет скучно, — мечтая, говорила она, — вы всегда можете прийти к нам, а если мы надоели, то вы будете сидеть у себя. Один минус: далеко от Юлия Алексеевича, но раз в день можно и к нему слетать на извозчике, да и в Кружке вы можете встречаться; будете с Колей туда ездить...» Елена Андреевна и мне рассказывала об этой ее мечте. Ивана Алексеевича трогала заботливость такой незаурядной женщины, которую он очень любил, но он отвечал, хотя и с искренней благодарностью, но как-то неопределенно.

За 1906 год написано было 26 стихотворений, среди них: «Ветви кедра — вышивки зеленым», «Панихида», «Люблю цветные стекла окон», «Дядька», «Геймдаль», «Огромный, красный, старый пароход», «Петров день», «В порту», «Стрижи», «Растет, растет могильная трава».

В этом же году вышли «Третий том» его стихотворений в «Знании» и перевод «Каина» в издательстве «Шиповник».

7

4 ноября 1906 года я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет одиннадцать, как и со всей ее семьей. У Зайцевых был литературный вечер с «настоящими писателями: Вересаевым и Буниным», как сказала мне Вера Алексеевна, приглашая меня.

Вернувшись из химической лаборатории, я, наскоро пообедав и переодевшись, отправилась к Зайцевым. Шла быстро, боясь опоздать к началу чтения, — жили мы очень близко. И никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба.

Я никогда не хотела связывать своей жизни с писателем. В то время почти о всех писателях рассказывали, что у них вечные романы и у некоторых по несколько жен. А мне с юности казалось, что жизни мало и для одной любви.

По дороге я представляла себе двух «настоящих» писателей», обоих я видала: В. В. Вересаева в Художественном Круж-

ке на реферате о его «Записках врача», когда шел бой между поклонниками этого произведения и порицателями. Была я минувшей весной в Петербурге на его вечере, где он читал свое произведение. Это был невысокий, с широкими плечами человек, лет сорока, с лысиной и в очках на большом плотном носу. Мне было интересно читать его произведения, — в них он писал о молодежи и о «проклятых вопросах», которые я не умела разрешать. Облик Бунина был совершенно иной: при встречах я видела стройного человека, выше среднего роста, хорошо одетого.

О Бунине в Москве уже говорили. Некоторые мои знакомые ставили его выше «декадентов»: Брюсова, Бальмонта и других, ценили книги его стихов, особенно те, кто жил в деревне и чувствовал природу. Были среди них и поклонники его прозы. Одна приятельница мамы читала наизусть отрывки из его «Сосен».

Я с детства любила литературу, недурно ее знала, следила за всеми новинками. Чтение было одним из моих любимых занятий. Писатели интересовали меня, но я их сторонилась. Никогда не обращалась я с просьбой к Зайцевым позвать меня к ним, когда у них кто-нибудь из писателей бывал запросто. Но молодых, московских я все же у них встречала, как, например, Койранского, Высоцкого, Стражева (который бывал и у нас и которого я и познакомила с Зайцевыми), но я не относилась к ним серьезно: уж очень все они еще были молоды. Встречала их и в Художественном Кружке.

В том году (о чем я после узнала) Ивану Алексеевичу только что исполнилось тридцать шесть лет. Но он показался мне моложе.

Я знала, что он был женат, потерял маленького сына и с женой разошелся задолго до смерти мальчика. Знала и мнение матери Лопатиной, что причина болезни Екатерины Михайловны — женитьба Бунина. Это мнение разделяла и моя мама. Говорили также, что до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем — я не знала: имен не называли.

Иногда я думаю, почему я не назвала себя, — хотя он назвал себя, — когда мы встретились с ним у постели больного Пояркова? Правда, я была еще очень застенчива, но, может быть, и из-за подсознательного страха, что вдруг увлекусь. Но, видимо, прав русский народ, говоря, что «суженого конем не объедешь».

Вот с каким сложным и столько уже пережившим человеком мне пришлось 4 ноября 1906 года по-настоящему познакомиться и потом прожить сорок шесть с половиной лет, с

человеком ни на кого не похожим, что меня особенно пленило.

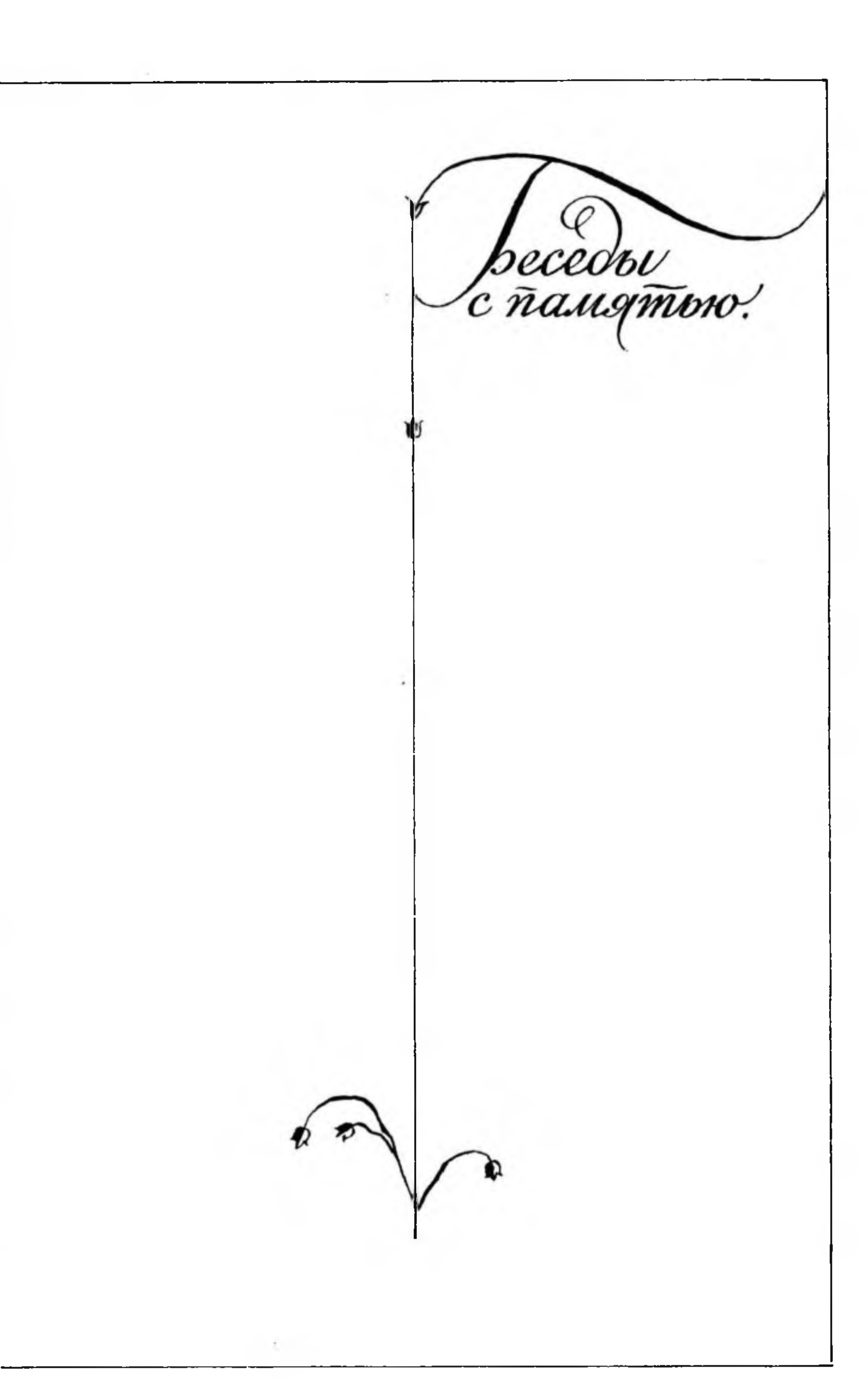
Подробно о нашей встрече с Иваном Алексеевичем я написала в своих неопубликованных воспоминаниях.

Отделила я «Жизнь Бунина» от своих воспоминаний потому, что у меня очень различное отношение к нему: одно — к тому периоду, когда я его не знала, а другое — в пору нашей совместной жизни. Такое же разное восприятие у меня и его произведений: напечатанным до меня, и совсем иное — к написанным при мне.

Удалось ли дать его подлинный образ, судить не мне, я старалась даже в самых для меня трудных местах быть правдивой и беспристрастной, — насколько это, конечно, в силах человека.

ПАРИЖ, 4 декабря 1957 г.




Беседы
с памятью.



О, память, ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие в мечтах мне снова милы.

Е. Баратынский

НАШИ ВСТРЕЧИ

1



Иваном Алексеевичем я знакомилась трижды, о двух первых встречах я упомянула в «Жизни Бунина». Они были мимолетны. Пишу теперь о третьей.

Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери квартиры Зайцевых и увидала в передней груду верхней одежды.

Доносилось невнятное чтение Вересаева.

Досадно: опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения.

В кабинете хозяина было тесно: сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. Много знакомых лиц: дородная высокая фигура поэта Кречетова, редактора журнала «Перевал»; красивый профиль П. К. Иванова; с отрочества знакомое лицо Пати Муратова; ироническая улыбка Саши Койранского, говорящая о его отношении к рассказу; застенчивый аскетический силуэт поэта-философа Диесперова; ассирийская борода поэта Муни; небольшой, худой литератор Борис Гривцов, муж моей знакомой, в девичестве Кати Урениус.

В комнате полумрак, освещена только рукопись на маленьком столике. Всех не могу разглядеть. Несколько склоненных женских голов в разнообразных прическах, несколько устремленных вверх лиц.

После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос.

Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. Стихи были из его последнего третьего тома, выпущенного издательством «Знание», или совсем новые: «Сапсан», «Панихида»,

«Цветные стекла», «Один», «Густой зеленый ельник у дороги...», «Растет, растет могильная трава...», «Проснусь, проснусь — за окнами в саду...» и «Сириус».

Затем вразвалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ «Полковник Розов».

После его чтения я через комнату Стражева, который снимал вместе с Зайцевым эту квартиру, перешла в кабинет, но и там пришлось стоять.

Началось выступление более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои «песни». Кречетов пел их громким басом, Муни был едва слышен, Стражев читал как-то презрительно, Ходасевич, самый юный, но уже женатый, закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием, запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов: «Елкич с шишкой на носу». Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание.

После чтения хозяйка со свойственной ей живостью пригласила всех закусить. Во всю длину узкой столовой был накрыт белой скатертью раздвинутый на все доски стол, вокруг самовара чашки, дальше бутылки, окруженные стаканами, груда тарелок, с ножами и вилками, холодные блюда.

Разместились в большой тесноте. Я была знакома почти со всеми.

Привлекал меня Бунин. С октября, когда я с ним встретилась у больного поэта Пояркова, он изменился, похудел, под глазами — мешки: видно было, что в Петербурге он вел, действительно, нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучше.

Я вспомнила его в Царицыне, когда впервые, почти десять лет назад, увидела его в погожий июньский день около цветущего луга, за мостом на Покровской стороне с Екатериной Михайловной Лопатиной. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово.

Сразу же начался бессмысленный, но в то же время частый спор: что лучше — Москва или Петербург? И, конечно, каждый остался при своем мнении. Разговор перешел на писателей, поэтов. Бунин высмеивал «декадентов», и здешних, и тамошних. Большинство из гостей заступалось и нападало на него, но он с редким остроумием парировал удары, весело изображая то голосом, то жестом этих поэтов, чем вызывал дружный смех; на остром красивом лице хозяина загадочно играла улыбка.

«Декадентки» тоже негодовали, взвизгивали, а потом заливались смехом. Они были двух родов: одни тихие, молчаливые, как, например, Женя Муратова в розовом тарлатановом стильном платье, причесанная на прямой пробор с косами на ушах, или Катя Гривцова с большими черными озаряющими лицо глазами, или красивая артистка Рындина, жена Кречетова, или Ма-

рина Ходасевич, высокая, гибкая, с острым белоснежным лицом, с гладко притянутыми соломенными волосами, всегда в черном платье с большим вырезом. Другие шумные, живые, а во главе их хозяйка дома, хорошо сложенная, тонконогая, с высокой золотистой прической, вся устремленная ввысь, умевшая привлекать к себе сердца, а рядом с ней ее закадычная подруга Любочка Рыбакова, поражавшая огромными темными глазами, с угольными локонами вдоль щек, вечно кем-нибудь увлекающаяся. Были тут и сестры Заболоцкие, Тоня и Зиночка, с милыми простыми лицами, страстные поклонницы писателей и поэтов.

Разговор коснулся Андреевых, живших в то время в Берлине. Зайцев сообщил, что он недавно получил письмо от Леонида: они ждут появления на свет второго ребенка.

Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной стене и остановилась в раздумье: не отправиться ли домой?

В дверях появился Бунин.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

Я рассердилась, но спокойно ответила:

— Так же, как и вы.

— Но кто вы?

— Человек.

— Чем вы занимаетесь?

— Химией.

— Как ваша фамилия?

— Муромцева.

— Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?

— Да, это мой двоюродный дядя.

— Я иногда видаю его на станции Измалково.

Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома.

— Но где же я могу вас увидеть еще?

— Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. Сегодня не считается: все думают, что я еще не вернулась из Петербурга...

В этот момент влетела Верочка Зайцева:

— Вот где ты, Ваня, иди к нам, там Марина тебя ждет...

— Сейчас.

И они направились в комнату Стражева.

Я услышала упреки Верочки и оправдания Бунина, мне стало неприятно. Я направилась в переднюю и, увидав, что кабинет пуст, вошла в него. Села в кресло с высокой спинкой и стала думать: почему Бунин сразу понял, что я не «декадентка», хотя на мне было тоже платье с высокой талией и причесана я на прямой ряд?

Вошли Петр Константинович Иванов и Виктор Иванович Стражев. Оба бывали у нас. П. К. Иванов, высокий брюнет,

страстный театрал, сотрудник газет, издавший свою книгу «Студенты» и «Дама в синем», был в этом году выбран секретарем Литературной Вторичной Комиссии Художественного Кружка. Он со студенческих времен вел светский образ жизни, посещал некоторые открытые дома: Желябужских, Варвары Алексеевны и Маргариты Кирилловны Морозовых, Лосевых, был своим в их особняках.

Виктор Иванович Стражев стал нашим гостем в первых годах нынешнего столетия. Мои родители с братом Митей, тогда еще гимназистом, встретили Стражевых на волжском пароходе, сначала повздорили на политические темы, но к концу путешествия подружились. Маме моей, читавшей только «Русские Ведомости», живой и страстной, удалось переубедить новых своих друзей, и они с тех пор бросили читать правую газету «Московские Ведомости». Он преподавал в третьей мужской гимназии литературу и подвизался на сцене. Жена его была актрисой, милая полная женщина. У них уже было четверо детей, но они жили в меблированных комнатах, своей кухни не имели.

Года два назад Стражевы разошлись.

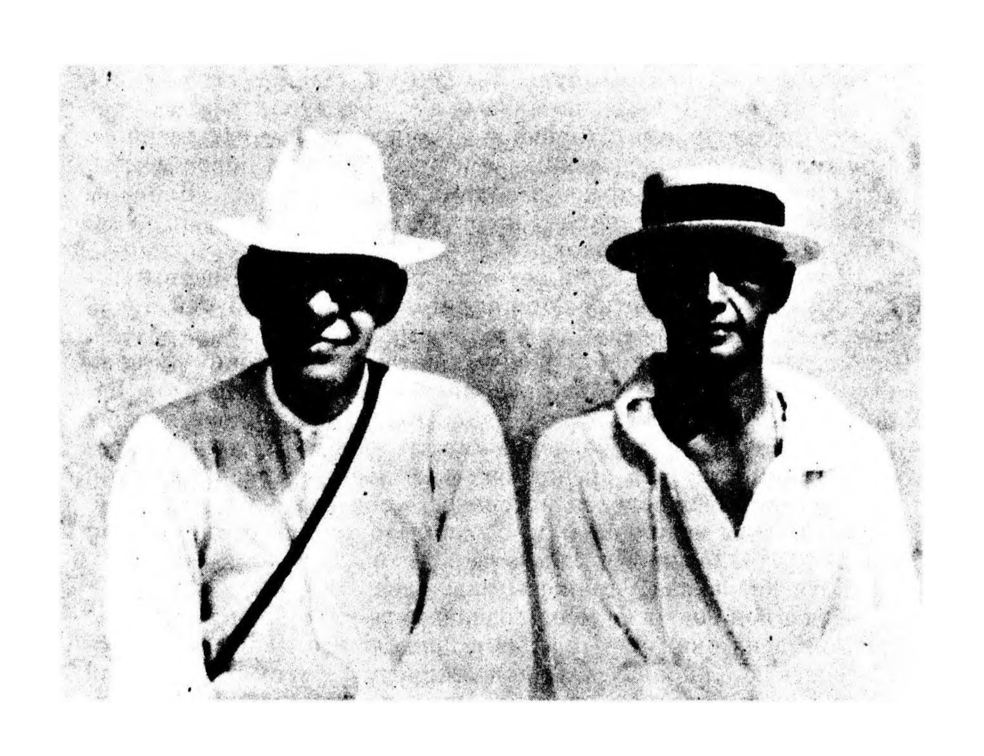
Как-то он попросил меня познакомить его с Зайцевым, которого он ценил как писателя. И я привела его к ним на Спасо-Песковскую площадку. Они подружились и в этом году решили вместе снять квартиру, нашли ее на стыке Спиридоновки и Гранатного переулка, в доме Армянского.

Мы немного поболтали, я смотрела то на стройную фигуру Стражева, то на красивое лицо Иванова. И вдруг мы решили отправиться в Художественный Кружок. Не прощаясь, укатили, взяв извозчика, на Большую Дмитровку.

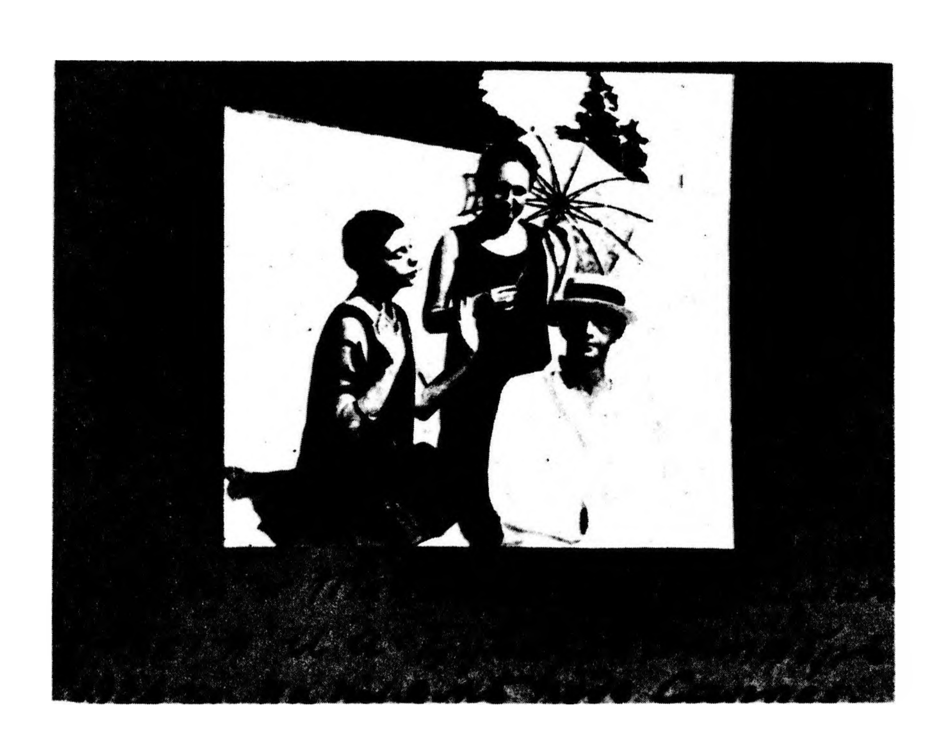
В Кружке было уже пустынно; в этот час посетители его находились в игорных залах, куда мы не заглянули. Посидев недолго в одной из гостиных, мы поехали домой, все жили близко друг от друга.

Я прошла в наш особнячок со Скатертного переулка, через двор и кухню, чтобы не будить горничную. Клонило в сон. В этом году на курсах кипела работа. Устали от политики, и всем хотелось учиться. Лаборатории были переполнены. Я решила серьезно заняться химией, написать работу у нашего профессора по органической химии Н. Д. Зелинского, взяв у него тему. Заставляла себя этим предметом заниматься по утрам, вставала до зари.

Бунина, как писателя, я знала недостаточно, читала в сборниках «Знания» его рассказы и стихи. Засыпая, вспомнила именины свояченицы Зайцева, Тани Полиевктовой, самой красивой из всех сестер Орешниковых, жившей в казенной квартире на Девичьем Поле, ее муж был доктор по детским болезням. День был морозный, солнечный, в маленьком домике было очень уютно, в детской играли прелестные дети, три девочки и мальчик. Во время именинного завтрака раздавался смех, — все Орешни-



Фотография с надписью Бунина:
«С. В. Рахманинов и И. А. Бунин. Лето 1926 г.
Cannes, A⟨lpes⟩ M⟨aritimes⟩».



Фотография с надписью Бунина:
«Ирина и Таня, дочери С. В. Рахманинова, и И. А. Бунин.
Сентябрь 1926 г. на пляже под Cannes».

ковы были остроумны, талантливы, некоторые очень живы, а потому с ними всегда бывало весело: одна расскажет анекдот, другая представит кого-нибудь, третья сыграет на рояле вальс, да так, что заслушаешься, четвертая пропляшет, а мать, высокая полная женщина необыкновенной красоты, все повторяет: «В моих дочерях столько разной крови, что они все талантливы, а некоторые — как шампанское».

На этих именинах был еще их кузен Вася Сахновский, будущий режиссер Художественного театра, гимназист пятого класса, учившийся вместе с моим братом Митей.

В гостиной на столе лежала январская книга «Мира Божьего».

Верочка предложила:

— Хотите, я прочту «Осенью» Бунина, рассказ не длинный.

Все обрадовались, она читала хорошо. Рассказ произвел впечатление. Я прозу Бунина слушала впервые, мне она понравилась. Все молчали. Затем разговор перешел на автора. Вспомнили, что он женился на красавице гречанке, но быстро расстался с ней. Мама рассказала его «историю» с Лопатиной, о ее болезни.

2

В воскресенье, после зайцевского вечера, можно было выспаться. Днем к нам забежала Верочка и сообщила, что они вчера все отправились в «Большой Московский». Передала, что Бунин в следующую субботу придет к нам вместе с ними, и вихрем куда-то умчалась.

В субботу, когда я вернулась домой из лаборатории, стол был уже раздвинут на все доски, и братья с горничной накрывали его скатертью. Ими была куплена огромная бутыль красного вина, они сказали, что будет много народа, они тоже пригласили своих друзей.

Я едва успела переодеться, как начались звонки. Пришли Зайцевы, Стражев, П. К. Иванов и с ними Бунин. Все уселись в гостиной на нашем огромном полукруглом старинном диване.

Бунин жаловался на головную боль и попросил черного кофея. Сказал, что он ненадолго, так как дал слово быть у Дживелеговых.

— У вас отдельная комната? — обратился он ко мне.

— Да.

— Можно ее посмотреть?

И я повела его через мамину спальню в свою узкую, длинную комнатку, в которой все было, что нужно для жизни: за ширмочкой — кровать, тумбочка, а против двери письменный ореховый стол со многими ящиками, сзади него, у печки, крохотный будуарный диванчик, два мягких стульчика, по обоим сторонам стола. В углу, у окна, выходившего на юг, в палисадник, туалетный стол, покрытый белым тюлем, перед ним пуф, а на-

против, в рост человека, черный шкап, над которым висела этажерка с книгами. И, конечно, с потолка спускался неизменный фонарик.

Бунин окинул взором комнату, внимательно взглянул на стену со снимками, потом сел у стола справа, я села за стол. Немного помолчали.

— Поедемте на самый север Финляндии. Там снега, олени, северное сияние.

— Поедемте, — и я увидела и северное сияние, и оленя, уносящего «от смерти красоту», и очень удивилась сама своему согласию, но добавила: — Я больше всего люблю путешествия по тем местам, куда почти никто не ездит, один раз на Кавказе в восемнадцать лет я дорого заплатила за это. А северное сияние меня манит с детства.

Поговорив еще минут двадцать, мы услышали голоса из столовой, звавшие нас.

В столовой все места были заняты, кроме двух на противоположных концах длинного стола. Я села у итальянского окна, а Бунин близ большой белой кафельной печки, недалеко от Стражева и Зайцевых. Я осмотрела гостей: все в сборе. Вот близкий мне человек, Зоя Шрейдер, красивая женщина рядом с Зайцевым, ее муж из многочисленной семьи Шрейдеров; далее хорошенькая Оля Кезельман с мужем, которого я знала еще гимназистом пятой гимназии. Оля дочь известного историка Иловайского, с ее покойной сестрой Надей я была закадычной подругой в гимназии, а Оля стала после своего замужества своей в нашем доме, так как родители ей не простили, что она вышла замуж против их воли за человека с еврейской кровью. Против нее ее племянница, Лёра Цветаева, дочь профессора Ивана Владимировича и единокровная сестра Марины. Рядом с ней невзрачный репетитор ее брата Андрюши. Далее подле брата Мити, Эльза Адам с очень оригинальной наружностью: золотые волосы и черные глаза. С другой стороны — друг Мити Сережа Одарченко, большой комик, всегда в кого-нибудь безнадежно влюбленный. Тут же сидел профессор Горбунов «с унылым носом», как его охарактеризовал Бунин; а около профессора наша курсистка Вера Грунер, уже принадлежавшая к партии большевиков, подле нее Борисова, далее с братом Павликом сидела Сонечка Субботина, мечтавшая о сценической карьере.

Профессор Горбунов сцепился с Буниным из-за стихов Минского «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», доказывая, что в них нет ритма.

— Вы ошибаетесь, — возразил Иван Алексеевич, — в этих стихах ритм отличный, — и он прочел несколько строф.

Но Горбунов продолжал оспаривать, и, чтобы прекратить нелепый спор, Бунин язвительно сказал:

— Ну, вам и книги в руки, — и, обратившись к Зайцеву, заговорил с ним об Андреевых.

Зайцев сообщил, что от Добрых, родственников Андреевой, они узнали, что Александра Михайловна чувствует себя неплохо, роды должны быть в конце этого месяца.

Неожиданно Бунин спросил:

— У вас есть Чехов? Я хочу прочесть вам его рассказ.

Младший брат мой Павлик принес ему томик Чехова. Все оживились, знали, что даже сам Антон Павлович любил слушать свои рассказы в чтении Бунина.

Какой это был рассказ, я забыла. Помню, что мы смеялись, действительно, Бунин читал мастерски.

Время шло, а он, видимо, и не помышлял о Дживелеговых, мне было приятно: я знала, что у Дживелеговых собирался цвет московского общества: знаменитые артисты, видные адвокаты, известные журналисты, модные врачи, а между тем Бунин явно предпочитал нас.

Мама была под Петербургом, в Сосновке, а папа в этот вечер не вышел, вероятно, очень устал, может быть поэтому и было непринужденно и весело.

Когда поднялись из-за стола, то все разбрелись по нашей большой гостиной. Мы с Буниным, желая вознаградить себя за далекое расстояние в столовой, сели на диванчике недалеко от большого книжного шкапа красного дерева. Бунин стал приглашать меня на заседание «Общества Любителей Российской Словесности», которое назначено послезавтра в Актовом зале университета. Там будет говорить председатель Общества, сам Петр Дмитриевич Боборыкин, потом Вересаев прочтет рассказ о войне, а затем с новыми стихами выступит и он...

Я ответила уклончиво, объяснив, что мне в будни трудно бывать где-нибудь по вечерам, я встаю рано, до зари, чтобы готовиться к экзамену по органической химии, что мне невыносимо трудно будет слушать, будет клонить в сон, к тому же акустика в этом зале отвратительная.

— Это правда, но все же приходите.

Твердого обещания я не дала.

Было уже два часа ночи, когда стали собираться по домам. Поднялся чуть ли не в передней какой-то спор, особенно кричал, что-то доказывая, Иванов, уже тогда начинавший глохнуть. Когда гости ушли, папа, который очень редко выходил из себя, выскочил в халате и обрушился на нас:

— Кто так кричал? Я не мог спать!

На другой день к нам прилетела Верочка:

— Бунин только что звонил нам по телефону, умоляет, чтобы я уговорила тебя пойти со мной на заседание в университет.

Я согласилась.

На следующий день, 13 ноября, я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкапа. Меня вызвали к телефону, который находился в комнате рядом.

Я услышала голос Бунина:

— Пожалуйста, будьте сегодня на заседании, уверяю вас, вы не раскаетесь, Вера обещала за вами зайти.

Я сказала, что буду.

Когда я вернулась к своим занятиям, то курсистки спросили, почему у меня такое радостное лицо? В этот вечер я пробыла там до половины восьмого. Дома быстро поела и стала переодеваться.

Звонок — и через минуту вошли Верочка Зайцева и сестра ее Таня.

Таня поражала своей итальянской красотой, ведь их бабушка, урожденная Бруни, родственница художника. Несмотря на уговоры, Таня с нами не пошла.

3

Через четверть часа мы поднимались по мраморной лестнице старого университета, ведущей в Актовый зал. Мы не опоздали, но зал был переполнен. Первое, что бросилось мне в глаза при входе, вертящийся затылок Бунина. Видимо, он меня ждал. Я остановилась у средней мраморной колонны, Верочка быстро исчезла, у нее везде было много знакомых. Я стала рассматривать эстраду, — огромная, во всю ширину зала, она была полна. Все члены Общества были налицо, этот вечер вызвал интерес и у них, и у публики. Желающих было столько, что пришлось перенести заседание из обычной небольшой старой библиотечной залы сюда.

Бунин сразу заметил меня и, спрыгнув с эстрады, подбежал ко мне:

— У вас нет места! Пойдемте на эстраду!

— Что вы! С какой стати! Неужели вы думаете, я сяду среди этих бородачей и седых голов, одна Лопатина еще поражает молодостью.

— Ну, как хотите, — и он кинулся к своему месту, но на эстраду не поднялся, а схватил стул с нее и поставил его передо мной.

Я так растерялась, что весь вечер простояла.

Бунин был участником этого вечера, меня тоже кой-кто знал, а потому неудивительно, что стали говорить о нас.

Первым выступил сверкающий голой головой и белоснежным бельем Петр Дмитриевич Боборыкин. Он прежде всего предложил вставанием почтить память знаменитого адвоката В. Д. Спасовича. Затем сделал о нем доклад, вызвавший аплодисменты. Акустика в этом зале, как я уже писала, отвратительная, и многое трудно было расслышать.

После доклада Боборыкина был объявлен перерыв. Я вышла одна к широкой мраморной лестнице и стала смотреть на поднимающуюся и спускающуюся публику. Неожиданно я услышала знакомый голос:

— А, вот вы где!

И Бунин, остановившись рядом со мной, облокотился на мраморный парапет.

— Вам не скучно жить?

— Нет. А вам?

— Мне не скучно, я поэт.

Я не поняла, почему поэтам не бывает скучно, но не спросила.

— Поедемте после в Большой Московский, — предложил он.

— Поздно будет, а мне рано вставать.

— Ну что за пустяки, поедемте. Я сейчас отыщу Зайчиху, и она вас уговорит.

Через несколько минут они оба были около меня. Верочка тоже стала упрашивать, и я не устояла.

Вернулись в зал.

Первым читал В. В. Вересаев свой новый рассказ «В мышеловке», тема из японской войны. Читал тихо, и почти ничего не было слышно. После него поднялся Бунин. Он прочел сначала свой перевод «Годива» Теннисона. Затем длинные стихи «Джордано Бруно», потом сонеты «Египет», «Истара», после «Один», «Цветные стекла» и «Панихида». Доносились только некоторые строки из этих стихов, то, что он читал у Зайцевых, я по этим строчкам их узнавала.

Окончилось это собрание рано, в одиннадцатом часу. Иван Алексеевич звал с нами в ресторан своего брата. Но Юлий Алексеевич, с которым я здесь и познакомилась, кому-то уже дал слово вместе ужинать. Небольшого роста, полный, — лицом братья были похожи, — а ему было под пятьдесят.

До «Московского» мы дошли пешком. Это недалеко. И все же, когда пришли, то в ресторане было пусто. Иван Алексеевич попросил отвести нам кабинет во втором этаже, выходивший в белый зал, чтобы мы могли видеть публику, которая приезжает из театров, с концертов. В зал мы не решились войти, слишком просто, не по-вечернему были одеты.

Я отказалась от еды, сославшись на то, что поздно обедала, я считала, что неудобно ужинать на деньги человека малознакомого, а денег со мной не было. Пока они заказывали себе что-то рыбное, я смотрела на ослепительно освещенный зал, на дам в вечерних туалетах, на мужчин в смокингах и в мундирах.

Когда половой ушел, Верочка сказала:

— Знаешь, Иван, одна знакомая спросила: «Бунин — декадент?» И когда я ответила ей: «Нет, что вы! какой же он декадент!» — то она не поверила. Вот дура!

Мы смеялись. Оба мои спутника были в ударе, а потому все время было очень оживленно и весело. Говорили и о моем дяде, и о Предтечеве, это, оказывается, село, где его имение. Иван Алексеевич сообщил, что его отец был приятелем его родителя и дяди, которого прозвали «раздраженный улан». Я с детства

запомнила Алексея Алексеевича — высокого военного в серой шинели и фуражке с желтым околышем. Запомнился разговор о какой-то чете, жена была старше мужа:

— Ну что ж, кто любит телятину, — заявил он, — а кто говядину...

Я, конечно, в те далекие времена, не поняла смысла его слов, но их запомнила. Рассказала об этом теперь, и мы очень смеялись.

Когда принесли ужин и белое вино, Иван Алексеевич спросил:

— Но от вина вы, конечно, не откажетесь?

И я не отказалась. Мне хотелось есть, но я стойко смотрела на вкусные блюда. Мы очень долго сидели, время не шло, а летело, было необычайно весело. Уходили мы из ресторана чуть ли не последними. Меня удивило, что и подававший половой и швейцар были необыкновенно дружественно любезны с Буниным. Он объяснил, что давно бывает здесь, а иногда и останавливается, так как при ресторане есть номера. Он поехал нас провожать, неожиданно на извозчике я почувствовала какое-то непонятное для себя родственное чувство, мне стало казаться, что я знала его давным-давно. И на следующий день, рассказывая младшему брату Павлику, с которым я была особенно близка, об этом вечере, я неожиданно для себя призналась ему:

— Знаешь, кажется, на этот раз я не вывернусь, — и, сказав это, я удивилась своим словам.

4

На другой день мы опять встретились с Буниным в Кружке на чьем-то докладе, потом ужинали вместе с Юлием Алексеевичем, Зайцевым, Койранским и Телешовым, которого я знала с отроческих лет по Царицыну. Как всегда теперь, в компании с Буниным мне было весело и радостно. Иван Алексеевич поехал меня провожать. Была мягкая погода, он предложил покататься, и мы долго колесили по Москве. Доехали до Девичьего Поля, до самого монастыря. Он стал просить меня, чтобы я как-нибудь зашла к нему. Он живет в меблированных комнатах, очень тихих, Гунст, в Хрущевском переулке, рядом с особняком Лопатиных. И тут он разъяснил мне их «историю». Екатерина Михайловна нервно заболела потому, что у нее был роман с психиатром, который лечил ее покойного старшего брата, Николая Михайловича, собирателя русских народных песен.

Николая Михайловича я знала, он был сослуживцем моего отца. Я видела его раз на белой лошади, в белой косоворотке, белом картузе, когда он приехал к папе в Волынское, где мы проводили лето, мне тогда шел девятый год.

Свой роман с психиатром Екатерина Михайловна скрывала от семьи, а с Иваном Алексеевичем она дружила, держала с ним

корректуру своего романа «В чужом гнезде», и он был в курсе ее тяжелых романтических переживаний.

Когда осенью 1898 года он женился, а она, порвав с психиатром из-за связи его с француженкой, — у них была дочка, — нервно заболела, то ее мать, как и вся их семья, считали, что эта болезнь вызвана женитьбой Бунина.

Останавливаюсь я на этой драме потому, что моя мама, узнав из писем моих приятелей о том, что Бунин «ухаживает» за мной, испугалась, зная от матери Екатерины Михайловны причину болезни ее дочери.

Мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами.

— Вот о какой науке я не имею ни малейшего понятия, так это о химии, — сказал он со своей очаровательной улыбкой.

Номер его находился на верхнем этаже. Лифта не было. Комната просторная, не очень светлая, с одним окном, выходившим во двор. Рядом с окном близко у стены — большой письменный стол, за ним кресло. На столе кипа только что вышедших книг в светло-зеленых обложках: его третий том в издании «Знания». Далее вдоль этой же стены — огромный диван, на котором мы всегда коротали время.

Кровать была за деревянной высокой перегородкой, направо от входной двери.

В следующую субботу у нас гостей было мало. Бунин пришел один. Из литераторов был только П. К. Иванов, из друзей Шрейдеры, Кезельманы, из приятельниц Баранова и Вера Грунер. Мы недолго посидели в столовой, и, чтобы не беспокоить папу, я предложила пойти в мамину комнату. По дороге Иван Алексеевич сказал:

— Хотите, я напишу о вас сонет?

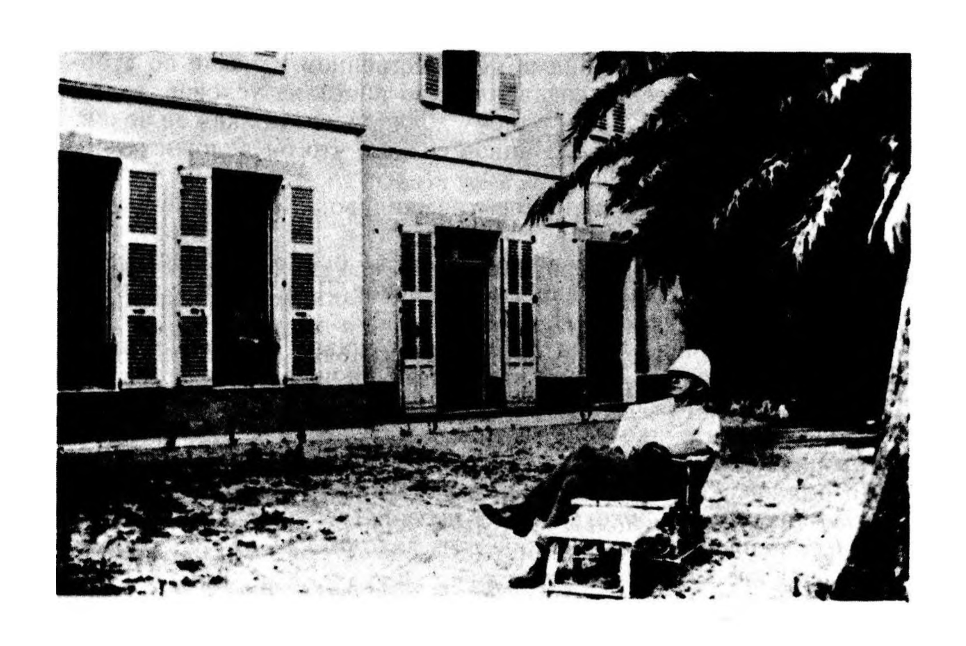
Я очень смутилась и от застенчивости глупо ответила:

— А вы меня в нем не испортите?

Он засмеялся.

Спальня мамы тоже была с итальянским большим окном, она больше походила на будуар. Короткая тахта, сделанная по ее росту, — мама была очень маленькая, — кушетка для дневного отдыха, письменный столик с палитрой, в которую вставлены портреты писателей, красного дерева комод. Над тахтой большое овальное зеркало. На полу ковер. С потолка свешивался фонарик. У высокой выдвинутой в комнату печки небольшой стол, за которым мама чинила белье, штопала, читала.

Когда все разместились, Иванов обратился к Бунину с пред-



Вилла «Бельведер», Грасс, 1926.
И. А. Бунин, В. Н. Бунина в окне рабочего кабинета Ивана Алексеевича.

ложением сделать доклад в Художественном Кружке во вторник. Иван Алексеевич согласился, но поставил условие, чтобы ему заплатили, как иногороднему докладчику, так как он не живет постоянно в Москве. Иванов сказал, что он доложит о его условии в комиссии.

— А заглавие доклада моего заманчиво: «Золотая легенда».

И во вторник, 21 ноября, он читал о «Золотой легенде». В это время он переводил произведение Лонгфелло под этим заглавием.

Еще до начала Саша Койранский сказал, что они решили с Сашей Брюсовым возражать, что бы ни читал Бунин, так как они завтра уезжают в Париж.

И действительно, они участвовали в прениях, и несли, как говорилось у Буниных, «и с Дона, и с моря», но все очень весело. Возражал и В. Я. Брюсов, начав словами: «Прекрасная речь господина Койранского», и с несвойственным добродушием разнес и докладчика, и оппонентов, дело шло об эпохе, которую он знал превосходно.

По окончании прений мы в большой компании ужинали, и было особенно оживленно. Все решили ехать на следующий день провожать двух Саш на Брестский вокзал.

После Кружка мы катались немного по московским улицам, Иван Алексеевич сказал:

— Я отношусь к вам, как к невесте.

Вечером мы встретились на Брестском вокзале, проводы были многочисленные и шумные, хотя Саша Койранский находился в тяжелом душевном состоянии, ему хотелось бежать из Москвы и пожить на парижской мансарде где-нибудь на Бульмише... Денег у обоих путешественников было в обрез.

На этот раз Иван Алексеевич поехал провожать красавицу Марину Ходасевич.

Как-то у нас зашел разговор, — я сидела у Ивана Алексеевича, — о петербургских декадентах, и я попросила его рассказать о мистификации, о которой я слышала еще до знакомства с ним. Он объяснил удачу этой мистификации тем, что, по его мнению, поклонники декадентов ничего не понимают в поэзии, а притворяются ценителями. И вот они с Федоровым на извозчике сочиняли — строчку один, строчку другой, — а приехав на сборище поэтов, Иван Алексеевич сказал: «Вот мы прочли только что стихи и ничего не понимаем в них».

Я привожу их целиком, во время писания «Жизни Бунина» их у меня не было, и я не так привела первую строку.

О, верный, вечный, помнишь ты
На улице туман?
Две девы ищут комнаты.
Идет прохожий пьян.

Шпионы востроносые
На самокатах жгут.
Всем задаю вопросы я,
Вопросы там и тут.
Но на вопросы пьяные
Ответа нет и нет.
Сквозь сумерки туманные —
Холодный белый свет.

И тут он в лицах изобразил всю сцену, о которой я уже писала в «Жизни Бунина».

Однажды, когда я опять зашла к Ивану Алексеевичу, он поведал мне свое заветное желание — посетить Святую Землю.

— Вот было бы хорошо вместе! — воскликнул он. — С вами я могу проводить долгие часы, и мне никогда не скучно, а с другими и час, полтора невмоготу. У нас с моими племянниками уговор: когда я жду гостью в таком-то часу, то один из них часа через полтора стучит ко мне в дверь:

«В Москве из деревни Петр Николаевич, ему очень нужно тебя видеть, а завтра он возвращается домой».

— Петр Николаевич их дядя, мой двоюродный брат, — объяснил мне Иван Алексеевич. — Вот свидание и прерывается, а с вами я не наговорюсь...

Я много узнала уже о его прежней жизни, хотя он рассказывал отрывками, а не подряд. Узнала о его первых литературных шагах. О встрече и даже дружбе с декадентами. Его книга стихов «Листопад» вышла в издательстве «Скорпион», под редакцией Брюсова.

— Вы не можете представить себе, как издатель Поляков, сын фабриканта-миллионера, за каждые пятьдесят рублей торговался, и торг продолжался с двух до семи вечера, а когда мне надоело и я согласился отдать книгу за двести пятьдесят рублей и сговор был совершен, то он вынул из кармана футляр, в котором лежало драгоценное ожерелье, и, показывая его мне, сообщил, что это подарок его любовнице.

— Вот странно, — сказала я, — я хорошо знаю Сергея Александровича, никогда не думала, что он такой... Легко дает взаймы и никогда не напоминает.

— Может быть, а вот за стихи в «Весах» или за книгу — это «с большими слезами, папаша», — смеясь добавил Иван Алексеевич. — Да он и не исключение среди так называемых русских меценатов, на все тратят, а писателям платить не любят, им, видимо, и в голову не приходит, что литераторам есть и пить надо.

5

В пятницу 1 декабря, вернувшись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина: три тома его сочинений и перевод его «Песни

о Гайавате» Лонгфелло, в издании «Знания», «Листопад» в издании «Скорпион», «Новые стихи», издание Карзинкина, и краткую записку, что он едет сегодня вечером с Телешовым по делам в Петербург.

До ночи я читала его стихи, а рассказы взяла с собой на другой день в лабораторию и, как села за свой столик, так не отрываясь прочла весь том с начала до конца.

Мы ждали маму, она должна была приехать к Николиному дню, который у нас всегда праздновался, бывало много поздравителей, почти все оставались и обедать. Я жила в тревоге: из маминых писем поняла, что ей кое-что известно, о чем я умалчивала. Осведомителями оказались мужчины, подруги и приятельницы были благороднее. Я чувствовала, что она испугана: женат, «история» с Лопатиной, легкое отношение к женам среди писателей и поэтов.

Когда она вернулась домой, то сразу же начались разговоры, и моим возражениям она мало придавала значения. К тому же некоторые поддерживали ее в неприятии Бунина.

К моему удивлению, Иван Алексеевич с Телешовым быстро вернулись из Петербурга. Бунин в понедельник, 4 декабря, позвонил в лабораторию. Я сейчас же полетела к нему. Он очень весело и художественно рассказывал об этих днях, изображая всех в лицах. Они попали на вечер, где Волынский «сидел между двух дам, лежавших у него на плечах, и нес такую околесицу, — вспоминал Иван Алексеевич, — что я не выдержал и выбежал в прихожую, за мной, широко шагая, вышел Телешов, и мы отправились к Палкину».

Побывали они и в издательстве «Знание», получили гонорары за свои книги, Бунин за книжки для народа и остаток за «Третий том стихов».

Были на обеде у Куприных. Александр Иванович сделал ему скандал за то, что он поцеловал руку у их бонны, которую Иван Алексеевич давно знал. Она только что вернулась с Японской войны, где была сестрой милосердия.

— Ты, знаешь, что у барышень руки не целуют! — кричал он, налившись кровью.

И я в первый раз услыхала скороговорку Куприна.

Потом он повествовал о своей поездке: как Телешовы прощались, без конца крестили друг друга, целовались. На возвратном пути, в вагоне, Николай Дмитриевич все сокрушался:

— Поиздержался сильно... Что скажу жене?.. Не придумаю...

— А жена, конечно, — смеялся Иван Алексеевич, — даже

удивится, как мало истрачено. Но русский человек, особенно выпивший, всегда играет. А мы, конечно, запаслись вином, да и на станциях Митрич выходил «пивцом освежиться»...

Я очень смеялась, — если закрыть глаза, казалось, сам Телешов говорит.

Я поблагодарила за книги, сказала свое мнение о них. Он улыбаясь заметил:

— Меня удивило, что вы не просили, как это обычно просят девицы и женщины, ни моих книг, ни портрета...

Он не знал моей особенности: я никогда ничего не просила.

6

Николин день.

У нас много гостей.

Часов в пять телефонный звонок; его голос:

— У меня скончался отец. Не можете ли вы приехать?

— Нет, это невозможно, полон дом гостей.

— Ах, как жаль!

— Приеду завтра.

И на другое утро мы увидались. Он за два дня очень осунулся, побледнел. Пришла телеграмма от брата Евгения. Юлий Алексеевич сегодня уезжает в Огневку на похороны, а Иван Алексеевич нет:

— Я не могу... да и Юлий отговорил...

Это меня удивило.

Мы где-то позавтракали; а затем поехали к Юлию Алексеевичу. Встретили его на огромном дворе Михайлова. Он был растерян. Оказалось, что он с вокзала, где обнаружил, что забыл бумажник, вернулся за деньгами. Извозчик ждал его у ворот.

Мы пошли в Нащокинский переулок, где жил Иван Алексеевич. Он был подавлен.

— Вот всегда так: наша любовь и смерть отца точно искупление...

Он долго говорил мне об отце, очень оригинальном и одаренном человеке, но из-за вина и какой-то ненормальной щедрости разорившимся дотла.

— Я считаю, что мой художественный талант от него. А каким образным языком говорил он! И какая скудная и тяжелая жизнь была его последние десять лет! В руки денег дать было нельзя: сейчас появится водка, а во хмелю он бывал буен... Характер же у него на редкость благородный, ложь не переносил, с мнением людей не считался. Любимой поговоркой его была: «Я не червонец, чтобы всем нравиться!» — и в первый раз за весь день Иван Алексеевич улыбнулся.

Сговорились на следующий вечер увидеться в Кружке, а конец сегодняшнего дня и завтра он проведет с Пушешниковыми,

которые тоже огорчены, они любили Алексея Николаевича.

Я же должна побыть с мамой, мы давно не видались. Передала ему, что она встревожена нашим романом.

На следующий день мы были в Кружке. Сидели в столовой, были Телешов и Зайцевы, узнавшие о его горе. Как-то все притихли. Он наклонился ко мне и на ухо сказал:

— Сегодня он первую ночь в земле, как это страшно!

Из Кружка вышли рано и на извозчичьих санках поехали к Девичьему монастырю. Он все говорил об отце, восхищаясь щедростью его натуры, правдивостью, образностью его языка.

— Меня из братьев он больше всех любил: «Старшие сыновья не в меня, — Юлий вечный студент, неловкий, боится на лошадь сесть, Евгений сквалыжник, из-за гроша может выйти из себя... Только ты в меня ловкостью и талантом...»

Вернулся с похорон Юлий Алексеевич. У отца перестали работать почки. Была метель, нельзя было послать за врачом. Он знал, что умирает. Вызвали из Грунина священника, очень грубого. Он причастил его. Похоронили его в селе Грунине. На похороны приехала дочь с мужем, его родная племянница, мать Пушешниковых, и ее брат Петр Николаевич Бунин.

В середине декабря Иван Алексеевич уговорил меня поехать в фотографию Фишера и там сняться. И мы снимались и вместе, и отдельно. Несколько фотографий, уже неповторимых. Мы решили до поры до времени никому не говорить о них, поэтому ограничились только пробными карточками.

Один мой портрет, который ему больше всего нравился, он назвал «Волк», — я, снимаясь, думала, «быть или не быть», так как ответа себе еще не дала.

О Палестине же мы говорили серьезно, но я понимала, что если я решусь и поеду с ним открыто, значит, я делаю бесповоротный шаг и многие родные и знакомые отнесутся к этому отрицательно. Но для меня главный вопрос был в родителях.

Я знала, какая была драма для матери моей близкой подруги Раи Оболенской, когда она стала жить не венчаясь, с большевиком П. В. Мостовенко. Рая отличалась большой принципиальностью и не хотела идти на компромисс. Она тоже была в партии большевиков. Стоило ей это дорого, у нее на нервной почве развилась базедова болезнь.

7

Во второй половине декабря Иван Алексеевич стал поговаривать о деревне. В субботу он пришел к нам, чтобы познакомиться с мамой. Разговор был вялым, Иван Алексеевич находился еще в первой стадии своего горя, был тих и молчалив. Мама не переменила своего отрицательного отношения к нему.

Перед своим отъездом он повел меня к Юлию Алексеевичу, на его пятичасовой чай. Пришли мы немного раньше. Братья Пушешниковы были уже там. Иван Алексеевич все повторял: «Кто был удивлен, так это кролики!..» Фраза из «Писем с мельницы» Альфонса Додэ.

Старший брат Пушешников, студент четвертого курса юридического факультета, выше среднего роста, с серьезным лицом, очень рассудительный, был одарен юмором. Другой — сильный брюнет с маленькими зоркими темными глазками, рассеянный и застенчивый, по словам Ивана Алексеевича, тонко чувствующий литературу. Он учился пению. Голос у него был редкий: баритон бель-канто.

Пушешниковы, действительно, с удивлением смотрели на меня. Юлий Алексеевич принял меня очень радушно. Скоро стали собираться завсегдатаи: Николай Алексеевич Скворцов, журналист леводемократического направления, очень любивший Юлия Алексеевича; живой и чем-то возмущавшийся. Зашел и сотрудник «Русских Ведомостей» с большой черной бородой. Я встречалась с ним у Сергея Петровича Мельгунова, нашего общего приятеля, фамилию его я забыла.

Иван Алексеевич сообщил племянникам, что он думает на Рождество поехать к ним в деревню. Справился, вернулась ли их мать из Орла, где учился в гимназии их младший брат, Петя. И узнав, что она уже дома, воскликнул:

— Вот и прекрасно, поедемте все вместе, не нужно лишний раз посылать на станцию лошадей!

В седьмом часу все разошлись. Юлий Алексеевич отправился со старшим племянником на предобеденную прогулку.

Я была рада его отъезду. Надо было окончательно разобраться в своих чувствах и решить свою судьбу.

Осенью под Петербургом, в Сосновке, где был Политехнический Институт, я гостила у нашего друга, профессора Андрея Георгиевича Гусакова. Много времени проводила на теннисе, подружилась с одним лаборантом-химиком, Борисом Николаевичем Дыбовским. Кроме химии он интересовался живописью, в Эрмитаже был как дома, знал хорошо многие европейские музеи.

В его почти пустой квартире грудой лежали на столах фотографии знаменитых картин и скульптуры. Это был человек с живым умом, любил дальние прогулки, и мы часто ходили по Парголовскому шоссе, иногда добирались до Озерков, ведя бесконечные разговоры на самые разнообразные темы. Однажды речь зашла о том, что «нужно творить жизнь», а не жить, как принято. И я часто в эти декабрьские дни вспоминала синий день с безоблачным небом и ярко-красные грозди рябины, под которой мы остановились на шуршащих листьях...

Перед отъездом Ивана Алексеевича мы условились переписываться. Я просила адресовать мне письма на Курсы, в Мерзляковский переулок, — мы уже были на «ты». Там недалеко от входной двери на стене висела доска с алфавитными клетками, и курсистки легко находили адресованные им письма.

Пушешниковы ехали в третьем классе, а Иван Алексеевич в первом. Поезд отходил с Павелецкого вокзала на Зацепе в 9 часов вечера. Я едва успела соскочить на платформу, когда поезд уже двигался.

Первое письмо было из Ельца, там пересадка на юго-восточную железную дорогу, приходилось ждать часа два-три. Письмо удивило меня, это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из «Васильевского» он писал часто, присылал только что написанные стихи: «Дядька», «Геймдаль», «Змея», «Тезей», «С обезьянкой», «Пугало», «Слепой», «Наследство»; прислал раз одну строку нот романса.

На Святках я много думала о своем будущем. Я уже чувствовала, что Бунин вошел в мою жизнь, но не решила, жить ли с ним открыто, или, взяв место по химии где-нибудь под Москвой — профессор Зелинский мог устроить, — скрывать наши отношения.

Мама оставалась непримиримой. Ее настраивали против Бунина многие так называемые друзья мои, даже те, кто мало знали его. Один приват-доцент, приехавший из Казани, давнишний мамин приятель, у нас за обедом чернил Ивана Алексеевича. Волновался и профессор Горбунов и другие.

Я отмалчивалась. Решила готовиться к экзаменам, которые можно было держать в течение всего весеннего семестра. По телефону попросила Николая Дмитриевича Зелинского дать мне дипломную работу. И тут постигла меня неудача.

— Нет, работы я не дам вам, — сказал он своим заикающимся голосом, — или Бунин или работа...

Я рассердилась и положила трубку.

Зелинский бывал у нас, с молодости он был большим другом с Андреем Георгиевичем Гусаковым, когда они оба учились в одесском университете.

8

Новый Год я встречала в Кружке, меня пригласили Рыбаковы. Дома в этот вечер мне было бы очень тяжело. Наутро я получила из Петербурга новую его книгу, перевод «Каина» Байрона, изданный «Шиповником».

Я чувствовала себя выбитой из колеи, и хотя скрывала свое состояние от всех, но все же мне стало невыносимо, и я телеграммой вызвала Ивана Алексеевича в Москву. Подписалась — Тиша.



И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, С. С. Юшкевич.
Надпись рукой Бунина: «Бунин, Зайцев, Юшкевичъ. Лето 1927 г.
Juan-les-Pins. A⟨lpes⟩ M⟨aritimes⟩».

Через два дня я услышала его голос в телефон: «Я — в Лоскутной».

Быстро оделась и через четверть часа шла по низким длинным коридорам уютной гостиницы. Во время этого свидания я особенно почувствовала его нежную душу, и оно нас еще ближе связало. Он сообщил, что приедет в конце января, чтобы участвовать в вечере, который будет в большом зале Консерватории, вместе с другими писателями и артистами Художественного театра. Теперь же он не задержится, повидается только с братом и завтра вернется в деревню. Он смеялся на нападки казанского приват-доцента и других, которых он почти не знал.

После его отъезда я снова принялась за приготовление к экзаменам. Дома о нем стало меньше разговоров.

Из деревни Иван Алексеевич ездил на одни сутки в Воронеж. Его пригласили участвовать на вечере в пользу воронежского землячества. У него была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Клочкова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере.

Как мне хотелось слетать на один день туда и присутствовать на его выступлении.

Этот вечер, вернее вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали».

В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву и остановился опять в Лоскутной, где в те дни жил Найденов: шли репетиции в Художественном театре его пьесы «Стены».

Я видела его, когда заходила к Ивану Алексеевичу. Это был очень приятный человек с теми, с кем он дружил. Поражала его простота и скромность. А в то время почти вся Россия ставила его «Детей Ванюшина». У него во всем чувствовалась доброкачественность. Одет он был в хорошо сшитый из дорогого материала костюм. Ему претило переодевание знаменитых писателей, и он нередко вспоминал, как Иван Алексеевич, идя с ним и Телешовым в фойе Художественного театра, встретил Горького, Андреева и Скитальца и, подскочив к ним, дурацким тоном Коко из «Плодов Просвещения» спросил: «Вы охотники?» — Найденов заливался заразительным смехом, и его кривовисящее пенснэ едва удерживалось на переносице. Он не скрывал своего волнения в связи с постановкой своей пьесы, но все в нем было благородно, без всякой рисовки или заносчивости. Он тоже должен был участвовать на вечере в консерватории.

Я решила на вечер не идти, несмотря на уговоры Ивана Алексеевича. Мне, конечно, очень хотелось, но я пока уступала в мелочах, зато крепко держалась намеченной цели. А мы все больше и больше обсуждали путешествие в Палестину.

На этом вечере среди других стихов Бунин читал свое длинное стихотворение «Джордано Бруно». Об этом вечере я знаю только по рассказам. Помнится, что Найденов читал так тихо, что его совершенно не было слышно, и когда Иван Алексеевич копировал его жесты и движения головы, то Сергей Александрович добродушно смеялся.

Приехал в Москву поэт, романист, драматург, Александр Митрофанович Федоров. Бунин привел его к нам. Это был очень живой, небольшого роста человек, лет сорока, много говоривший о себе, о своем сыне и о том, какой он талантливый мальчик.

На дворе стоял мороз, и в доме было холодно, Иван Алексеевич назвал наш дом «Ледяным домом» Лажечникова.

9

В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург.

Без него я всегда чувствовала ревность к его прошлому. Я уже многое знала из его жизни. Вообще в наших беседах он больше рассказывал. Моя жизнь рядом с его казалась мне очень бедной. К тому же он никогда меня о моем прошлом не расспрашивал, может быть, от присущей его натуре ревности, а может быть, ему казалось, что моя жизнь была обычная жизнь молодой девушки.

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось.

Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Марья Карловна вернулась с Батюшковым с пьесы Андреева «Жизнь Человека». Она похвалила пьесу, Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава Богу, удалось затушить...

В субботу на масленице у нас были блины с гостями. Приехал двоюродный брат моего отца, Владимир Семенович Муромцев, генерал в отставке, который постоянно жил в Предтечеве. Дядя был очень родственный человек и посещал всех наших родичей, останавливаясь у кого-нибудь из них, и мы от него обо всех узнавали, так как мы не со всеми ими видались. С разрешения папы я пригласила на блины и Ивана Алексеевича. Разговор между нашими гостями был оживленный. Сначала о Ельце, о помещиках, о мужиках, а затем коснулись смертной казни, и тут возгорелся спор. Генерал был за нее, а Иван Алексеевич, как и мы все, против, но спорили они мягко, он с улыбкой возражал на доводы генерала.

Нас всех поразило, что Иван Алексеевич съел только два блина, подождал, когда они стали подрумяненными и хрустящими. Оказывается, он не любит теста, и даже в ресторане «Пра-

га», где для него пекут блины по его вкусу, он не съедает больше двух. Зато навагу он ел с большим удовольствием.

Когда стали вставать из-за стола, Иван Алексеевич тихо сказал мне:

— Я придумал, нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе и жить и путешествовать, — у каждого свое дело, и нам не будет скучно, не будем мешать друг другу...

Я ничего не ответила, так как уже вошли в гостиную пить кофий, а подумала, как у него все неожиданно и как он ни на кого не похож! Это особенно меня пленило в нем.

Начался пост, впрочем, я в те годы была равнодушна к нему. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была рада, что мне не нужно венчаться, я была в те годы далека от церкви. Но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба, не позволяя вступить в брак законным образом, избавляла меня от того, во что я не верила. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я тоже не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями, кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя, а если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться, и я не затрагивала с ним никогда этой темы. Сын его два года назад умер. Думаю, что если бы он был жив, то я не стала бы «делить жизни» с ним, как он писал.

В марте я наконец решилась поговорить с папой и как-то днем, вероятно, в воскресенье или в праздник, войдя к нему, сказала:

— Знаешь, я с Буниным решила совершить путешествие по Святой Земле.

Он молча встал, повернулся ко мне спиной, подошел к тахте, над которой висела географическая карта, и стал показывать, где находится Палестина, не сказав мне ни слова по поводу моего решения связать с Иваном Алексеевичем мою жизнь. Он был человек глубоко, по-настоящему верующий, хорошо знающий и церковные службы, и Священное Писание, тонко чувствовал поэзию псалмов, поэтому мое решение было ему, конечно, тяжело, но он не хотел дать мне это почувствовать. У него была та свобода, которая бывает только у настоящих христиан.

С мамой я сама не говорила. С ней объяснялись братья, и они убедили ее. Братья меня очень любили, считая, что все, что я делаю, правильно. Я была старшая, и у них был ко мне пиетет.

Не помню точно числа, но знаю, что это было в марте.

В Лоскутной я однажды застала Ивана Алексеевича за корректурой его рассказов «Цифры» и «У истока дней», которые он

печатал: первый в «Товарищеском сборнике», «Новое Слово», в книге первой, а второй в альманахе «Шиповник». Он обрадовался моему приходу, сказав, что я могу помочь ему. И дал мне гранки рассказа «Цифры». Я была счастлива: в первый раз в жизни приобщиться к литературной работе, и особенно, когда я нашла опечатку. И он так хорошо улыбнулся, вероятно, догадываясь, что я чувствую.

Вскоре Иван Алексеевич опять ездил в Петербург, добывать деньги на путешествие.

10

Зайцевы собирались в Париж, где жили Бальмонты. И первого апреля мы вместе с их друзьями провожали их на Брестском вокзале.

Я продолжала готовиться и держать экзамены, но видела, что придется часть отложить на осень. Доканчивала практические занятия в лабораториях. Иван Алексеевич торопил, боясь жары в Палестине и Египте. Мне хотелось сдать все зачеты, и я сказала ему, что с 7 апреля буду свободна.

Мама уже примирилась. С ней долго говорил Иван Алексеевич. И она стала ходить со мной по портнихам. В доме чувствовалась предотъездная атмосфера.

Недели две до нашего отъезда Иван Алексеевич повез меня на «Среду»; она была не совсем типична: происходила не у Телешовых, и автор произведения отсутствовал. Я знала, что писатели любили и ценили «Среду» за дружескую атмосферу, неизменно царившую в ней, и за ту искренность, с которой велись в ней беседы. Каждый высказывал свое мнение совершенно свободно, и даже вопрос хмурого Тимковского, часто задаваемый после прослушанного рассказа: «Собственно, зачем это написано?» — не обижал авторов.

Кроме писателей там бывали люди, любившие литературу, видные художники, артисты и музыканты. Понятно, о «Среде» говорила вся Москва, и нам, молодежи, казалось несбыточной мечтой попасть туда, хоть только взглянуть на такой букет знаменитостей. Что до меня, то я ехала впервые на «Среду» с большим волнением, с чувством, что я должна вступить в какой-то заповедный мир.

Был мягкий вечер, хорошо, по-весеннему тянуло с Воробьевых гор, с таявшей Москвы-реки, голые ветви высоких, уходящих к Девичьему монастырю деревьев, чуть колыхались... Свернули в узкий переулок, проехали мимо белых, вызывавших всегда некую жуть, клиник, повернули еще и остановились перед частью, где жил полицейский врач Голоушев, звание которого на редкость не подходило к его живописной наружности, к его артистической душе.

С Голоушевым я была знакома. В детстве, когда мы жили на

даче в Давыдкове (а он приходил в гости к С. П. Кувшинниковой), мама пригласила его ко мне, я была нездорова. В этом году я встретилась с ним раз у Зайцевых. Он обладал свойством сразу выводить из смущения. Я скоро освоилась в новом для себя обществе. К сожалению, на этот раз «Среда» оказалась не очень многочисленной. Ярче других запечатлелись в моей памяти: сидевший за роялью и что-то музыкально исполнявший в ожидании чтения пожилой, с большой лысиной господин с умным, живым, но некрасивым лицом, как потом выяснилось, Алексей Евгеньевич Грузинский, профессор русской литературы, остроумный, веселый человек; его молодая жена Александра Митрофановна, с правильными сухими чертами лица и гордой осанкой женщины, знающей себе цену; писатель Гославский, высокий, красивый старик с белой бородой; Белоусов Иван Алексеевич с печальным спокойствием в глазах; Разумовский-Махалов, драматург, большой плотный мужчина с круглым московским лицом; Телешов, которого, как я писала, знала и любила с отроческих лет.

Чтение происходило в кабинете Сергея Сергеевича. Он сел за свой широкий письменный стол, вынул белый сверток, развернул рукопись и стал читать «Иуда Искариот», новое произведение Андреева, присланное для прочтения с Капри, где он жил после смерти жены с матерью и старшим сыном Вадимом.

Заглавие меня волновало, действие происходит там, куда мы едем, и я с большим вниманием слушала, с интересом ожидая обмена мнений. Возможно, повлияло отсутствие автора, но критики и долгих разговоров это произведение не вызвало, было сделано несколько замечаний, Юлий Алексеевич указал, что эта тема волновала и Гёте.

За ужином тоже не говорили об Иуде, а быстро перешли на шутки, на воспоминания о прежних «Средах», более пышных и многолюдных. Я расспрашивала, мне рассказывали. Кроме упорно молчащего Гославского да нервно дергающегося, сердитого Тимковского с темным цветом лица остальные были очень веселыми, остроумными людьми. Вспоминали об адресах, придуманных для каждого участника «Среды».

Вспоминали и о том, как Скиталец певал под свои гусли волжские песни, как иногда расходился Шаляпин:

— Помните, — сказал Телешов, — как он явился к нам со словами: «Братцы, петь хочу...» и попросил меня вызвать Рахманинова. «Вы здесь меня слушайте, а не в Большом театре», — говорил он в тот вечер, пел, правда, так, как никогда. Чтение было отменено, и что это был за концерт! Уж не знаю, кто из этих замечательных артистов был выше! И как они друг друга увлекали!..

Прощаясь, все нам желали благополучного путешествия. И мне почудилось, что некоторым оно кажется очень рискованным.



В. Н. Бунина, 1928.
Подпись под портретом — автограф Бунина.

2 апреля было первое представление новой пьесы Найденова. Мы с Иваном Алексеевичем получили приглашение на генеральную репетицию в Художественный театр.

Смотреть пьесу на генеральной репетиции очень приятно. Приятен этот домашний уют в театре, создаваемый столом с рефлектором в партере, за которым сидит режиссер, темнотой в антрактах, просто одетой публикой, волнением автора... В этот вечер автор прощается со своим детищем, завтра оно уже будет отдано на суд зрителям и критики.

В «Стенах» Ивану Алексеевичу многое понравилось, были места хорошо задуманные и удавшиеся, и я надеялась, может быть, по неопытности, на успех. Надеялся, хотя и с некоторым сомнением, и сам автор. Но как известно, «Стены» успеха не имели и скоро сошли со сцены.

После репетиции мы небольшой компанией поехали ужинать в «Московский». За столом я сидела рядом с Найденовым и много с ним разговаривала. Он был возбужден. Рассказывал мне о своей жизни на Волге, о своих странствиях по ней, о том, как «прожег» небольшое отцовское наследство, о своем увлечении. Я спросила, почему он не пишет рассказов, раз у него такой богатый запас наблюдений?

Он ответил:

— Не могу, я всё слышу, представляю себе в диалогах...

Потом мы опять вернулись к «Стенам». И я поняла главный недостаток этой пьесы, почувствовала, что быт ее автору чужд. Если память мне не изменяет, героиня ее, дочь профессора, порывает или хочет порвать с прежней жизнью, чтобы уйти в подполье.

На возвратном пути, когда Иван Алексеевич провожал меня, мы, конечно, говорили о пьесе, он сказал:

— Зачем Найденов, у которого так много жизненных наблюдений, написал пьесу из мира интеллигентов, которого он изнутри не знает? А в пьесе много хороших литературных мест. Жаль, если она не будет иметь успеха. — И, помолчав, прибавил: — Самое тяжелое время для драматургов это время от генеральной репетиции до утра после первого представления...

Я после премьеры не видела Сергея Александровича, Иван Алексеевич говорил мне, что он удивительно благородно пережил свой неуспех, хотя, вероятно, переживал его тяжело, но он был очень скрытным человеком.

Через несколько дней он уехал из Москвы.

11

Как-то я зашла к Ивану Алексеевичу на короткое время, нужно было о чем-то переговорить в связи с отъездом. Был чудесный день ранней весны, и я надела новую боль-

шую синюю пушистую шляпу. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ну, таких шляп ты не будешь больше носить...

Я очень удивилась, не поняла — почему?

Он оставил меня завтракать, и как всегда, когда мы ели в Лоскутной, мы заказали наши любимые пожарские котлеты, которые там приготовляли необычайно вкусно, и полбутылки красного вина Понт-Кане. И, как всегда, он учил меня распознавать вина.

Иван Алексеевич во время таких завтраков заводил разговор с лакеями, которые очень любили и почитали писателей, несмотря на то, что они заставляли их работать во всякий неурочный час. В Лоскутной можно было всю ночь спрашивать и еду, и вино.

Почти накануне нашего отъезда был в Художественном кружке вечер поэтов. Не помню числа, но мне врезалось в память, что в этот день Иван Алексеевич получил из английского магазина Шанкса серый дорожный костюм, очень хорошо сидевший на нем, и он был в нем на вечере.

Выступали и петербургские поэты, приехавшие по приглашению Кружка в Москву, и наши во главе с Брюсовым. Пригласили и Бунина, но «средняки» возмутились, настояли, чтобы он отказался.

Из московских поэтов запомнился Брюсов, Ходасевич, Кречетов, а из петербургских — во всем черном элегантный Маковский, еще совсем молодой человек.

Мы сидели на эстраде, сзади выступающих, Иван Алексеевич заявил, что он потерял голос и его не будет слышно. Но мне казалось, что ему хотелось посостязаться с «декадентами».

10 апреля был назначен день нашего отъезда, мы должны были начать нашу новую жизнь. Накануне собрались самые близкие мои друзья и приятели, и мы скромно провели этот вечер. Были и оба брата Бунины. Молодежь у пьянино почти все время пела, среди других песен: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья...»

Иван Алексеевич опять долго пробыл в маминой комнате. Мама, смеясь, рассказывала, что он все твердил, что приданого никакого не нужно. Она взяла слово, что из Александрии мы пришлем телеграмму. Ей тоже наше путешествие казалось полным опасностей.

Наступила последняя ночь моя перед новой нашей жизнью. На душе было двойственно: и радостно, и грустно. В душе боролись вера с сомнениями. Но я старалась не думать об этом, а представлять себе наше путешествие. Мне очень было по душе, что оно не банальное, не Италия, не Париж.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1

И вот наступил день 10 апреля 1907 года, день,когда я резко изменила свою жизнь: из оседлой превратила ее в кочевую чуть ли не на целых двадцать лет.

Начались наши странствия со Святой Земли, и я горжусь, что именно я настояла на этом путешествии, несмотря на все отговаривания, происходившие главным образом от полного незнания условий путешествия по Святым местам. А между тем эти путешествия на самом деле были тогда организованы очень осмысленно и удобно, стоили недорого и не представляли никаких трудностей. Смущало нас одно: воображаемый зной, — ведь до Иерусалима мы доберемся только к двадцатым числам апреля, думалось нам.

Выехали мы из Москвы вечером. Весь день к нам никто не приходил, и я провела его в семье, почти все время с братьями. Они уложили все мои вещи, застегнули чемоданы, — до отъезда еще оставалось много времени. Поезд с Брянского вокзала отходил около шести часов вечера.

Было немного грустно. Я чувствовала, что сегодня я порываю со всем прежним и вернусь уже другой. Мы присели в столовой, и Митя, вероятно, желая немного меня развлечь, привести в веселое настроение, с деланной серьезностью — у него была комическая жилка — вынул из кармана студенческой тужурки большой белый лист писчей бумаги, молча развернул его и немного торжественно произнес:

— Ну, ты вступаешь в новую жизнь, все старое должно быть погребено и «не воскреснет вновь»...

И он, с припевом «со святыми упокой», прочитал длинный ряд имен и фамилий моих, по его мнению, прежних поклонников.

Это нас развеселило, мы стали вспоминать прошлое. Трудно даже передать, что испытывала я в последние часы пребывания дома. С одной стороны, я вся была во власти того чувства, которое заставило меня решиться на новую жизнь, а с другой, я с болью отрывалась от всего привычного, милого, родного. Но вся борьба чувств происходила в глубине моей души. Я старалась ни о чем не думать и внешне как можно веселей провести время до отъезда. Повторяю: сдерживаться, скрывать свои чувства, свое волнение мы считали хорошим тоном.

Тяжело было прощаться с родителями, но и тут я быстро справилась с собой.

На вокзал я ехала с мамой, провожали меня еще, кроме папы и братьев, близкие друзья: Шрейдеры, Кезельманы, Валинины, Эльза Адам, Сережа Одарченко.

Когда мы приехали, Ян был там с братом Юлием Алексеевичем и двумя племянниками Пушешниковыми.

Погода была скверная, моросил дождь, — приметы, как говорят, хорошие.

Конечно, приехали рано, сидели в ресторане, но вина не пили.

Наконец — платформа, купе международного вагона, прощанье, томительные минуты, третий звонок, свисток паровоза, и поезд трогается. В окне мелькают дорогие лица, то грустные, то веселые, дальше Зоя, утирающая слезы, а совсем в конце платформы полные страха глаза мамы, которая осеняет меня крестным знамением.

Ян со свойственной ему быстротой и живостью перемещает вещи, устраивает вагонный уют. Затем садится и с непередаваемо доброй улыбкой смотрит сначала на меня, а потом в окно, давая мне время успокоиться. Осматриваюсь. Мне нравится все: и вагон с его дешевой роскошью, и то, что я одета в английском стиле, и то, что я еду в «неведомые» края...

Стук в дверь, предлагают обедать. Уже темно. Входим в залитый светом вагон-ресторан. Ян возбужден, оживлен, даже мало критикует меню.

В купе он с нежным упреком говорит мне:

— А ты нынче заплакала...

Мы долго разговариваем, но разговор этот нельзя ни передать, ни записать, о нем можно лишь вспоминать иногда.

2

Утром — совсем весна. Широкие горизонты, изумрудные озими, деревни с белыми хатами мелькают по обеим сторонам вагона. Хорошо на все это смотреть под рассказы Яна о жизни в Полтаве, о любви его к Малороссии, к ее песням. Он восхищается «дивчатами», их силой, энергией. Они сильны «как дьяволы» и в нужную минуту умеют так ловко отстранить назойливого воздыхателя, что искры из глаз посыпятся. «А как они деловиты, чистоплотны! не то что наши. В каждую хату приятно войти...» И он с присущим ему талантом передает длинные разговоры в лицах, вставляя целые малорусские фразы. В вагоне-ресторане сидим почти весь день, и нас не тревожат: пьем дорогое вино, щедро даем на чай.

Меня все волнует, но я сдержанна. Я все время в каком-то тумане. Все еще не верится, что проведена какая-то резкая черта в моей жизни, что со многим я порвала навсегда, что в жизнь мою вошел Ян...

Подъезжаем к Нежину — и замирает сердце: здесь учился Гоголь! И так живо вспоминается детство, когда казалось, нет в мире лучше края «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Воздух уже по-южному мягок и напоен весенними ароматами. Я не могу оторвать глаз от пирамидальных тополей.

К шести — Киев. Этот город тоже с детства пленил мое воображение былинами о богатырях, сказками, крещением Руси,

входя в нашу детскую душу. Я не говорю опять-таки о Гоголе, который своим «Чуден Днепр при тихой погоде...» заставил многих из нас, северян, так полюбить эту реку и придал ей такую таинственность. Я с большим нетерпением ждала Днепр, Киев. И они не обманули меня. Весна в том году была полноводная, разлив Днепра был необыкновенно широк. Я вся превратилась в зрение. Хотелось все запомнить, ничего не пропустить. Легкий ветерок чуть струил водную ширь, которую не мог охватить глаз. Почти у самого моста избушка со своей крохотной усадьбишкой стала островком. Потом я выглянула в окно: с запада, куда мчался наш поезд, с вершины зеленой горы, сверкая золотыми куполами, весь залитый солнцем, вставал передо мной красавец Киев.

Три-четыре часа отдыха от вагонной тряски. Взяли извозчика и поехали в Софийский собор. Там почти жуткие впечатления сумрачности, древности. Затем Крещатик с нарядной, уже по-южному легко одетой толпой. На всех углах цветы. С обрыва, над которым высится памятник Св. Владимиру, открываются бесконечные дали: там Москва и все близкие, теперь уже далекие. И мне на минуту делается очень грустно.

На вокзал мы возвращались пешком. Ян говорил о Одессе, о своих друзьях-художниках, об их «четвергах». Меня все живо интересует, что касается его. Хочется побывать во всех местах, где он был, видеть людей, которых он любит, понять, почему они милы ему. И я все расспрашиваю и расспрашиваю. С Ал. М. Федоровым я уже знакома, но Нилуса и Куровского знаю лишь по рассказам.

— Из Владимира Павловича Куровского настоящего художника не вышло, — рассказывает Ян, — а как человек он замечателен! Какой у него образный язык, как он чувственно любит жизнь, какая наблюдательность, какая поэтическая душа! Я первое время после нашего знакомства был в него прямо влюблен. Никогда не забуду нашего с ним путешествия по Европе...

3

Утром по вагонам разносили кофе со сдобными булками и бутербродами.

Юго-западные дороги чрезвычайно заботились об удобствах пассажиров. Особенно хороши были вагоны первого класса.

На Одесском вокзале нас встречает Нилус в цилиндре и бежевом пальто.

— Простите, что без цветов, — говорит он, целуя мою руку. — Иван телеграфировал: «приезжаем», а с кем, неизвестно. Я и подумал, что опять с Телешовым. Где остановитесь? В Петербургской? Вчера видел Митрофаныча, он сегодня будет звонить ко мне по телефону.



И. А. Бунин, Грасс. 1928.

— Вот и прекрасно, — сказал Ян, — приходите оба завтракать, к 12-ти. И скажи Митрофанычу, чтобы не опаздывал.

Мы сели на извозчика и поехали вниз по Пушкинской. Особых чувств к Одессе я не питала, но Ян так много говорил и рассказывал мне об этом своеобразном южном городе, что я с большим интересом смотрела на эту чистую широкую прямую улицу, наслаждаясь утренней свежестью приморского воздуха.

— Что же ты молчишь? Неужели тебе не нравится Одесса? — спросил Ян.

— Пока нравится, но ведь я кроме этой улицы еще ничего не видала...

Порт, море, здания на Николаевском бульваре восхитили меня. Но восхищаться было некогда, — подъехали к гостинице, где Яна знали и почитали не меньше, чем в «Лоскутной» в Москве.

Приведя себя в порядок, мы вышли на Николаевский бульвар, зеленевший свежей, недавно распустившейся листвой. Прошлись до памятника Пушкину. Стали рассматривать пароходы в порту. Ян был очень возбужден Одессой, свежим весенним утром, предстоящим путешествием и с какой-то необыкновенной радостью стал поименно называть мне пароходы, объяснять, какому обществу принадлежит тот или другой, жалел, что нет времени до завтрака сбежать в гавань, «побродить среди всевозможных тюков с товарами», «подышать сложными портовыми запахами — смолы, копры, рыбы, ванили, рогож...». Я слушала об этой неведомой для меня жизни с каким-то упоением.

У гостиницы мы встретили Нилуса с цветами.

— Вот вам кусочек весны, — сказал он мне.

— А Федоров? — спросил Ян.

— Обещал быть точным, — ответил Нилус.

— Знаем его точность, — проговорил Ян, смотря на часы. — Вечно опаздывает и вечно спешит, — вечные романы, свидания.

В ресторане Петербургской гостиницы мы сели у окна с видом на море. Нилус оказался большим знатоком в кулинарном искусстве, и они с Яном сочинили очень тонкий завтрак из южных блюд. Однако маслин, к большому огорчению Яна, я так и не решилась попробовать.

Мы лакомились креветками, которые я ела впервые и которые мне показались необыкновенно вкусным блюдом, когда, весь сияя, с розой в петличке, с извинениями, явился наконец и Федоров.

— Простите, меня задержали в редакции.

— Знаем, знаем, какая это редакция, — в один голос закричали Нилус с Яном.

— Да нет же, говорю вам, в редакции, — смеясь и весело играя своими черными глазами, защищался Федоров. — Вино прекрасное! — желая переменить разговор, сказал он. — А какую рыбу заказали?

— Кефаль.

— Отлично.

Южная кухня для нас, северян, кажется очень своеобразной. Собственно, в Одессе несколько кухонь: малороссийская, еврейская, греческая и, наконец, чисто одесская. И какая вкуснее, трудно решить. Одесситы любили и умели покушать. Были гостеприимны не менее москвичей. Жизнь там была гораздо дешевле, чем в столицах. Рестораны отличались редкой дешевизной и доброкачественностью.

К шашлыку потребовали красного вина, кажется, кавказского. Но шашлык покритиковали, — у Кузнецова лучше! Кузнецовский ресторан, имевший даровое помещение под Биржей, особенно славился своей кухней и дешевизной.

— Жаль, что вы не хотите подольше остаться в Одессе, а то мы попировали бы, — сказал Нилус.

И заговорили о нашем путешествии. Федоров, большой любитель плаваний по морям, уже побывавший в Японии и недавно вернувшийся из Нью-Йорка, очень сочувствовал нашему плану побывать в Святой Земле, заглянуть в Египет, рассказывал про Азорские острова, где он был по пути из Америки домой...

Я заметила, что он больше любит говорить о себе, чем слушать других. Нилус, наоборот, о себе говорил очень мало. К нашему путешествию он отнесся с опаской:

— С женой в такие некультурные места... Я предпочел бы Италию. Теперь там чудесно. Или Испанию...

Федоров стал нас приглашать завтра отобедать у него:

— У нас в Отраде божественно хорошо! Какие лунные ночи! А как вырос мой мальчик! Вот ты увидишь. И как стал рисовать карикатуры! Я тебе, Петр, покажу, ты увидишь. И какое остроумие! Лидия Карловна будет очень рада познакомиться с вами, — обратился он ко мне. — А теперь прощайте, у меня дел по горло...

— Знаем, знаем, какие дела, — опять со смехом закричали Нилус и Ян.

После его ухода мы допивали кофе. Потом Ян с Нилусом отправились в порт, чтобы узнать наверняка, отходит ли пароход в субботу.

Мне было очень приятно побыть одной, немного разобраться в своих чувствах. Но сделать это было труднее, чем казалось. Как передать, что испытывает молодая женщина, когда к ней начинают относиться по-новому, как к даме, к жене? Кроме того, воспитанная очень свободно, я привыкла поступать только посвоему и ценить свою самостоятельность. Наше поколение было немилосердно к родителям. Мы с какой-то беспощадностью отстаивали свою независимость и не прощали малейшего ограничения наших желаний. И вдруг такие слова: «С женой в такие некультурные места...» Это со мной-то, которая в 18 лет, невзи-

рая ни на кого, отправилась на Кавказ и совершила довольно трудное, верхом по-мужски путешествие (правда, кончившееся тифом)! Мне казалось, что ко мне относятся не так, как я привыкла, понизили меня в ранге...

Возвратясь, Ян объявил, что пароход наш действительно отходит в субботу, послезавтра, и что он взял уже билеты, но только до Константинополя.

— Завтра утром отправимся на пароход и выберем каюту... Но ты чем-то недовольна?

— Почему только до Константинополя? Вероятно, Нилус тебя сбил.

— Нисколько. Я сам так решил. Зачем строить широкие планы? Доплывем до Константинополя, понравится — пойдем дальше, не понравится — сядем в экспресс и через двое суток в Вене.

Около пяти мы вышли погулять. Наступал спокойный южный вечер, немного грустный, как часто бывает весной. Мы прошли к очень затейливому памятнику Екатерины. Площадь и здания на ней очень хороши. Около кофейни Робина стояло несколько человек с восточными лицами и о чем-то горячо, по-южному спорили; напротив, в кофейню Фанкони, входили в весенних туалетах дамы. На углу Дерибасовской продавались цветы. И от цветов, и от этой широкой улицы с легко одетой толпой мне стало очень весело. Одесса необыкновенно уютна, чиста, в ней чувствуешь какую-то легкость — и в линиях зданий, и в одеждах, и даже в характере людей.

Вечером я опять оставалась часа два одна. Ян пошел на «Четверг», повидать приятелей.

(«Четвергом» называлось еженедельное собрание «Южнорусских» художников, писателей, артистов, даже некоторых профессоров, вообще людей, любящих искусство, веселое времяпрепровождение, товарищеские пирушки. После обеда художники вынимали свои альбомы, писатели, поэты читали свои произведения, певцы пели, кто умел, играл на рояли. Женщины на эти собрания допускались редко. Возникли они так: художник Буковецкий, человек состоятельный и с большим вкусом, приглашал к себе друзей по четвергам: друзья были избранные, не каждый мог попасть в его дом. Когда он женился, то счел неудобным устраивать у себя подобные «мальчишники», и они были перенесены в ресторан Доди, где состав собиравшихся сильно расширился.)

И вот я опять столкнулась с тем, что меня несколько задело. Ян любил «четверги», приятелей, а для меня они закрыты. В то время меня больше всего интересовал Ян, хотелось видеть его во всех обстановках. Я знала, каким обаятельным и неистощимым в весельи бывает он, когда ему приятно общество, и мне было больно, что я лишена, может быть, очень интересного вечера... Но Ян вернулся рано.

4

Новый день встречает нас весело. Первым делом — в порт. Я совсем оторопела от шума и грохота ломовиков, от вида немного страшных крючников, на которых я смотрела особенно живо, — как на горьковских героев. Наконец мы отыскали пароход.

Вот и сходни, по которым мы должны подняться на наш корабль и выбрать себе каюту. Ян — как у себя дома. Идет уверенно, по дороге объясняет мне, как что называется, и сыплет морскими терминами. Я же, конечно, чувствую себя, как в лесу, проходя по всем этим ходам и переходам, лестницам, рубкам... Наконец мы сталкиваемся со старшим помощником, загорелым рослым человеком, который приказывает лакею показать нам каюту. Выбор небольшой: почти все каюты общие. Однако, все-таки, нашлась отдельная, довольно просторная.

В пять мы поехали к Федоровым. Ехать надо в Отраду. Путь для Одессы порядочный. Отрада — дачное место, хотя уже и слившееся с городом. Федоровы летом, когда цены в Отраде делаются сезонными, переезжали на дачу за Большим Фонтаном. Там квартира их состояла из трех больших комнат, выходящих окнами на море.

Встретили нас очень радушно. Хозяйка дома, небольшая, чуть полнеющая дама с тонкими губами, сразу показала мне свою квартиру, чем уничтожила неловкость первого знакомства. Толстый девятилетний сынишка Федоровых, Витя, сидел в спальне. Это был забавный мальчик с непослушным вихром, очень смешливый, но с печальными глазами. Александр Митрофанович сейчас же принес его альбом с карикатурами, действительно, талантливыми для его возраста.

— Вот придут художники, ты покажи им, — говорит Ян. — Пусть они скажут свое мнение.

Звонок. Легки на помине: Нилус с Куровским. А через минуту входит Дворников, высокий, худой шатен с прищуренными глазами.

Все занялись рисунками Вити, а я стала рассматривать Куровского, который сразу понравился мне. Довольно высокий и плотный, уже седеющий человек лет сорока, с необыкновенно милым лицом и какими-то особенно внимательными, ласково-грустными глазами.

Позвали к заставленному всякими закусками и бутылками столу. Ян, быстро окинув стол глазами, сказал с горьким упреком:

— А красного-то вина нет!

Через пять минут перед ним поставили бутылку Удельного ведомства. Он схватил ее и поцеловал.

Хозяева были в отличном расположении духа. Александр Митрофанович недавно вернулся из столиц, где удачно устроил

свои дела: новый роман печатается в «Современном Мире», только что вышла отдельным изданием «Природа» (где выведены одесские художники)... Теперь он, — вообще большой оптимист, — возлагал на будущее особенно радужные надежды, собирался, между прочим, совершить новое путешествие. Я никогда не видала такого счастливого человека, как Федоров, — ему все свое казалось самым лучшим и самым прекрасным.

«Четвергу» в разговоре была отдана большая дань. Я, конечно, слушала с большим интересом, ибо в то время я переоценивала эти дружеские пирушки.

Представляли друг друга, отсутствующих приятелей, и, конечно, особенно отличался Ян.

Лидия Карловна сказала мне покровительственным тоном:

— Да, конечно, они как юноши! Время мало отражается на них. Артистические натуры...

Она в прошлом была актриса провинциальной сцены, и вероятно, и себя относила к этой категории вечно юных людей.

Чем обед ближе подходил к концу, тем чаще Куровский вставлял свои меткие замечания, тем громче раздавалась скороговорка Нилуса, тем певучее восклицал Федоров. Молчал лишь Дворников, все время смеясь глазами.

За разговорами и смехом не заметили, как сад наполнился лунным светом.

— Пойдем, посмотрим на море, — предложил Ян.

И когда мы с радостью все вышли на воздух, воскликнул:

— Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу...

Мы с Куровским прошли вперед, немного опустились к морю и очутились около сквозной беседки.

Вокруг было так хорошо, что несколько минут мы молчали; ночь была мутная, нежная, слабый шум моря доносился до нас. Мне вспомнился «Лотос» Шуберта, я стала напевать его. И мы заговорили о музыке, которую Куровский очень любил, понимал как-то всем нутром своим, как, впрочем, и все воспринимал он. Язык его был какой-то особенный, он придавал каждому своему слову, каждой фразе вес и полноту.

Он очень одобрял, что мы едем на восток; сам он, страстный путешественник — особенно пешком, — мечтал о Кавказе.

Вблизи послышались голоса, мы поднялись и направились навстречу им. Ян напевал польку из андреевской «Жизни человека».

Из дому кричали: «Чай пить!»

Заговорили о «Жизни человека», о постановке этой пьесы Петербургским театром. Загорелся спор. Л. К. Федорова, большая поклонница Андреева, считавшая его лучшим из живущих, после Толстого, писателем, защищала и эту пьесу от нападок.



И. А. Бунин, М. А. Алданов. Ницца, 1928 или 1929.

— А знаете, какую рецензию о ней дал ваш знакомый? — сказала я. — «Это не жизнь человека, а жизнь крота».

Затем Федоров и Ян читали стихи. Федоров читал нараспев, со счастливым лицом. Ян проще и строже. Я в этот вечер впервые услышала в его чтении «Стамбул», который мне нравился особенно.

От Федоровых Нилус, Куровский и мы отправились в пивную Брунса. Я ехала на извозчике с Яном, и он вдруг впал в печальное настроение:

— Да, все это прекрасно, но жить осталось всего каких-нибудь пятнадцать лет, из которых половина уйдет на сон!

Эти слова были настолько вразрез моему настроению, так больно сжали мне сердце, что я не нашлась что ответить.

Пивная Брунса была тогда одной из достопримечательностей Одессы. Туда к 11 часам вечера стеклись все художники, желавшие легко и дешево закусить.

Когда мы вошли, там стоял дым коромыслом — в буквальном смысле этого слова. Вокруг черных столов без скатертей сидело необыкновенное множество пьющих и закусывающих. Из одного угла нам стали кричать: художник Заузе со своими приятелями звали нас за свой стол.

Засиделись мы долго, я устала ужасно. Наконец поднялись. Куровский проводил нас до гостиницы.

5

После этих дружеских пиров вставать было трудно. Но все же радостное чувство жило во мне при мысли: сегодня увижу открытое море! Это в первый раз в жизни: плыть в море, не видя земли. Свежо, небо в облаках.

В порту еще шумнее, чем вчера.

Я все еще не могу ясно представить себе, что такое, собственно, порт? Вижу отдельные части его, а в целом не представляю, слышу только чуждые мне слова: карантин, волнорез, трап, вымпела, лебедка, которые Ян произносит с полным знанием дела. Нравятся мне больше всего мачты, паруса лодок, морская одежда и само море...

Наконец мы на пароходе. Вещи уже в каюте, сами мы стоим на палубе и смотрим, как кончают грузить. Вот мелькнули в воздухе ноги коровы, потом опять какие-то тюки в рогожах...

Ян уже весь в нетерпении. При отчале парохода такая бывает всегда суета и столько криков, что кажется, никогда не придет в порядок вся эта махина.

Но вот сняли сходни, пристань отходит от нас. Пароход повертывает. Чайки с визгом провожают его. И вот мы на юте, чтобы послать прощальный привет городу.

Через несколько минут мы на носу. Долго смотрим то на воду, полукругами разрезаемую пароходом, то на сверкающий своей белизной маяк, то на небо в белых облаках.

Мы уже в море, поворачиваем на юг.

В эту минуту я совсем живо почувствовала, что со всем прошлым в моей жизни порвано, что начинаются неведомые для меня странствия с человеком в чем-то столь близким, как никто в мире.

Но уже звонок к завтраку. Завтрак обычный, русский, тяжелый. Нигде так сильно не проявляется национальность, как на кораблях, и, конечно, прежде всего она сказывается в кухне.

Перед выходом в море всего больше волнуешься: будет ли качка? И заболеешь ли? Поэтому всегда находишься в напряженном состоянии. С опаской ешь и пьешь. И все дают друг другу советы. Но на этот раз море было таково, что почти никто не отсутствовал за столом.

В «Слове о полку Игореве» есть место, где говорится, что природа сочувствует тому или иному событию и раз сочувствует, то это хорошо. Меня в гимназии очень поразило это место, и я с тех пор всегда обращаю внимание на сочувствие или несочувствие природы. Поэтому меня несказанно радовало тихое море, — значит, она покровительствует нам!

Разбираем вещи после недолгого отдыха. Ян вынимает несколько книг, между ними Саади. Он рассказывает мне об этом «усладительнейшем из писателей и лучшем из последующих, шейхе Саади Ширазском». Жизнь его восхищает Яна. Он не говорит, но я чувствую, что и ему хотелось бы совершить подобный жизненный путь.

Перед вечером мы проходим мимо каменистого Феодониса, единственного островка в Черном море. Ян сравнивает его с черепахой.

После заката совсем холодно, а теплой одежды, конечно, с нами не было, — вечное нелепое представление русских о теплой весне в теплых краях!

Чуть не в восемь часов вечера мы крепко засыпаем в своих белых койках, как в люльках.

6

Проснулись рано от топота (над головой) матросов, мывших палубу. Быстро выбежали на воздух. Ничего, кроме моря, неба и солнца...

На палубе я познакомилась с очень странной девушкой-еврейкой, пробирающейся к брату в Александрию. Путешествует в III классе, очень бедно одета, пугливо озирается, жалуется, что ее гонят со спардэка и юта в трюм или на нос. Из путаной, очень неправильной речи я понимаю, что она была замешана в «политику». Это поднимает ее в моих глазах, и я стараюсь ее ободрить, злюсь на тех, кто не дает ей вдоволь насладиться морем, солнцем, тем более что I класс почти пуст; кому она мешает, скромно сидя на скамейке спардэка?

Ищу Яна. Он на юте. Сидит и читает Саади. Сажусь рядом. Он поднимает ласковые глаза и говорит:

— Послушай, какая прелесть: «Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира!» Или: «На каждую новую весну нужно выбирать какую-нибудь новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!»

Последнее мне меньше нравится.

Море сегодня темнее, как бы гуще, у бортов сине-лиловое.

Мы идем к носу по узкому длинному мостику, перекинутому со спардэка на нос над трюмом. В тихую погоду лучшее место на пароходе — нос. Примостившись на бушприте, смотрим на синюю воду в пене, из которой выскакивают с необыкновенной ловкостью, несмотря на свое неповоротливое тело, дельфины, на их игру. Какая сила и радость жизни! Дельфины вызывают в моей памяти путь из Севастополя в Ялту с моим младшим братом, три года тому назад. Был яркий летний день, и мы все время провели на носу, следя за этими ни на кого не похожими животными, не будучи в состоянии оторваться от их буйной игры, не думая ни о ветре, ни о слишком знойном солнце, ибо сами находились в том дельфинном возрасте, когда между желанием и исполнением не бывает места сомнению.

Ян уже вышел из этого возраста, а потому скоро увел меня в каюту. До завтрака нужно было прибрать вещи. Около четырех часов — Босфор.

Я волнуюсь больше, чем перед Киевом. Я уже упоминала, что с самого раннего детства Босфор влек меня к себе. Чья-то картина, очаровавшая меня своим зеленоватым сказочным тоном, всплыла в памяти. Кажется, она так и называлась: «Босфор при лунном свете». И хотя она сама не кажется мне очаровательной, но слово Босфор волнует.

В четвертом часу мы увидали приближающуюся фелюгу с двумя турками в фесках. Ян уже различает на горизонте землю.

Наконец, вот и Босфор. Море совсем успокоилось. Остановка, Коваки, пропуск...

ПУТЬ ДО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Я стою зачарованная, не зная, на что смотреть, в страхе, что пропущу, забуду что-нибудь. Пошли турецкие сады с темными кипарисами, белые минареты, облезлые черепицы крыш. Вода совсем зеленая. И я опять вспоминаю свой собственный, в младенчестве любимый Босфор, радуюсь, что увижу его при луне.

Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады,

посольство, кладбище. Но у меня все путается в голове. А он знает Константинополь не хуже Москвы...

Ян говорит о ветхости и запустении этого, по его словам, самого лучшего города в мире. Сообщает мне разные исторические сведения, упоминает о прежних великих султанах...

Чем ближе к городу, тем больше лодок, яликов, парусов, всевозможных судов с разными флагами. Наконец, совсем близко перед нами и сам город, раскинутый по трем мысам, весь в золотом вечернем свете. Особенно привлекает меня скутарийский берег. Ведь это уже Азия, и неужели я побываю и там?

Мы стоим уже на якоре среди разнообразных судов. Крики, грохот, суета... Ян ищет глазами своего знакомого проводника, кричит: «Герасиме! Добрый вечер!» — и еще что-то на каком-то непонятном языке.

Толстый в очках человек с зонтиком под мышкой приветливо ему машет черной шляпой. Это и есть тот самый Герасим, который три года назад знакомил Яна с Константинополем и о котором я так много слышала.

— Слава Богу, — говорит Ян, — а то я боялся, что без Герасима мы не сойдем на берег, ведь скоро наступит час заката, а после в город не пускают.

Герасим ласково здоровается и успокаивает, говоря со сладким греческим акцентом:

— Со мной нисего, пройдем...

Сидя в лодке, я окунаю руку в воду. Вода холодная. Мы достигаем деревянной на сваях набережной. Отдаем паспорта турецкому чиновнику, и вот мы в Константинополе, в Галате.

— Слышишь, — говорит Ян, — последний призыв с минаретов!

Однако, невзирая на этот призыв, в Галате еще очень шумно. Мы поднимаемся в гору. Кажется, что все население Галаты на улице: толкотня, давка, буйный гортанный крик.

В афонском подворье молодой монах в черной рясе и грубых сапогах показывает комнаты и предлагает:

— Не прикажете ли самоварчик?

Мы благодарим и, взяв комнаты, спешим по темному коридору, освещенному тусклой лампочкой, обратно в город. Спускаемся к Золотому Рогу, к мосту Валидэ. Темнеет. Стамбул силуэтом вырисовывается на зеленоватом небе. Скутари зажигается огнями. Рейд весь в драгоценных камнях-огнях.

Из шумной и освещенной Галаты мы попадаем через мост Валидэ, за проход по которому берут какую-то мелкую монету, в тихий и темный Стамбул.

Да, здесь смесь Византии и Востока, Турции. Ян восхищается всем турецким, а византийское его раздражает. Я не имею своего мнения. Меня все чарует, я не в состоянии разбираться. Византийский купол Айя-Софии так прекрасен, что я не понимаю Яна, ведь он от него в восторге.

Мы долго бродим вокруг мечетей по темным уличкам, мимо деревянных домов с выступами и решетчатыми окнами... Потом попадаем на ухабистую площадь с тремя памятниками: это знаменитый Византийский ипподром. Белеет сквозь сумрак султанская мечеть Ахмедиэ со своими минаретами. Вокруг ветхость и запустение, это необыкновенно идет к Стамбулу.

Возвращаемся по прямой, идущей вниз улице, обсаженной акациями. В Галате заходим в кофейню и пьем настоящий турецкий кофе. Уже клонит в сон. Уже Галата погасила свои огни и улицы ее опустели. На каждом шагу собаки, безмятежно спящие среди улиц. Они знают, что их никто не тронет, не обидит.

Облезлые худые кобели...
Потомки тех, что из степи пришли? —

спрашиваю я, указывая на них.

— Да, да, — улыбаясь, говорит Ян.

Несмотря на уличный шум, на стукотню сторожей, на удары колоколов подворья, мы засыпаем крепким, счастливым сном.

Великопостный звон в подворье разбудил меня. Ян уже не спал. Мигом оделись и вышли на улицу, радостные и веселые.

Герасим ждал нас около подворья.

— Как я рад, что опять увижу Айя-Софию в солнечное весеннее утро! — сказал Ян.

Я снова в какой-то тревоге, что ничего не успею заметить, запомнить в пестроте звуков, красок, одежд, в разнообразии мужских лиц. Вот дурачок, с бельмом на глазу, в двух шляпах, неожиданно нарушает древний обычай: бросается к собакам, выхватывает чуть ли не из пасти у одной тухлое яйцо и выпивает его.

Ян в восторге от этого зрелища, смеется. Я сержусь. Не понимаю, что, собственно, его восхищает?

— Ну, идем же, стоит ли тратить время на такое отвратительное зрелище? — говорю я.

— Именно стоит.

— В таком городе, где столько нужно осматривать?

— Вот именно в *таком* городе...

— Почему? Не понимаю.

— Мало ли чего не понимаешь... Молода, в Саксонии не была...

И кто только не попадался нам на пути к Сералю! И водоносы с бурдюками, и русские паломники, несмотря на теплынь, в зимней одежде, и закутанные с закрытыми лицами турчанки, и красавцы в фесках с мечтательными глазами, и паши, похожие то на моего отца, то на моего дядю, и туристы с бедекером, и некрасивые пожилые женщины в шляпах, на которых развевается синяя или зеленая вуаль, и, наконец, духовные лица разных вероисповеданий...



И. А. Бунин, В. Н. Бунина. 29 июля 1930.

На мосту нас одуряет сладкий аромат. В корзине, перед которой на корточках сидит турок, охапка каких-то желтых цветов. Мы покупаем целый пук, и я с наслаждением вдыхаю этот новый для меня запах.

Становится жарко. Мы в конке. Вагон разделен на две половины. Я еду в женском отделении и почти чувствую оскорбление от такого разделения. Доезжаем до уютной площади. У фонтана возле мечети магометане, сидя на корточках, совершают омовение. Ян восхищается этим обычаем.

Чем ближе подходим к Сералю, тем тише и безлюднее. Ян говорит:

— Как хорошо сказал Мицкевич: «В запустении наследие падишахов! В трещины разноцветных окон лезут ветви плющa, взбираются на глухие своды и стены и, овладевая делами рук человеческих во имя природы, чертят письмена Валтасара: «Руина!»

Минуем св. Ирину и идем через другие ворота к самому мысу. Мраморное море! Оно поражает своим спокойствием. Дай Бог, чтобы завтра оно не изменилось.

Пора в Айя-Софию.

Какая неизъяснимая прелесть в соединении этого тяжелого византийского храма с четырьмя легкими минаретами! Идем по каким-то узеньким уличкам, куда-то поворачиваем и по каменному спуску подходим к тяжелой кожаной завесе. Герасим торгуется с муллой. Надеваем туфли, в которых очень неудобно ходить, и входим.

Прохладно, немного жутко, — ведь я впервые в мечети, да еще в такой... Пол устлан золотистыми циновками. Все огромное пространство храма так наполнено светом и солнцем, что охватывает радость. Вверху летают голуби...

Герасим отстает от нас. Мы ходим, и Ян тихонько рассказывает мне, что будто бы турки закрашивают образ Спасителя, выступающий над христианским алтарем. Обращаем внимание на просвечивающиеся сквозь белила мозаики.

— Как хорошо, что, кроме этих зеленых кругов по углам, ничего нет. И Христос, и Магомет были исполнены страстной и всепокоряющей веры, не нуждающейся ни в золоте, ни в каких украшениях. Сам Магомет жил в простой мазанке даже после того, как покорил Аравию...

— А почему пол такой неровный? — спрашиваю я.

— Это от землетрясений...

И мы расходимся на некоторое время: Ян всегда любил побыть несколько минут один, когда он бывал в храмах.

Я вспоминаю:

А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

На паперти, как всегда, нищие просят бакшиш. Проходим через Ипподром. Обелиск оказывается розоватым.

— Неужели настоящий? — удивляюсь я.

— Из самого Гелиополя, — подтверждает Ян.

Затем попадаем на площадь с фонтаном, где много голубей и мальчишек, пристающих с бакшишем. Пробегаем Большой Базар, Чарши, его полутемные коридоры, где продавцы немилосердно тащат к себе покупателей глядеть на их товар. Мы этому подвергались потом на всех восточных базарах. На этот раз мы тверды, и ни пестрые ковры, ни легкие, затканные серебром и золотом шарфы, ни персидские шали, ни восточное оружие не соблазнили нас.

Герасим ведет нас в восточный ресторан. Мы с аппетитом едим разные, не всегда понятные кушанья, под припев Герасима:

— Пробуй, пробуй, пойдес домой, будес рассказывать.

Мы смеемся и все пробуем и пробуем...

— Теперь на Башню Христа, — бодро говорит Ян.

И мы опять в сутолке Галаты, а затем у Башни.

В Башне очень прохладно. От нетерпения поскорее добраться до верхушки я почти бегом несусь по темной лестнице. Сзади слышу сердитый голос Яна. Останавливаюсь и жду. Оказывается, нельзя бежать, — разгорячусь, обдует ветер и простужусь. Я немного удивлена и задета. Мы росли очень свободно, нас не кутали, а потому к сквознякам и простуде мы привыкли относиться безразлично. Но Ян другой школы, и, чтобы не портить прекрасного дня, я подчиняюсь и иду медленно. Выйдя на вышку-балкон, опоясывающий Башню, я положительно забываю все: Малоазиатский берег с волнистыми хребтами, Мраморное море, Босфор с крохотными судами, весь Константинополь со своими пригородами, — всё у нас под ногами... Теплый ветер приятно овевает, а дали так манят, что я даже не жалею, что завтра мы уходим из этого сказочного места.

— И все это Поля Мертвых, — грустно говорит Ян. — И в этом запустении и умирании и есть бесконечная прелесть этой страны.

Последние два часа мы решили провести, по совету Герасима, на Сладких Водах. Наняли ялик с бархатными подушками и медленно поплыли.

Баратынский, вспоминаю я, определяет поэзию так: «Поэзия это полное ощущение известной минуты». Вот в этот-то незабываемый день я действительно ощущала полноту не только каждой минуты, но и каждой секунды... И все, что я пишу сейчас, я не вспоминаю, а вижу...

День уже клонился к вечеру, жара спала, появились тени, ветер стих, и в воздухе наступило какое-то успокоение. Я уже понимала восточную истому, радость созерцания, молчания и праздности. Передо мной медленно проходили минареты, сады, деревянные, тесно прижатые друг к другу домики с решетчатыми балконами, и в моем воображении опять воскресает нянька Улита со своими сказками о волшебных лампах, о подземных царствах, о дивных садах с Жар-птицами. А за этим опять вспоминается картина зеленой лунной ночи, столь поразившая меня в детстве. И радостная мысль охватывает меня: сегодня я проведу лунную ночь на Босфоре!

Когда мы поднимаемся по трапу на наш пароход, Скутари уже горит огнем.

Ущербленная луна выходит из-за азиатских хребтов и мягко озаряет своим зеленоватым светом весь рейд, пестрящий разноцветными фонариками. Стамбул вырисовывается все четче своими силуэтами; я долго смотрю на острые минареты и все не могу на них наглядеться. Заманчиво блестит Мраморное море... Почему оно называется Мраморным? Таинственно Скутари в темных кипарисах. И мы несколько раз обходим пароход. Останавливаемся, смотрим. Наконец, садимся на юте и впадаем в какое-то оцепенение...

— Однако, идем спать, — неожиданно говорит Ян.

— Как спать? Что ты! В такую ночь? Когда еще увидишь?

— Бог даст, увидишь, — ласково, но твердо говорит он. — Нам нужно быть завтра бодрыми...

— Да, но все-таки, пропустить такую ночь...

— Солнце не хуже луны и гораздо поэтичнее, по-моему, — возражает Ян, — да и наше путешествие не только удовольствие, а и дело, а потому быть сонными завтра нельзя.

Я чувствовала какую-то правду в его словах и грустно стала спускаться по трапу в каюту.

На следующий день мы проснулись не очень рано, часов в восемь, несмотря на суету перед поднятием якоря, — в море быстро приучаешься не обращать внимания на шум во время сна. Прав был Ян, говоря, что нужно было лечь спать рано, иначе проспали бы, пожалуй, и выход в Мраморное море...

На палубе обычная картина: новые пассажиры, которых размещают по каютам, лебедка, которая непрерывно нагружает пароход. В третьем классе восточная пестрота красных фесок, белых балахонов, полосатых туркестанских халатов, верблюжьих курток...

Стамбул необыкновенен в нежном утреннике. Чуть розовые минареты его остро вонзаются в еще бледное небо. И я долго, не отрываясь, смотрю и думаю: когда он лучше, при дневном ли блеске солнца, в золоте ли заката, в зеленоватом ли лунном свете, или сейчас, в утренних парах?

Мы уже были недалеко от выхода в Мраморное море, когда ко мне подошел Ян, и мы вместе отправились на нос. Усевшись поудобнее, мы стали смотреть вдаль, кругом, на воду... И я с изумлением увидала, что вода мраморная, какой я никогда не видала.

— Смотри, смотри, — радостно воскликнула я, — вот почему оно так и называется, оно именно сейчас мраморно-голубое, с розовыми разводами!

— А вот и иудино дерево, — сказал Ян, указывая мне на искривленное безлистное дерево в фиолетово-розовых цветах, стоявшее на берегу.

— Почему оно так называется?

— По преданию, на нем повесился Иуда. Да разве ты не видала его в Крыму? У нас его там много.

Справа тянулись стены дворца Константина, а слева, на скутарийском берегу, темная стена кипарисов. Впереди, в голубой дымке, смутно намечались Принцевы острова, а за ними в небесной высоте — Малоазиатские горы со своим снежным Олимпом.

Я рада, что сегодня мы целый день в пути. Нигде нельзя отдохнуть так, как на корабле при хорошей погоде. Мы то смотрели на горы, напоминающие своими очертаниями Крым, то делились впечатлениями о Константинополе. Ян говорил об «алтарях» солнца, то, что он потом развил в своей книге «Храм Солнца», высказывал пожелание уехать на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, южной Америке, на островах Таити...

— Я на все махнул бы рукой и уехал, если бы не мать. Ведь у нее одна радость — мы, дети. Она всю жизнь отдавала нам, я такой самоотверженной женщины никогда не встречал. И вечно всех она жалеет, всех оплакивает...

К вечеру прошли мимо Галлиполи, в то время совсем чуждо звучавшее для моего уха... Гористый, пустынный берег...

После Геллеспонта наступил темный вечер.

— На сегодня нам остались только Дарданеллы, — сказал Ян, — жаль, что ничего не увидим!

Море сегодня совсем иное, чем было до сих пор. Не вода, а масло какое-то сине-лилового цвета, по которому разбросаны синеющие вдали силуэты, — это уже Архипелаг.

— Посмотри, как эти острова напоминают Аю-Даг, а вот там совсем Балаклава, — сказал Ян. — И как эта Греция не похожа на ту, какую всегда описывают! Какая прелесть: знойно и пустынно, а ведь казалось, по описаниям, что вся Греция — тенистый райский сад...

На минуту мы спускаемся в каюту, — приготовиться к Афинам. Ян скоро опять уходит. Кончив уборку вещей, я тоже поднимаюсь на палубу и подхожу к нему.

— А я уже видел в бинокль Акрополь и необыкновенно почувствовал его древность! — говорит он очень возбужденно. — Акрополь — совсем из какого-то другого мира, тогда и человечество было иное...

В Пирее мы пристали к берегу после завтрака. Пароход окружили кричащие на всех языках люди, очень разнообразно одетые, некоторые в фесках и широких шароварах, предлагавшие кто отель, кто лодку, кто себя в гиды. Мы взяли одного из них, худого, загорелого, пожилого человечка, говорившего на многих языках, в том числе и на русском.

Из Пирея в Афины едем в поезде. Чувствуется южный сильный зной. В Афинах еще жарче, в воздухе пыль, но город чарует белизной своих плоскокрышных домов в соединении с синевой неба. Мы едем по улицам, окаймленным пыльными кипарисами. Все дома слепы от стор, на окнах магазинов — маркизы. А женщины одеты во все черное.

Когда мы выезжаем из города, в глаза нам ударяет выжженный холм с золотисто-желтыми храмами, которые так прекрасны на густо-синем фоне неба, что не мне о них писать.

Ян выскакивает из экипажа, бежит к входу, пробитому в гранитной стене, окружающей Акрополь внизу, и быстро поднимается по широкой мраморной лестнице к Пропилеям. Я иду медленно и с каким-то трудно передаваемым изумлением смотрю на то, что называется Акрополем. Я чувствую легкость и божественную гармонию линий, но чувствую и удивление: мне представлялись эти храмы гораздо обширнее и величественнее.

Несколько раз в жизни мне случалось попадать на очень короткое время в прославленные на весь мир места. И теперь, когда я оглядываюсь назад, я замечаю, что короткие впечатления ярче всего сохранились в моей душе, ибо, конечно, запоминается в таких случаях только главное, только существенное. Что до Акрополя, то первое паломничество наше в него осталось для меня несомненно самой цельной и яркой картиной; и никогда не забыть мне этих золотистых руин, пролеты которых заполнены лиловатой синевой тощей травы, растущей среди них вместе с красными маками, а внизу с одной стороны белого плоского города, а с другой беспредельной синевы моря вдали...

Вот мы входим по мраморным плитам в Парфенон, останавливаемся, смотрим... Затем садимся на скользкую ступень лестницы и некоторое время сидим молча... Ян поднимает небольшой кусок мрамора и говорит, что ни за что не расстанется с ним, тайком унесет с собой...

Уютная бухта в Пирее после босфорского рейда кажется крохотной. На пароход мы попадаем как раз к моменту отхода. В шесть вечера снимаемся с якоря и медленно выходим из порта.

Когда скрылся еще более позлащенный уходящим солнцем Акрополь, быстро, почти без сумерек, стало темно. И вслед за Венерой, горевшей на западном склоне, — спокойно засиял над



Г. Н. Кузнецова (стоит), И. А. Бунин, В. Н. Бунина, Л. Ф. Зуров и др.

нею Юпитер, а за ним и все небо покрылось звездами, — первое для меня звездное небо в открытом море! Я с детства живу в общении со звездами, унаследовала любовь к ним от отца. Об отношении же Яна к ним известно по его стихам и рассказам...

Стоя на юте, мы сравниваем наше небо со здешним. На северо-востоке Большая Медведица стоит тут ниже, чем у нас в эту пору, Корабль Арго — выше, но все же не настолько, чтобы можно было видеть Канопус. Отыскиваем Вегу, любуемся раскаленным Арктуром... Увлеченные небом среди необъятной тишины моря, мы не замечаем, как бьет одиннадцать часов. Ночью какой-то животный крик будит нас. Что такое?

— Сирена, — говорит Ян, садясь на койку, — надо пойти узнать, в чем дело.

И, быстро накинув на себя пальто, выскакивает из каюты.

Минут через двадцать он возвращается. Да, это была сирена, так как в море густой туман.

К полудню мы прошли мимо Крита. Море терялось в лиловых далях. Мы долго сидели в креслах на спардеке, говорили о том, что завтра Африка, Египет, Александрия... Зной чувствовался уже на пароходе, нас клонило в сон, и вдруг я заметила, что Ян спит. Однако, в ту же минуту раздался звонок к чаю, и он с ужасом вскочил:

— Я заснул? Долго спал? Это ужасно, — я теперь не буду всю ночь спать!

Я успокоила его, уверила, что спал он не более трех минут. У него был предрассудок, что если он заснул после четырех часов хоть на минуту, то не будет спать ночью.

Перед обедом мы слушали жалостное пение греков, палубных пассажиров. Нельзя сказать, чтобы этот народ отличался музыкальностью. Когда стемнело, стало качать, подул теплый ветер, и мы радовались, что это уже ветер пустыни.

На следующее утро мы с волнением увидали берег Африки. Наш пароход блестел чистотой, как это всегда бывает перед входом в конечный порт. Все моряки надели белоснежные одежды. Медленно надвигался на нас песчаный берег с белым городом, с финиковыми пальмами, необыкновенно высокими и тонкими. В порту, очень закрытом от моря, всевозможных судов с трубами и мачтовых не меньше, чем на Босфоре.

Чем ближе к земле, тем все жарче, даже под тентом ощущаешь немилосердные лучи солнца.

На пристани пестрота, точно на мосту Валидэ. Новы для глаза кубовые длинные рубахи на мужчинах и на женщинах, кровных потомках египтян. Наконец мы на берегу, нанимаем экипаж. Извозчики в белом, белым покрыты и сидения коляски. Солнце стояло почти в зените, небо было бледно.

Здесь еще больше, чем в Константинополе, поражает пестро-

та Востока, смешанная со щегольством Европы. В гостинице, котоая находилась в уличке, выходившей к морю, нам отвели просторную комнату с очень большими постелями под кисейными балдахинами.

— Значит, есть москиты, — сказал Ян. — Терпеть не могу спать в этих клетках, я в них задыхаюсь...

В комнатах полумрак, весь город в эти часы живет с окнами, закрытыми жалюзи, но нам хочется ощутить Африку по-настоящему. Ян распахивает двери на балкон, и горячий и необыкновенно яркий свет заставляет нас зажмуриться...

До четырех часов весь город пуст, почти никто не выходит на улицу, но нам было скучно сидеть в комнате в совсем новом городе, и мы пошли на берег моря. Побродив, мы взяли билеты до Яффы на пароходе, отходившем завтра вечером, и я подумала, что я в первый раз в жизни проведу Светлую ночь в открытом море. Потом зашли на почту, отправили открытки, послали моим родителям телеграмму. И, почувствовав себя совершенно свободными от всяческих дел, стали осматривать город. Достопримечательностей в нем немного: катакомбы, где меня неприятно поразило электрическое освещение, очень к ним не идущее, Колонна Помпея, маяк, конный памятник Али, — вот, кажется, и все. Но именно от этого отсутствия памятников старины здесь гораздо больше, чем в Константинополе, бросается в глаза смешение туземных кварталов с европейскими домами и отелями на широких улицах и просторных площадях. Кроме того, в этом смешении есть и нечто африканское, первобытное. Попадаются негры, эфиопы, даже бедуины в своих очень живописных и сложных костюмах со змееобразными жгутами на голове поверх черного шерстяного плата. Потомки египтян тонки и статны, плечисты и смуглы. Женщины-магометанки закрывают лицо иначе, чем турчанки: вуаль ниспадает от глаз на нижнюю часть лица, лоб закрыт покрывалом (сзади спускающимся до пят), между вуалью и покрывалом, на переносице — медный цилиндрик, так что видны только огромные продолговатые глаза. Феллашки в длинных кубовых рубахах, с татуировкой на висках, подбородках и лбах с необыкновенной легкостью и грацией несут на голове то корзину, то жестянку, то кувшин.

Перед вечером ездили на канал и в туземный город; море стало необыкновенно ласковым, нежным, лазоревых тонов.

В восьмом часу мы подъехали к ресторану с массою столиков на воздухе, за которыми сидели одни мужчины, которые все без исключения были в плоских твердых соломенных шляпах. Служили очень ловкие юноши в красных фесках, с красными подпоясками под самые подмышки, в белых, очень узких и прямых подрясниках. Мы ели необыкновенно вкусный кэбаб, — род шашлыка на коротеньких деревянных палочках, — запивали красным вином, очень терпким и тяжелым.

После ужина немного побродили по городу, где нас не знала

ни единая душа. Было даже как-то жутко от радости этого одиночества. Домой вернулись веселыми, довольными, и Ян был так хорошо настроен, что даже читал, по моей просьбе, стихи.

Утром было особенно приятно сидеть в кафе, не спеша пить кофий, писать открытки родным, друзьям и знакомым, посылать им праздничный привет — из Африки. Потом Ян томительно-долго ходил по табачным лавкам, где стояли нарядные коробки с папиросами, сигарами и табаком. Выйдя из одной из них, он дал мне коробочку спичек и, смеясь, сказал:

— Я ничего не люблю носить лишнего, носи ты спички, ты будешь моим чубукчи...

Я, конечно, с радостью согласилась.

А после завтрака нужно было уже собираться на пароход.

Пароход был маленький, непонятной национальности. Во втором классе нам удалось получить отдельную каюту, довольно нелепой формы, выходившую в столовую. Быстро, как всегда, Ян разместил вещи, и мы вышли. В столовой увидели очень знакомое лицо человека, о чем-то хлопотавшего.

— Мне кажется, это русский, — шепотом сказал Ян, — пойдем отсюда.

За обедом кроме нас были еще американцы, большая компания во главе с пастором. Все больше пожилые, скучные по виду люди. Только два веселых и красивых мальчика, лет десяти и одиннадцати, приятно нарушали впечатление строгости и серьезности.

Вечером покачивало, дул северный ветер. На спардэке мы опять увидали нашего русского, который, сидя рядом с очень грузным, с седыми пейсами стариком, что-то читал ему.

— Конечно, это русские евреи! — сказал Ян. — И, конечно, они направляются в Иерусалим. Но где я видел молодого?

— Представь, и мне очень знакомо его лицо... Однако, что-то холодно, вот тебе и Африка! — сказала я, смеясь. — Пойдем-ка спать...

Меня волнует, что Светлую ночь мы проводим в открытом море. Мы долго разговариваем, вспоминаем родных, близких.

Перед завтраком Ян разговорился с нашим соотечественником. Оказалось, что это Д. С. Шор. Как же это я не узнала его сразу? Ведь это он вместе с Крейном и Эрлихом воспитывали наш музыкальный вкус на своих «Исторических концертах», в зале Синодального училища, столь родного для меня, ибо с самого раннего детства я бывала в нем еще на детских концертах Эрарского, когда в оркестре играли мои двоюродные братья и другие знакомые мальчики...

Д. С. Шор со своим отцом плыли в Палестину. Мы решили вместе сойти на берег, чтобы провести несколько часов в Порт-Саиде.

Отец Шора был мне очень интересен. Я никогда не общалась со старозаветными евреями. Мне было даже несколько жутковато с ним. Но он оказался таким милым, добрым человеком, что мы его вскоре полюбили, а впоследствии даже несколько лет сряду обменивались с ним письмами. Он отправлялся в Палестину в полном религиозном напряжении, считая необходимым перед смертью совершить это паломничество. Сын его, насколько я понимаю, был близок к сионизму, но не думаю, чтобы он был религиозным человеком, во всяком случае, этого не чувствовалось. К отцу он относился с большой нежностью и почтением, а старик очень гордился сыном.

Порт-Саид — плоский треугольный городок с очень высокими домами, гостиницами, построенными из стекла и железа, с большими кафе, где черномазые мальчишки постоянно тянули нас за ноги, желая несколько раз сряду вычистить нам обувь, или же просто просили у нас бакшиш.

Такого спокойствия на море, кажется, еще ни разу не было за весь наш путь. Несмотря на утренний час, все уже раскалено. Густо-синяя вода нежно лижет борты нашего суденышка, приближающегося к Святой Земле, к конечной цели нашего путешествия.

На горизонте показалась полоска земли, ко мне подошел Ян, и мы стали молча смотреть.

— Яффа! — сказал он с волнением.

В ПАЛЕСТИНЕ

Медленно плывем к Яффе, на которую уже надо смотреть, подняв голову, плывем по густо-синей воде, мимо огромных камней-рифов. Решаем остановиться там же, где и Шоры, а потому не беспокоимся об отеле, — на берегу встретят. Подплываем к деревянному, очень длинному, на тонких сваях мостку, идем к огромному деревянному строению, где происходит процедура с паспортами... И, наконец, вступаем в Святую Землю. Гам, крик, звон бубенцов, восточные кухонные запахи, пестрота одежд уже не поражают нас, мы уже чувствуем себя недурно среди всей этой гортанной восточной бестолочи.

Поднимаемся по узким улочкам. Все дома с плоскими крышами. Идем мимо темных открытых лавок, где грудами лежат огромные яффские без зернышек апельсины, лимоны, висят несметные связки чесноку цвета слоновой кости и тут же навалены шевелящиеся омары, лангусты, рыбы...

Отель небольшой, хозяева евреи.

Часа в четыре мы вышли побродить по городу. Ян наменял денег, и мы зашли в кофейню в крытых полутемных рядах: мы все больше и больше входим во вкус турецкого кофия и уже привыкаем пить его по несколько раз в день. На площади, конечно, бассейн, небольшой базар; на базаре много ветхозаветных людей, каких мы не встречали ни в Константинополе, ни в Александрии.

Потом мы отправляемся на окраину Яффы, где много вилл, садов с кактусовыми оградами, на которых желтеют бокалообразные цветы, — я никогда не видала кактусов в цвету, — в садах высятся пальмы и всякие южные растения, затем тянутся целые апельсиновые и лимонные рощи.

Ян говорит о Христе, о том, что он «чует Его живым, каким Он ходил по этой знойной земле»...

Вечером после обеда, за кофием, обсуждали наш дальнейший путь. Остановились на том, что едем завтра в полдень. Д. С. Шора просили играть, но инструмент был не для Бетховена. Он дает на следующей неделе два концерта в Яффе.

Из Яффы в Иерусалим поезд идет только раз в сутки.

С утра мы озабочены, что взять с собой в дорогу из еды. С радостью толкаемся по базару, любуемся грацией девушек с глиняными кувшинами на плече, пугаемся верблюдов, к которым здесь, видимо, относятся, как у нас к лошадям, мальчики в лохмотьях пристают с бакшишем. Оглушают продавцы воды, которые кричат: газез, газез... Но Яффа еще не Палестина в смысле религиозном, здесь только восток, здесь нет ни строгости Иудеи, ни нежности Галилеи. Яффа могла бы быть приморским городом какой угодно восточной страны.

Ровно в полдень мы трогаемся. Поезд состоит всего из нескольких вагонов.

Мы едем по Саронской долине, довольно пустынной, сплошь усеянной маком, кое-где видны пашни — работа сионистов. Вот и Лидда и Рамлэ — крохотные арабские городки с ярко-белыми домиками. Много финиковых пальм, кипарисов, но почва здесь каменистая и хлеба́ жидки. Отсюда начинается подъем до Иерусалима, и местность становится иной. Появились сизо-серые камни, столь характерные для Иудеи, ущелья, котловины. Становится жарче. Поезд ползет по извилистому пути.

Минуем ту долину, где Давид сразил Голиафа, где Иисус Навин воскликнул: «Стой, солнце!» Трудно передать чувство, которое я испытывала именно тут, — это как бы овеществление Библии, которое меня не покидало потом во все время нашего пребывания во Святой Земле.

Под вечер мы наконец были на вершине этого подъема и увидали крыши, за ними зубчатую стену, скрывающую за собой древний Город.

Отец-Шор сильно волнуется — исполняется его заветная мечта, мечта каждого верующего еврея побывать перед смертью



Слева направо: Ф. А. Степун, И. И. Бунаков (Фондаминский), И. А. Бунин, И. П. Демидов. Грасс, 20 апреля 1931.

в Иерусалиме, вознести молитвы у Стены Плача. Как всегда в горных местностях, на закате резкое понижение температуры. Мы быстро проходим вокзал, останавливаемся на подъезде его, нас окружают извозчики и наперебой предлагают свои довольно потертые «фаэтоны». Пока укладывают в экипаж вещи, старик Шор закрывает ладонью глаза, и я вижу, как по щекам его катятся слезы.

Мы едем в какой-то еврейский пансион, где решили остановиться на несколько дней, пока не осмотримся. Он находится в европейской части города, то есть вне стен Иерусалима, в так называемом Новом Иерусалиме, расположенном на северо-запад от древнего города. Здесь, на скатах холмов, много вилл, садов, маслиновых рощ, каких-то больших скучных белых зданий: это всякие приюты, школы, госпиталя, миссии различных вероисповеданий.

Ежеминутно попадаются русские паломники в своих мужицких тяжелых одеждах, францисканские монахи в сандалиях на босу ногу, опоясанные веревкой, евреи с пейсами в круглых черных шляпах (и не только старые, но и молодые), мрачные, греческого типа монахи, наконец, обыкновенные туристы, которые здесь кажутся очень необыкновенными...

Пансион небольшой. Комната наша во втором этаже выходит на какую-то крытую галерею. На притолке у двери прибита деревянная коротенькая трубочка. Ян объяснил мне, что в ней заключаются десять заповедей.

Вечером мы выходим побродить, без всякой определенной цели. Доходим до западной стены, идем вдоль нее. Ян говорит о Христе.

Дома он вынимает Евангелие и дает Его мне, советуя читать особенно серьезно.

Проснулись рано. Утро свежее, — ведь Иерусалим лежит высоко над уровнем моря, — на небе ни облачка, воздух необыкновенно прозрачен. Во всем теле ощущение радостного волнения: сейчас мы будем в древнем Иерусалиме...

Мы идем опять к Западным воротам, с грубой средневековой башней. По дороге рассматриваем при дневном свете сарацинскую зубчатую стену, которая скрывает древний город, спускающийся с запада на восток.

Пройдя сквозь темные ворота, мы останавливаемся на крохотной площади и смотрим на Цитадель Давида, окруженную рвами и бойницами. Потом спускаемся по странной узкой улице со сводами, а местами с холщовыми навесами, делающими ее сумрачной. Сразу охватывает трепет: одно название чего стоит — улица царя Давида! С первых же шагов по Иерусалиму я ощущаю отличие его от Константинополя, и от Александрии, и даже от Яффы: здесь все строже, серьезнее...

— Вот где надо было бы остановиться! — воскликнул Ян. — В путеводителе указаны гостиницы внутри города и, кажется, именно в этой улице. На обратном пути зайдем и узнаем, если будут свободные номера, непременно переедем.

Дома в Иерусалиме высокие, выстроены тесно, пригнаны стена к стене, а потому даже в местах открытых над головой видишь лишь полоску синего неба. Мы сворачиваем влево в узкий проход, — это тоже улица, — и идем мимо лавок с четками, крестами, образами и священными книгами в прелестных переплетах. Останавливаемся, восхищаемся ими.

Потом мы снова сворачиваем и по извилистой улочке доходим до каменной ограды. Входим в вымощенный каменными плитами двор, идем медленно, с какой-то осторожностью и впиваемся глазами в тяжелый фасад Храма. Я с огорчением чувствую, что нельзя обойти Храм со всех сторон, — все вокруг тесно застроено какими-то высокими каменными зданиями.

На мраморной паперти, прямо на камнях, разложены для продажи всевозможные четки, крестики, образки, перламутровые, кипарисовые и другие. Из Храма выходят наши паломники, — трогательно видеть их здесь, вдали от родины, в чуждой им обстановке, истово и с благоговением крестящихся и кладущих земные поклоны. У многих на глазах слезы радости от исполненного обета — поклониться Гробу Господню. И как умиляет какая-нибудь Агафья, с головой, закутанной шерстяным платком, и с ласковой застенчивой улыбкой.

В портале я вздрагиваю: на каменных нарах сидят турки с папиросами в зубах, развлекаясь шахматами. С бьющимся сердцем переступаю порог Храма. Глаза ослепляет яркий свет восковых свечей всевозможных размеров. Все время испытываю странное чувство: неужели я и впрямь подле Гроба Господня?

Посредине Храма-ротонды блещет и сияет золотом образов, огнями свечей и лампад часовня над Гробом Господним. Перед входом в нее очередь, за которой следит черный монах с тонким византийским лицом. Мы еще не решаемся проникнуть туда от какого-то благоговейного страха, от чувства своей недостойности.

Несмотря на ранний час, ротонда полна народом, и поистине здесь все языцы. Трудно даже всех запомнить: тут и католические священники, и францисканцы, и протестантские пасторы в длинных широких сюртуках, и греческие монахи, и наши духовные лица, и монахини в огромных накрахмаленных белых шляпах, и даже какой-то эфиопский архиерей, очень высокий и худой человек со смуглым лицом, в черном клобуке, с ниспадающей на плечи легкой вуалью, окруженный такими же стройными и смуглыми монахами, медленно идущими с какой-то изящной величавостью. Я уже не говорю о паломниках всех наций, среди которых бросаются в глаза наши мужики и бабы. Да, это единственное место на земле, куда стремятся христиане

всех народов, ибо главное, что влечет их всех, одно, и это одно от Бога, а распри, несогласия, раздоры — от людей.

В соседнем греческом соборе нас удивляет пение: до чего оно не похоже на наше, и как ему далеко до нашего! В католических пределах тихо, — вероятно, шли немые мессы. Затем мы поднимаемся по мраморной лестнице в очень маленькую, почти темную церковь, алтарь которой находится на Голгофе... Голгофа — второй этаж церкви. Тут мы довольно долго стоим в сумрачной тишине, в каком-то жутком оцепенении... Православная служба идет внизу, в подземной церкви. Но мы еще во власти впечатления от Голгофы, и блеск, пышность богослужения оставляют нас холодными. Возвращаемся из Храма тем же путем. Заходим в отель. Свободные комнаты будут через два дня. Мы просим оставить одну за нами. Радуемся, что будем жить в самом Иерусалиме.

За завтраком Шор предлагает ехать на следующий день в Хеврон — его отцу надо поклониться могилам Авраама и Сарры. По дороге остановимся в Вифлееме. Мы, конечно, с радостью соглашаемся.

В три часа берем коляску, которая здесь почему-то называется «фаэтоном», и едем на Елеонскую гору, на вершине которой возвышается православный храм. Едем в сторону, противоположную той, по которой ходили утром, огибая стены Иерусалима с запада на восток, минуем восточные, иначе дамасские ворота, затем дорога идет вдоль высохшего русла Кедрона.

Ян указывает мне Иосафатову долину и говорит:

— Это место Страшного Суда. И евреи и мусульмане считают великим счастьем быть похороненными здесь. — И он привел слова пророка Иоиля о Долине Иосафата.

Меня все более удивляет его знание Библии, Корана и его замечательная память.

Дорога поднимается в гору; проезжаем мимо Гроба Богоматери, мимо Гефсиманского сада, — осмотреть его решаем на обратном пути, — потом поднимаемся по склону Елеонской горы. Кругом все те же сизо-серые глыбы, с гнездами ярко-красных маков. Ян указывает в небо:

— Видишь ястреба, как они подходят к этой суровой и беспощадной стране!

Елеонская гора, как я уже упоминала, увенчана православным храмом, очень русским, и он совсем не вяжется с угрюмой пустынностью Иудеи; к тому же, словно нарочно, купола его выкрашены в густой синий цвет.

Мы поднялись на колокольню. Солнце уже клонилось к западу и стояло над Иерусалимом, обливая его золотым блеском; на востоке мы различили ярко-голубую полоску — Мертвое море.

У Дамасских ворот мы отпускаем извозчика и идем в Иерусалим тем же путем, каким шел Христос на Голгофу, то есть по

Виа Долороза. Все время этого крестного пути мы находились в каком-то напряженном состоянии, и сейчас, когда я пишу, я еще испытываю жуткое чувство...

Поездка в Хеврон оставила во мне радостное, веселое воспоминание.

Погода была ровная, тихая, солнце поднималось все выше и выше, говорило нам, что мы в Иудее, и опять вызывало в нас страх, что у Яна нет пробкового шлема. На мне была крымская войлочная шляпа, — защита надежная. Удивлял нас Шор-отец своей прочной, тяжелой одеждой и черной шляпой. Он, шутя, говорил, что кровь его древняя, а потому никакой зной ему не опасен.

Сначала мы все спускаемся по направлению к Яффе, а затем, в долине Гигонской, сворачиваем на юг и поднимаемся до равнины Рефаин. Волнистый простор, залитый солнцем и замыкающийся на востоке горами, яркие зелени, встречные овечьи отары с ветхозаветными пастухами в полосатых абаях придают всей этой местности живописный и радостный вид.

Шор-отец рассказывает, что по всем этим скатам в древности цвели орошаемые каналами сады с огромными цистернами. Ян вспоминает об «опаленной солнцем девочке, ждавшей в винограднике возлюбленного»...

А передо мной встает мое детство, моя первая встреча с Ветхим и Новым Заветами. Вот об этой книге я и вспомнила при виде пастухов, шедших под Вифлеемом со своими стадами.

На восточном склоне холма зажелтели густо столпившиеся дома: Вифлеем!

Это небольшой городок, окруженный возделанными полями, с возвышающимся над ним храмом Рождества Христова, перед которым мы остановились. Церковь двухэтажная, тоже какая-то радостная. На полу в нижнем храме — звезда, место, где находились ясли.

Мы долго стояли на белой лестнице храма, под сводчатым каменным навесом. Солнце поднялось высоко и радостно заливало и этот счастливый из счастливых городов, и просторную долину, к востоку холмистую, замыкающуюся Моавитскими горами, родиной Руфи...

Не помню, о чем шел разговор, но помню, что Ян неожиданно прочел:

Был Авраам в пустыне темной ночью
И увидал на небесах звезду.
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но в полночь
Звезда зашла — и свет ее померк.

Был Авраам в пустыне пред рассветом
И восходящий месяц увидал.
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но месяц
Померк и закатился, как звезда.

Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простер.
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но солнце
Свершило день и закатилось в ночь.

Бог правый путь поведал Аврааму.

В Вифлееме мы завтракали, и Ян, наконец, купил себе пробковый шлем.

Местность после Вифлеема резко изменилась, стала скучнее и угрюмее — настоящая Иудея. По пути в Хеврон мы почти совсем не видели возделанной земли — только сизо-серые глыбы и повсюду мак. (Наши спутники передают нам легенду: каждую весну кровь убитых на этой земле выступает и окрашивает эти цветы.) До самых водоемов Соломона полное безлюдие. Мы осмотрели знаменитые водоемы Соломона. Перед ними — остатки крепости Саладина, далее три огромных цистерны.

Наше внимание отвлекается черными козами, рассыпанными вблизи третьего водоема среди серо-сизых камней; на одной из них сидит пастух-бедуин и играет на свирели.

— До чего это хорошо! — восклицает Ян. — Только это даже не из Ветхого Завета, а из жизни гораздо более дикой...

Близ Хеврона появились темно-зеленые дубы, под ними на террасах столетние маслины, виноградники. Навстречу стали попадаться верблюды, которые продолжают удивлять меня, — все кажется, что это что-то не настоящее.

Шор-отец опять волнуется, опять что-то бормочет, закрывая глаза, покачивая головой.

Хеврон в руках мусульман. В самое святилище, где покоится прах Авраама, Сарры и Исаака и которое похоже на какую-то крепость, никого не пускают, кроме правоверных.

Дома все из серого камня, улочки, по которым мы идем, грязны даже для восточного города. За нами издали следует свора мальчишек, мы ловим на себе неприязненные взгляды людей в фесках. Когда мы завернули в улочку, ведущую к гробницам, я вдруг почувствовала удар камня в поясницу.

Шор-отец грустно сказал:

— Они ненавидят главным образом нас, евреев; за что пострадала Вера Николаевна, не понимаю... Это несправедливо...

Из Хеврона мы возвращаемся другим путем, хотим поклониться могиле Рахили.

На вечерней заре, которая была необыкновенно прелестна своей мягкостью, мы проезжали мимо пещеры пророка Иеремии. Остановились и направились к ней. Ян впереди всех. Когда он был почти у входа, мимо него стремглав пролетел какой-то зверь.

— Шакал! — радостно крикнул нам Ян, обернувшись.

В полной темноте мы издали увидали маленький огонек.

— Это в гробнице Рахили, — объяснил извозчик.



И. А. Бунин, В. Н. Бунина. Грасс.

Гробница ее — небольшая белая ротонда под куполом. Мы обходим кругом; в крошечные окошечки виден свет, кругом тишина, пустынность, звезды. Шор-отец скорбно прислонился левым плечом к стене гробницы...

Вдруг какой-то крик, шум, точно на базаре. Что такое? Какие-то молодые евреи затеяли скандал не то с нашим извозчиком, не то друг с другом. И все ощущение поэзии этого мирного вечера над могилой пра-матери сразу куда-то исчезло. Я взглянула на Яна, лицо его было гневно.

В полном молчании мы доехали до дому.

После обеда мы обсуждали дальнейшие наши планы: решили на следующий день под вечер выехать в Иерихон, ночевать в нем, а на рассвете быть на Мертвом море, чтобы встретить там восход солнца.

— Одевайся скорей, — сказал весело Ян, — пойдем к Стене Плача. На обратном пути зайдем в гостиницу и скажем, чтобы сегодня прислали за нашими вещами, а завтра прямо с дороги поедем туда. Мне до невозможности надоела баранина во всех видах. Да и хочется пожить хоть немного в центре древнего Иерусалима.

Я не заставила долго себя ждать, и мы быстро пошли нашим уже обычным путем в старый город. Пройдя по улице Давида несколько дальше той улочки, которая ведет к Храму Господню, мы свертываем вправо и, спускаясь по уступам, попадаем в узкое замкнутое пространство. Восточная сторона его — высокая каменная стена; это и есть Стена Плача, главное святилище евреев; некогда она была частью укреплений, окружавших Храм Соломона, ныне же — часть внешней стены, идущей вокруг мечети Омара.

Еще издали до нас доносился страшный гул, вернее какой-то стон, а когда мы подошли совсем близко, то этот стон превратился в душу раздирающий вопль, такой страстный, что я никогда ничего подобного не могла даже вообразить. Впечатление необыкновенно сильно, и я кое-что начинаю понимать в этом сложном, не всегда понятном и энергичном народе.

В гостинице, отдохнувши после завтрака, мы увязали наши чемоданы, за которыми должны были прислать из нашего будущего отеля.

Д. С. Шор очень смущенно спросил нас, не будем ли мы иметь что-либо против, если с нами поедет его знакомый:

— Ведь есть лишнее место в экипаже... и поездка обойдется таким образом дешевле. Кроме того, он там все знает, будет у нас за гида...

Не согласиться было нельзя; мы только пожалели, что вместо милого старика Шора, который как-то хорошо сливался с этой страной и своей религиозной напряженностью давал нам ощу-

щение древней Иудеи, с нами едет какой-то неизвестный человек.

— Ох, боюсь, что этот господин испортит нам всю поездку, — сказал Ян. — Вот что значит связываться с чужими людьми! Нужно всегда путешествовать одним.

В четвертом часу мы усаживаемся в фаэтон. Наш новый спутник — худой, среднего роста человек лет тридцати, с тросточкой и в соломенной шляпе, еврей, очень смешно говорящий по-русски.

До Вифании мы не останавливались и уже как на знакомые места смотрели на Кедрон, Иосафатову долину, на Гефсиманский Сад, на Елеонскую гору.

Вифания — последний этап перед пустыней, мы делаем здесь первый краткий привал. Входим в крохотное селение, состоящее из серых домиков, фиговых деревьев, кривых улочек, чумазых детей, убогих стариков и мясистых кактусов. В могилу Лазаря нужно спускаться с зажженными свечами вниз по каменной лестнице со стертыми ступеньками. Вспоминаются прежние представления о ней... Как все это не похоже на то, что создавало воображение в детстве!

От Вифании мы спускаемся. И спускаемся довольно долго. Вокруг очень красиво, но красота особенная, — все дико, каменисто. Но и тут я испытываю не разочарование, а удивление. Пустыню я всегда воображала себе песчаной, похожей на Сахару, а тут совершенно не то. Наша дорога змеится среди каких-то оврагов, угрюмых холмов, котловин; а за ними — ущелья, скалистые обрывы. Бесплодие полное, даже мака меньше. Тишина... Если наш новый спутник замолкает, — он все строит планы о орошении Палестины и чуть ли не превращении этой каменистой пустыни в цветущий сад, — то ничего не слышно, кроме цоканья копыт.

Второй привал мы делаем у «Источника Апостолов», чтобы попоить лошадей.

Наш новый спутник опять восторженно заговорил о водопроводе, но мы оставили его с Шором, а сами отошли и стали разглядывать бедуинов, которые тоже поили своих коней. Бедуинов было несколько, но наше внимание привлек один, очень высокий, худой, весь обвешанный оружием. Ян внимательно рассматривает и запоминает его сложный костюм.

— Как странно, — говорю я, — в такой знойной стране, они так тепло одеваются, посмотри, ведь на нем под абаей еще теплая ватная кофта!

— Значит, так и надо, — отвечает Ян.

Затем мы едем вдоль извилистого дна Вади-Эль-Хоть. С перевала уже хорошо видно Мертвое море. Моавитские горы, заслоняющие восточный горизонт, кажутся очень легкими. Спуск крутой. Спустившись в долину, мы решаем сначала ехать к горе Искушения.

У подножия ее источник пророка Елисея. Тут мы выходим из экипажа, и наш спутник без умолку говорит что-то о возможности использования этого источника для какого-то коммерческого предприятия. Ян быстро, быстро поднимается на первую волну горы. Его изящный силуэт в шлеме отчетливо выделяется на ее уже почти черном уступе. Я стою с Шором, который говорит мне, что он теперь переживает почти то же, что переживал здесь Христос, и не знает, удастся ли ему победить искушение... Я слушаю и не понимаю, о каком искушении речь; с восхищением слежу за Яном, — до чего он сейчас красив, легок, весь подобран...

В Иерихон мы приехали, когда совершенно стемнело. Наш спутник опять стал развертывать перед нами свои планы насчет воды. Ян делался все мрачнее и мрачнее, Шор впал в раздумье, и так прошел весь обед.

Когда мы остались одни, Ян обрушился на меня:

— Какое мне дело до его воды? Как он не понимает, что значит для нас Гора Искушения?

— А знаешь, что Шор говорил мне, пока ты взбирался на гору? Что он переживает теперь свою гору Искушения.

— Не может быть!

— Уверяю тебя...

Ночь была тропическая. Звезды поражали своей величиной, в воздухе, напоенном всевозможными ароматами и оглашаемом жабами и звоном цикад, мириадами носились зеленые блуждающие огни.

— На дворе легко схватить лихорадку, пойдем спать, — сказал Ян, — ведь завтра нас разбудят на рассвете...

Но спать от невероятного количества москитов, блох и всяких других насекомых и думать нечего. Выскакиваем из наших кисейных клеток и выходим на каменный двор, затем в сад, где садимся на скамью. Сидим, зачарованные красотой этой совершенно новой для нас ночи. Сидим, молчим, потом медленно ходим под высокими деревьями, которые в темноте кажутся исполинскими, проходим мимо каких-то кустов, пахнущих остро, крепко, сладко.

— Здесь должен расти небд, — говорит Ян, — кустарник, который приносит акриды и терновник, из которого сплетен был венок Христу...

— А я думала, что акриды не растения, а насекомые, — сказала я.

Потом мы снова возвращаемся в комнату, снова пытаемся заснуть, но все напрасно. Еще более искусанные, мы опять спасаемся в сад.

Так иерихонские насекомые подарили нам незабываемую ночь и тот предрассветный час, когда наступает такая тишина, что кажется, в мире происходит как бы слияние земного с небесным.

...Выезжаем очень рано. Одна за другой начинают гаснуть крупные звезды, всех дольше борется со светом красавица Венера, которая выбралась в небо довольно высоко. Над лиловатым Моавом небо начинает оживать. Еще носятся летучие мыши, и Ян рассказывает дамасскую легенду о том, как Христос во время своего сорокадневного поста сотворил летучую мышь, начертав на песке ее образ, — чтобы она указывала часы молитвы, вылетая из своей норы.

Вокруг расстилаются пески, попадаются колючие кустарники, покрытые солью. Да, здесь уже всем существом ощущаешь пустыню, и тишина уже кажется естественной. Порядочно отъехав, решаем остановиться, чтобы встретить восход солнца. Кто редко встает на утренней заре, всегда волнуется, встречая восход солнца. Поднимаемся на пригорок и ждем. Моав посветлел, стал гелиотроповым, а небо над ним все разгорается и разгорается. Наш новый спутник возбужден и быстро-быстро говорит:

— Вот, подождите, когда начнет вырываться солнечный шар!..

И когда этот шар «вырвался» и залил своим блеском всю лежащую перед ним страну, мы сразу почувствовали всю мощь его и тот страх, который он внушал древним и заставлял обожествлять себя. Недаром по всей этой пустыне разбросаны огромные каменные диски, которые попадались и нам на пути — жертвенники Ваалу-Солнцу.

Но пора ехать. Обсудили, куда раньше: к Иордану или к Мертвому морю? И чем дальше ехали по этой пустыне, тем становилось все теплее, а затем все жарче и жарче.

Иордан на первый взгляд — небольшая речка средней России — в камышах, под ивами, но когда приглядишься, то различишь среди этих плакучих ив лианы. Берег крутой, местами обрывистый. Вода, как в омуте, бурлит, крутится, мутная, желтая.

Мы с Яном идем немного вверх по течению. Как-то не верится, что это именно было здесь Крещение Господне, и в то же время непередаваемо-сладостно сознавать, что это не сон, что мы на Иордане, на той самой реке, которая с детства казалась находящейся в каком-то не нашем мире.

Я плохо помню дорогу от Иордана к Мертвому морю. Помню лишь, что зной все усиливался и усиливался и что стало ужасно клонить ко сну. Бодрость поддерживало только сознание, что скоро мы будем у Мертвого моря. Меня оно интересовало не только с библейской стороны, как место гибели Содома и Гоморры, а еще и с геологической и физико-химической. Ведь это единственное в своем роде на земле явление: вода здесь насыщена таким раствором всяких солей и удельный вес ее настолько велик, что человек плывет, как щепка. И все живое в нем гибнет. Даже на известном расстоянии от него Иордан катит свои воды

между голых берегов, — деревья точно боятся приблизиться к нему.

Но вот мы и у цели, на берегу моря, вода которого даже на взгляд очень масляниста. Мы опускаем в воду руки, испытывая очень странное ощущение от ее плотности, а когда вынимаешь руку, чувствуешь жжение.

Потом сидим, отдыхаем — уже в каком-то отупении и от жары, и от желания спать. Песок становится раскаленным. Пора уезжать. Бросаем последний взгляд на мглисто-голубые горы, на окутанные дымкой дали, на маслянисто-зеленоватую воду и едем.

— Мы теперь ниже всех, — смеясь говорит Ян, — ведь это место — на самой низкой точке земли по отношению к уровню моря...

Обратный путь я помню, как во сне, он был очень тяжек.

Близ Иерихона попался нам навстречу одиноко шествующий с высокой палкой в барашковой шапке и с котомкой за плечами наш мужичок, идущий на Иордань. Остальной путь я почти все время спала, склонив голову на колени Яна. Сквозь сон слышала, как сговаривались завтра идти осматривать Мечеть Омара, что Шору уже обещаны пропуска туда, что он зайдет за нами завтра утром, что послезавтра он уезжает в Яффу давать концерт. Затем я перестала слышать, засыпая на некоторое время, как убитая, затем просыпалась и давала возможность заснуть Яну.

В новом отеле публика была уже иная, чем в прежнем пансионе, больше всего было магометан в фесках и чалмах, у которых вокруг чалмы зеленый шелк — отличие побывавших в Мекке. Правоверные едят руками, не признавая ни вилок, ни ножей.

Вечер мы провели на крыше нашего отеля. И до чего там было хорошо!

С Шором, который зашел за нами со своими знакомыми в 9 часов утра, мы направляемся к Сиону, к могиле царя Давида. Близ нее провалившаяся могила, вся в маках. Я сбегаю и срываю целый пук этих прелестных цветов, выносящих лишь одно прикосновение... Потом мы направляемся к огромным крепостным воротам, выходящим на улицу Давида. Пройдя мимо Судилища Соломона, мы вступаем на ослепительно белый двор. Не буду описывать мечети Омара, скажу лишь то, что навеки сроднилось с моей душой: сверкающая белизна ее двора с темными кипарисами (напоминавшими мне картины Бёклина), массивное великолепие храма, стоящего на мраморном возвышении и отливающего светло-желтым кафелем и голубым фаянсом, а внутри мечети — огромный, черный, шершавый камень под зеленым



И. А. Бунин. Грасс, 1930-е годы.

балдахином, — скала Мориа, — яшмовые и порфировые колонны, сохранившиеся со времен Храма Соломона, мозаики, похожие на парчу, и запах кипариса с запахом розовой воды.

Дома за завтраком Ян рассказывает мне о камне Мориа, на котором, по преданию, Авраам приносил Исаака в жертву Богу. В Храме Соломона он находился в Святилище, на нем хранились ковчег завета, который и до сих пор скрыт под ним, расцветающий жезл Аарона и урна с манной. А магометане верят, что на эту скалу Магомет совершил на верблюдице-Молнии путешествие в одну ночь из Медины и стал на нее, качающуюся между небом и землею.

После обычного краткого отдыха идем к Гробу Господню.

В этот час храм почти пуст. Мы поднимаемся на Голгофу и некоторое время остаемся в этой полутемной маленькой церкви. Затем идем к залитой светом часовне. Проникаем в нее через довольно узкий вход и слепнем от целого костра свечей. Перед нами простая, в человеческий рост, плита, перед которой невольно опускаешься на колени. Я отказываюсь передать то, что я ощутила, почувствовала. Это особенно трудно мне теперь, так как в то время я все-таки совсем не так, как теперь, относилась к этому месту. Чувство, какое у меня было тогда, было правильно, но объяснение его в связи с моим отношением к миру, Богу было неверно. Между прочим, я говорила себе, что это место свято потому, что нет почти ни одного места на земле, куда приносили бы люди столько молитв, слез, печалей... Теперь я понимаю иначе святость Его.

Встретившись с Шором, который всегда приводит с собой кого-нибудь, в назначенном месте, мы долго бродим по улицам этого сложного города, проходим мимо каких-то монастырей. Нам рассказывают, что недавно в одном из них постриглась в клариссы шестнадцатилетняя девушка. Мне показалось почти чудовищным — уйти совершенно из мира, не видеть никогда ничего, кроме стен своего монастыря. Я еще не знала, что именно клариссы испытывают, может быть, самое большее счастье на земле...

Потом мы посетили ту горницу, где была Тайная Вечеря... Небольшая, с низким потолком комната, неправильной формы, длинный узкий стол..

Вечером мы простились с Шором. На следующий день он покидал Иерусалим, ехал в Яффу давать концерты, потом в еврейские колонии.

Еще накануне нас стали беспокоить руки Яна, они очень пострадали от укусов иерихонских насекомых. А потому как встали, то прежде всего пошли в аптеку, где прописали смазывать вспухнувшие места какой-то желтой мазью.

Яну очень хотелось объехать верхом вокруг стен Иерусалима. Я была так перегружена впечатлениями, что с удовольствием осталась дома. Пока было еще жарко, я писала письма, а когда солнце склонилось к западу, я поднялась на крышу, где и просидела до самого возвращения Яна.

Сначала я просто сижу, не думая ни о чем, только созерцая всю эту страну, такую своеобразную, почти без растительности, в серо-сизых валунах и красных маках... Затем внимательно смотрю на этот единственный по своей святости город в мире, на грациозную, высокую и тонкую пальму, одиноко поднимающуюся над домами с южной стороны, на Мечеть Омара, над которой блестит на темно-синем куполе трехаршинный полумесяц из чистого золота и которая своей роскошью нарушает строгую суровость этого слитого как бы в один дом города. Потом поворачиваю голову и долго смотрю на черный купол Храма Господня.

Внизу подо мной водоем, в котором Давид увидал купающуюся Вирсафию. Я вижу, как из одного окна опускается в него кожаное ведро.

Затем думаю об Яне, которого я еще вполне не понимаю. Слишком он ни на кого не похож, и часто ему не нравится то, что я привыкла считать чуть ли не за непреложную истину. Он, правда, ничего не навязывает, только бросит какое-нибудь замечание, — если сразу не схватишь, не поймешь, то разъяснять не станет, не станет и убеждать. Например, я вижу, что отец Шор нравится ему больше сына. Он ставит сыну в минус его «интеллигентское» отношение к миру. Но сам он этого не говорит прямо.

Я так задумалась, что не слыхала, как подошел ко мне Ян, веселый, и спросил, не скучала ли я?

— Нет, нисколько. Здесь необыкновенно хорошо. А ты хорошо проехался?

— Отлично! — сказал он. — Вот бы еще съездить к Савве Преподобному! Жаль только, что туда не пускают женщин, а оставлять тебя на целый день одну мне не хочется.

Затем он вынул записную книжечку и что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал.

Я забыла рассказать об анекдоте, который произошел с нами: когда мы высадились в Яффе, то наши паспорта были отданы вместе с паспортами Шоров, а взамен их нам были вручены

какие-то розовые билеты, которые, как оказалось, выдавались только евреям, не имевшим полной свободы передвижения. Узнав это и собираясь проехать в Галилею сухопутным путем, мы, естественно, захотели получить обратно наши документы и отправились к русскому консулу, надеясь, что он поможет нам выйти из нашего анекдотического положения. Но этот высокий, худой человек встретил нас очень сухо и, выслушав в чем дело, отказался нам помочь, посоветовав обратиться к консулу в Яффе.

— Да и чем вы мне докажете, что вы не еврей? — сказал он Яну.

За завтраком телеграмма от Шора:

«Послезавтра отходит пароход в Бейрут, если едете, то будьте завтра в Яффе».

Часа в три идем еще раз в Храм, по дороге покупаем Библию на тончайшей бумаге, а на паперти Храма кипарисовые четки, перламутровые образки, деревянные кресты и ящички. Я иду святить их к Гробу Господню. Опускаюсь на колени, кладу их на Плиту, рядом стоящий монах окропляет их святой водой, читая молитву...

Потом в последний раз бродим по городу; еще раз прошли по Виа Долороза, мимо дома Пилата, где я мысленно вижу его руки, белое полотенце, серебряный кувшин, из которого льется вода... Я думаю о всех близких, которые верят по-настоящему, особенно об отце, и жалею, что они лишают себя радости поклониться этим Святым Местам. Ян очень серьезен, почти все время молчит, но молчит приятно, выражение лица его грустно-спокойное.

К закату возвращаемся домой. Предупреждаем, что завтра уезжаем. Поднимаемся на крышу и бросаем последний прощальный взгляд на золотой закат, на побледневший Моав, на строгий каменный город, на суровую пустынность этой загадочной священной страны...

СИРИЯ, ГАЛИЛЕЯ, ЕГИПЕТ

В день отъезда из Иерусалима мы с Иваном Алексеевичем были утром на базаре. Купили провизию для вагона.

Затем уже знакомое: фаэтон, вокзал, маленький поезд, путь в Яффу... Яффа, базар, взморье на закате. Наш пансион, Хаим, Шоры. Все нам рады. Вечером разработка плана дальнейшего путешествия. Выбираем морской путь до Бейрута, а оттуда на Баальбек, Дамаск, Генисаретское озеро, Тивериаду, Назарет, Кайфу, Порт-Саид, Каир и Александрию, из Александрии же прямо в Одессу, из Одессы в Москву, а на лето в деревню.

На другой день, после завтрака, мы с Шорами поехали на Яффскую пристань. В толпе выделялся широкоплечий дьякон с густыми волосами, спешащий большими шагами к концу пристани: в руках у него несколько длинных пальмовых ветвей.

Пассажиры нашего парохода — почти все туристы с пледами, кодаками, но их немного.

Солнце уже касается горизонта, море спокойно и отливает розово-фиолетовым. Яффа со своими золотыми окнами спокойно смотрит на нас, на привычную для нее картину — суету перед погрузкой на пароход.

Я заглядываю в нашу каюту, затем отыскиваю Яна, он пристально смотрит на движущийся берег со своим палевым, а теперь розоватым городом. Он о чем-то крепко думает, так как не сразу замечает меня. Мы идем мимо Саронской долины. Вода понемногу теряет свой красноватый оттенок и делается все синее и гуще.

За обедом, очень длинным, народу немного, но все иностранцы, некоторые мужчины в смокингах, дамы в вечерних туалетах.

Очень тепло, мы сидим на палубе, над которой высоко в небе стоит полумесяц.

Шор делится с нами своими впечатлениями о колонии, в которой ему удалось побывать. Он восхищается энергией, работоспособностью сионистов, — как они в пустыне создают целые городки, сколько у них энтузиазма! Потом с большим восхищением рассказывает нам о художнике, кажется, по фамилии Шах, который создал в Иерусалиме школу живописи.

Шор-отец счастлив своим паломничеством, очень трогателен, он поклонился всем святыням и с чувством удовлетворения возвращается домой. С нами он только до Бейрута. Послезавтра на этом же пароходе он плывет в Константинополь, где пересядет на русский, севастопольский.

Часам к одиннадцати мы расходимся. Когда в каюте я сняла с себя блузку, Ян так и ахнул: обе руки мои были покрыты мелкими ссадинками. Он даже рассердился, а я не сразу поняла, почему. Это его манера — начать сердиться, не объяснив в чем дело.

— У тебя иерихонка, почему ты не сказала мне об этом раньше, нужно было обратиться к врачу...

Он взял свою желтую мазь, забинтовал мне руки, делая все почти с женской ловкостью и заботливостью.

Ночью Ян разбудил меня:

— Взгляни в иллюминатор, видишь два мутных огня? Это или Тир или Сидон. В древние времена можно было пройти под землей между этими двумя городами. А тиро-сидонские погребальные пещеры с их гротами получили страшное название: «сетей смерти», «колодцев гибели»...

...Утром за кофе против меня сидел англичанин, который пытался что-то объяснить лакею. Я предложила ему написать, что он желает, так как тоже не могла разобрать его английских слов, оказалось, что он просил три яйца, пол-литра молока и мелкого сахару. Когда ему все это принесли, он вылил молоко в большую чашку, выпустил туда яйца и насыпал сахару, потом все смешал и проглотил. Я с удивлением смотрю на него. Он объясняет, что питается только так три раза в день и чувствует себя сильным и здоровым, с восхищением показывает на свои бицепсы.

Вышла на палубу, когда уже подходили к Бейруту, окруженному лесистыми горами и виноградниками, за которыми поднимаются снежные горы Ливана. Пароход стоит здесь около суток. Шор-отец еще день проведет с нами.

Бейрут смотрит на север, а потому море у его ног печальное. Город сирийский, восточный, без всяких памятников. Европейцы, главным образом французы, — чиновники или занимаются торговлей. Сирийцы — народ красивый. Богатые живут в довольстве, но, вероятно, очень скучно.

Мы ездили по городу, выезжали за заставу: там много садов, вилл, увитых глициниями и другими цветами. За обедом пили густое палестинское красное вино.

Вечером мы распрощались со стариком Шором, прощанье было сердечное, — он очень доброжелательно относился к нам. Мы так с ним больше и не встретились. Вероятно, он уже умер. Ведь в то время ему было лет семьдесят. Мы о нем сохранили самые лучшие воспоминания как о человеке добром, мудром и религиозном.

Ян меня очень напугал: проснувшись, стал жаловаться на сердце, уверял, что умирает, ему казалось, что у него жар.

— Что делать, — говорил он печально и со страхом в глазах, — придется сейчас вместо вокзала ехать на пароход, благо он еще здесь, а то заедем Бог знает куда, и что ты станешь делать, если я расхвораюсь.

— Да ты мерил температуру? Померяй, если жар, то что же делать, как ни грустно, сядем на пароход, — сказала я.

— Хорошо, только ты все-таки попробуй мне лоб.

Пробую, — странно: сначала кажется горячий, а потом нормальный...

Через 15 минут смотрю на градусник — 35,8. Как впоследствии выяснилось, Ян всегда чувствовал себя плохо, когда ему приходилось жить у самого моря.

Половина седьмого мы сели на извозчика и отправились на вокзал.

Дорога между Бейрутом и Баальбеком красива и разнооб-

разна: сначала море, сплошные сады, виллы в цветах, затем мы поднимаемся по змеевидной дороге, которая на некотором расстоянии делается зубчатой. Я впервые еду по железной дороге в горах и поражена великолепием открывающихся картин. Едем мы в третьем классе, — на востоке мы ездим всегда днем в третьем классе, — здесь обычно можно увидеть что-либо интересное из туземной жизни, всмотришься в лица, в нравы. Но я больше смотрю в окно. Чем выше взбирается наш поезд, тем становится все прохладнее. Море то скрывается, то снова показывается и с каждым разом делается все просторнее и безбрежнее, так же, как и небо, а Бейрут опускается все глубже и кажется все мельче и мельче.

После Софара море пропало, мы уже в глубинах Ливана, и перед нами радостно сверкает над горной цепью какая-то новая снежная гора, вся как бы в серебряных галунах.

Перевал мы делаем около 11 часов утра. Тут уж настоящая горная свежесть, хотя высота и небольшая, всего 5000 футов над уровнем моря.

Ян чувствует себя совсем здоровым, очень весел, радуется, что не поддался утренней слабости.

После перевала — большой туннель. За ним огромная долина, на которой много распаханной земли. Теперь мы находимся между Ливаном и Антиливаном.

Красивый туземец, указывая рукой в окно, говорит:

— Джебель-Шейх!

Ян вскрикивает:

— Да, это Гермон! Как же это я забыл? А снег на нем как талес. Не правда ли, Давид Соломонович?

— Да, похоже, — подтверждает Шор.

— Что такое «талес»? — спрашиваю я.

— «Талес», — объясняет Шор, — это полосатый плат, которым евреи покрывают голову во время молитвы.

В Райяке пересадка на Баальбек.

Почва тут красноватая, в редких посевах.

— Недаром, — говорит Ян, — существуют легенды, что рай был именно здесь, — вот и та самая глина, из которой Бог вылепил Адама...

Слева закрывает горизонт цепь Ливана, испещренная белыми лентами снега, а справа возвышается Антиливан.

— Вот откуда, — говорит Ян, который все время, не отрываясь, смотрит в окно, — вот откуда все эти полосатые хламиды, талесы, полосатые мраморы в мечетях! Все отсюда!

Баальбек — развалины огромного храма, вернее храмов, самых древних и самых огромных из всех когда-либо созданных рукой человеческой.

Как показывает само название, они были посвящены Ваалу, богу Солнца.

За Баальбеком — пустыня, хотя земля и плодородна.

От огромного города, который на своем веку перетерпел так много и от людей и от стихии, осталось маленькое селение, а от храма — шесть исполинских колонн, которые мы по пути с вокзала в город неожиданно увидали над развалинами, вокруг которых зеленели сады.

Вдруг загремел гром. «Успеем ли добраться до отеля сухими?» — подумали мы.

Успели. Но тотчас же начался ураган с грозой и градом.

В нашей комнате балкон. После грозы мы долго не можем оторвать глаз от этих знаменитых шести колонн, которые так легко возносятся в небо, уже ясное и спокойное.

— Однако, нужно, пока еще не поздно, пойти туда, — говорит Ян.

Мы долго бродим среди этих циклопических развалин, с каким-то недоумением взираем на колонны, которые вблизи кажутся еще более исполинскими.

Подробно описывать храмы Баальбека я не буду, — слишком это трудно и сложно. Скажу одно: все время среди этих развалин я испытывала изумление и восхищение, и легенда о титанах уже не казалась мне легендой.

Мы оставались среди руин до самого заката, то есть до того времени, когда вход в них запирают. Неужели боятся, что их раскрадут?

Ян, отвоевывая лишние полчаса у нетерпеливо ожидавшего сторожа, ждавшего нашего ухода, взбирается к подножию колонн, и мы долго не можем дозваться его.

За обедом мы делимся впечатлениями. Ян восхищается тем, что он видел у колонн: сочетанием бледно-голубого неба с этими оранжево-красноватыми «поднебесными стволами», безбрежной зеленой долиной, простирающейся за ними до хребтов, тишиной, нарушаемой лишь шумом воды...

После обеда Давид Соломонович доставил нам большое удовольствие — он играл Бетховена, и играл очень хорошо. Он уже несколько лет перед этим посвятил себя Бетховену, читал о нем лекции, играл только его. Он очень любил говорить о нем, чувствовалось, что он живет им.

Вышли пройтись, полумесяц высоко стоял над развалинами и лил на них свой волшебный свет. На окраине селения мы остановились. Тут Ян неожиданно стал читать стихи. Он читал (все восточные свои стихотворения) как-то особенно, я никогда раньше, да, пожалуй, и потом не слыхала такого его чтения. Кажется, никогда в жизни не волновали меня стихи так, как в эту месячную ночь.

В стихотворении о Стамбуле Шор возмутился «кобелями», нашел это слово недостойным поэзии.

Возник короткий дружеский спор. Ян доказывал, что нет слов поэтических и прозаических, что все зависит не от самого слова, а от сочетания его с другими, от темы. И кстати расска-

зал, как раз он застал Бальмонта, что-то вписывающего своим четким почерком в книжечку. Он спросил, не стихи ли он пишет? Бальмонт ответил, что он записывает «сладостные слова»: пустыня, лебедь, лилейность и так далее. Но Шору Бальмонт, по-видимому, был ближе...

Я еще была в постели, когда Ян убежал еще раз взглянуть до отъезда на Храм Солнца.

Я воспользовалась свободной минутой и написала письмо брату Мите, это был день его рождения. Сохранилось ли это письмо или погибло за эти ужасные годы?

По железной веточке мы направляемся опять к Райяку, где пересядем на поезд, идущий в Дамаск.

Вагон пуст, и мы стоим, каждый у своего окна, стараясь крепко запечатлеть в себе все эти развалины, колонны, так хорошо, по-утреннему, освещенные солнцем, в честь которого они и были воздвигнуты. Потом, когда они скрылись, мы смотрим на мирную долину, на полосатые гряды Ливанских и Антиливанских гор.

В Райяке приходится ждать поезда довольно долго, но почему-то даже и это весело.

За завтраком на вокзале мое внимание привлекают два француза. Один — очень красивый блондин. Оба отлично одеты. Кто они? Куда едут?

Дамасский поезд идет сначала по той же долине, над которой царствует Гермон.

Поезда здесь не спешат. В вагоне мы опять с туземцами. Есть и белые чалмы, и красные фески, и закутанные женщины.

Чем ближе к Дамаску, тем становится все шире и пустыннее, а земля приобретает тон светло-коричневой глины.

Дамаск — оазис, стоит на ровном месте, окружен садами, из-за которых высятся острые белые минареты.

Гостиница поразила меня своим восточным характером. Внутри — мраморный двор с журчащим фонтаном, вестибюль и широкие галереи, уставленные узкими, обитыми восточными материями, диванами. Комната у нас большая, с балконом.

Мы решаем поехать за город, к реке с очень странным именем — Борода. Город без особых памятников старины, так как строительного материала здесь очень мало, а из глины прочных зданий не построишь. Отъехав от города на некоторое расстояние, мы останавливаемся и смотрим на Дамаск, который необыкновенно хорошо освещен предвечерним солнцем и весь утопает в зелени.

Ян выскакивает из экипажа и с большой горечью восклицает:

— Почему я не видел всего этого пятнадцать лет тому назад?

Я в то время не поняла ни его восклицания, ни печали, но мне почему-то самой стало очень грустно.

За обедом он повеселел.

В салоне какая-то англичанка записывала что-то в кожаную тетрадь, — вероятно, свои впечатления. Кто она? Может быть, писательница? Как странно — встречаешь людей, видишь, что они делают, и не знаешь, кто они!

Вечером мы долго сидели на балконе. Месяц, хотя было еще светло, высоко стоял в небе. Потом спускались во двор и слушали журчание фонтана, немного прошлись по уже спящему городу, залитому лунным светом.

У Шора везде знакомые, как я уже писала; благодаря этому мы попадаем на какую-то фабрику, где изготовляются медные вещи: огромные вазы, кувшины, старинные походные чернильницы, пепельницы, чашки для мытья пальцев после обеда, кастрюльки для турецкого кофе... Мы покупаем на память несколько пепельниц и медную чернильницу с ручкой-пеналом, которую можно засунуть за пояс.

Потом мы попадаем в чей-то очень богатый дом. Дом совершенно восточный, с внутренними двориками, где журчит фонтан, с какими-то переходами, балкончиками и галереями, убран тоже по-восточному — дорогими коврами, тахтами, под парчовыми тканями, узкими диванами, обитыми пестрым шелком, разными столиками, отделанными перламутровой инкрустацией, шалями, какие носили наши бабушки... Нас даже угостили кофе, сваренным на наших глазах прямо на углях, необыкновенно вкусно приготовив его с какими-то орешками.

Было около полудня, когда мы покинули этот гостеприимный дом. Улицы были пустынны, на каком-то перекрестке мы встретили несколько женщин, одетых во все черное. Они остановились с таким видом, точно им хотелось что-то спросить. Знакомый Шора подошел к ним. Оказалось, они интересовались мною — «из какой страны такая женщина?».

Днем мы посетили главную мечеть. Меня поразило, как низко висели в ней лампады на железных цепях. Мы восхищались, что мечети всегда открыты, что всякий правоверный во всякое время может найти себе приют, что с грязными ногами никто никогда не вступает в них. Хорош и этот двор с обилием воды для омовений, окруженный крытыми аркадами.

Из мечети мы идем на базар и проводим в его рядах, похожих на ряды константинопольского Чарши, несколько часов. Так же зазывают тут продавцы покупателей, и так же благодушно провожают тебя, если даже ничего не купишь. И мы насмотрелись вдоволь — и на ковры необыкновенных тонов, и на

шарфы, вышитые золотом и серебром, и на кашемировые шали, и на оружие, на изделия из слоновой кости, из серебра, золота, и на всякие парчовые ткани, — словом, на все, что делает Восток таким роскошным и заманчивым.

Бродим мы по городу и по базару и на другой день с раннего утра, досматривая то, чего не успели досмотреть накануне. На базаре все прелестно, и, может быть, потому, прежде всего, что все сработано с любовью, руками...

После завтрака мы решаем выехать за город к месту постройки Багдадской дороги. Уже очень жарко, но ведь в пустыне зной всегда приятен, если он только переносим. И был зной, пески, глиняные могилы, а дальше люди, работавшие в этом пекле, проводившие железную дорогу в Багдад, и мы невольно стали мечтать совершить и этот путь. Вообще, когда путешествуешь, всегда растет желание увидеть как можно больше, ехать все дальше и дальше.

Последний вечер в Дамаске был мягкий, и высокая неполная луна была очень спокойна, когда мы бродили по спящему городу, который казался нам фантастическим.

Из Дамаска, запасшись провизией, мы выезжаем рано. Путь немалый, ехать придется часов десять, у Генисаретского озера мы будем только часам к шести.

Дорога идет почти все время по пустыне, которая вся как бы из черного шлака. В вагонах — никаких удобств. Когда останавливается поезд, то пассажиры в халатах и чалмах просто выскакивают и садятся на корточки.

На одной станции в наш вагон входит высокий, толстый, весь в белом человек, увешанный оружием. В руках у него седло, которое богато и красиво отделано, лицо красиво: орлиный нос, огненные глаза. Он едет несколько станций, затем слезает. Недалеко от полотна железной дороги стоят два коня, один из которых оседлан. Наш араб подходит к ним, человек, по-видимому, его слуга, низко ему кланяется, прикладывая руку ко лбу и к сердцу, затем быстро помогает ему подседлать второго коня, и оба с невероятной быстротой уносятся по черной блестящей пустыне вдаль. Хороша дикая жизнь!

Ян долго сидел в отдалении от нас. Когда он опять подсел к нам, завязался литературный разговор. Шор расспрашивал его о Куприне как о человеке. Ему казалось, что Куприн должен быть похож на своего героя «Поединка» — Ромашова.

Потом заговорили об Эртеле, дочерям которого Шор давал уроки музыки. Ян был в хороших отношениях и с этим писателем. Оба восхищались им: его культурностью, его деятельной натурой, его широтой... Ян между прочим сказал, что он любит

шампанское. Шор возмутился. Как, тратить деньги на шампанское! Вот что он купил рояль за тысячу рублей, это дело другое.

— А по-моему, и на шампанское можно тратить! — возразил Ян.

Было уже тяжело ехать, я очень устала, даже легла на лавку, а еще до цели нашего пути оставалось часа два, которые и прошли очень томительно.

Конечная станция этой дороги лежит близ Генисаретского озера, недалеко от истока Иордана.

От станции до озера мы шли пешком. Заря была простая, тихая, какая только бывает в поле у нас летом. Мы шли по тропинке, пробитой среди уже поспевшего ячменя, и она привела нас на самый берег озера, к бедному глиняному селению без всякой зелени. Вокруг расстилались пески, за озером царственно возвышался полосатый Гермон. Опять разочарование: я думала, что Галилея вся в зелени, а меж тем и здесь пустыня, хотя и гораздо мягче по краскам и линиям, чем в Иудее.

Солнце садилось за горы, и стало быстро темнеть. Мы наняли лодку с четырьмя гребцами и поплыли в Тивериаду.

Озеро уже неспокойно, поднимается ветер, наши гребцы натягивают парус и вполголоса затягивают что-то очень грустное. Сначала мы весело относимся к плаванью под парусом, к кренам, к брызгам. Рассматриваем наших гребцов, находим в них сходство с апостолами. Но ветер все усиливается, лодка все более и более накреняется, нас то и дело окатывает водой. Ян начинает волноваться, а наши лодочники, в войлочных белых шапочках на макушке, преспокойно продолжают петь свои песни. Ян не выдерживает и кричит на них архирусски, чем приводит в смущение Шора; лодочники сначала улыбаются, показывая блестящие зубы, а потом, видимо, его грозный вид и крики действуют, и они более внимательно начинают управлять парусом. Из темноты на нас смотрит Тивериада своими немногочисленными огнями.

Ночь провели мы в старинном католическом монастыре у самого озера. Нам дали сносный ужин и хорошего красного вина. После ужина мы сидели на плоской крыше, любовались залитым зеленоватым светом озером и фантастическими очертаниями гор. К Яну подошел настоятель, высокий старик; началась беседа о бедном быте этого Святого озера.

Спали мы, несмотря на усталость, очень плохо, — где-то кричал козленок, да и славные на весь мир тивериадские блохи давали себя знать.

Шор еще вчера уговаривал нас поехать в Табху, где тоже есть маленькая гостиница при монастыре. Оттуда он должен ехать верхом в какую-то отдаленную сионистскую колонию.

Звал туда и нас, но мы отказались. Отказались сначала и от Табхи, — мне нездоровилось. Но утром, когда я еще лежала в постели, он опять через дверь стал очень настойчиво уговаривать нас проводить его до Табхи и подождать его там до следующего дня. И уговорил. По тесной грязной уличке мы спустились к озеру, где нас ждала лодка. Еще в воздухе ощущалась свежесть, но все же натянули парусиновый навес. Озеро очень спокойно, мы плывем на веслах. Гребут двое: старик и подросток, оба с загорелыми блестящими лицами. Сначала мы держим путь на Капернаум, который лежит на северном берегу. В нем ничего не осталось, кроме развалин знаменитой синагоги. Когда мы выпрыгиваем из нашего челна на берег, мы ничего не видим, кроме колонн, камней, между которыми коричневыми пятнами выделяется сожженная солнцем трава и розовеет дикий олеандр, с которого я срываю и прячу в путеводитель цветок...

Затем мы направляемся в Табху; она находится между Капернаумом и Магдалой.

Я лежу на дне лодки и наслаждаюсь тишиной и покоем. Мы почти все время молчим. У Яна счастливо-грустное лицо.

Возле Табхи высаживаемся. Обитель, состоящая из нескольких серокаменных строений, с маленьким садом, окружена высокими стенами, стоит на пригорке. Медленно подымаемся к ней. На пути — эвкалипты, под которыми пасутся черные козы. Шора уже ждут. Он сейчас же садится на лошадь и уезжает. Его маленькая, с опущенной головой фигура гораздо лучше подходит к роялю, чем к седлу.

Пребывание наше в Табхе было самым счастливым временем за все время нашего пути.

Комнату нам отвели довольно большую, но полутемную: она в нижнем этаже, и окна ее увиты зеленью. Перед окнами, в саду — мимозы, пальмы, кипарисы.

Во всем мире монастыри почти всегда находятся в самых красивых местах. Вероятно, религиозное чувство нераздельно с любовью к природе и с чувством красоты. И не мне передать ту нежность красок, мягкость очертаний, что я видела из Табхи, с берега этого дивного озера. Недаром именно здесь родилось самое прекрасное и милосердное учение в мире. Насколько Старый Завет слит с Иудеей, настолько в Галилее и особенно на этом озере понятно Евангелие.

По-настоящему я в те годы была далека от христианства, но в этот незабвенный день и я чувствовала Христа, и, может быть, по-настоящему...

Вечерней зарей мы гуляли за монастырем, где колосилась тощая пшеница. Мир, покой и тишина царили над всей, уже позлащенной закатом, страной. Мы долго сидели и на самом берегу озера, и золотой шар солнца медленно склонялся к горам, которые казались уже почти бесплотными в своей золотистой дымке.



В. Н. Бунина, 1930-е годы.

Ян прочел мне свои новые стихи, которые он написал по дороге из Дамаска о Баальбеке, и сонет «Гермон», написанный уже здесь. Я выразила радость, что он пишет, что он так хорошо передает эту страну, но он торопливо перебил меня:

— Это написано случайно, а вообще еще неизвестно, буду ли я писать...

И перевел разговор на другое. Я тогда не обратила на это его замечание никакого внимания, но оно оказалось очень характерно для него.

Потом он заговорил о Христе:

— Вот в такие самые вечера Он и проповедывал... Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего... Правда, зелени здесь было больше, край был заселен, но горы были такие же, и солнце садилось все в том же месте, где и теперь, и закаты были столь же просты и прелестны...

Потом он заговорил об апостолах. Он больше всего любит Петра за его страстность. (Я же с детства любила больше всего Иоанна, как самого нежного.)

— Петр самый живой из всех апостолов. Я лучше всех его вижу... Он и отрекался, и плакал... и потребовал, чтобы его распяли вниз головой, говоря, что не достоин быть распят так, как Учитель...

Очень интересовал его и Фома.

— Хорошо было бы написать о нем, — говорил он. — Это вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда, — это желание вложить персты в рану...

Конечно, вспомнили и андреевских апостолов. «Иуда Искариот и другие» — мы уже слышали это произведение зимой в Москве в литературном кружке «Среда», Андреев прислал свою рукопись для прочтения из-за границы. Яну это произведение не нравится.

За разговорами мы не заметили, как стемнело, из-за горы показался медный месяц; на несколько мгновений он как бы задержался на ней, затем стал подниматься вверх, теряя свою красноту, становясь все меньше и меньше, и, приобретя зеленовато-голубое сияние, наполнил им всю страну, уже звеневшую цикадами.

Радость ощутила я, когда, вставши, выбежала в сад. Солнце еще стояло над восточными хребтами, и тепло, красноватым блеском, отливала под ними вода. В воздухе чувствовалась свежесть. Монахи, — их было всего пять человек и все немцы, — были уже за работой.

Мы прошли довольно далеко за Табху, и было одно и то же: сожженная солнцем коричневая трава, редкие посевы, безлюдье, тишина, нарушаемая лишь пением птиц, и неперeда-

ваемая красота в линиях гор с розово-снежными полосами Гермона.

К вечеру возвратился Шор. Он был очень доволен поездкой, жалел, что мы не сопутствовали ему, опять восхищался сионистами.

По тихому, нежно-прозрачному озеру мы возвращались на веслах в Тивериаду. И как было хорошо лежать на дне лодки и смотреть в бездонное, уже немного побледневшее небо!

Ночевали опять в Тивериадском монастыре.

После завтрака, в большой со сводчатым потолком столовой, в очень еще знойный час, мы сели в экипаж и поехали. Ехать было необыкновенно приятно по этой выжженной, но исполненной какой-то особой прелести стране. Но я всем своим существом еще жила на Генисаретском озере.

В Кане Галилейской — остановка. Несколько домиков, несколько деревьев, высоких и раскидистых, вот и все, что осталось от города, где Иисус сотворил свое самое земное чудо.

Мы посидели несколько минут в маленьком кабачке, выпили кислого вина, вспомнили, конечно, и об этом чуде, о доброте, заботе и снисходительности к людям Богоматери...

В Назарет мы приехали в тот час, когда стада возвращаются домой; навстречу нашему спускающемуся вниз по улице экипажу поднимались черные козы с живописным пастухом позади.

У фонтана женщины в длинных синих рубашках, с платками, ниспадающими до самых пят, наполняли глиняные кувшины водой, ставили их на плечо и медленно, грациозно ступая, расходились по своим домам.

— Здесь ничего не изменилось, — сказал Ян, — вот так и Божья Матерь приносила домой по вечерам воду.

Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосифа, где прошло детство и отрочество Иисуса, — темной без двери конуры.

— Да, да, — сказал Ян грустно, — вот на этом самом пороге сидела Она и чинила Его кубовую рубашку, такую же, как и теперь носят здесь. Легенда говорит, что Они были так бедны, что не могли покупать масло для светильника, а чтобы Младенец не боялся и засыпал спокойно, в Их хижину прилетали светляки...

— Удивительно хорошо! — сказала я.

До завтрака — беглый осмотр Назарета, милого, простого города с очень красивыми детьми и грациозными женщинами.

За завтраком спорили с знакомыми Шора: можно ли еврею менять религию, если он равнодушен к своей да и ко всякой религии, ради, например, науки, возможности приносить людям пользу? Я тогда еще мало была знакома с еврейским национализмом, а потому искренне не понимала тех нападок, которые сыпались на бедную голову Н., — мне казалось, что это дело личное и никто не может в него вмешиваться...

В два часа мы опять в экипаже, — едем в Кайфу.

В Кайфе мы посетили лишь монастырь на Кармеле. Монастырь старинный, большой, с очень строгим уставом. На его вышку женщин не пускают, но и там, где я была, можно было достаточно почувствовать всю ширь, всю мощь, всю красоту Средиземного моря. Такого простора я никогда не видала. Тут понимаешь, что пророк Илья был взят живым на небо именно с этой горы в бурю и грозу...

До отхода парохода у нас час времени, мы заходим в ресторан и спрашиваем бутылку кармельского красного вина. Вино недурное, но тяжелое.

Напитки каждой страны Яна очень интересуют. Он говорит, что через вина он познает душу страны.

На пристани турецкий чиновник требует наши паспорта. Ян неожиданно вскипает, что-то кричит ему, чиновник теряется и нас пропускает...

Пароход немецкий, удобный, сияет чистотой.

В Яффе мы — на закате, и море так хорошо, что я не могу оторвать от него глаз, — оно розово-голубое с золотым налетом.

Утром знакомое: Порт-Саид, залитый солнцем, масса пароходов, — на некоторых грузят уголь полуголые, совершенно черные от угольной пыли, худые, но сильные люди, — памятник Лесепса, надоедливые мальчишки-чистильщики сапог, огромные магазины.

В поезд попадаем как раз к отходу. Едва размещаемся, как он трогается. Поражает скорость: деревья, канал, дома мелькают с удивительной быстротой. На станциях поезд стоит так мало, что Ян чуть было на одной не остался. Вот и настоящая пустыня, именно такая, какой я ее воображала: ровная, с далекими беспредельными горизонтами.

Часам к одиннадцати пассажиры закрывают не только решетчатые ставни, но и окна, отчего в вагоне становится и душно и сумрачно, — с солнцем здесь не шутят.

Рассматриваю в полумраке случайных спутников. Против нас сидит человек в черной одежде и черной чалме, толстый, с зеленовато-бронзовым цветом лица. Ян думает, что это копт. Рядом с ним — человек в белой чалме, но национальность его определить мы не можем. Далее несколько высокоплечих и тол-

стогорлых феллахов в голубых рубахах; в соседнем отделении полосатые халаты и фески, против них женщины с медным цилиндриком вдоль носа, закутанные во все белое, от чего особенно резко выделяются их продолговатые глаза с агатовым отливом.

Каир поразил меня чистотой, благоустроенностью, блеском, и не только солнечным. Здания, площади, скверы, улицы, извозчики — все говорило о богатстве этого города-оазиса.

Остановились мы в «Метрополе», почти уже пустом, столь европейски комфортабельном, что о Каире напоминали в нем только фески на красивых смуглых подростках при лифте и мушкетеры над кроватями.

Когда жар спал, — на этот раз мы не отважились выйти на улицу в неурочное время, — мы отправились прогуляться. На площади бросился в глаза большой стеклянный куб с красивыми разноцветными коробочками, расставленными по полкам.

«Что это такое? Конфеты?» — мелькнуло у меня в голове.

Увы! Это была табачная лавка! И Ян провел в ней чуть не час, нюхая, рассматривая, пробуя разные сорта папирос, сигар, табаку и все покупая и покупая. Я приходила в отчаяние: послезавтра из Александрии уходит наш пароход, а он тратит время на такие пустяки. Наконец, накупив все, что ему казалось заманчивым, он точно пришел в себя и, оглянувшись, неожиданно и весело сказал:

— Однако, что же мы такое делаем, поедем лучше к Нилу, закат будет, вероятно, удивительный.

Мы прошлись по людным широким улицам, среди нарядной толпы, — было воскресенье. Потом сели в покойный, блестевший черными крыльями экипаж с извозчиком во всем белом и поехали взглянуть на закат, на грациозные пальмы, раскинувшие перистые ветви свои по алому небу, на кровавые отблески Нила, на пирамиды, ставшие фиолетовыми.

На обратном пути мы попали в бесконечную вереницу экипажей с очень нарядной публикой. Я то смотрела на лица женщин, мягко оттененные полями воздушных, из тюля, или соломенных, со страусовыми перьями, ниспадающими до плеч, шляп, то на мужчин в белоснежных костюмах, то на обгоняющие нас кавалькады английских офицеров с каменными лицами и гибких амазонок, ехавших рысью или галопирующих на кровных лошадях.

Было почти темно, когда мы вернулись домой. Каир сиял огнями, оживления было, кажется, больше, чем днем.

За обедом Ян угощал нас кианти, которое оказалось очень хорошим и так развеселило нас, что мы отправились в арабский театр. Там было страшно жарко. Партер, где мы сидели, сплошь был занят мужчинами в фесках, ложи почти все закрыты ре-

шетками. Мне очень хотелось заглянуть в них, познакомиться с этими невидимыми женщинами, узнать их, понять их душу...

На сцене — лубок с огненными чертями, появляющимися под грохот литавр и барабана, с каким-то пашой, луной, какую я видала с детства в балаганах в Поддевичье. Удовольствия не получили, до конца не досидели. В соседнем кафе утоляли жажду минеральными водами, но никак не могли ее утолить, — мы тогда были еще неопытны, не знали, что много пить в жарких странах не следует. Ночь была душная. Кругом стоял крик, стук, звон, пили, играли в кости, домино, размахивали руками, спорили люди с греческими и итальянскими лицами, и спокойно курили кальян или сидели перед чашкой турецкого кофе сыны Востока.

Шор уговаривает нас возвращаться домой через Италию и южную Германию, ему надо побывать для своих работ на родине Бетховена. Соблазн большой, но, к сожалению, мы должны отказаться...

От жары и москитов спать почти не пришлось. Забылись к рассвету. Но все же мы чувствовали себя освеженными, бодрыми, — в Каире дышится от сухости легко, а кроме того, мы ведь ехали к пирамидам!

В воздухе есть утренняя прохлада. Просторная парная коляска стоит у подъезда. С нами какая-то супружеская чета, знакомые Шора. Она — полная экспансивная женщина, трудно переносящая жару, он — пожилой, медлительный, острящий человек.

Улицы уже политы: когда мы проезжаем мимо многочисленных скверов, садов, нас обдает воздушной, душистой волной цветников. Встречается рабочий люд в голубых длинных рубахах, женщины с кувшинами на головах, навьюченные всякими овощами ушастые ослики, верблюды, важно идущие своей ныряющей поступью. Иногда обгоняют нас всадники, английские офицеры в белых шлемах, выехавшие на утреннюю прогулку.

Вот и Нил, но сейчас он иной, чем накануне, — весь в утренних парах, и пальмы кажутся проще на фоне бледного неба. Переезжаем мост. Едем по прекрасной аллее, прямой и обсаженной высокими деревьями. Проезжаем мимо зоологического сада, куда заглянем на обратном пути.

Уже в конце аллеи различаем пирамиды. Ян сравнивает их с деревенскими ригами. Издали они не кажутся грандиозными. Наша спутница вскакивает и едет стоя, — она не в силах дольше ждать встречи с пирамидами, — от волнения ее сильно выступающая вперед грудь высоко вздымается. Муж, держа ее за юбку, успокаивает:

— Не волнуйся, семь тысяч лет они ждали тебя, подождут еще четверть часа...

Она не унимается, от нетерпения начинает декламировать чьи-то стихи...

Я смотрю на Яна и внутренне смеюсь: опять чеховский рассказ!

Наконец останавливаемся. Идем мимо английского отеля.

— Вот где пожить бы зимой! — роняет он как бы про себя.

Мы с ним быстро идем вперед. Но тут нас обступают проводники, хозяева верблюдов, предлагающие прокатиться вокруг пирамид, какие-то отвратительные личности в синих балахонах, сующие нам с нахальным видом всякие поддельные статуэтки, будто бы древние, и, наконец, мальчишки, требующие бакшиш. В конце концов, мы всеми правдами и неправдами отбились от всех этих докучливых, развращенных туристами людей.

И вот мы одни у подножья Хеопса, и только тут, подойдя вплотную к пирамиде, я ощущаю ее величину. Но ни взбираться на нее, ни осматривать ее внутри мы не решаемся — слишком жарко! Мы обходим вокруг все пирамиды, удивляемся высоте каждого шершавого уступа и всем существом понимаем, что значит «египетская» работа, вспоминаем Баальбек. Затем долго стоим перед сфинксом, очень засыпанным. Сфинкс производит на меня более сильное впечатление, чем пирамиды, — своей мощью и загадочностью. Я никак не могу оторвать взгляда от его плоского лица.

Потом идем по пустыне, по слоистым пескам. Становится жарко, песок начинает нагреваться. Ян опасается солнечного удара, но все же идет и идет вперед. Доходим до какого-то могильника. Ян устремляется в него, но очень быстро с криком вылетает оттуда, и я вижу, что весь его светлый костюм — в коричневых точках: это блохи, которые уже немилосердно кусают его. Он быстро скидывает куртку, и я трясу ее что есть мочи, а он то же самое делает с брюками, потом бросается на песок и катается на нем, — хорошо, что никого нет поблизости!

Когда мы возвращаемся, то видим, что наша спутница намеревается объехать пирамиды на верблюде, как полагается каждому уважающему себя туристу. Верблюд покорно опускается на колени, и она с помощью проводников взбирается на него, но как только он поднимается, с высоты горбов раздается вопль отчаяния. Даме страшно и нехорошо. Удивленный верблюд падает ниц, и даму благополучно снимают и ставят на землю.

Время летит очень быстро, солнце неумолимо поднимается все выше и выше, небо дышит жаром, песок горяч. Пора уезжать, — у нас впереди еще зоологический сад.



И. А. Бунин, В. Н. Бунина. Фотография с надписью Веры Николаевны: «В саду 1 дек. 1931». Грасс.

Наскоро выпиваем в английском отеле кофе и, с грустью окинув все прощальным взглядом, садимся в экипаж. Когда-то еще попадем сюда?

Быстро доезжаем до зоологического сада, поспешно идем по его осененным узорчатой тенью аллеям, мимо цветников, над которыми порхают огромные ярко окрашенные бабочки. Я вдруг чувствую себя девочкой, когда я собирала насекомых, и меня охватывает желание поймать их и, осторожно, чтоб не испортить их наряда, умертвить эфиром и, насадив на булавки, воткнуть в ящик со стеклянной крышкой.

На минуту мы останавливаемся перед жирафами. Один вытягивает тонкую шею чуть ли не до макушки дерева; затем замедляем шаг у загона прелестных антилоп; минуем пруды, где розовеют фламинго и на одной ноге стоят цапли и еще какие-то голенастые птицы; останавливаемся против отмели, на которую наполовину из воды вылез крокодил; довольно долго стоим около террариума с маленькими, очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается — у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями.

Когда мы приехали в Каир, нам показалось, что мы попали в мертвый город: тишина, безлюдье, закрытые ставнями окна, и уже крутит раскаленной пылью.

Завтрак показался нам необыкновенно вкусным, — мы были очень голодны. После него — сладкий, благодетельный сон.

Часа в четыре едем вместе с Шором в старый Каир. К закату поднимемся на Цитадель, где находится колодезь Иосифа, мечеть и дворец вице-короля.

У Старого Каира отпускаем извозчика и идем пешком. Для Египта это очень молодой город, ему немного больше тысячи лет. Ян рассказывает, что сначала он назывался Фостат, что значит палатка. У подошвы Макаама был некогда город, называвшийся Новым Вавилоном. Во времена Омара один из его полководцев завоевал его. Во время стоянки на его палатке голубка свила гнездо. Завоеватель, чтоб не разорять гнезда, уходя оставил свою палатку: так зародился Каир.

Старый Каир — город внушительный, одних мечетей насчитывается до пятисот. Минареты здесь изысканные, нарядные, они возвышаются над тяжелыми, часто полосатыми мечетями.

Как во всех восточных городах, жизнь протекает здесь на улице. Тут и бреют, тут и стряпают, и производят самые различные ручные работы. Вон женщина ведет козу, останавливается, доит ее и тут же продает кружку молока оборванному старику в феске. Конечно, как всегда, масса полуголых чумазых детей, пристающих с бакшишем, конечно, попадаются ос-

лы, верблюды, которых я уже ощущаю как домашних животных.

На Цитадель мы поднялись как раз вовремя, за четверть часа до заката. У ворот нас встречает очень приятный человек в белой чалме и ласково предлагает свои услуги. Он прежде всего ведет нас к колодцу Иосифа, который волнует нас своей древней простотой. В мечеть мы только заглядываем, она в стиле Айя-Софии. Двор ее большой, чистый, выложен мрамором, обнесен высокими стенами, с фонтаном посреди. Цитадель построена Саладином в XII веке, на нее пошли камни с малых пирамид.

Нас тянет к себе западная стена, оттуда открывается вид на весь Каир; сначала мы видим Старый Каир с лесом минаретов, затем Новый, далее Нил, пирамиды, пустыню...

Солнце уже по-летнему садится правее пирамид, надо всем — пыльный золотистый туман. Долго не могу оторвать взора от всей этой до грусти прекрасной картины, от розоватой тесьмы Нила, теряющейся в песках... Подле нас английские солдаты в шлемах смотрят на закат с унылыми лицами. О чем думают они? Тоскуют ли по своей столь отличной от этой страны родине? Считают ли дни до возвращения домой?

Когда солнце потонуло в золотистой дымке и желто-красным запылал небосвод, с тонкого минарета раздался вечерний призыв муэдзина. И ему, как эхо, начали отвечать снизу, с других мечетей. И от этого восточного вопля, от африканского заката повеяло такой чуждой, невыразимо прекрасной жизнью, что я почувствовала великую тоску...

Ян немного отошел от нас. Я посмотрела на Шора, он тоже печален:

— Как грустно все видеть одному, как хотелось бы показать все это детям...

Мы прощаемся с проводником, он ласково смотрит на нас своими восточными продолговатыми большими глазами, прикладывает руку к сердцу и низко кланяется. Наш взгляд задерживается несколько на куполе мечети, на минаретах ее: до чего они стройны и прекрасны на фоне нежного гелиотропового неба! Мы быстро спускаемся, некоторое время молча идем пешком, затем берем извозчика. У Эзбекийского сквера отпускаем его. Ян опять забегает в стеклянный домик и опять наслаждается покупкой папирос, табаку в зеленых железных коробках, на крышке которых изображены пирамиды, пальмы и красный закат. Одну такую коробочку, самую маленькую, мы храним до сих пор, она проделала с нами все пути, и, если бы мы потеряли ее, я испытала бы, вероятно, очень горестные минуты...

После обеда мы втроем долго бродим по ярко освещенным улицам, сидим в Эзбекийском саду, наслаждаемся благоуханием цветов, потом в многолюдном кафе все утоляем и утоля-

ем, но без всякого результата, жажду. Ощущается некоторая грусть. Наши дороги с Шором расходятся. И хотя не только дружбы, но и желания продолжать знакомство в будущем у нас обоюдно не возникло, — очень уж мы разные люди, — все же было жаль расставаться с ним.

Ночь опять тяжкая, с москитами, почти бессонная. В Александрию едем с первым поездом, не знаем в точности, когда отходит наш пароход.

Опять вагон переполнен разноцветным людом, есть даже и негры. У Яна скандал с рослым, могучим египтянином. Мы заняли места, Ян выскочил на минуту из вагона, а в этот момент феллах сел на его место, несмотря на мои возражения. Ян вернулся и попросил его уйти. Феллах продолжал сидеть. Ян пришел в такой гнев, какого я еще никогда у него не видала, и схватил его за плечо, таща с места. Жилы на бычьей шее феллаха раздулись, стали сизыми, лицо налилось кровью, он что-то кричал на своем гортанном языке, но Ян был так бледен и грозен, что великан уступил.

Поезд уже мчится вдоль Нила, на север, и опять с невероятной быстротой мимо зреющих хлебов, мимо феллахских деревушек с глиняными домишками под соломенной крышей, мимо каналов, мимо маленьких городков. Везде, где Нил, там жизнь, а чуть дальше — пески, пустыня. Поезд с грохотом проносится через мост, и мы на левом берегу реки. Становится жарко, и опять стук ставень и рам. Наше окно дольше всех остается открытым, — очень жаль напоследок не видеть этой уже залитой белым слепящим блеском страны. Промелькнул какой-то город, — как здесь живут летом? Ведь это маленький оазис! Наконец и мы закрываем наше окно, но не в состоянии сидеть в полумраке и выходим на площадку. Вот уже и Дельта с плотинами, каналами, огородами, лагунами, далее — сплошное водное пространство, камыши, птицы на отмелях... Но вот и белая Александрия со своим печальным морем.

С вокзала — на пароход, где нас ожидает и большая радость и легкая досада. Радость: пароход тот же самый, на котором мы плыли в Александрию. Нигде не встречали мы такого радушного приема, как на пароходе, когда мы попадали на него вторично. Все, начиная от капитана и кончая горничной, стараются оказать всякое внимание и, если можно, сделать то или иное исключение. Нам отвели лучшую каюту, и через пять минут мы почувствовали себя дома. Досада: пароход снимается только в 4 часа, — мы могли успеть побывать в Каирском музее!

Ян предлагает ехать завтракать в Александрию:

— Закажем морской рыбы, кебаб...

Берем извозчика и едем в ресторан. Потом бродим немного

по улице Шерифа Паши, любуемся в окнах переливающимися серебром шалями, шарфами, кружевами, страусовыми перьями необыкновенной величины. Затем направляемся к морю, там не так знойно. Идем вдоль стены, которая тянется мили на три, защищает город от морских волн и является излюбленным местом прогулок александрийцев, затем поворачиваем, направляемся к Маяку.

Вспоминаем, что в древней Александрии, от которой почти ничего не осталось и которая была гораздо больше нынешней, доходила до станции Рамлэ, здесь находился дворец Цезаря, перед которым возносились к небу «Иглы» Клеопатры, то есть два обелиска. Оба они увезены — один англичанами, другой американцами.

Мне всегда грустно смотреть на обелиск в Париже, всегда кажется, что он тоскует по своей столь непохожей на Францию стране, что он чувствует себя очень неуютно в дождь, слякоть, непогоду, что даже в самые жаркие дни ему недостает солнца...

На пароходе совсем Россия. Весь трюм и нижняя палуба носа полны паломников, возвращающихся из Святой Земли. Среди серой толпы яркими пятнами выделяются полосатые халаты, белые чалмы, пестрые тюбетейки, закрытые чадрой лица женщин с желтовато-смуглыми детьми, испуганно смотрящими раскосыми глазенками: это туркестанцы, вероятно, тоже возвращающиеся с паломничества, может быть из Мекки...

Когда скрылся белый город со своими пальмами, мачтами, маяком, зазвонили к обеду, который прошел очень весело: классных пассажиров почти не было, и казалось, что мы в гостях у моряков...

После обеда мы были уже совсем в открытом море. По-южному ночь наступила почти без сумерек. Крупные звезды вставали одна за другой и придавали всему какую-то таинственность. Но после почти бессонных каирских ночей очень хотелось спать.

И как было приятно вытянуться в чистой постели и, засыпая, дышать свежим соленым воздухом из приотворенного иллюминатора.

На другой день — полный отдых. Можно целый день лежать в лонгшезе, не нужно никуда спешить, ничего осматривать!

Ян не может долго сидеть на одном месте, он то и дело спускается на нижнюю палубу к паломникам. Со многими он подружился, передает мне свои с ними разговоры в лицах, затем опять куда-то убегает.

Я же наслаждаюсь покоем, густой синевой неба, тяжелым лиловатым морем. Я чувствую большое утомление, и не только от путешествия, но и от всего минувшего года, который я провела в большом умственном, душевном и нервном напряжении, а потому несколько дней морского покоя мне как нельзя кстати.

Опять пришел Ян, сел около меня, и мы заговорили о Египте, с которым мысленно еще не расстались.

— Подумай, — сказал он, — какая прекрасная была страна и на какой высоте она находилась!

— А у тебя в деревне есть книги о Египте? — спросила я.

— Да. Ты непременно прочти хотя бы Масперо. Бог даст, опять побываем в Египте, только, конечно, зимой. Поднимемся непременно тогда до первых порогов Нила.

— Путешествовать — самое приятное, что есть в мире, — сказала я. — Кажется, что мир раздвигается перед тобой, делается глубже и шире, — недаром я раньше мечтала участвовать в экспедициях...

— Да, — ответил он, — всякое путешествие очень меняет человека...

После обеда мы долго слушали пение паломников, — и как странно было ощущать Россию на спокойном Средиземном море в прелестный вечер!

— А как они равнодушны к морю, — заметил Ян. — Я многих расспрашивал, говорят все одно и то же: когда плыли туда, дюже качало, намучились, а теперь хорошо, как на реке...

Мы долго сидели на носу в эту ласковую звездную ночь. Все уже давно стихло, а нам все еще не хотелось расставаться с тем, что дает летняя ночь в тихую погоду в южных морях...

В Пирей мы только завернули, а потому в Афины на этот раз не поехали. Да и слишком горячим зноем дышал теперь акропольский холм. Мы с прежним восторгом издали смотрели на стройные колонны, изящные храмы, ничего не утерявшие от того, что мы столько перевидали за это время. На лодке мы переехали бухточку, вышли прогуляться по Пирею. Набережная уже накалена, улицы грязны и пусты. Мы посидели в пустом кафе, попробовали мастики, красного вина, которое здесь называется черным...

Когда наш пароход медленно вышел из порта и завернул на Восток, мы опять увидели Акрополь с его храмами. Ян различает каждую колонну. Мы уже идем по Архипелагу, опять мимо «ковриг» и «Крымов». Море стало совсем лиловым, на востоке клубятся причудливые облака.

Ян опять восхищается сухостью и пустынностью островов.

— Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представить себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко кто умеет передать душу страны, дать пра-

вильное представление о ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и всегда все делает по-своему. Я удивлен, как он верно передал, например, пустыню, Иерусалим. Ты обязательно прочти это...

На закате разнообразие и богатство красок прямо поразило нас. Высоко на западном небосводе облака стали красно-фиолетовыми, пурпурными, а острова приобрели какую-то удивительную воздушность, и все было окутано золотым прозрачным дымом, к востоку же шла вода спокойно-нежная, зелено-лазоревая, и острова с этой части были розоваты и очень четки.

Дарданеллы мы проспали, они были на заре. Мраморное море показалось нам иным, оно не имело на этот раз мраморных разводов.

Ян то читал Саади и все восхищался им, то спускался к паломникам. И я иногда слышала, какой взрыв смеха вызывали его шутки.

Я почти весь день перелистывала его третий том, в издании «Знания», единственную книгу, которую я захватила с собой, — первый его подарок мне.

В Константинополе мы остались ночевать на пароходе. Ночь была нежная, звездная, с темно-синим небом. С берега доносилось пение соловьев, восточные звуки Галаты и сладкий запах каких-то цветов. Галата и Пера долго блестели огнями, Стамбул и Скутари были строги и темны. На этот раз мы долго сидели на палубе и молча слушали то соловьев, то легкий плеск воды, смотрели то на лес мачт, с топазовыми топовыми огнями, то на зеленые и красные фонари на пароходах, то на чуть видный силуэт Стамбула, усеянный звездами.

В солнечное утро съезжаем с нашего парохода и у моста Валидэ садимся на колесный маленький пароходик, похожий на те, что ходили у нас по Неве. Направляемся в Скутари. Хорошо плыть по Босфору в такой близости к воде! Скутари со своими мрачными кипарисами не соответствует радостному, с легким ветром, утру. Когда мы высадились и, побродив по берегу, почувствовали голод, то направились в ресторан — близился полдень. Сели у раскрытого окна, из которого можно было любоваться всей сказочной жизнью Босфора, его нарядными каиками с красавцами в фесках, золотистыми косыми парусами, минаретами Стамбула, садами на европейском берегу.

«Ах, хорошо было бы провести здесь лето в беломраморной вилле с тенистым садом, спускающимся к воде!» — подумала я.

Потом мы пошли мимо деревянных с печальными решетчатыми галереями домов, мимо белых мечетей, направляясь к знаменитому кладбищу. Идти было приятно, как всегда после паро-

хода. Кладбище в кипарисовом лесу очень большое, с белыми простыми памятниками, иногда увенчанными мраморными фесками, над каждой могилой зелено-черное дерево, уходящее в нежно-синее небо. Мы долго сидели у чьих-то могил, пахло нагретым кипарисом, соловьи, не обращая внимания, праздновали свою любовь, и от этого соединения смерти с высшей радостью жизни было несказанно хорошо.

Потом мы пошли дальше по лесу и почти дошли до приюта прокаженных. Когда Ян издали указал мне на одиноко стоящий в ограде деревянный дом, похожий на помещичий, у меня дрожь прошла по спине...

Вечером, на пароходе, мы говорили о магометанстве, о многих необыкновенных человеческих обычаях, которых нет в других религиях; в Скутари, например, в полночь муэдзин возносит молитвы за страдающих бессонницей, и я вспоминаю стихи Яна «Тэмджид».

И мне представилось такое же звездное небо, белый минарет той простой мечети, в которую мы зашли сегодня в Скутари, и дервиш, посылающий тихий вопль к Аллаху.

Как эта звездная ночь навеки слилась у меня с этими стихами!

Пароход уходит в полдень. Выпили кофе, в Стамбул, — еще раз нам страстно захотелось побывать в Айя-Софии...

Там, на полу, в солнечном блеске, сидя на коленях, покачивались десятка два белых, издали казавшихся очень маленькими, фигурок вокруг почтенного муллы: это будущие служители Аллаха отвечали наизусть Суры Корана. Хорошо, весело сочетались их белоснежные одежды с золотистыми циновками, блестевшими в солнечных лучах, падавших из окна купола. Наше внимание привлекают восемь порфировых колонн из Баальбека. Они были похищены и перевезены в Рим, затем пожертвованы Византии благочестивой Марсиа... Опять то же, что с обелисками, — жадность и жажда всего, что можно забрать себе, разрушая чужие ценности, чужие произведения искусств!

Когда мы опять были в Галате, Ян неожиданно сказал:

— А мое дело пропало, — писать я больше, верно, не буду...

Я посмотрела на него с удивлением.

— Ну да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастлив, должен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше ты будешь, тем хуже...

— Я, в таком случае, постараюсь быть как можно хуже, — сказала я, смеясь, а у самой сердце сжалось от боли.

На почте нас ждало много писем. Мне написали почти все мои близкие, родные и друзья.

Мы читали их вслух в нашей каюте перед завтраком, и они опять на время вернули меня к моей прошлой жизни, дали ощу-

щение Москвы, дома. И я с радостью подумала, что скоро увижу всех близких.

Медленно и плавно пошел наш пароход по слегка извилистому Босфору. Я стою на корме и с грустным чувством смотрю на медленно удаляющийся Стамбул со своими мечетями, на многочисленные суда, на парусные лодочки, уходящие в Мраморное море, на безалаберную и в то же время деловитую Галату, на блестящую Перу с грубой, но в этой первобытности прекрасной Башней Христа, на турецкие дома под черепицей, похожей местами на мухоморы...

Но вот и Каваки. Пропуск на выпуск из Босфора. Я смотрю, пока она не скрылась из виду, на маленькую лодочку с турецкими чиновниками, на красный развевающийся флаг с белым полумесяцем и белой звездой, затем на широкое устье Босфора, сливающееся с Черным морем.

Скоро мы опять не видим берегов. Мне становится очень грустно, чужие края — позади. Завтра Одесса, а там Москва, и тот мир, в котором я жила полтора месяца, канул в вечность. На память приходят слова Яна, его опасения, что он не будет больше писать. И мне вдвойне становится грустно. Они вывели меня из того повышенного настроения, в котором я жила уже несколько месяцев, напомнили, что не стоят сплошь погожие дни. Ян, вероятно, и не подозревал, как сильно он ранил меня; ведь мы так мало знаем, в конце концов, что думает и, особенно, чувствует даже самый близкий человек; не только чужая душа потемки, но и родная, и в этом и заключается, может быть, главная наша мука. К тому же мне были еще неизвестны суеверия Яна, и я поэтому придала слишком серьезное значение его словам.

Я уже чувствовала, что моей самостоятельности приходит конец, что жить по собственному вкусу, завоевывать собственное место в жизни мне едва ли теперь придется. И хотя я твердо решила докончить экзамены, но уже в глубине души знала, что Ян прав, смотря на это, как на мой каприз. С химией, которой я так пристально занималась зимой, я уже, собственно, рассталась, если не считать еще одного экзамена. Химия — наука ревнивая, требующая известного уклада жизни, совершенно несовместимого с кочевой жизнью Яна. Конечно, ни для химии, ни для меня в этом разрыве большой беды не было. Я по натуре не естественница, юридические науки, история, а в особенности литература увлекали и интересовали меня гораздо больше. Выбрала я естественный факультет главным образом потому, что, поступая на курсы, надеялась пройти чуть ли не все отделения и тогда окончательно на чем-нибудь остановиться; да и вообще, чего только я не слушала, начиная с астрономии и кончая философией, было какое-то ненасытное сумасшествие все, все познать!

К биологическим наукам я не имела никакой склонности.

Химия меня интересовала, но известный химик Меншуткин недаром говорил: «Химия — наука любопытная. Многие начинают заниматься ею не из любознательности, а именно из любопытства». Может быть, он и прав. Я и сама не знаю, что больше любила: занятия ли в лаборатории или то поэтическое чувство, которое я испытывала, например, в вечерние часы, когда почти никого не оставалось там, кроме двух-трех усердных курсисток, от зеленоватого света ламп, от тишины, нарушаемой лишь бульканьем в чьей-нибудь колбе или шумом огня, раздуваемого мехами, от запаха эфира, смешанного с газом, от блеска стеклянной чистой посуды? Часто я, вместо того, чтобы думать о ходе реакции в своей реторте, сравнивала ее с головой: как там, рядом с главной реакцией, идут побочные, так и в голове с главной мыслью всегда возникают, переплетаются новые, идущие параллельно, так называемые двойные мысли... А иногда я начинала наблюдать то за той, то за другой курсисткой, примеривать к ней рассказ, повесть... И если бы естествоиспытатели знали, что порой было у меня в мыслях, ох, каким презрением наградили бы они меня, — презирать не-естественников они умели необыкновенно! Все-таки я очень довольна, что приобщилась к этому миру; я много получила и от занятий своих, и от профессоров, среди которых было немало талантливых; я всегда буду благодарна им за то, что они научили меня мыслить, бояться предвзятых идей, неуклонно идти к намеченной цели, не обращая внимания на неудачи. Отношения, установившиеся в наших лабораториях и с профессорами, и с лаборантами, были хорошие, с некоторыми даже дружеские, чувствовалась какая-то сплоченность, казалось: друг друга не выдадим. Среди курсисток было много милых, серьезных девушек, прирожденных естественниц, но было немало и подобных мне, то есть таких, которые тоже не меньше меня интересовались гуманитарными науками, жизнью... И мне делалось все грустнее и грустнее при мысли, что я, вероятно, навсегда порываю с этим миром. Меня утешало то, что, быть может, я найду какое-нибудь применение своим силам и способностям в другой области, в связи с Яном, а сегодняшнее его заявление разбивало мои надежды.

Я так задумалась, что не заметила, что стало качать и как подошел ко мне Ян и накинул мне на плечи пальто.

— Я ищу тебя чуть ли не час. Что ты тут делаешь? Не озябла ли? Это тебе не Средиземное море, поднимается ветер, и волна все усиливается, ночью будет сильно качать... А я сидел с поклонниками. Там уже есть больные, все больше животом. Очень слаба одна старушка, сухонькая, маленькая, с милым лицом. Говорят, она очень боится умереть до Одессы, не хочет, чтобы ее бросили в море «рыбам». И правда, будет очень неприятно, если она умрет...



И. А. Бунин в Стокгольме на вокзале. 1933.

...Обед мне принесли в каюту. За столом из пассажиров был только Ян да еще один молодой человек. Некоторые уже сильно страдают. А из третьего класса даже доносятся крики. Там много хуже. А Ян, как ни в чем не бывало, бегает, возбужден, жалуется, что ему очень холодно в его легком пальтишке.

Я поднимаюсь и смотрю в иллюминатор: в свете угасающего дня громоздятся внушительные облака дымчатого цвета, подернутые красным, море почти черное, покрытое крутыми валами. Пароход ныряет.

Я закрываю глаза, и мне приятно, как на качелях. Все начинает казаться неважным, кроме этих взлетов и падений, и я впадаю в сон...

С утра качка стала гораздо легче, но Ян советует мне остаться подольше в постели. Я не возражаю, так как лежать мне приятно. Я прошу Яна справиться о старушке.

Опять заглядываю в иллюминатор, — небо в крупных белых облаках, море зеленое, и волны уже небольшие.

— Старушка еще жива, но пульс у нее едва бьется... — сообщил Ян, вернувшись в нашу каюту.

Скоро показалась и земля, а с нею и чайки, которые вьются за нашей кормой. Я слежу за ними, они то летят, то опускаются в воду, то кувыркаются в воздухе, они очень красиво отливают серебром на солнце, над зеленоватой водой.

— Вот и Большой Фонтан, — говорит Ян, указывая на что-то белое, блестящее. — Это маяк, он стоит у монастыря. Я очень люблю это место, хорошо было бы провести здесь лето. Если бы не мать, я так бы и сделал...

Спустя час мы входим в порт.

Наше сказочное путешествие кончилось. Оно так не похоже на все, что было до него и будет, вероятно, после него, что мне кажется, что это был только сон.

Просмотр документов, таможня, — все возвращает нас к повседневности, к будням.

При прощании с моряками мы узнаем, что старушка скончалась.

— Как увидела город, перекрестилась и испустила дух, значит: похоронят в русской земле, — рассказывает нам второй помощник капитана, очень добрый и милый человек, с живыми карими глазами.

Опять Петербургская гостиница — и сообщение по телефону, что через полчаса к нам придут Нилус и Куровский. И правда, едва я успела переодеться и привести себя в порядок, как они пришли и мы все отправились обедать к Кузнецову. Одесса вся благоухала: цвела белая акация.

Меня удивляло, что Нилус и Куровский совсем не изменились: я так много пережила за это время, что мне казалось, что и все должны были стать какими-то иными.

Весь обед прошел в смехе, в беспорядочных расспросах друг друга, в рассказах об общих знакомых. Федоровы уже на даче. Мы сговорились с Нилусом ехать к ним на следующий день прямо после завтрака; Куровский не может: у него служба в Управе. Он приглашает нас завтра обедать к себе. «Кстати, вы посмотрите наш музей», — говорит он, обращаясь ко мне.

Кофий идем пить в какой-то греческий ресторан, где турецкий кофий приготовляется «по самому настоящему восточному рецепту». Ян все время очень весел и оживлен, рассказывает о нашем путешествии. Куровский слушает его с интересом, расспрашивает, требует подробностей; Нилус часто, видимо, думает о другом, но вдруг задаст тот или иной бытовой вопрос...

Побродив немного по улицам, заканчиваем наш столь разнообразный день у Брунса, где мы застаем Заузе с художником Лепетичем, которого все называют Тич. Очень веселый, говорящий сладкой скороговоркой, держащий себя, как школьник, он все время подшучивал и острил то над собой, то над приятелями. Все делал талантливо; кажется, художник он одаренный, но беспутный. Пробовал писать стихи. Яну порой удавалось некоторые из них печатать.

После завтрака, в прелестный день конца мая, мы отправляемся с Нилусом к Федоровым. Они живут за Большим Фонтаном, за монастырем, где маяк. Сообщение на паровике, который, после некоторых первых станций, идет между дачами, с большими, иногда заботливо содержащимися садами, мимо просек, в глубине которых синеет море. Я вспоминаю стихи Яна — «С обезьянкой» — только день нынче не такой яркий и знойный и море светлее. Дачи здесь наряднее, богаче, чем подмосковные, больше каменные, но есть и деревянные, небольшие, простенькие. На одной даче в цветнике краснели в яркой зелени огненные маки, напомнившие мне Иудею...

Федоровы живут в маленьком «домчике», как здесь говорят, стоящем на огромном голом пространстве, кончающемся обрывом; вид с балкона у них чудесный. За оградой — дорога, за дорогой — степь.

Мне очень понравилось здесь, и я поняла любовь Яна к этим местам.

Пробыли мы недолго, — надо поспеть к Куровским. Федоров едет с нами. Он в хорошем настроении: пишет новый роман, работой своей доволен. Работает так: диктует уже все заранее обдуманное Лидии Карловне, которая сидит за пишущей машинкой.

На возвратном пути меня восхищают за монастырем купы белоснежной акации на фоне синего неба и моря.

У Куровских очень радушный прием, к Яну они относятся, как к родному. Кроме нас, еще Дворников и Заузе, но без жен.

Жена Куровского Вера Павловна, маленькая, нервная женщина, говорящая южной скороговоркой, с острым лицом, кажется старше своего возраста, может быть, от того, что у нее короткая шея и плохой цвет лица от неумеренного куренья.

Куровский предлагает осмотреть музей. Все поднимаются и идут вместе с нами.

Квартира их — часть музейного особняка. Очень светлая, состоящая из четырех больших, высоких, неправильной формы комнат.

Обед обильный, много опять новых для меня южных блюд, любимых Яном. Оживление, веселость, дружеские споры, подшучивание друг над другом — все доставляло мне большое удовольствие.

После обеда сидели в саду, я знакомилась с детьми, с двумя хорошенькими девочками-подростками и семилетним Шуриком с глазами-коринками, как у матери. Дети тоже говорят скороговоркой, очень странной для моего великорусского уха.

Потом опять в дом, пить чай. Нилус с Куровским, под аккомпанемент Заузе, поют дуэты. Все трое очень музыкальны. Особенно хорошо у них выходит «Не искушай меня без нужды» Глинки.

— Поедем в Аркадию, там очень красиво, — сказал Ян на другой день утром.

— А это что такое? — полюбопытствовала я.

— Загородное место на берегу моря с очень живописными камнями; сегодня прибой, будет очень красиво. Там и позавтракаем...

Мы берем извозчика и едем через весь город, по Маразлиевской улице с красивыми особняками одесских аристократов, по Французскому бульвару, проезжаем Малый Фонтан — дачное место, соответствующее нашему Петровскому парку и Сокольникам, с очень богатыми дачами.

Завтракать было очень приятно. Нам дали чудесную кефаль с соусом тартар, затем киевские котлеты. Вино Кристи, которое было очень хорошо, так как Ян спрашивал все полбутылками. Он объяснил мне, что вино в полбутылках всегда лучше, потому что редко кто спрашивает так.

Море было очень красиво, с сильным прибоем, который так хорошо разбивался о камни, что брызги сверкали на солнце всеми цветами радуги.

После завтрака мы долго сидели на камне и смотрели на море, — ведь вечером мы уезжаем. Ян вспомнил, как, когда Андреев с молодой женой после свадьбы приехал в Одессу, он с Куровским и еще с кем-то повез их после обеда сюда. Был чудесный, мягкий вечер. Молодые сели и тихо разговаривали...

На вокзал проводить нас приехали друзья Яна. Цветы, прощанье. Наконец мы двинулись. И вот опять вдвоем в купе, более просторном, чем на других дорогах... Завтра утром Киев, послезавтра Москва. Мне и теперь трудно передать, что я чувствовала в те дни. Там, в чужих краях, там все было необычно, и я не отделяла своего нового от того нового, что меня окружало. Теперь же, когда мы остались в русском вагоне, я опять почувствовала удивление, что как будто все осталось по-прежнему.

В Киеве несколько времени мы можем истратить на осмотр города. На этот раз — Владимировский собор, столь знакомый мне по снимкам. Богоматерь Васнецова всегда восхищает меня тонкостью овала лица и влекущими византийскими глазами, на которые не наглядишься. Когда мы вошли в собор, кончалась обедня, которую мы и достояли. Собор новый, — слишком все блестит и нет того страха Божьего, который я ощутила в Софийском. Ян долго стоял перед Страшным Судом Васнецова. Потом мы поднимаемся к памятнику Владимиру, чтобы взглянуть на Днепр: он очень сузился, но все же красив и величав среди неоглядных полей. Затем завтрак в маленькой ресторан-кофейне, — фаршированная щука, кофий, мазурки, — и возвращение пешком на вокзал по веселым улицам среди хорошеньких и изящных женщин под разноцветными зонтиками.

В вагоне мы стали говорить о наших планах по приезде в Москву. Мне нужно было пробыть там некоторое время, чтобы узнать относительно экзаменов, достать нужные учебники, лекции, собраться в деревню; кроме того, не хотелось огорчать своих быстрым новым отъездом. Яну же в Москве делать нечего, он должен заехать перед деревней в Грязи, к матери, которая жила у его сестры Маши. Ему хотелось успеть выехать туда в день приезда.

Лето мы будем проводить в имении Софьи Николаевны Пушешниковой, в шести верстах от Предтечева, где была земля и моего деда.

Унылые подмосковные места встретили нас на следующий день. Деревянные дачи с маленькими садиками, невысокие деревья в цвету, затем скучное предместье, бесконечное пространство рельсовых путей, и блестящих и ржавых, наконец, вокзал. Я высовываюсь из окна и вижу ищущие лица двух моих братьев; увидя меня, они радостно улыбаются, влетают в наше купе, хватают вещи...

Ян едет с младшим братом, я — с другим. Когда мы поднимаемся к Даргомилову, я с умилением смотрю на столь любимые мной деревянные домики с палисадниками, всегда казавшиеся мне перенесенными из провинциального городка, смотрю

на крутой, заросший муравой берег реки. Ян оборачивается и с улыбкой показывает мне на небо, я понимаю его: да, небо не каирское!

Дома нам, конечно, очень рады. Обычные расспросы, любимые блюда, восхищение нашим загаром, особенно моим, так как я почти никогда не загораю, некоторое огорчение быстрым отъездом Яна, радость, что я остаюсь чуть ли не на полмесяца. Первый день проходит в суматохе, но сквозь нее я чувствую еще большее удивление, что все осталось по-прежнему, я же стала какой-то иной. Ян уехал. Я опять живу в своей комнате, которую мама всегда с такой любовью и уменьем обставляла, что никому не хотелось уходить из нее. Окно выходило в маленький садик с кустами сирени, с длинными зелеными дачными скамейками и столом, за которым немало было проведено часов в оживленных разговорах, в страстных спорах и даже в девичьих мечтах... Возвращение к себе, домой, особенно усиливало мое странное чувство удивления, что все вокруг осталось по-старому, тогда как я сама в чем-то очень изменилась...

Дни летели за днями. Приехал Сева, старший из братьев, из Казани, где он учился. Побывала на курсах, узнала все, что мне было нужно, повидалась с приятельницами. Долгие вечера проводила с братьями и друзьями на нашем милом дворе с развалившимся колодцем, сидя на скамейке под старыми тополями. Я рассказывала о нашем путешествии, строила всякие планы на будущее. От Яна шли письма, он уже настойчиво звал меня в деревню. Мама чувствовала себя плохо, ее посылали лечиться в Карлсбад, и мне было жаль ее оставлять, хотя я отзывалась на все внешнее очень слабо, жила как бы в тумане, ничего по-настоящему не воспринимая и как-то по-новому ощущая людей.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВАСИЛЬЕВСКОГО

Наконец наступил день отъезда. Когда мои вещи были уложены, мы пошли с мамой к Бартельсу, где она накупила баранок, сухарей, печенья и всяких сладостей, чтобы послать гостинцев со мной в деревню. Запомнились в это предвечернее время запах клубничного варенья, обдавший нас снизу, из подвала, да хорошо освещенный густой шатер деревьев в нашем переулке, во дворе Арбатской части...

Поезд отходил с Павелецкого вокзала, очень скучного, на Зацепе. Меня поехали провожать только братья и некоторые друзья. У папы заседание в Думе, маме нездоровилось, — расстроилась новой разлукой со мной.

После долгих грустно-веселых прощаний я остаюсь наконец одна и неожиданно чувствую облегчение, какую-то радость от своего одиночества.

Меня волнует, что я еду в чужой дом, к почти незнакомым людям. Но то, что я буду жить в деревне, меня радует. Мы всегда презирали дачную жизнь, считая, что нам подобает проводить лето в имении. Но жизнь так слагалась, что мы почти всегда ездили на дачу в Царицыно, к которому как раз подходил поезд с его тыловой, так сказать, стороны. И мы, несмотря на наше презрение к дачам, очень любили эту редкую по разнообразию и красоте местность, с ее огромным тенистым парком, в котором находились екатерининские развалины, заросшие непролазной чащей, с «садами Семирамиды», с беседками, воротами, с полянами, на которых росли столетние сибирские кедры, террасами, спускающимися к причудливому пруду. Но особенно любили мы лес, тянущийся на несколько верст, и поля, примыкающие к нему. Как раз мимо одного из полей шел поезд. И я вспомнила теннис, устроенный на противоположном краю его, те прекрасные летние зори, когда мы с наслаждением ударяли по упругому мячу или, сидя на дерновой скамье, следили за этой увлекательной игрой.

И я вдруг пережила в один миг все свои счастливые годы отрочества и юности в этом полном поэзии, широко раскинувшемся селе, начиная с волнующих воображение игр по романам Купера и кончая теми тревогами и раздумьями, какие томят всегда юную девичью душу, и мне стало радостно, и будущее показалось заманчивым, как бы оно ни сложилось.

В Ельце, где я должна была пересаживаться на поезд Юго-Восточной железной дороги, чтобы попасть на станцию Измалково, ближайшую от Васильевского, имения Пушешниковых, мне пришлось ждать часа три.

С момента, как я раскрыла глаза и в окно вагона увидела чуть розоватые пары над каким-то болотом, я ощутила радость и какое-то спокойствие, которое, впрочем, быстро перешло в нетерпение.

И на вокзале за обедом я все время смотрела на часы, которые почему-то шли очень медленно. И первый путь мой от Ельца до Измалкова не оставил во мне никакого впечатления, — я жила мыслями о будущем и окружающего не замечала.

Наконец Измалково. Обычная деревенская станция с высокими деревьями вдоль платформы. Знакомый синий костюм и чуть-чуть встревоженные густо-синие глаза.

— Здорова? — слышу знакомый голос.

Ян не один, что меня чуть задевает; с ним его племянник, Коля Пушешников, которого он очень любит и с которым он близок. Это очень одаренный от природы молодой человек. Он недурен собой, с маленькими угольными глазками, с курчавыми черными волосами, очень застенчив и рассеян. У него редкий баритон бельканто, но он астматик, уже перенесший раз семь воспаление легких, а потому хотя он и учится пению, но Ян не надеется, что он будет настоящим певцом, тем более, что он со-

вершенно не может петь при ком-нибудь постороннем. Ян посоветовал ему изучать языки, английский и немецкий, чтобы стать переводчиком, так как кроме голоса у него несомненно есть художественные способности и сильная любовь к книге.

Когда мой багаж был вручен работнику, мы сели в тарантас, тройка сытых лошадей вынесла нас из-за станционного садика на дорогу в просторное, с огромными выгонами село Измалково, где с каким-то сладострастным лаем собаки то кидались чуть ли не в тарантас, то с визгом взвивались почти к самым шеям лошадей.

— Собачья атака всегда возбуждает, — как часто говорил Ян, — становится весело от проявления этой звериной силы, ярости, неукротимости...

Выехав из села, мы стали спускаться вдоль тенистого сада графа Комаровского. Ян сказал мне, указывая вправо на дорогу, поднимающуюся в гору:

— А вот тут сворачивают в Предтечево...

Мне все же было немного не по себе: стеснял Коля, хотелось расспросить о Васильевском, о Софье Николаевне Пушешниковой... И я не понимала, зачем он взял его с собой? Теперь понимаю: ему хотелось упростить мой приезд, сделать его менее торжественным, — приехать втроем, но тогда меня это очень задело.

Мимо нас расходилась серо-зелеными волнами рожь, ярко густели овсы и темно-лиловыми пятнами выделялись пары. И так несколько верст — поля, одни поля... Здесь не было той чуть-чуть волнистой местности, что я так люблю в Крапивенском уезде Тульской губернии, не было и широких рек и лесов, тянувшихся на несколько верст, ни живописных каменоломен, что я видела на реке Осетре близ впадения его в Оку в Рязанской губернии, не было и пустынной шири астраханской степи, по которой я ехала однажды целый день. Но зато здесь была спокойная простота с необыкновенно нежными далями. Ян сказал, что это уже подстепье, переходящее в настоящую степь в Воронежской губернии.

Налево вырастает небольшой лесок, далее показывается Глотово, деревня довольно зажиточная, с кирпичными избами под железными крышами. И опять собаки заливчатым лаем, которых с каким-то злорадным наслаждением дразнит Ян, высовывая из тарантаса костыль с железным острым концом. На порогах появляются бабы в ситцевых платьях, ребятишки всех возрастов, худой согнутый старик поднимается с завалинки и низко нам кланяется, сняв с голой головы зимнюю шапку. Далее — дом Глотовых, потонувший в густом старом саду за каменной оградой. Спускаемся к узкой реченьке, Семеньку; налево за мостом богатая усадьба Бахтеяровых с безвкусным домом в саду, спускающемся по горе, и с безобразным зданием винокуренного завода у реки, а направо, на пригорке, за темны-

ми елями серый одноэтажный дом, смотрящий восьмью окнами, — дом, где я буду жить.

Перед крытым осевшим крыльцом мы останавливаемся. Выскакивают горничные, а в зале нас встречает сдержанно-любезно высокая статная женщина с седеющей головой и очень внимательными карими глазками, хозяйка дома, и на длинных ногах юноша с приятным лицом, очень приветливо мне улыбнувшийся своим большим ртом, обнажив сверкающие белизной зубы под черной полоской усов, младший сын Софьи Николаевны, Петя, собиравшийся поступать на зубоврачебные курсы.

Комната моя (гостиная) оклеена темными обоями, велика, со старой мебелью и новой кроватью, выходит, как и зала, на запад тремя окнами: рамы в этих окнах поднимаются, а не растворяются, стекла мелки, что мне очень нравится, и тень от них на полу, который поражает меня шириной половиц, клетчатая.

Рядом комната Яна, угловая, с огромными старинными темными образами в серебряных ризах, очень светлая и от белых обоев и от того, что третье окно выходит на юг, на фруктовый сад, над которым вдали возвышается раскидистый клен. Мебель простая, но удобная: очень широкая деревянная кровать, большой письменный стол, покрытый толстыми белыми листами промокательной бумаги, на котором, кроме пузатой лампы с белым колпаком, большого пузыря с чернилами, нескольких ручек с перьями и карандашей разной толщины, ничего не было; над столом полка с книгами, в простенке между окнами шифоньерка красного дерева, набитая книгами, у южного окна удобный диван, обитый репсом, цвета бордо.

Другая одностворчатая дверь вела в полутемную комнату, в которой стоял кованый сундук Яна, тоже с книгами, и умывальник. Она была отгорожена, там за перегородкой стоял сепаратор, гудевший по вечерам. Из нее был выход на третье, самое заднее крыльцо дома.

За ужином я познакомилась с братом хозяйки, Петром Николаевичем Буниным, очень живописным смугло загорелым человеком, с нависшими седеющими, слегка растрепанными бровями над черными блестящими глазами. Он всегда ходил в косоворотке навыпуск, в черных шароварах в сапоги, в простом картузе и поддевке. Он был в некотором роде легендарной личностью, отличался силой, смелостью, был прекрасным охотником, ездил в метель в одних нагольных сапогах. Медлительный, застенчивый и мирный, когда бывал трезв, во хмелю шумел и лез на скандал. Жил у сестры, в двух комнатах, летом занимался пчелами, дававшими ему хороший доход, потом охотой, а зимой только охотой; запивал он почти всегда в стужу, в метель.

Меня несколько разочаровало, что при доме нет балкона и цветника: дом строил дед Пушешниковых, председатель елецкой земской управы, человек серьезный, не стремившийся,

по-видимому, к поэзии в жизни, хотя имел в своей библиотеке всех современных ему поэтов. Но фруктовый сад, находившийся в двух шагах от дома, прорезывался липовой аллеей, которая вела в поле, к заброшенному погосту с каменными плитами, на которых уже почти все буквы стерлись. Кроме того, были в саду запущенные дорожки с прогнившими скамейками, окруженные кустами акации и шиповника, была заброшенная аллея, ведущая к клену, видневшемуся из комнаты Яна. Под этим кленом были устроены широкие деревянные постели-ложи с чуть легким возвышением для головы; Ян заказал их для нас: мы почти все лето занимались тут. В этом году оно было исключительно погожее, — в июле не было ни одного дождливого дня!

После нескольких дней праздной жизни мы принялись за свои дела. Ян без меня не начинал работать, а между тем ему уже хотелось, хотя он высказывал опасения насчет своей бездарности. Мне тоже было пора готовиться к оставшимся выпускным экзаменам. Может быть, если бы у меня их не было, я острее отнеслась бы к своей новой жизни в чужой семье, уклад которой несколько отличался от нашего. Защищал и тот туман, в котором я жила и о котором писала в первой части.

Но все же я понемногу стала разбираться в окружающих. Как всегда в чужой семье, прежде всего бросаются в глаза общие черты, а затем уже отмечаешь особенности каждого.

Первое, что я отметила, это то, что за столом всегда бывает оживленно, часто раздается взрыв смеха, вызванный тем, что почти все, когда что-либо рассказывают или передают, всех представляют в лицах. Ян бывал оживлен больше всех. Смеялся над Колей, над его рассеянностью, над тем, что он не может сидеть за столом, а все выскакивает, подбегает к пианино, берет аккорд и опять садится есть...

Второе, что было очень ново для меня, это то, что они совершенно иначе относятся к народу, чем мы, идеалистически настроенные к нему люди. У них не чувствовалось никакой вины перед ним, но зато гораздо сильнее, чем у нас, было развито чувство равенства с ним, даже как бы некоторой родственности. Мы снисходили к народу, в лучшем случае относились к нему, как к ребенку, то есть нам хотелось воспитывать его, учить, помогать ему. Здесь же никто об этом не думал; говорили с мужиками совсем не тем слащавым языком, каким говорят горожане, а языком подлинным, сильным, мужицким, пересыпанным разными прибаутками и ядреными словечками. Меня сначала удивило, а потом очень нравилось, когда при встречах с бабами и мужиками вместо расслабленного «здрасте» роняли сильное «здорово».

С мужиками все Пушешниковы жили в близком общении, а Петр Николаевич с некоторыми водил даже компанию, особенно когда запивал. Усадьба стояла в двух шагах от бывшей их деревни, и они хорошо знали не только «своих» мужиков, но и многих из окрестных деревень.

Третье, что поражало меня, это то, что среди них не оказалось ни одного настоящего хозяина, любящего землю, как любят ее богатые мужики, то есть жадно и со страстью работающие на ней. Все любили свое имение, свои места, уклад жизни, но то была любовь скорее порядка поэтического.

Управляла имением Софья Николаевна, но ее управление сводилось главным образом к переписыванию векселей, к доставанию денег на проценты. Хозяйство же шло как-то само собой, приходя постепенно в упадок. В 1907 году в имении было много лошадей, коров и всякого другого мелкого скота, а через десять лет, кажется, насчитывалось чуть ли только по паре каждого сорта.

Софья Николаевна в 28 лет осталась вдовой с четырьмя малыми детьми, из которых двое все время болели. Но все же ей удалось вырастить троих. Понятно, что ей впору было лишь воспитать их, поднять на ноги, дать им образование, и, конечно, ей приходилось прибегать к банкам, к векселям.

Старший сын Дмитрий Алексеевич, или как все его звали, Митюшка, который только что окончил курс на юридическом факультете и осенью намеревался приписаться к адвокатуре, вскоре после моего приезда вернулся домой из путешествия по Волге. Немного выше среднего роста, уже лысеющий шатен в пенсне; с серьезным лицом, он отличался здравым смыслом, логическим, хотя и очень медлительным мышлением и тоже был не лишен некоторого художественного восприятия жизни. Хозяйством не интересовался, в дела матери не вникал совсем, жил в деревне как бы гостем.

Коля, как я уже заметила, был немного странный человек, — совершенно не проявлявший в то время склонности к практической деятельности. Он больше других братьев живал в деревне из-за частых болезней и постоянной астмы, приобрел благодаря этому массу сведений по астрономии и орнитологии. Но едва ли знал даже, сколько чего посеяно у них.

Петя был ближе к матери, к ее интересам, но хозяйственные заботы и его мало трогали. Днем он делал чучела птиц или проводил время с дядей, с которым он был дружен, на пасеке. Охоту он любил до самозабвения. Мог часами говорить о ней. Стрелок он был великолепный.

Когда молодых людей укоряли, что они нерадивы к своему состоянию, они оправдывались тем, что если они станут вмешиваться, то мать будет недовольна и возникнут лишь неприятности, но, конечно, это лишь были отговорки, тяги к земле у них не было, ведь и хозяином нужно родиться.

Мне это нравилось, роднило меня с ними, так как я сама была сделана из подобного же теста: я была счастлива, что живу в настоящей деревне, у коренных помещиков, но еще более меня восхищало, что мне не приходится вести самой домашнего хозяйства, — вить свое гнездо у меня не было еще никакой охоты.

БУДНИ В ВАСИЛЬЕВСКОМ

Я уже почти втянулась в тот простой уклад жизни, который был здесь установлен испокон веков и который Ян несколько изменил для нас. Население дома делилось на две части: Софья Николаевна, Петр Николаевич и Петя вели настоящий деревенский образ жизни: рано ложились, рано вставали, спали днем, долго просиживали за самоваром, а иногда и просто в зале у окна, ничего не делая; в меру сил занимались хозяйством. Мы же — Ян, Коля и я — жили по часам, напряженно работая, и от деревни брали лишь одни удовольствия, ощущая ее, так сказать, поэтически. С нами делил наши досуги и Митюшка. Мы всегда гуляли вместе с ним и Колей. За прогулками бывали интересные для меня разговоры на самые разнообразные темы, особенно много времени уделялось литературе, и больше всего Толстому, Флоберу... Ян указывал на уменье Льва Николаевича даже о переписи писать интересно и самую мелкую черту превращать в незабываемый образ.

Много нового я почерпнула для себя из этих бесед о мужиках и о подлинной деревне. И на многое начинала смотреть иначе, хотя, сознаюсь, изменение взглядов шло у меня очень туго. Я никогда не идеализировала мужиков по Златовратскому, отчасти потому, что была под влиянием марксистских идей, а отчасти и потому, что я просто очень мало знала их, знала больше рабочих — мне приходилось давать уроки на вечерних бутырских курсах. Я живала в имениях бабушки, тетки, друзей, но дела, конечно, с народом никакого не имела. Усадьбы эти находились сравнительно далеко от деревни, и мне приходилось видеть деревенских людей только за работой, или на молотьбе, или в саду. Да и жизнь наша в усадьбах превращалась в сплошной праздник. Поездки верхом, катанья в экипажах сменялись варкою варенья или приготовлением смокв под яблонями на специально для этого сложенной печке. Здесь же жизнь была очень близка к деревне. Помещики жили круглый год и сильно отличались по психике от тех, кто приезжал в деревню на отдых от городских трудов для деревенских развлечений. Ни «Вишневым садом», ни «Месяцем в деревне» тут и не пахло. И я с несколько жутким интересом слушала о новом для меня быте, о той грубости, какая царила в деревне, о отсутствии поэзии, которой так богата деревня Гоголя, Тургенева и даже Толстого, но повторяю, освоила я это с большим трудом, может быть потому, что, как я писала, Ян никогда не старался в чем бы то ни было убедить меня, а просто рассказывает, показывает, а выводы предоставляет делать мне самой.

Понемногу я втягивалась в несложную жизнь усадьбы. Кое-что в ней было и уже совсем новым для меня, например, я никогда не жила с охотниками: мне казался сошедшим с картины из далекой чуждой жизни Петр Николаевич, когда он, на вечерней

заре, с каким-то особым спокойствием, в синей рубахе, в сдвинутом на затылок картузе, стоял посреди двора, окруженный смирными борзыми, жадно косившимися на ведро в его руке, из которого шел пар.

Я уже любила наши утренние занятия под кленом, сиденья днем в саду под яблонями на траве, покрытой кружевной тенью, любила наши прогулки в поле, где как раз в то время цвела рожь, которая походила на «серебристый мех», как неожиданно сказал однажды Ян, или в Остров, где пестрела цветами еще не скошенная трава, и стояла заброшенная караулка, и были необыкновенно красивы могучие дубы с еще молодой, свежей листвой. Я научилась ценить вечерние зори, иногда очень нежные, а иногда с разноцветными клубящимися на западном небосводе облаками. Ян всегда обращал мое внимание на краски и учил смотреть, видеть то, на что не всегда обращают внимание люди.

Одной из наших частых прогулок была прогулка к так называемым Крестам, то есть к перекрестку дорог по направлению к синеющему вдали лесу, мимо ветряной мельницы, где жил очень странный лохматый мельник со своей любовницей, некогда богатый, а теперь все бедневший и бедневший, все ниже и ниже падавший человек, отчасти послуживший прототипом к Шаше («Я все молчу»). Но, пожалуй, самой любимой прогулкой была прогулка в Колонтаевку, в очень запущенное имение Бахтеяровых, некогда принадлежавшее Буниным, с чудесными березовыми и еловыми аллеями, с заросшими дорожками, с усеянными желтыми иголочками скатами. («Рыжими иголками// Устлан косогор...» Есть стихи Ивана Алексеевича, так начинающиеся, и это именно было так, под хвойными деревьями, с чащами жасмина, шиповника, акаций, бересклета, с заколоченным темным домом.) Эта усадьба под именем Шаховское перенесена в «Митину любовь»...

Ян после моего прибытия все только читал (он всегда перед писанием много читал). Я внутренне очень волновалась: будет ли он писать? Особенно стихи? Его сомнения и опасения не на шутку тревожили меня. Но вот настал счастливый момент: он прочел мне первое стихотворение, написанное при мне в деревне, которое было тогда озаглавлено «Роза», а потом переименовано в «Смерть», а теперь — в «Воскресение». Я представила себе католический монастырь, какие я видала в Палестине, монаха в верблюжьей одежде, синеву неба, каменную ограду в розах и черные лепестки рассыпавшегося цветка... И все это слилось с радостью, что я не буду помехой ему...

После этого он довольно долго писал стихи. А затем на прогулках читал их, иногда вызывая длинные разговоры, иногда споры. Тогда бывало особенно оживленно и весело.

С утра парит. Даже под нашим кленом нет прохлады. Голова мутна, и трудно ей усваивать всяких морских ежей, звезд, —



И. А. Бунин (в первом ряду крайний справа) среди нобелевских лауреатов.
Стокгольм, 1933.



Шведский король Густав V вручает Бунину диплом нобелевского лауреата и золотую медаль. Стокгольм, 1933.

невольно начинаешь думать о море, купанье... Вдруг под яблонями мелькнула красная рубашка.

— Коля! — крикнул Ян.

И через минуту:

— Ты что это к девкам пробираешься?

— Нет, просто задохнулся в комнате, жара, мухи, не могу сегодня заниматься...

— Да и мне ничего не идет в голову... такая лень, ничего не хочется делать, так бы и лежала...

— Проехаться надо куда-нибудь, — сказал Ян.

Чего мне недоставало в первый год моей жизни в Васильевском, так это собственной лошади. У небогатых помещиков, живущих в деревне круглый год, наблюдалась большая жадность на лошадей, катание им казалось бессмысленным баловством праздных горожан. Поэтому мы всегда стеснялись просить у Софьи Николаевны лошадь без дела.

— Знаешь, сегодня мама говорила, что нужно узнать у Федора Дмитриевича насчет покоса. Вот мы и предложим ей свои услуги и поедем в наш лес, а оттуда в Скородное, — сказал, смеясь, Коля.

В пятом часу мы выходим на крыльцо. На просторном дворе белеют своей жаркой шерстью сонные борзые. Из каретного сарая весело выезжает в допотопной тележке на гладком буром меринке Илюшка, жизнерадостный малый с очень милым загорелым лицом, исполнявший в то лето роль кучера. Мы со смехом усаживаемся, Ян с Митюшкой на козлы, а Коля рядом со мной.

Едем прямо через сад по липовой аллее, где жужжат пчелы, вылетающие с пасеки Петра Николаевича.

Лес находится в двух верстах от усадьбы и отделяется от нее полями, над которыми то спускаются, то поднимаются со своими песнями грациозные жаворонки, порхают с колоса на колос простенькие бабочки, синеет придорожный цикорий, и розовеет на межах изящная вьющаяся повилика, а в синем небе громоздятся блестящие белоснежные облака.

Вправо остается Остров. Старожилы рассказывают, что вся эта местность была в старину покрыта лесами, а теперь и впрямь здесь леса кажутся островами среди неоглядного моря хлебов.

В лесу наша безрессорная тележка подскакивает то на корнях, то на чуть видных пенышках. От внезапной прохлады, от острых лесных запахов и от веселого птичьего щебета на душе становится особенно радостно.

— Слышите, какие высокие переливы? — это иволга! — замечает Коля.

Я всегда удивлялась, как он так различает птиц. Он рассказал мне о своем увлечении ими, о том, как обшаривал он в лесах вместе со своими друзьями мальчишками все кусты и деревья в поисках за гнездами и как они пытались надувать его, принося ему все новые и новые яйца редких окрасок, так как за это он

обещал им платить: он быстро догадался, что они сами подкрашивают их... Он изучил Брэма, Мензбира...

Чем дальше мы ехали, тем трава все становилась гуще, выше, больше пестрела цветами, а когда мы очутились на полянке с избушкой, в которой могла прекрасно жить баба-яга, то увидели на припеке против нее необыкновенно красивый, яркий ковер разнообразных тонов.

Конечно, первыми встретили нас лаем лохматые собачонки, а затем из низкой двери, плечом вперед, вылез и стал отгонять их небольшого роста крепкий мужик с одним прищуренным глазом на синеватом в морщинах лице, знаменитый охотник, бывший дворовый Пушешниковых, лесник Федор Дмитриев. Я уже слышала о его беспощадной строгости к своим детям, о том страхе, который он умел внушать мужикам, почитавшим его за колдуна. Он взял лошадь под уздцы и медленно привязал ее за повод к серому блестящему стволу осины. Затем подошел и поздоровался за руку, или, как здесь говорили, «повитался»* со своими господами. Затем пригласил нас к себе в караулку.

Худая женщина с милым лицом ласково приветствовала нас. Мы сели у большого стола на широкие лавки, которые шли вдоль стен. Митюшка говорил с лесником относительно покоса, а я рассматривала обстановку. Все как водится: огромная русская печь, широкие нары-постель, крошечные окна с тусклыми стеклами, засиженными мухами, с какой-то неслыханной силой жужжавшими вокруг. Хозяйка ласково предложила поставить самовар, мы отказались, ссылаясь на то, что спешим.

Затем мы направляемся в соседний лес, Скородное, принадлежавший помещикам Победимовым. Это сравнительно большой лес, довольно старый, идущий в гору, с косогорами, полянами, оврагами, даже болотцем, от чего он кажется таинственным. Там тоже еще не начинали косить. И мы долго прохлаждались на одной полянке, утонув в высокой сочной траве, горьковато пахнущей, перемешанной с душистой земляникой и самыми разнообразными цветами.

Я последние годы перед тем не бывала летом в деревне, проводя каникулы или в Крыму, или под Петербургом, а потому-то, вероятно, и памятен мне тем этот день. Я помню, с какой жадностью я вдыхала липкий, чуть уловимый аромат коричневых стеблей розовой гвоздики, сосала сладкие трубчатые лепестки разных кашек, любовалась лилово-синими колокольчиками; даже Иван-да-Марья казались мне восхитительными. Мы долго валялись, ели нагретую солнцем землянику, молча смотрели на синеву небес в пухлых облаках... И как я была счастлива этой простой, столь близкой и понятной мне природой. Вот уж действительно, «где родился, там годился», и никогда ни сказоч-

---

* В подлиннике: «повидался». По-видимому, ошибка; исправляем на «повитался», то есть «поздоровался», «приветствовал». Ред.

ный Константинополь, ни несказанно прелестное Геннисаретское озеро, ни величавый Египет, ни благодатный Прованс не могут заменить мне ни родных цветов, ни золотистых беспредельных нив, ни наших полевых далей...

Из леса мы выезжаем тогда, когда белые стволы берез уже порозовели от низкого солнца и наступила особенная предзакатная тишина. В полях стало очень мирно, где-то в кустах напевала свою коротенькую песенку овсяночка, чуть ли не самая любимая птичка Яна, связанная у него с первым впечатлением детства. Приятно было не спеша ехать среди хлебов прямо на закат, но у Крестов мы увидали, что из-за села Знаменского поднимается грозовая туча.

— Боишься? — с усмешкой спросил Ян Колю.

— Как, вы боитесь грозы? — удивилась я. — Не может быть!

— Нет, но неприятно, конечно...

— Ну, уж не стыдись, — сказал Ян, обернув к нам свое веселое загорелое лицо, — у них весь дом боится, а бабушка его чуть ли не под перины пряталась, вот и его напугала, когда он жил с ней в Каменке...

Домой мы попали вовремя, к ужину, но там уже били тревогу: Софья Николаевна накинулась на нас: «куда пропали», «разве не видали, что туча идет», «того гляди, гроза могла захватить», «в пору было посылать за вами»...

Мы, конечно, смеялись, а она не на шутку была испугана.

Но гроза началась гораздо позднее, часов в десять, и никто, кроме Петра Николаевича, не спал, пока она не прошла.

Коля лежал в своем кабинете на диване, закинув правую руку за голову, уставившись в одну точку своими черными глазками на смертельно бледном лице; Софья Николаевна и обе горничные сбились в его комнату и имели не менее испуганный вид, один Петя сидел в меланхолической позе, слегка подшучивал над их страхом.

Вот откуда в «Суходоле» этот страх грозы, — он шел из Каменки, родового имения Буниных, — Каменка и есть Суходол.

Я иду в наши комнаты, Ян стоит в темноте у окна, за которым почти ежеминутно полыхают фиолетово-голубые молнии, разверзая огненно-белое небо. Я подхожу к нему и смотрю в сад, то необыкновенно мрачный, то зловеще ослепительный. Ян берет маленькое зеркало и внимательно следит за молниеносными зигзагами в нем.

Потом я опять иду к Коле. В столовой сидит Митюшка и спокойно читает газету, а у Коли царит все такой же страх. И вдруг я и сама начинаю испытывать некоторую жуть, когда после ослепительной вспышки чуть ли не без всякого промежутка раздается оглушительный удар, от которого, кажется, рухнут стены...

На следующий день мы узнали, что на Глотовской деревне молния, влетев через трубу в одну избу, опалив чепчик на груд-

ной девочке в люльке и задев малого лет четырнадцати, вылетела в открытую дверь. Малого по пояс закапывали в землю, и он остался жив. Мы навестили это счастливое семейство и видели испепеленное место на чепчике.

У БУНИНЫХ В ЕФРЕМОВЕ

Из Васильевского мы поехали в уездный город Ефремов к матери Яна.

Мне памятна наша первая поездка туда не только по новизне впечатлений, но и по остроте их.

В декабре минувшего года скончался Алексей Николаевич Бунин в Огневке, усадьбе своего второго сына, Евгения, который, продав имение после смерти отца, переселился с женой в Ефремов, где он купил каменный дом с флигельком и садом. В начале июня этого 1907 года к ним приехали погостить его мать, Людмила Александровна, и сестра, Марья Алексеевна Ласкаржевская с детьми, а к Петрову дню из-за границы вернулся Юлий Алексеевич, который всегда вторую половину своего отпуска проводил с родными. Для полного счастья матери не хватало ее любимца, и Ян уже получал письма, в которых его укоряли, что он не хочет приехать и, как бывало в Огневке, пожить хоть недолго с ними. Уездный город не деревня, жить там летом тяжко, а Яну, который только что наладился писать, просто было невозможно менять место да и работать среди шумной, ничего не делающей семьи было бы трудно. Как ему было ни жаль, приходилось огорчать мать: после долгих раздумий и колебаний он решил съездить к ней лишь на день.

Если ехать в Ефремов из Васильевского без пересадки, — а с пересадкой через Елец нужно было бы потратить чуть ли не весь день, так хорошо были подогнаны поезда, — то нужно садиться на станции Бобарыкино, которая находится от Ефремова в получасе езды по железной дороге, а от Васильевского — в тридцати пяти верстах.

Все в тот день для меня было полно интереса: и езда на тройке по полевым уютным дорогам между густых стен золотистых хлебов, под безоблачным низким небом с мутными горизонтами; и село Знаменское, где в церковной ограде под темными покатыми плитами покоились предки Буниных со стороны матери, а в глубине помещичьего сада высился двухэтажный мрачный дом помещика Ремера, имевшего славу маркиза де-Сада; и Озерки, живописно раскинувшиеся вокруг высохшего пруда со своей деревней и усадьбами, где некогда проводил дни отрочества и ранней юности Ян; и большак, пролегавший за ними со своими зеленеющими в глубоких колеях дорогами, с редкими дуплистыми ветлами, одно из лучших наследий Екатерины Второй, так

хорошо слившихся с русской ширью, точно эти дороги существовали испокон веков... У меня к большакам была особая слабость, потому что впервые в детстве я ехала по той большой дороге, которая называется «Муравкой» и которая описана в рассказе Тургенева «Стучит». Мама моя, большая поклонница Тургенева, с детства мне внушила волнующее чувство к этому писателю. А потому «Муравка» и «Стучит» облеклись для меня в особую поэтичность, — виденное мешалось, сливалось с прочитанным...

Затем, оставив в стороне Каменку, родовое имение Буниных, мы снова едем некоторое время по проселкам, держа путь на имение княгини Шаховской, после которого очень скоро наш тарантас неприятно загремел по шоссе.

Ян указал мне вдали на темнеющее пятно — Огневку, лежащую от Бобарыкина верстах в пяти. Поблизости от этих мест находилось имение поэта Жемчужникова, как и лермонтовское Кропотово.

Оставив кучеру на харчи и на корм лошадей, мы сказали, чтобы он нас ждал до вечернего поезда.

Приехали мы на станцию Бобарыкино чуть ли не за два часа до поезда.

Довольно острое чувство я испытала при мысли, что вот я сейчас увижу семью, которая должна стать для меня совершенно особой семьей.

Первое впечатление от Ефремова: бешеная езда извозчиков в клубах раскаленной пыли, огромные не виданные мною ранее петухи, расхаживающие возле деревянных заборов, и барский с колоннами особняк Арсеньева, как-то независимо стоящий на стыке двух улиц.

Дом Евгения Алексеевича, выделяясь своим красным кирпичным фасадом, находился на Тургеневской улице.

Звоним. Отпирает молодая горничная, радостно встречающая нас и пропускающая в длинную темную переднюю. Ян быстро идет дальше, я задерживаюсь на несколько мгновений, чтобы сбросить с себя полотняный пыльник и снять шляпу. В дверях останавливаюсь, оглядываю увешанную картинами гостиную с мягкой мебелью и большими растениями, затем вижу худую, несколько согнутую женщину в темном платье, в кружевной черной наколке на еще чуть седых волосах, смотрящую темными, немного измученными глазами на сына. Это и есть его мать, Людмила Александровна, удивляюсь ее бодрости, — ведь ей за семьдесят и она уже много лет по ночам страдает астмой, лежать не может, дремлет в кресле.

— Что это у вас за красные пятна на лице? — спросил Ян, внимательно взглянув на нее.

— Вчера поела земляничного варенья...

Потом мы знакомимся. Она церемонно, по-старинному здоровается со мной.

Не успели мы сесть к круглому столу, покрытому скатертью,



Фотография с надписью Бунина на паспарту:
«В. Н. Бунина. Стокгольм, декабрь 1933 г».

как отворилась дверь и вошел полный, с большим брюшком, пожилой человек и внимательно посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, лицом напоминающий старшего брата Юлия. Я сейчас же догадалась, что это и есть Евгений Алексеевич. Я уже знала его по рассказам, знала, что он не развил своего таланта художника, посвятив себя сельскому хозяйству, что хозяйничал он удачно, со страстью, вообще что он человек сильных страстей, живший всегда очень самобытно, какой-то своей непохожей на других жизнью, деля время между хозяйством, писанием портретов и романами. Поэтому я тоже с большим интересом взглянула на него.

Он быстро заговорил с Яном, — и говор у него был какой-то свой, неинтеллигентский.

— И чего вам уезжать сегодня! Отлично погостили бы, мы дадим вам две комнаты рядом, диваны превосходные, сегодня Марья с Колей уезжають домой, в Грязи... Да и матери будить не так грустно...

Он отворил дверь в соседнюю комнату, где стоял турецкий диван, а у окна высокое тропическое растение в кадке.

— И ты хочешь, чтобы я под этим деревом спал, — сказал Ян. — Да я тут задохнусь. Окна не занавешены, и с самого раннего утра мужики гремят в своих телегах на базар...

В этот момент вошла молодая брюнетка с живыми горячими глазами, в белой блузке, черной юбке, и сразу очень оживленно стала занимать меня.

Я не поняла, что это Марья Алексеевна, — как не похожа была она на братьев!

Затем снова отворилась дверь, и показалось веселое, загорелое, очень помолодевшее с зимы лицо Юлия Алексеевича, который совсем по-родственному поздоровался со мной, и мне стало сразу легко.

За ним вышла худая женщина с рыжеватыми волосами, хозяйка дома, Настасья Карловна, пригласившая всех к столу.

В столовой застенчиво жались к стульям двое детей Ласкаржевских: старший, миловидный, с голубыми глазами, высокий для своего семилетнего возраста Женя и прелестный в своей некрасивости черноглазый малыш Коля.

В этот день впервые после смерти отца вся семья была в сборе, но мне казалось, что и он присутствует среди нас, так много о нем говорили, изображая его, вспоминая его словечки, остроты, целые фразы... Обед проходил еще оживленнее, чем в Васильевском, ели все энергично, со вкусом. Маша без умолку болтала, рассказывала в лицах целые истории, особенно хорошо представляла ефремовского дурачка, знаменитого Ваську, портрет которого работы Евгения Алексеевича висел тут же. И я изумлялась, как талантливо изменяла она свое лицо с агатовыми глазами и становилась похожа на дурачка, хотя ни одной черты не было общей. Евгений Алексеевич затевал споры, ежеминутно

себе противоречил, делал меткие замечания, заставлял вскипать Машу, подтрунивал над Яном, но до ссор дело не доходило, Юлий Алексеевич в нужный момент переводил разговор на другую тему. Поддразнивали и детей, особенно Женю, большого шалуна, бабушкиного любимца, избалованного ребенка.

Среди этого шума, споров и смеха меньше всех говорила и меньше всех ела Людмила Александровна, — она была вегетарианка по обету за спасение Юлия, когда он был арестован по политическому делу, — любовно оглядывая всех тех, на кого она тратила все свое нежное сердце без остатка: дети, внуки, вот для чего она жила, мучилась, наслаждалась. Лицо ее было очень счастливо, только одни глаза оставались грустными.

Семья Буниных очень ярка, самодовлеюща, с резко выраженными чертами характеров, страстей и дарований. Несмотря на вечные споры между некоторыми членами этой семьи, частенько переходящие в ссоры, а еще быстрее снова проходящие, все они были сильно привязаны друг к другу, легко прощая недостатки каждого, и считали себя какой-то особенной семьей, как это часто бывает в семьях, где мать самоотверженна, любит детей до самозабвения и, вероятно, незаметно для себя внушает им, что лучше их нет никого на свете. К новому человеку в таких семьях относятся с осторожностью и ценят его только поскольку он благоприятен и нужен им. Обладая знанием людей, они быстро успокоились за Ваню, поняв мое отношение к нему, и предались радости, что они опять все вместе, а до меня им не было уже никакого дела.

Перед пирожным закурили. Курили все без исключения. Затем после обеда пошли отдыхать все, кроме Людмилы Александровны, детей и меня. Мы, чтобы было в доме тихо, ушли в сад, очень заросший, находившийся за двором. Там мы сели в беседку, и тут только Людмила Александровна ласково заговорила со мной.

Расспрашивала о Святой Земле, о Иерусалиме, — она была глубоко религиозным человеком, — высказывала пожелание съездить в Киев, поклониться мощам, — «Ваня свезет», — говорила она трогательно. Потом расспрашивала о нашей жизни в Васильевском, вспоминала, как она с детьми и Машей жила там, в тех же комнатах, в каких живем теперь мы, когда ее зять Ласкаржевский был призван во время японской войны.

Потом я стала расспрашивать ее о Ване. Она сказала, что он с самого рождения сильно отличался от остальных детей, что она всегда знала, что «он будет особенным», и «ни у кого нет такой тонкой и нежной души, как у него», и «никто меня так не любит, как он», — говорила она с особенным радостным лицом. В этой беседе я почувствовала, что она считает, что лиризм и поэтичность сын унаследовал от нее. Я думаю, что она была совершенно права: от отца он получил образность языка, силу воображения и художественность образов.

Потом она говорила, что ему пришлось труднее, чем братьям, что он ничего не получил из их бывшего состояния, что он ушел в жизнь «с одним крестом на груди» и что «Юлий был его путеводителем».

Затем она предалась воспоминаниям, как он в Воронеже, моложе двух лет, ходил в соседний с их домом магазин за конфеткой, как его крестный, генерал Сипягин, уверял ее, что он будет большим человеком, генералом... Как с самых ранних пор он больше всего любил природу и в детстве, когда еще не умел произносить буквы «р», он потихоньку будил Машу, и они с ней вылезали неслышно в окно, чтобы на гумне встречать «зою» (зорю), а чтобы она не заснула, рассказывал ей сказки. Рассказывал он и тогда хорошо, а любил больше всего «Аленький цветочек».

Оказалось, что Людмила Александровна знала двух моих родственников, предтеченских помещиков, братьев моего деда, больших приятелей ее мужа, Семена Алексеевича Муромцева, славившегося своим умом и независимым образом мыслей, который говорил ее мужу, Алексею Николаевичу: «Ты хорошо задуман, да плохо вывелся...» — и Алексея Алексеевича Муромцева, улана в отставке, прозванного «раздраженным уланом», охотника и очень веселого человека, я помню его в раннем детстве, когда он приезжал в Москву и бывал у моих родителей. И. А. его тронул в «Деревне» и в «Натали».

За разговорами мы и не заметили, как прошло время. Беседка вдруг наполнилась всей семьей; принесли самовар, и все принялись жадно после дневного сна за чаепитие. И опять смех, представления, споры, крики на детей, которые уже освоились со мной и, перестав стесняться, стали проявлять себя, желая обратить на себя внимание взрослых.

Под вечер мы немного прошлись по немощеным, довольно широким и иногда ухабистым улицам с низкими, большею частью одноэтажными домиками. Зашли в магазин, очень просторный, мало похожий на московские, купили, что нужно, матери и игрушки детям.

Маша с сыном Колей должна была уезжать с тем же поездом, когда и мы. Женя оставался с бабушкой в Ефремове, так как Людмила Александровна с самого дня его рождения ни разу не расставалась с ним, и заботами о нем она наполняла весь свой длинный день.

После ужина и долгих прощаний и обещаний Юлия Алексеевича, Евгения Алексеевича и Маши приехать в Васильевское на Кирики, престольный праздник (15 июля), когда там бывает ярмарка и съезд окрестных крестьян и помещиков, мы наконец сели на извозчиков и поехали на вокзал. Но и тут мы долго ходили по платформе с провожающими нас братьями Яна, — нас выпроводили по деревенскому обычаю чуть ли не за час, и мне было жаль бедную мать, которая могла бы еще наслаждаться своими детьми.



Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, Андрей Седых, И. А. Бунин, «Лючия». Стокгольм, 1933.

В Бобарыкине мы распрощались с Машей и малышом, с которым я уже успела подружиться, и опять сели в покойный экипаж, и как хорошо показалось в полях после душного городка! Уже стемнело, ночь была мутная, все сливалось. Мы долго ехали молча.

Я старалась определить свои впечатления. Я чувствовала то, что я испытывала, когда я знакомилась с семьей близкой подруги, меня всегда неприятно удивляло и даже задевало сходство, какое я замечала у нее с ее родными, и я чувствовала, что кроме меня есть люди, которые даже, пожалуй, и дороже меня. И в то же время я замечала, что то, что мне очень нравилось в ней, коробит в других, меня точно оскорбляло, что та, кого я люблю, имеет общее с родными. Это очень трудно выразить, но, вероятно, это чувство испытываю не только я, это как уменьшение индивидуальности, личности.

— А знаешь, Юлюшка, ты сбился с дороги, — вскочив, воскликнул Ян, всматриваясь в даль.

Я была поражена — что он может разобрать в такой тьме? Но после минутного молчания он указал рукой на чуть темнеющее вдали пятно и сказал:

— Это Круглянский лес, вот ты и держи влево на него. И поедем не на Знаменское, а на Жилые.

И мы опять поехали, и было несказанно прелестно среди этой мутной пустынности. Мы даже почти и не разговаривали.

Домой вернулись поздно. Заспанная горничная предложила поужинать, но мы были так утомлены, что сразу пошли спать.

ГЛОТОВО

В Глотове кроме трех помещичьих усадеб были две лавки, церковь, школа, винокуренный завод, так что кроме дворянского и крестьянского сословий были и мещане, и духовенство, и земские служащие, и торговый люд, и, наконец, в лице сидельца винной лавки даже и чиновничество. Почти все были семейные, была уже молодежь, которая стала тянуться в интеллигенцию.

Я мало-помалу разбираюсь в глотовской хронике, оцениваю значение того или иного события. Уже кое с кем познакомилась, но ближе увидать местное общество мне довелось лишь на бракосочетании сестры владетельницы главной глотовской лавки.

Всякая свадьба вызывает к себе интерес, в деревне же она превращается в событие. Лавочники Лозинские пользовались большим уважением, так как богатели с каждым годом и были люди с большим характером и с чувством собственного достоинства. Давно уже шли разговоры, что Марья Яковлевна просва-

тана в соседнюю губернию, но что свадьбу будут играть здесь, у Лозинских, у которых она и жила после смерти своих родителей.

Я очень обрадовалась, когда Ян согласился пойти в церковь. Она стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви — часовня, где образа писались с покойных Глотовых. Из часовни был ход в их склеп — мы как-то спускались туда и видели свинцовые серые огромные гробы, на которых металлические крышки блестели капельками росы.

В церковь мы пришли в тот момент, когда полный, среднего роста священник с седой редкой бородой вел венчающихся на середину храма, и я не успела заметить, кто первым встал на розовый шелковый плат. Невеста, видимо, волновалась, на ее большом лице выступил румянец, придававший ей некую трогательность, и я уже с волнением смотрела на ее пышные рыжеватые волосы, покрытые фатой, на большой нос, на опущенные глаза... Потом я рассмотрела жениха с черными колючими волосами, в сюртуке, стоявшего навытяжку. Затем стала разглядывать окружающих, их было порядочно, но все-таки в церкви было просторно — будний день, и бабам было некогда. Пожилые люди в старомодных нарядах, барышни, кавалеры, одетые по моде. Неприятно удивило, что барышни все были подмазаны.

— Кто эта хорошенькая? — спросила я тихонько Яна, указывая глазами на небольшую, хотя и головастую, но очень миловидную девушку с огромными черными глазами под длинными ресницами. — Зачем она-то мажется?

— Это Зина Лозинская, она молодец, только что выдержала экзамен за прогимназию, чтобы стать сельской учительницей. А подкрашиваются здесь все, даже девки, вот ты увидишь на Кирики.

— А кто это толстый с рыжими усами и бородой, с такими веселыми глазами?

— Винокур, очень милый человек!

— А студент?

— Дьяконов сын, брат того, что иногда бывает у Коли, поклонник Бальмонта. Оба самолюбивы так, как только бывают семинаристы. Им все кажется, что все только и думают, как бы обидеть их...

— Посмотри, как приоделась и как важна монопольщица со своим огромным животом...

— Настоящая кенгуру, — сказал Ян.

Вечером мы прошли к красному, стоявшему против церкви домику Лозинских, перед которым толпился народ. Мальчишки взгромоздились на доски, лежавшие у крыльца, и расширенными глазами смотрели на кружащиеся под звуки граммофона

пары. Мы тоже постояли несколько минут, заглянули в окна, увидели Митюшку Пушешникова, с самодовольной улыбкой ухаживающего за пышной девицей... Затем пошли в поле, где тихо колыхалась почти созревшая рожь.

* * *

Июль, как я уже упоминала, был очень хорош в том году, — ни одного дождя за весь месяц. Ян был весел, много и споро работал.

В доме стало ощущаться приближение Кириков, — 15 июля день Св. Равноап. Кн. Владимира (Василия), св. муч. Кирика и Иулиты. Все мылось, чистилось, вытряхивалось, — готовились к престольному празднику.

Уже стали съезжаться гости. Приехал только что кончивший курс гимназии в Вологде Володя Лукин, сын учителя Пушешниковых, юноша с плоским и веснушчатым лицом, говоривший баском и употреблявший слова местного арго: «насадился» вместо наелся, «брешешь» вместо врешь и т. д. Приехала Александра Петровна, бывшая слуга сначала Буниных, а затем Пушешниковых с сыном Васькой, который только что выдержал экзамен на телеграфиста. Маленький, кривоногий, с жидкими желтыми волосами на огромной голове, он был необыкновенно смешон в своей форменной тужурке, с гармонией в руках. Матери он боялся как огня, да и трудно было не бояться этой тихой, вкрадчивой, с сильным характером, плотной, длинноносой женщины. Думается, что и Софья Николаевна немного побаивалась ее; молодым Пушешниковым она говорила «ты», чем подчеркивала свое особое положение в их доме.

Дня за два до ярмарки из Ефремова приехали братья Яна, Маша просила выслать за ней лошадей в Измалково в самый день праздника.

Ян не бросал писать, несмотря ни на что. Я тоже старалась не прерывать своих занятий, но предпраздничная суета врывалась ко мне даже через затворенные двери.

Накануне ярмарки стали съезжаться мещане, и на выгоне перед церковью заблестели коричневой и красноватой эмалью горшки, быстро выстроились палатки, воздвигались карусели, а по дороге тянулись телеги со всевозможными товарами, и было очень странно видеть такое оживление в наших тихих и спокойных местах.

Я сразу почувствовала праздник, как только в мою комнату вошли горничные, — Ян тратил на утренний кофий минут пять да минут десять на прогулку и любил, вернувшись, найти кабинет свой прибранным, а потому для быстроты наши комнаты убирались сразу обеими горничными. Марья Петровна, пожилая и серьезная женщина, сдержаннее обычного поздоровалась со мной и уже совсем неслышно двигалась со щеткой у Яна; на



Г. Н. Кузнецова. Париж, 1934.

ней было новое темное платье и белый в черных разводах платок. Катька, шустрая, жизнерадостная девчонка, по шестнадцатому году, так и сияла в своем желтом с красными цветочками наряде. Она быстрым шепотом сообщила мне, что на «ярманке народу страсть как много, что у церкви стоят логофетовские и плешковские лошади»... Я сунула ей целковый, и еще веселее засияли ее карие глаза, и темным румянцем залилось смуглое с чуть видными веснушками лицо.

Я вдруг сама ощутила в себе праздничное возбуждение, — захотелось приодеться и поскорее взглянуть на ярмарку.

Благовестили к Достойно, когда мы вышли из дому с Юлием Алексеевичем и Колей. Я не узнала нашего выгона, он показался мне втрое больше, — так он был застроен. Вспомнилось гулянье под Девичьем и рынки на Востоке, только без гортанного крика и без верблюдов. Мы медленно шли мимо палаток с бусами и стеклянными изделиями, с горшками разной величины, с глиняными кувшинами, с новыми колесами, такими чистыми, веселыми, с косами, остро блестевшими на солнце, мимо продавцов лимонада, кваса, морса, перед которыми на белых стоечках краснели и желтели графины, а сухо вытертые стаканы отливали радугой, мимо тесно жавшихся друг к другу овец, мимо телег, лошадей, мимо неподвижных каруселей, вокруг которых стояли мальчишки и глазели на деревянных коней с острыми ушками. Было сравнительно тихо, шла обедня, и все старались быть сдержанными. Те, что ходили, только все прицενивались...

В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подаяний. Такого количества уродов, калек мы не видали и на Востоке! Описывать их я не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича «Я все молчу».

Скажу только, что впечатление от них одно из самых жутких, полученных мною в жизни. Особенно было неприятно смотреть, когда после обедни бабы оделяли их кусками баранины, а они хватали их, и жирный сок тек по их пальцам, когда они совали это подаяние в свои грязные холщовые мешки... Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого, обращал мое внимание то на того, то на другого, и я видела, как вдруг начинали блестеть его глаза при виде особенного, отталкивающего уродства.

Когда народ повалил из церкви и растекся по улочкам ярмарки, мы тоже вышли из ограды. Картина была уже другая: крик, шум, толкотня... Мы еле пробираемся под залихватские звуки оркестриона, несущиеся из-под красного кружащегося шатра, среди пестрых платьев, разноцветных косовороток, заломленных картузов, зимних шапок, толстых армяков...

Сталкиваемся с Евгением Алексеевичем. Он здесь с самого раннего утра, очень красен, оживлен, знает уже все цены, чем-то недоволен, жалеет, что продал Огневку... в нем проснулся

хозяин, он ведь один из всей своей родни по-настоящему любит землю и умел, когда хозяйствовал, получать редкие урожаи, а потому, попав в водоворот сельской жизни, почувствовал, что очутился не у дел, поселился теперь, прожив всю жизнь в деревне, в Ефремове — город не большой, а все же там совсем не тот уклад жизни, к какому он привык...

Я слушала его с любопытством и завидовала: он так хорошо разбирается в этом для меня новом мире. Я, повторяю, чувствовала себя тут почти так же, как на восточном базаре. Разве я понимала народ? знала, как и чем он живет? умела с ним разговаривать так, чтобы и он меня понимал, и я его? В течение следующих десяти лет я кое-что уразумела, но все же очень приблизительно. Надо было родиться, вырасти, иметь дело с ним, иметь ум, не засоренный всякими учениями, чтобы предвидеть то, что случилось впоследствии.

Ян все время обращал мое внимание на лица, сравнивал стариков с молодыми мужиками, завязывал разговоры с благообразными хозяевами, расспрашивал мещан о Ельце, о Ливнах, восхищался умом, энергией этого кочевого сословия, остановился над самодельной тележкой с калекой и, кинув ему медяк, заставил его рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцовали на деревянных конях... Я же все время испытывала растерянность и недоумение, мне уже хотелось домой, — от жары и напряжения разболелась голова.

Около нашей усадьбы мы встретили господина в брюках, засунутых в сапоги, в люстриновом пиджаке и белом картузе. Мои спутники с ним раскланялись и познакомили его со мной. Коля пригласил его к обеду. Это был помещик Борис Борисович Логофет, немного странный замкнутый холостяк, хорошо игравший на рояле и очень левый по убеждениям.

На дворе стояли линейка и тарантас.

— Рышковы уже у нас, — сказал Коля, — но чей же это тарантас?

В это время из липовой аллеи показалась тройка лошадей, посланных за Ласкаржевскими. Маша, очень кокетливо одетая, с довольной и радостной улыбкой сдержанно кивала нам.

— Отчего вы не приехали вчера? — спросил Юлий Алексеевич. — Ведь ты знаешь, как в такой праздник трудно посылать кучера на станцию, Софья была недовольна...

— Ну что же мы могли поделать, — Ося только вчера вечером получил отпуск, да и то всего на несколько дней.

И она познакомила меня со своим мужем Осипом Адамовичем, высоким, хорошо сложенным поляком с правильными чертами темного, худого, угрюмого лица.

В зале уже были накрыты два стола, которые ломились от закусок, громадных пирогов, покрытых белоснежными салфетками, от бутылок с водками, наливками, вином.

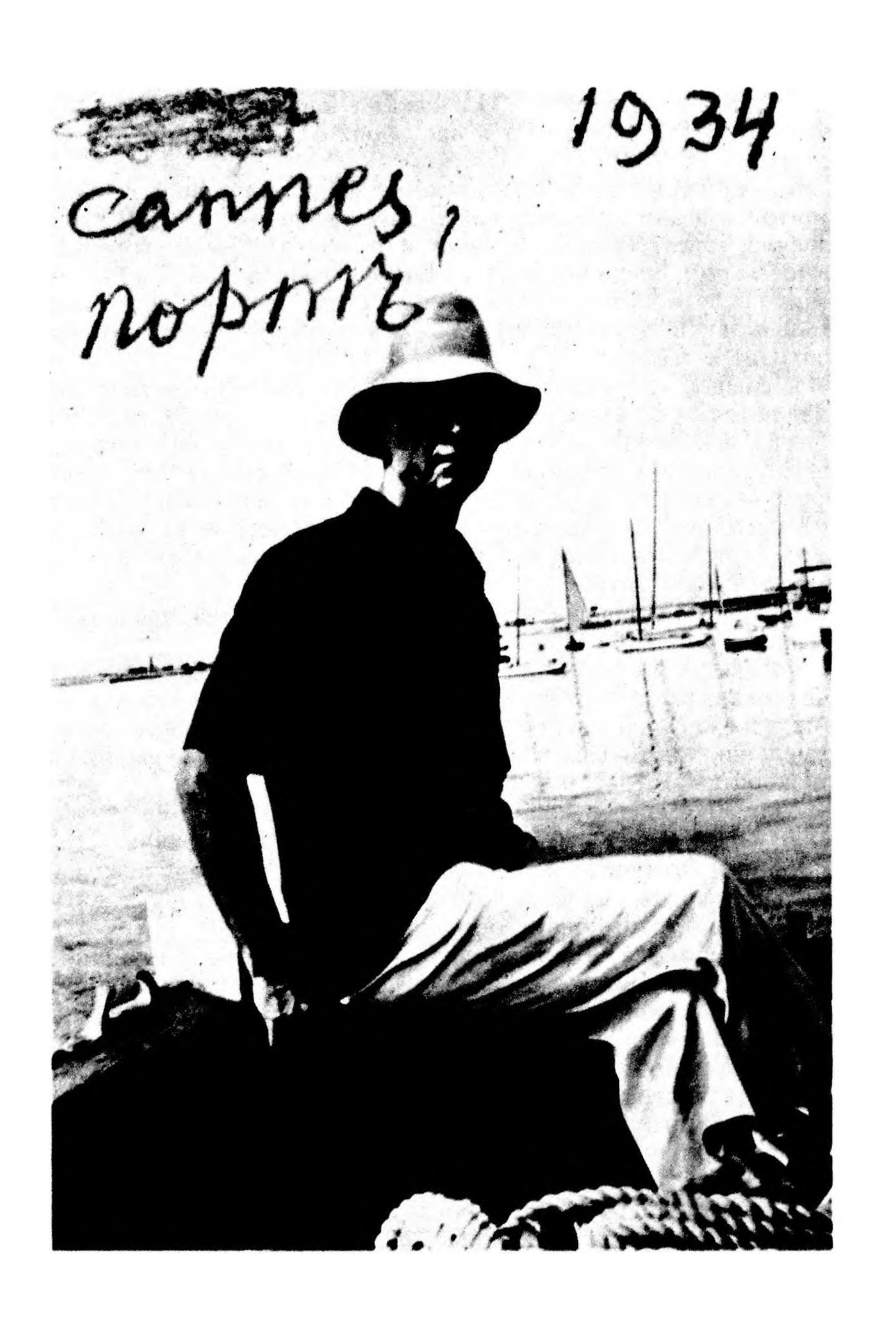
И сейчас же растворились двери и из одной вышла Софья Николаевна с четырьмя дамами, за ними Петя с кадетом, а из другой Петр Николаевич с высоким стройным становым и огромным в чесучовом пиджаке мужчиной с налитым кровью лицом, от которого в стороны расходились пышные бакенбарды. Это был помещик Валентин Николаевич Рышков, троюродный брат Буниных по матери, большой приятель Петра Николаевича, отличавшийся силой, смелостью и аппетитом,— он как-то в Ельце за игрой на биллиарде съел девять порций, да каких!

Да, подумала я, кладя свою руку в его огромную ладонь, этот будет повнушительнее Петра Николаевича, а отец Яна, говорят, их всех забивал: и стрелял лучше всех, и отличался редким бесстрашием, да и в аппетите не уступал: как-то, уж совсем собравшись на охоту, с ружьем на плече, он проходил мимо блюда с окороком и, вероятно, неожиданно для себя остановился и так увлекся ветчиной, что, когда ушел, на блюде блестела лишь голая кость...

Жена Рышкова, застенчивая, полная женщина, в молодости хорошенькая, казалась уже пожилой, хотя ей не было и сорока лет. Зато дочери ее, две высокие, хорошо сложенные девушки, в простых полотняных платьях, без всяких следов, даже пудры, были прелестны. Старшая Лида была почти красавица, Маргарита, гимназистка последнего класса, излучала какое-то очарование, особенно когда говорила, — так звучен был ее грудной голос. С ними были два брата — кадет средних классов, Анаша, совершенно не похожий на сестер своей белокурой внешностью и мелкостью сложения, и семилетний мальчуган Витя.

Высокая, красивая шатенка, нарядная по-городскому, двоюродная сестра их, оказалась женой станового. Она давно не была в этих местах, с Буниными не видалась с тех пор, как они уехали из Озерок, а потому посыпались восклицания радости, удивления. Они с Машей представляют друг другу своих мужей, и я улавливаю улыбки, которые говорят: «Что, хорош?» Ян рассказывает мне, что, будучи маленьким гимназистом, он влюбился в нее, когда она однажды уже настоящей барышней приехала в Озерки в белом платье и с толстой русой косой...

Наконец все разместились, на некоторое время стало тихо: отдают должное Дуняшиным пирогам с разными начинками. И только и слышен стеклянный стук рюмок, шуршанье платьев горничных да редкие фразы хозяев: «Не хотите ли балычка?..», или «Передайте, пожалуйста, вон ту селедочку..», или «Еще по рюмочке»... Только после супа, поразившего меня количеством пупков различной величины, завязываются разговоры, поднимаются споры, раздается раскатистый смех Рышкова. Особенно оживленно на втором столе, где гости расхвастались друг перед другом своей силой; особенно состязаются Ласкаржевский с Володей Лукиным: один уверяет, что он приподнимает паровоз, а другой с жаром доказывает, что ему ничего не стоит поднять



И. А. Бунин. Канн, порт, 1934.

за передние ноги лошадь... И я читаю в насмешливых зеленоватых глазах Рышкова: «Да я вас обоих одной левой рукой сокрушу!»

Митюшка, сидевший недалеко от меня, ухаживает за Маргаритой, и я все прислушиваюсь к ее певучему голосу... Коля, конечно, устал, отупел и от пищи, и от людей. Я тоже утомилась от новых лиц, среди которых я чувствую себя чужой, и радуюсь, когда после мороженого встают изо стола, и я незаметно проскальзываю в свою комнату и ложусь отдохнуть. Ян с братьями проходит к себе.

Я слышу, как упрашивают Логофета сыграть на пьянино. Раздаются бетховенские звуки. Мне приятно: они возвращают меня к прежнему миру, о котором я как-то в то лето не вспоминала. Скучала ли я по нем или хотя бы по своей семье? Нет, совершенно не скучала, даже до странности тупо относилась ко всему, что приходило оттуда; например, получив письмо от мамы из Карлсбада, написанное не ее рукой, я легко поверила, что у нее «немного болит рука»...

Вошел Коля. Он спасался от приставания гостей, просивших его петь.

Часа в три мы опять идем на ярмарку, там уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке.

В кружке деревенской молодежи пляшет на одном месте с каменным лицом под гармонь девка, что-то приговаривая.

У лавки Лозинских небывалое оживление, торговля идет, как видно, вовсю. На маленьком балконе мелькают девичьи фигуры, — к ним тоже понаехало много гостей.

Возвращаемся домой мимо гумна. Там застаем компанию мужчин: состязаются в стрельбе, кто попадет в подброшенную бутылку. Вспоминают, что Алексей Николаевич попадал в подброшенный двугривенный!

На крыльце собралось женское общество, перед которым разостлан бежевый ковер. Одна баба, незаконная дочь помещика, продает его из-за нужды — самую драгоценную вещь из всего своего приданого. Она застенчиво озирается кругом, на ее тонком лице глубокая печаль. Все рассматривают ковер, жалеют ее, и наконец жена станового, которая знала ее с детства, приобретает это заветное добро. Трудно передать, как взволновала меня вся эта сцена. Все же отнеслись к ней очень спокойно, и я остро ощутила опять свое одиночество...

За чаем новые гости: помещица Злобина в какой-то замысловатой шляпке, в старомодном нарядном платье, которая немилосердно набелена и нарумянена и неистово кокетничает с молодыми людьми, и наша близкая соседка по прозванию Косячиха, в прошлом чуть ли не опереточная актриса, с дочерью полуду-

рочкой, очень некрасивой, которая, когда ее приглашают танцевать, говорит: «Я серьезная», а когда какой-нибудь кавалер в шутку начинает занимать ее и спрашивает, что она больше всего любит, то она со вздохом отвечает: «Я только в церкви душой отдыхаю»...

Некоторые гости сели за преферанс. Ласкаржевский, у которого хороший слух, заиграл на пьянино венгерку, и начались танцы. Больше всех носилась Маша с вологодским гимназистом, именинником Володей Лукиным. Она так любила танцевать, что готова была кружиться с кем угодно и когда угодно.

К вечеру почти все гости разъехались, не пустили без ужина лишь Рышковых.

Было совсем темно, когда мы все вышли на крыльцо провожать их. Они долго усаживались в свою старомодную линейку. Наконец тронулись. И, когда были у липовой аллеи, необыкновенно молодо, весело и мелодично прозвучал голос Маргариты: «До свиданья! Приезжайте, непременно! Не забывайте нас!»

Мы с Яном пошли за ними в темный сад, где сквозь густую листву проглядывали редкие звезды. Из-за садового вала несся стук удаляющихся копыт, с ярмарки долетали пьяные крики, «страдательные» (страдательными называются приказки, которые тянут на тягучий напев под гармонию).

— И так будут «страдать» целую ночь, — сказал Ян.

— А песен здесь разве не поют? — спросила я.

— Нет, песни вывелись, а раньше пели, и особенно хорошо пели дворовые. Впрочем, они другой породы, в них было много лирики, как и много дворянской крови... да всегда при господах, а ведь мы очень лиричны...

— А кто придумывает страдательные?

— Да кто угодно. В прежнее время, когда я ходил «на улицу», я и сам немало выдумывал их...

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907—08 гг.

1

С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на глазах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем

в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию.

Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ушел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.

Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. Каждый мужчина купил себе панаму, загнул поля этой итальянской шляпы по-своему, и вид у всех был победоносный.

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября он отправился в Петербург, надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». Ян отнес Зайцеву рукопись Нилуса «На берегу моря». Редактору она понравилась, Ян мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята.

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

30 сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся, — застрял на Капри. Он думал предложить «На берегу моря» «Знанию». Тогда он решил устроить вещь Нилуса в «Шиповнике», и это ему удалось. Дали аванс в 200 рублей, по условию это произведение должно было появиться не позднее весны 1908 года. Зайцев обещал свое содействие.

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые.

Гржебин, с которым я встретилась как-то у Зайцевых, — он у них тайно остановился, — сказал мне, что Иван Алексеевич «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей». Он был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться окончательного решения от него было трудно.

Художественный театр хотел поставить «Каина» в переводе Бунина, это было бы очень хорошо и в смысле материальном, — за два года Ян мог получить десять тысяч рублей. Но, к сожалению, это не осуществилось.

Четвертый раз Ян поехал в Петербург, но Пятницкий опять не оправдал ожидания, и Ян не знал, что ему делать. Желая устроить рассказ Нилуса «Госпожа Милованова» в журнале Марьи Карловны Куприной, он советовал автору переименовать рассказ и предлагал заглавие «Закат».

2

Выпал снег. У нас обедали Юлий Алексеевич и Федоров. После обеда мы сидели за самоваром. Разговор зашел об Андрееве, который недавно приехал в Москву: в Художественном театре репетировали его «Жизнь человека»; его сын Даниил воспитывался в семье Добровых, у сестры его покойной жены.

Раздался телефонный звонок. Старший из моих братьев Сева кинулся в переднюю.

— Легок на помине! Звонил Голоушев, просил передать, что они с Леонидом Николаевичем едут к нам, — сказал он взволнованно.

Я с Андреевым не была знакома. Как писатель, он не трогал меня, — мне нравились только некоторые его рассказы. Все же ожидала его с большим интересом. Меня волновало, что я должна увидать человека, перенесшего большое горе, — меньше года назад он потерял молодую жену. И я старалась представить себе, какой он? Я знала, что горе он переживал тяжело, что в Москве, где он был так счастлив, особенно остро чувствует свою потерю и что отчасти поэтому он переселился с матерью и со старшим сыном Вадимом в Петербург. В голове у меня мелькали обрывки рассказов о нем. Я вспомнила, как наш друг студент-медик Шпицмахер, придя к нам (вскоре после нашумевшей «Бездны»), сказал: «Знаете, кто такой писатель Андреев? Это тот самый красивый брюнет, который ходил по Царицыну в расшитой косоворотке и студенческом картузе, с хорошенькой барышней...» Вспомнила диспут по поводу «Записок врача» Вересаева в Художественном Кружке; зал набит битком; на

эстраде яблоку некуда упасть; во втором ряду Андреев, а впереди него причесанная на пробор хорошенькая, худенькая, с мелкими чертами лица наша курсистка Велигорская, теперь Андреева, в легком черном платье, из-под которого виднеется маленькая, изящно обутая нога.

Но вот раздался звонок, а затем я услышала смех в передней.

Поднявшись навстречу гостям, смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в Кружке, показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым (Андреев был коротконог). Поздоровался он со мной с милой ласковой улыбкой. Я предложила ему чаю. Налила очень крепкого, — знала, что он пьет «деготь».

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри... Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта, — зубы у него плохие, — что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не понравилось, — «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

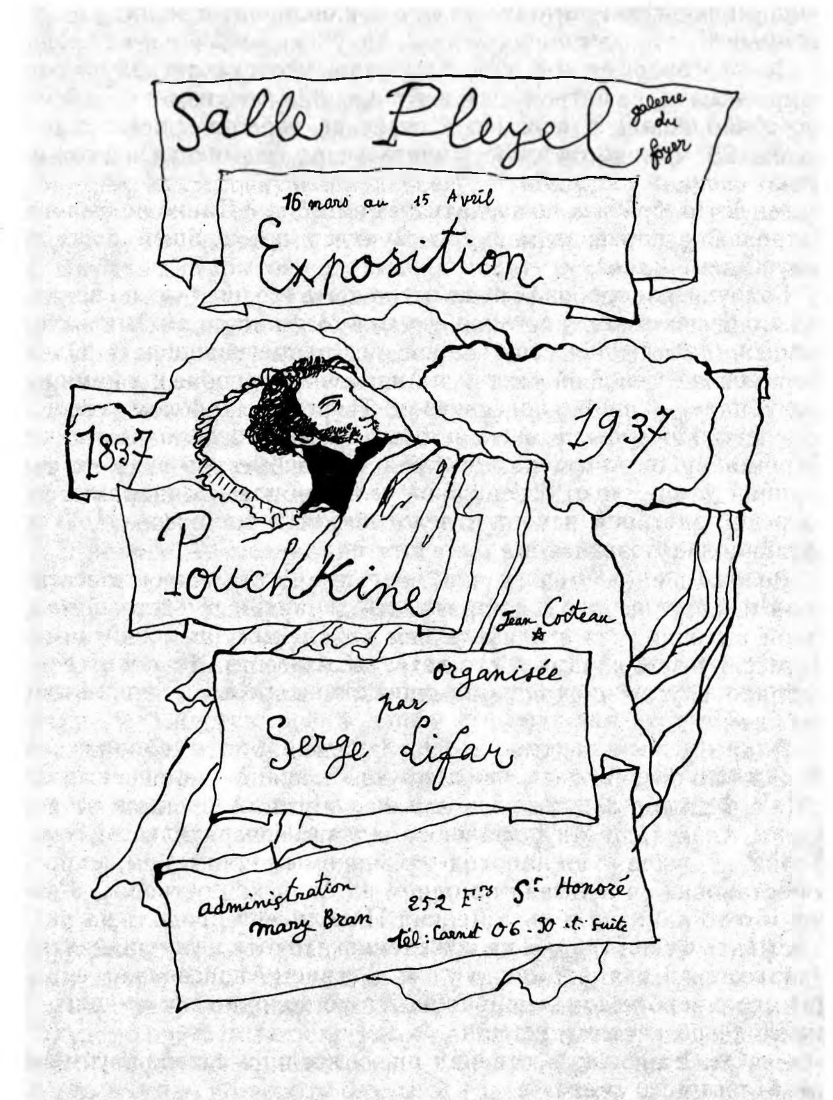
— «Знание», — говорил он, — не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары... — Затем он внезапно заявил: — Страшно хочется в «Большой Московский», — еще ни разу не был после возвращения из-за границы.

На отговаривание Голоушева он только лукаво усмехнулся:

— Не беспокойся, Сергеич, мы с тобой и в «Московском» будем пить только чай; а посидеть с друзьями мне очень хочется, ведь ни Ванюши, ни Юлия я еще путем не видал.

В передней, когда он накинул на себя дорогую шубу с серым смушковым воротником и заломил назад такую же шапку, Ян напомнил ему про старую отцовскую шубу, которую он носил по бедности в студенческие годы и которая была похожа, по словам Яна, на собачий домик. Андреев очень хорошо засмеялся.

Через четверть часа очутились в белом, огромном, залитом светом зале. Довольно долго выбирали, где лучше сесть. Наконец сели, заказали фрукты, вино, а для Андреева чай. Я сидела рядом с Голоушевым. Он был дружен со многими художниками, почти со всеми московскими писателями, а с Андреевым осо-



Извещение о Пушкинской выставке в Париже в зале Плейе, которая была открыта с 16 марта по 15 апреля 1937 г.

бенно, проявляя по отношению к нему большую нежность и заботливость.

За разговорами мы и не заметили, что стакан чаю перед Андреевым стоит нетронутым и что в руке у него изумрудный на топазовой ножке бокал. Но в ответ на горестно-упрекающий взгляд Голоушева он только опять хитро подмигнул и неожиданно сказал:

— А что, братцы, не поехать ли нам к Яру? Давно не был я в Петровском парке, страшно соскучился по хорошей русской зиме. Едем! Едем!

Голоушев попробовал было отговорить его, но, быстро поняв, что это бесполезно, простился и уехал. Мы наняли лихача и «голубцы», небольшие сани парой, и, разместившись — Юлий Алексеевич с Севой на лихаче, а Андреев с Федоровым и нами на «голубцах», — шибко понеслись по Тверской, по белому свежему снегу. Ночь была мягкая. Было необыкновенно весело от остро пахнущего воздуха, от бубенцов, от быстрой езды по пустынной улице, ярко освещенной гелиотроповыми шарами. За Тверской заставой нас то и дело обгоняли тройки, — Москва праздновала первопуток.

Возбужденные этой скачкой, мы шумно ввалились в вестибюль и, сбросив шубы, направились в парадный светлый зал, такой высокий, что столики в нем казались странно низкими. Писатели опять начали обсуждать, где им сесть. Наконец место выбрано в углу у входа, шампанское, жареный миндаль заказаны.

Андреев, очень веселый и благодушный, опять говорил, как он рад, что он в Москве, среди друзей, неожиданно перешел на «ты» с Федоровым, которого называл шутя «Азорскими островами». Александр Митрофанович недавно возвратился из Нью-Йорка, куда ходил на пароходе со знакомым капитаном, во время остановки он побывал на одном из Азорских островов, а затем что-то написал о них. Леонид Николаевич продолжал рассказывать о своих новых произведениях, хохотал, слушая шутки Яна, который, глядя, с каким удовольствием Андреев пьет, сравнил его с верблюдом, «дорвавшимся до колодца после долгого перехода по пескам пустыни».

— Ох, Ванюша, — отвечал он, — когда я с тобой, у меня щеки ломит от смеха.

Впрочем, все чаще и чаще он начинал впадать в грусть, опять вспомнив, что у него произошел разрыв с «Знанием» из-за «Шиповника», уверял, что Горький ему этого никогда не простит, говорил о своей финляндской даче: «Я хочу, чтобы она была мрачная, как финская природа!» Неожиданно он напал на Толстого и стал доказывать, что «Война и мир» не настоящий исторический роман.

Тут чуть не случился скандал, могущий плохо кончиться: какой-то военный, встав против оркестра, вынул саблю из ножен

и стал дирижировать. Сева, найдя, что тот не имеет на это права, кинулся к нему. За ним Юлий Алексеевич и Федоров. Едва уговорили Севу вернуться к столу.

Уже светало, когда мы вышли и уселись по-прежнему. Андреев попросил проехаться по Ходынскому полю. Юлий Алексеевич с Севой поехали домой. А мы свернули к Ходынке.

— Ах, как я соскучился по снегу, — повторял Андреев упавшим голосом. — Нет, без севера жить нельзя. Горького, вечно сидящего на Капри, не понимаю! — прибавил он злобно.

Выехав в открытое поле, мы на минуту остановились. Он нагнулся, захватил горсть снега и жадно понюхал его.

Бедный Федоров совсем осовел, застыл в своем легком пальто. Спрятав руки в карманы, он забыл о папиросе, которая, переломившись, смешно болталась в его посиневших губах. Я приказала ямщику ехать в «Лоскутную».

Андреев опять говорил о «Царь-Голоде», ему хотелось сейчас же прочесть его нам. У «Лоскутной» он настойчиво начал просить подняться к нему.

Федоров сейчас же простился и ушел к себе.

В номере Андреева, при утреннем зимнем свете, он, с бледным похудевшим лицом, с горящими глазами, стоя, читал, как «Смерть ест бутерброд», и, мрачно отбивая такт ногой, напевал:

— Там, там, там... Там, там, там...

Через несколько дней он читал эту пьесу у Добровых. Было много народу, много незнакомых нам лиц, непричастных к литературе, — Андреев любил, чтобы его слушали не только одни писатели. В тот вечер он был совсем непохож на того, каким я его видела в первый раз. Как всегда на людях, среди поклонников, он был серьезен, молчалив, даже несколько мрачен. Читал глухо, однообразно, ни на кого не глядя.

3

Через несколько дней, как-то вечером Андреев по телефону пригласил нас приехать к нему. Мы собрались и поехали.

Навстречу нам, кроме хозяина, встал еще кто-то огромный, в блузе, с прямыми откинутыми назад каштановыми волосами, с необыкновенно мощной шеей, с бантом белого галстука, широко раскинутым по вороту блузы. Я сразу узнала Скитальца. На столе стояли две бутылки шампанского.

Андреев был бодр, оживлен, но очень бледен. Он больше стоял или ходил, держа бокал в руке, и все говорил, говорил:

— Хорошо было бы написать сказочку, как мать рассказывает больному сыну, нося его по комнате, что вот пришел великан, такой страшный, большой великан... и упал великан... и мальчик затихает, засыпает... Только и всего...

Я разговаривала со Скитальцем. Пугая меня своей шеей, которая, раздуваясь, выпирала очень большой кадык, он рас-

сказывал о себе. Я слушала его с большим интересом: года два-три перед этим он гремел на всю Россию.

— Я бродяга, певец, писателем я сделался случайно, — рисуясь, говорил он басом. — Горького я боготворил. Я думал: вот настоящий друг! Верил, что он любит меня, Степана, а оказалось, что ему важны были мои писания да выгоды от них, а не я сам. Это самое большое разочарование в моей жизни.

Шампанское было выпито. Андреев позвонил. Лакей внес на большом подносе холодного каплуна, ветчину и еще две бутылки Мумма.

Андреев ничего не ел, только пил и, стоя, говорил, говорил. Я одним ухом слушала Скитальца, а другим отрывочные фразы Андреева.

— Понимаешь, Ванюша, понимаешь, меня все всегда настраивали и настраивают против тебя, даже покойная жена настраивала, а все-таки я люблю тебя.

— А Куприна? — спросил Ян.

— Нет, его не люблю, как писателя, — в нем не душа, а пар, знаешь, как у собак.

— К черту интеллигенцию! Вся она разделяется на три типа: инфлуэнтик, неврастеник и алкоголик.

— Да, тяжело одному, иногда хочется прийти и положить на женские колени голову. Мне очень тяжело.

— Вот пришел великан, большой сильный великан, и упал великан, упал великан.

Я попробовала его уговорить лечь спать. Он усмехнулся:

— Спать! Нет, спать я буду этак дня через два.

Засиделись опять до рассвета.

Из «Лоскутной» я прямо направилась за какой-то справкой на курсы, и мне было весело, что никому и в голову не приходило, что я провела бессонную ночь.

Приехал в Москву Найденов и тоже остановился в «Лоскутной». Иногда он обедал у нас. И я чем чаще встречалась с ним, тем больше чувствовала, как он мало похож на своих «славных» собратьев. Ян за это его любил. И не раз говорил: «Тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благородства!»

К своей славе он относился трезво, понимая, что зенит ее уже прошел, и никогда не пытался подогревать ее. Ян как-то при мне передал мнение о нем Чехова, что он может написать несколько пьес неудачных, а затем напишет опять нечто замечательное, но Найденов только усмехнулся. Не стремился он и к популярности. С большой мукой соглашался участвовать на благотворительных вечерах и когда выходил на эстраду, то, пробормотав что-то, как можно скорее уходил в артистическую.

По природе своей он был неразговорчив: в обществе, как я уже писала, чаще молчал, но в дружеском тесном кругу охотно

рассказывал всякие истории из своей жизни. Любил разговоры о современной литературе, о писателях, о славах, которые вспыхивали в те годы, как римские свечи, а затем так же стремительно гасли; любил в шутку гадать: за кем очередь взлететь?

Актерской среды не жаловал. Однако вскоре женился на актрисе, очень милой, живой, энергичной женщине.

4

Через неделю я покончила с экзаменами. И мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купе первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев и Иорданский, оба сотрудники ее журнала.

С Азбелевым Ян встречался. Он был воспитателем Георгия Александровича, покойного наследника престола, рано умершего от туберкулеза. Знал Азбелев всю царскую семью, рассказывал, что Николай Второй искренне верил, что он помазанник Божий. Блюменберг решил издать Киплинга, Иван Алексеевич рекомендовал Азбелева как переводчика и согласился редактировать эти переводы, а потому обрадовался, что увидит его и переговорит с ним. С Иорданским он тоже был хорошо знаком. Тот заведовал в журнале внутренним обозрением.

Редакция и квартира М. К. Куприной находились в то время у Пяти Углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные — адмирал в морской форме, небольшого роста, с приятным лицом, человек лет пятидесяти, и высокий с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой, — уже ждали нас. Иван Алексеевич удалился в угол с Азбелевым и быстро сговорился с ним относительно его перевода рассказов Киплинга.

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике», который может убить «Знание», так как там печатается главным образом «серый» материал, а уход Андреева, действительно, может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать, — я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно. И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа приедет Александр Иванович и состоится первая встреча Куприных после разрыва.

Ян начал было прощаться, — мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с крас-

ным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку своими темными глазами, не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо, не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро.

— Мне говорили, что вы красивая, — неожиданно обратился он ко мне, — а между тем...

Я хотела ответить, но удержалась, видя, что он сильно во хмелю: «Не всякому слуху верь... мне говорили, что вы воспитанный офицер, а между тем...» (Когда я потом рассказала об этом Яну, он заметил, что и Анне Николаевне, его жене, Куприн при первом знакомстве сказал нечто подобное. «Вообще он любит в лицо сказать неприятность», — добавил Ян.)

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Но пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых.

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицовне, — она, говорил он, волнуется, как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в Пале-Руаяль, излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице, и застали Елизавету Морицовну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными, испитыми лицами и женщин в ярких, вызывающих нарядах. Везде стоял дым коромыслом. В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина, Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» запродал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

— Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите, — и он назвал внушительную сумму за лист, — то я пошлю всех к черту, но деньги «на бочку».

— Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян. — Завтра днем мы

„Пушкинскія торжества“!

Страшные дни, страшная годовщина — одно изъ самыхъ скорбныхъ событій во всей исторіи Россіи, той Россіи, что дала Его. И сама она, — гдѣ она теперь, эта Россія?

„Красуйся, градъ Петровъ, и стой
неколебимо, какъ Россія.“
— О, если бъ узы гробовыя
Хоть на единый мигъ земной
Поэтъ и Царь расторгли нынѣ!

Ив. Бунинъ

NB

Непремѣнное условіе — прислать мнѣ корректуру этихъ строкъ!

Ив. Бунинъ

1, rue Jacques Offenbach,
Paris 16

И. А. Бунин. Автограф заметки Бунина, написанной в столетнюю годовщину гибели Пушкина. Париж, 1937. Из архива С. М. Лифаря.

увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в Пале-Руаяль, мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар. Это вызвало бурю: писатели, заинтересованные тем, чтобы эта вещь была в «Шиповнике», так рассвирепели на Ивана Алексеевича, что не подали ему руки, особенно негодовали Арцыбашев и поэт Андрусон.

В этот день Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около полуночи в зал стремительно вошел Блок с высокой, красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону.

Опять засиделись далеко за полночь. Петербург гораздо позднее ложился, чем Москва. Мы уже чувствовали большую усталость, но мне все это было внове, а потому хотелось везде побыть подольше.

5

Собирались мы в гости к Андрееву. За окнами, сквозь кисею падающего снега, в ярком свете фонарей сверкал тяжкий памятник Александру III. Сели в санки, понеслись по Невскому. Снег залеплял глаза, леденил веки, то и дело закрывала глаза меховой муфтой. Вот и белая Нева, длинный мост и, наконец, Каменноостровский. Остановившись у нового дома, вошли озябшие в подъезд, поднялись на лифте.

Хозяин встретил нас очень радушно. Познакомил меня со своей матерью, худой, еще не старой женщиной, в черном платье. Она сидела за самоваром. Вокруг стола, кроме Скитальца, все новые лица, Леонид Николаевич меня познакомил: Серафимович, Юшкевич, Копельман.

Он указал мне место около матери. С интересом я смотрела на ее грустное лицо. Она была приветлива, обрадовалась, что я «москвичка»: к Петербургу она еще не привыкла, чувствовала себя в этом «холодном» городе как-то стеснительно. Слушая ее низкий, немного хриплый голос, удивляясь, как она много курит, я начала разглядывать сидящих за столом.

От смущения я не запомнила, кто Юшкевич, кто Серафимович, кто Копельман? Начала гадать. Господин с выпученными глазами уж очень не похож на писателя. Решаю, и правильно: это Копельман, издатель «Шиповника». Но кто же Юшкевич,

кто Серафимович? Никак не пойму: у обоих большие лица и почти нет волос, оба заикаются, хотя и по-разному. Только у того, что ниже ростом, огромные желтые зубы, калмыцкие скулы и почти совсем голый череп, который он часто, с какой-то ехидной усмешечкой, поглаживает. А высокий человек с большим темпераментом, прерывистым голосом что-то громко рассказывает о театре Комиссаржевской.

За ужином меня посадили между Юшкевичем и Серафимовичем. Но я все еще не могла определить, кто из них кто? Вино подняло настроение, все заговорили громче обычного. Закипели споры, посыпались имена: Городецкий, Сологуб, Арцыбашев. Громче всех кричал, больше всех горячился, восхищаясь этими модными писателями, мой сосед слева, — он-то и оказался Юшкевичем.

— Вы, как негр, Юшкевич, — ласково обращаясь к нему, сказал Ян, — как негр, который носит самые высокие модные воротнички.

— А вы, — отрывисто бросает Юшкевич, — вы не хотите никогда видеть в модном ничего хорошего, я же люблю и с к а т ь, мне старое быстро надоедает.

— Хорошее, талантливое никогда не должно надоедать, — возражает Ян, — да и откуда вы взяли, что я не хочу видеть таланта там, где он, действительно, есть? Только, на беду, я его так редко вижу.

— Нужно искать и искать! — не слушая, кричит Юшкевич. — Вот, например, Рукавишников.

Но мое внимание отвлек Копельман, который, с нажимом произнося каждое слово и ударяя указательным пальцем по воздуху, поучал:

— Нет, теперь наступает время романа. Леонид Николаевич должен писать роман. Короткие рассказы отжили свой век.

Андреев, отхлебывая чай, слушал с усмешкой и молчал. Молчал и Скиталец.

После ужина мы сидели в темном кабинете у горящего камина. Андреев говорил со мной. Расспрашивал об экзаменах. И, узнав, что я с ними покончила, сказал: «Я думал, что вы всегда будете их держать...» Потом говорил, что, вероятно, я много слышала о нем дурного, как и он обо мне. Я, по правде сказать, удивилась: кто мог обо мне говорить дурно — и почувствовала, что это он говорит готовыми фразами. Сообщил, что скоро мы увидимся в Москве, опять в «Лоскутной». Я смотрела на затейливо горевшие дрова. Огонь, пожары привлекали меня с детства.

Возвращаясь домой, я расспрашивала Яна о своих новых знакомых, что они за люди? Неистовство Юшкевича, многозначительное молчание Скитальца, ехидство Серафимовича, — все удивляло меня.

— Юшкевич нравится мне, — заметил Ян, — он всегда

несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы?

6

У нас было так много приглашений, что на осмотр города не оставалось ни одного часа.

Выдался особенно трудный день. Мы приглашены к завтраку за город к нашему другу, профессору Политехнического института, Андрею Георгиевичу Гусакову. От Выборгской стороны по Самсоньевскому проспекту ходил паровичок с несколькими вагонами (через несколько лет проложили трамвайный путь). За завтраком был Владимир Матвеевич Гессен, большой друг Андрея Георгиевича. Пробыли мы там не больше двух часов, так как у Яна были свидания по сборнику, а кроме того мы должны были нанести визит Рахмановым, которые уже не занимали квартиры при министерстве Народного Просвещения, а переехали на Николаевскую улицу, так как дядя вышел в отставку. Вечер мы должны были провести у Ростовцевых.

Хорошо, что журфиксы в Петербурге начинались почти в 11 часов и мы могли отдохнуть после обеда.

Без четверти одиннадцать мы вышли из гостиницы и сказали извозчику везти нас на Морскую, где жили Ростовцевы. И все же оказались первыми гостями. Встретила нас хозяйка, Софья Михайловна, высокая, хорошо сложенная, со вкусом одетая дама. Сообщила, что Михаил Иванович в Мариинском театре, слушает оперу Вагнера. Она ввела нас в просторный кабинет с удобной мебелью, с большим письменным столом, на котором лежала наполовину разрезанная книга модного писателя, если память не изменяет, Сологуба.

Не успели мы сказать несколько слов, как стали появляться гости. Я восхищалась уменьем хозяйки вести непринужденную беседу на различные литературные темы. Она была в курсе всех течений, ловко иллюстрировала несколькими строками только что прошумевшего поэта. Ян помогал ей, становилось интересно, весело. В полночь явился хозяин, небольшого роста, коренастый, с умными глазами и свободными манерами человек лет тридцати пяти. Он сразу заговорил о Вагнере, об опере, которую он только что прослушал, говорил с блеском, чуть улыбаясь.

Через четверть часа нас пригласили «на чашку чая». Все поднялись и направились в столовую, большую комнату с очень длинным столом. Пока рассаживались, появился профессор Кареев, которого я знала в лицо. Высокий, дородный, с широкой белой бородой (вероятно, приехал с заседания). Моей соседкой слева оказалась писательница Леткова-Султанова, красивая, крупная, уже пожилая брюнетка. Из знакомых была только

М. К. Куприна, она сидела с Яном, и они о чем-то оживленно говорили (думаю, что об Александре Ивановиче).

Перед каждым прибором стояла чашка чаю, на столе выстроились бутылки разнообразных дорогих вин. Лакеи начали подавать горячие закуски, подавали без конца. Вот так «чашка чая», подумала я. Влетел высокий, стройный, с рыжими волосами на косой пробор, очень живой, весело смеющийся человек. От Летковой узнала, что это художник Бакст. Леткова со мной была очень мила, вероятно, почувствовала мое смущение среди почти незнакомых людей и старалась меня из него вывести. Расспрашивала о московской писательской среде.

Часов до двух ночи никто не трогался с места. Потом понемногу стали подниматься более пожилые гости. Первым простился маститый Кареев. Недолго пробыл и Бакст. Часам к трем осталась небольшая компания: Марья Карловна, Котляревские — Нестор Александрович, академик и профессор по русской литературе, его жена, Вера Васильевна, высокая красивая дама, артистка Александринского театра, брат хозяина, военный, Федор Иванович и мы. Тут началось уже непринужденное веселье. Стоял неумолкаемый смех, Ян изображал мужиков, мещан, мелких помещиков. Ростовцев вставлял острые замечания, Софья Михайловна опять цитировала одного из современных гениев, Марья Карловна не отставала от нее, время летело так быстро, что, когда опомнились, оказалось, уже половина шестого. Долго еще стояли в передней, и, прощаясь, Михаил Иванович с Яном чуть не поцеловали друг у друга руку, в последнюю секунду опомнились и от смущения друг перед другом выкинули антраша.

На следующий день Ян доканчивал свои дела, а вечером мы были на каком-то ужине, где присутствовали литераторы, адвокаты, общественные деятели. Там впервые я увидала поэтессу Крандиевскую. Ян знал ее мать, писательницу, а «Туся», как ее звал Ян, подростком приходила к нему читать свои стихи (об этом я прочла в ее талантливой книге «Я вспоминаю»).

Она приехала с мужем. С ним я была знакома в отрочестве; он был на редкость красив. Жил в качестве репетитора в знакомой семье, проводившей лето в Царицыне. Он узнал меня и сел рядом. Туся была прелестна в своем золотистом платье с букетиком фиалок у пояса. Поразил меня ее ровный цвет лица, оттененный легким румянцем.

Федор Акимович Волькенштейн, ее муж, был в то время уже известным присяжным поверенным. Меня удивило, как он говорил о жене, о ее творчестве, рассказывал, что она иной раз неожиданно уезжает одна в Финляндию, когда ей особенно хочется писать стихи. Приглашал к себе:

Дорогой
Сергѣй Михайловичъ,

Пушкинскій Комитетъ въ лицѣ Вашемъ чествуетъ сегодня одного изъ самыхъ молодыхъ своихъ членовъ, и мы горды сознаніемъ, что именно одинъ изъ младшихъ участниковъ нашего общаго Пушкинскаго дѣла оказался достойнымъ быть особо отмѣченнымъ въ эти дни всемірнаго Пушкинскаго прославленія. Въ русскомъ зарубежномъ поминовеніи Пушкина Вамъ досталась совсѣмъ особая роль подлинно Пушкинская миссія. И съ этой возложенной на Васъ миссіей Вы справились прекрасно и вдохновенно.

Пушкинскій Комитетъ уже имѣлъ случай не разъ выражать Вамъ свою признательность за Ваше ревностное участіе во многихъ его начинаніяхъ. Ибо ни одно изъ большихъ Парижскихъ прославленій Пушкина въ эти послѣдніе годы не прошло безъ того, чтобы Ваше имя не украшало Пушкинскія артистическія программы. На праздникахъ Пушкинскаго искусства неизмѣнно торжествуетъ и Ваше вдохновенное искусство, искусство замѣчательнаго артиста, творца танца и хореграфіи. Первый танцовщикъ и балетмейстеръ "Парижской Оперы", всемірно прославленный и излюбленный всѣмъ Парижемъ, Вы, Сергѣй Михайловичъ, не забыли о своей кровной связи съ Россіей и съ русскимъ народомъ и культу величайшаго русскаг ~~генія~~ себя всецѣло посвятили. Въ этомъ Пушкинскомъ служеніи здѣсь, внѣ Русской Земли, передъ лицомъ иностранцевъ, Вы сумѣли добиться прямо поразительныхъ результатовъ, побудивъ многошумный, живущій иными помыслами Парижъ заинтересоваться великимъ творчествомъ Пушкина среди тревогъ и злобъ, обуревающихъ сейчасъ міръ.

Но Ваша заслуга, Сергѣй Михайловичъ, не только въ этомъ. Пушкинскій Комитетъ не можетъ не отмѣтить и другого Вашего безспорнаго достиженія въ области русскаго Пушкинизма. На Вашу долю выпало счастье стать обладателемъ драгоцѣнныхъ Пушкинских реликвій - писемъ великаго русскаго поэта, во французскихъ подлинникахъ, остававшихся неизвѣстными до того, какъ они перешли къ Вамъ, а Вы не оставили ихъ подъ спудомъ. Пріобрѣтя ихъ и тѣмъ, можетъ быть, спасши ихъ отъ разсѣянія и забвенія или безвѣстности еще на долгій срокъ, Вы сдѣлали ихъ общимъ достояніемъ. Вы воспроизвели ихъ въ автотипическомъ обличіи подлинниковъ въ изданіи "Письма Пушкина къ Н.Н.Гончаровой" подобно тому, какъ еще до этого ранѣе общимъ достояніемъ стало и Пушкин-

Речь Бунина при закрытии Пушкинской выставки в Париже в 1937 г., устроенной С. М. Лифарем; подписана многими видными русскими писателями и деятелями культуры.

ское предисловіе къ "Путешествію въ Арэрумъ", найденное Вами въ Парижѣ. Этимъ бережніемъ и умѣлымъ воспроизведеніемъ Пушкинскихъ страницъ Вы оказали большую безспорную услугу Пушкинизму, русской наукѣ, русской культурѣ. Ваше юбилейное изданіе "Евгенія Онѣгина" явилось новымъ подаркомъ русской эмиграціи.

И, наконецъ, - Ваша Пушкинская выставка. Несомнѣнно, что выставка "Пушкинъ и его эпоха" явилась совершенно исключительнымъ и блестящимъ завершеніемъ всемірнаго прославленія Пушкинскаго генія. Только на нашей родинѣ было бы возможно созданіе того, что возникло здѣсь въ Парижѣ въ эти дни по Вашей прекрасной инициативѣ и съ Вашей жертвенной готовностью служить культу Пушкина. Вы отважились и сумѣли преодолѣть безчисленныя не только матеріальнаго свойства, но и возникавшія все время всякаго рода препятствія и безъ какой либо поддержки со стороны оффиціальныхъ инстанцій открыли свою Пушкинскую выставку. Своимъ вдохновеннымъ примѣромъ Вы сумѣли заразить и зажечь сердца и нѣкоторыхъ нашихъ замѣчательныхъ коллекціонеровъ, хранителей русскихъ художественныхъ сокровищъ заграницей и просто русскихъ культурныхъ людей, являющихся обладателями той или другой Пушкинской книгой или Пушкинской реликвіей. Въ своемъ стремленіи сдѣлать Пушкинскую выставку достойной Пушкинскаго имени Вы сумѣли объединить около себя опытныхъ и преданныхъ Пушкинскому дѣлу сотрудниковъ. Такъ утвердили Вы на нѣкоторое время въ самомъ сердцѣ Парижа настоящій Пушкинскій Домъ, нашъ русскій Пушкинскій Музей и смогли тѣмъ самымъ открыть и иностранному міру блистательныя страницы русскаго творчества, русскаго искусства, русской культуры, осѣненныя геніемъ великаго русскаго поэта.

За это Пушкинскій Комитетъ привѣтствуетъ Васъ сегодня, дорогой Сергѣй Михайловичъ, и приноситъ Вамъ глубокую благодарность съ выраженіемъ любви и восхищенія Вами, однимъ изъ творчески вдохновенныхъ своихъ сочленовъ. Пушкинскій Комитетъ счастливъ, что можетъ сказать все это Вамъ. Онъ вѣритъ и знаетъ, что онъ не одинокъ въ этомъ признаніи Вашихъ заслугъ и что эти привѣтственныя слова, обращаемыя сейчасъ къ Вамъ, вмѣстѣ съ нимъ повторитъ и вся русская колонія въ Парижѣ, все наше культурное свободное русское Зарубежье.

Ив. Бунинъ
Д. Мережковскій
Тэффи
Бор. Зайцевъ
В. Бунина
В. Зеелеръ

— Иван Алексеевич будет беседовать с Тусей, а мы с вами вспомним Царицын.

Я поблагодарила, но отказалась, так как на другой день мы должны были покинуть Петербург.

7

В Москве шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень Птицы» и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна, — всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в «Лоскутную».

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева. Леткова, глядя на его мрачное лицо восхищенными глазами, говорила:

— Ах, Леонид Николаевич, как я рада, что так неожиданно да еще здесь, в Москве, встретила вас! Мы с баронессой Икскуль ваши горячие поклонницы и всегда вместе читаем ваши произведения, потом обсуждаем, переживаем. Как все у вас глубоко, оригинально, как волнует! Вот теперь вернусь в Петербург, будем вслух читать вашу новую вещь в «Шиповнике».

— Я недоволен ею. Не вышло, что задумал, — отвечал Андреев. — Твоя, Ванюша, «Астма» гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.

— Бог с тобой, какой ты астматик! — смеялся Ян.

— А мне между тем все кажется, что я задыхаюсь, — настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении. Да и мы чувствовали себя натянуто, нас стесняло присутствие Летковой, восторженное преклонение которой перед Андреевым нарушало обычную непринужденную атмосферу наших ночных свиданий. Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе?

— Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

— Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, — сказала я.

— Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Неотчего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни.

Через некоторое время он встал и ушел, сказав, что у него болит голова. Когда наконец поднялась и Леткова, мы пошли к Андрееву, и он неожиданно встретил нас весело:

— А я уже хотел посылать за вами, только боялся, что моя поклонница все еще у вас. Вот сейчас принесут холодный ужин, и мы славно проведем время.

И действительно, ужин этот был особенно оживлен. Марья Карловна была в ударе, ее острый ум, беспощадный язык очень возбуждал собеседников. И о чем только они не говорили! Кого только не вспоминали и не разбирали по косточкам, изображая всех в лицах!

Марья Карловна мне казалась взрослее меня, хотя, думаю, разница в возрасте была не очень большая. Может быть потому, что ум ее был чуть циничен, что она была находчива, стояла во главе популярного «Современного Мира» и со знаменитыми писателями была на короткой ноге.

Приехав по делам, она недолго оставалась в Москве.

После ее отъезда Андреев пригласил Юлия Алексеевича, Зайцевых, нас и еще кого-то в «Прагу» ужинать. С ним была его мать. Будучи нежным сыном, он брал ее в ресторан, когда хотел провести вечер с близкими друзьями.

— Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив, — сказал он неожиданно, обратившись к Яну, когда тот с удовольствием ел вечного своего рябчика.

— Пожалуй, ты прав, — ответил с улыбкой Ян, — я, действительно, очень самолюбив.

— А я нет. А честолюбие у меня большое.

Он был хорошо настроен в ожидании постановки «Жизни человека». Вина не пил (вероятно, присутствие матери удерживало его). В этот вечер они с Верой Зайцевой перешли на «ты».

Николин день провели с гостями дома, а вечером отправились на именины Н. Д. Телешова. Там была почти вся «Среда». Мне очень нравилась хозяйка, которая была ко мне внимательна. Ее брата, Александра Андреевича Карзинкина, я знала с тринадцати лет. Он был другом Алексея Васильевича Орешникова, на даче которого я видела его в первый раз. Он тогда только что вернулся из Туркестана, где у него были хлопковые плантации. Он принес из своего погреба бутылку старого вина, поставил ее перед Яном.

На первом представлении «Жизни человека» мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию. Впечатление у меня было странное, — я до конца не поняла этой пьесы. Успех она имела. Во многих газетах появились хвалебные статьи.

Наконец, после долгих откладываний, мы накануне Рождества уехали в деревню, оставив в комнатах большой беспорядок, очень смешивший маму. Она говорила, что мы чем-то очень похожи друг на друга.

Взяли путь через Орел, где была пересадка на Юго-Восточную железную дорогу.

8

В Измалково мы приехали, когда было темно. За нами были присланы широкие сани и тулупы. Выехав в поле, мы увидели, что снизу метет. Ян сказал:

— Ведь это поземка! Будь внимателен, Илюша.

Некоторое время мы ехали по дороге, я с наслаждением смотрела на небо, на бесконечное снежное поле.

Неожиданно Ян крикнул:

— Илюша, ты сбился с дороги, разве не видишь? Мы съехали в овраг!

Лошади остановились, мы вышли из саней. Снизу сильно мело, а в небе были огромные звезды. Сириус так и сверкал своим синим огнем, голубая Вега и красный Арктур меня обрадовали, точно я встретила родных, — давно я не видела такого зимнего неба. А Ян уже со страхом в голосе кричал:

— Пропали, пропали!

И вместе с кучером куда-то тащил сани, которые глубоко увязли. Я стояла очарованная, не понимая, почему он так волнуется. Наконец после долгих усилий сани были вытащены на более высокое, твердое место, и он сказал Илюше, указывая на звезды, куда надо держать путь. Мы стали медленно подвигаться вперед. Через некоторое время услышали колокольный звон.

— Это на глотовской колокольне звонят, — сказал Ян, — поняли, что мы заплутались, хотят дать нам направление, нужно ехать по звону.

Софья Николаевна, Коля и Петя действительно были встревожены нашим запозданием. И как показалось уютно в теплом помещичьем доме!

Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках

в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, надписав одно слово «Иней».

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращал внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку» или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза и она это видит...

9

В Москву с нами опять поехал Коля. Мы опять остановились у моих родителей. Не помню точно числа, когда я впервые увидала Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Махаловых.

Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостеприимные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста с нервным асимметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни, так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:

— Вот у вас денщик говорит: «Так что, ваше благородие» — уж очень это истрепано, во всех анекдотах...

Шмелев неприятным тоном:

— А что ж, ему по-французски, что ли, говорить прикажете?

Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания.

В конце января 1908 года праздновался юбилей Южина, — шел Отелло. Мы на этом чествовании не были. А на другой день в Художественном Кружке был банкет, данный друзьями и почитателями юбиляра, праздновавшего свою серебряную свадьбу с Малым театром. В переполненном большом зале Кружка Николай Васильевич Давыдов от студенческого общества любителей изящной литературы приветствовал Южина и преподнес ему звание Почетного члена этого Кружка. С речами выступали Баженов, Федотов, Боборыкин, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Читались телеграммы от Златовратского, Леонида Андреева, Найденова, Модеста Ильича Чайковского и других, телеграмма Суворина вызвала шиканье. Потом говорили князь Долгорукий и присяжный поверенный Ледницкий.

Особенно восторженно были встречены приветствия председателей Государственных Дум Муромцева и Головина и членов первой Думы Иваницкого и Кокошкина. Закончилось все веселым рифмованным перечнем пьес Александра Ивановича, сочиненным и прочитанным остроумным актером театра Корша Борисовым.

Я сидела рядом с Телешовым, и Николай Дмитриевич называл незнакомых мне лиц, давал им краткую характеристику, так что мне все время было интересно.

10

Мы уже начали, как говорилось у Буниных, вырабатывать маршрут нашего весеннего путешествия. На этот раз в европейские страны. А в самом начале февраля пришла телеграмма из Грязей: о внезапной болезни сестры Буниных, туда выехали Настасья Карловна и Евгений Алексеевич, который недавно виделся с сестрой и нашел ее в очень хорошем виде.

— Какая ты стала гладкая! — сказал он по приезде недели две назад.

На другой день пришло и письмо, в котором было сказано, что у Маши страшные боли в животе, после скандала с мужем. Доктор ничего не понимал, советовал везти в Москву. И дня через два мы встречали Настасью Карловну с Машей на Казанском вокзале.

Вид Марьи Алексеевны меня поразил: темный цвет лица, точно оно было под сеткой. С вокзала ее повезли в «Лоскутную» и поместили там вместе с Настасьей Карловной. В тот же вечер был у нее профессор Усов. Он нашел, что нужно обратиться к хирургу Алексинскому, который, осмотрев больную, посоветовал перевезти ее в Иверскую общину, где он должен был сделать операцию. Мой дядя Всеволод Николаевич Штурм, создатель этой общины, помог все быстро устроить.

Привожу письмо Ивана Алексеевича к Петру Александровичу Нилусу о этих днях (20 февр. 08):

«Недели две тому назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. В позапрошлое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа, — и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, т. е. долгая и мучительная смерть! А у нас, кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который немного утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать — до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации, ни с того, ни с сего — обыск! Я чуть не задохнулся от злобы.

...Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного, но выехать сейчас нельзя. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше».

Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово «операция» их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее не уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику, где у нас был знакомый ординатор Н. Н. Аристархов. С его матерью и сестрой мы подружились в Крыму. И он часто заходил к Марье Алексеевне. Ей в клинике стало лучше, она уже вставала и ходила по палате, в которой была одна. Конечно, как в Общине, так и в клинике мы по очереди ежедневно навещали ее. Она была трудной и требовательной больной. Нужно было привозить икру и всякие вкусные гостинцы. Ей казалось, что раз есть деньги на жизнь лучшую, чем ее, то их можно тратить на все и средства не иссякнут. Конечно, боясь ее огорчать, мы исполняли все ее прихоти. В клинике лечили ее рентгеном и лекарствами.

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой, милый Петруша, вчера у меня была большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уж опасно: Голубинин, который осматривал сестру почти месяц тому назад, теперь заявил, что у нее *не* саркома... а что именно, покажет недалекое будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве, так как Юлий Алексеевич, человек легко теряющийся, чувствовал бы себя очень одиноко без нас обоих.

Из деревни Ян послал открытку П. А. Нилусу, 15 марта:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг. Пожалуйста, напиши мне сюда, — между прочим, и о твоем плане пожить в апреле на даче. Меня это интересует, ибо кто знает, сколько я здесь пробуду?»

И действительно, недолго он прожил в деревне. Вскоре вернулся в Москву.

Графиня Бобринская, «товарищ Варвара», решила издавать сборники «Северное Сияние». Бунин был приглашен редактором этих сборников. Это было очень кстати. Секретарем их был Лев Исаевич Гальберштадт.

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо, — так он объясняет в письме из-под Конотопа П. А. Нилусу свой неожиданный отъезд.

Вероятно, я сообщила, что закрывается клиника и нужно перевезти Машу в какую-нибудь частную лечебницу. По его приезде мы решили Машу поместить в санаторию доктора Майкова, приятеля Юлия Алексеевича. Она находилась довольно близко от нашего дома.

Сергей Федорович Майков, очень любезный человек, поседевший от рентгена, был внимателен к сестре Буниных: взял самую низкую плату, и когда Марье Алексеевне не понравилась комната, то ей отвели лучшую за ту же цену. И там продолжали ее лечить рентгеном. После временного улучшения болезнь обострилась, Маше стало хуже. Она с каждым днем худела и слабела. Приглашались знаменитые хирурги, как Постников, знаменитые терапевты, как профессор Голубинин, и все безрезультатно, — никто не мог поставить диагноза, теряясь в догадках.

Марья Алексеевна принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера и от мнительности и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Кар-

В стихотворном экспромте Бунина — шутливое упоминание Федора Шаляпина:

Ну, за Русь и за царя!
За поэта-бунтаря.
За Сережу Лифаря
И за Федю шинкаря.
И. Б.

ловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич.

Ян, как всегда, откладывал отъезд, дотянул до Страстной и внезапно решил ехать в Святую ночь, говоря, что «в эту ночь пассажиров будет мало», — взять билеты первого класса мы не могли, и он боялся бессонной ночи в вагоне.

Конечно, моей семье было грустно, что я опять не буду с ними у заутрени, не буду с ними разговляться. Я пробовала уговорить Яна, чтобы он поехал с братом, а я приеду к нему через два дня. Но он, живший в большой тревоге, ни за что не хотел расставаться со мной. Понятно, нас многие осуждали. А член судебной палаты Мальцев, снимавший в нашем доме квартиру, сказал мне:

— Ну, знаете, — это по-декадентски!

Я ответила, что мать Ивана Алексеевича, находившаяся в сильном горе, будет хоть немного утешена, если мы проведем с ней праздники.

11

Ян оказался прав: вагон второго класса был почти пуст, и мы имели отдельное купе, дав на чай кондуктору. Утром мы приехали в Ефремов.

Мы с Яном остановились в номерах Маргулина, прожили дней десять. Бунины сдали комнату дантистке, и Евгений Алексеевич завел с ней роман. Настасья Карловна очень волновалась. Братья взяли ее сторону и уговорили его «бросить эту историю», сообщив о состоянии Маши, но просили до привоза ее в Ефремов ничего не рассказывать матери. Евгений Алексеевич очень любил свою младшую сестру, относился к ней с нежностью, так как был ее крестным отцом, — она была лет на пятнадцать моложе его и они почти всю жизнь до замужества Маши прожили вместе. Красивая зубная врачиха съехала от них, так как ее комната нужна была для больной сестры. Настасья Карловна после нашего отъезда отправилась в Москву вместе с Юлием Алексеевичем за Машей.

Матери было трудно: на ее руках оказалось двое детей. Пока мы жили в Ефремове, я почти все время проводила с ней и детьми. Сыновья, точно боясь оставаться с нею с глаза на глаз, почти всегда бывали в отсутствии, и мне было донельзя жаль ее. С детьми же я любила возиться.

Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна, — все было в цвету. Я тогда была огорчена, что наша поездка за границу не состоялась, а теперь я рада, что судьба подарила мне такую прелестную весну: снежная белизна фруктового сада, соловьи. Это напомнило мне мои детские и отроческие впечатления. Я дважды пережила такую чудесную

весну в бабушкином имении Тульской губернии, Крапивенского уезда: первый раз, когда мне было семь лет, а второй в одиннадцать лет. Фруктовый сад у бабушки занимал двадцать девять десятин да вишенник — десять, так что впечатление было незабываемое. Здесь сад был меньше, но все же он буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден».

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она была до жути худа. Лежала в комнате, где жила дантистка. Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну. Жара несусветимая. В доме было душно. Жизнь бестолковая. Кроме Настасьи Карловны никто ничего не делал. Дети распустились.

После нашего отъезда был приглашен Виганд, который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости, — Маша стала поправляться. На Кирики приехали братья Бунины и сообщили эту утешительную новость. Юлий Алексеевич прожил с нами дней пять и поехал через Ефремов домой. При нем опять приезжали мои родственники из Предтечева. Раза два и я одна съездила к ним. Мне всегда бывало приятно проводить время с Нюсей, остроумной и изящной моей кузиной.

Урожай яблок был редкий, целыми днями к шалашу в фруктовом саду шли вереницей бабы, девки, ребята, покупая или обменивая фрукты на яйца, хлеб, молоко. Издали в поле был слышен аромат плодового сада. Я послала ящик яблок своим. За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмованна. Это лето было для меня полно незабываемых, впервые пережитых впечатлений.

12

В Москву мы приехали в конце августа. Опять остановились в Столовом переулке.

28 августа поехали к Телешовым на дачу, в Малаховку, половина которой принадлежала им. Они занимали у самого озера двухэтажный дом в шведском стиле с большими террасами и балконами, сад-цветник доходил до озера. Мы провели там целый день. Погода была прелестная, — преддверие бабьего лета.

...Поехали в Петербург. Остановились опять в Северной гостинице. Ян распродал кое-что из летнего запаса. Приобрел материал для второго сборника «Земля» и для «Северного Сияния».

Были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете? — Жаловался на одного писателя, что он ему предлагал только что две пьесы, и задумчиво произнес: — Иному отцу, если родится двойня, и то неловко.

Смеясь, жаловался, что жена кокетничает со всеми: с дворником, со стулом, с кем угодно!

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню. Мне не хотелось: 14 декабря было совершеннолетие Павлика и мне приятно было бы провести этот день с ним. Но Ян был неумолим, и я утешалась тем, что ехали мы вдвоем, — Коля еще брал уроки пения, — я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними.

В деревне жили Софья Николаевна с братом. Мне была приятна такая жизнь.

Ян перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще не напечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе.

Через несколько дней после этого пришло письмо от Нилуса, который сообщал, что едет в Москву. Ян сказал, что он забыл переговорить с Блюменбергом об очень важном деле, что ему нужно поехать на несколько дней в Москву... конечно, он не отрицал, что ему будет приятно побыть и с «Петрушей», но ехать обоим трудно, громоздко, и денег у нас было в обрез. Мне стало обидно: он как раз попадет на рождение Павлика.

13

На Святках, только что Ян принялся писать «Беден бес», как получил от Нилуса известие, что Куровский серьезно заболел: грудная жаба. Мы сильно встревожились. А вскоре и Ян свалился: «дьявольский» насморк, жар, гастрит. Приезжал даже фельдшер из Предтечева. К счастью, через неделю стал по-

правляться. 2 января послал письмо Нилусу; делаю из него выдержки:

«Очень встревожен известием о Павлыче. Думаю, что сейчас дело еще не столь опасно, как показалось вам в первую минуту, но грудной жабе верю. Можно и с ней долго жить, но покой нужен, а Павлычу давно, давно пора отдохнуть. Уговорите его взять большой отпуск, придумайте хорошее место отдыха. Пишу и ему».

Далее Ян пишет, что Грузинский хвалит Нилуса за его рассказ. Сообщает адрес «Бюро газетных вырезок», сообщает условия и шутит, что он должен, как автор «На берегу моря», подписаться на самое большое количество вырезок. Просит передать Федорову просьбу дать как можно скорее для «Северного Сияния» рассказ в пол-листа или в три четверти. Просит и у Нилуса «шедевра» для «Северного Сияния».

Поправившись, Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды».

12 января он посылает Нилусу следующую открытку:

«Забыл главное, главное: в условии с «Шиповником» надо непременно обозначить срок, на какой продаешь книгу. Надо написать: «1 марта 1911 г. Я, Нилус, имею право снова выпустить эту мою книгу «Рассказов» в каком мне угодно издательстве, будет ли распродано издание «Шиповника» или нет — все равно». Ив. Бун.». Сбоку: «Вера кланяется».

14

В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатэма». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке, снимали вместе с Таней Полиевктовой в особняке нижний этаж, где были две больших комнаты — столовая и кабинет.

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, непричастных к литературе. Долго сидели в ожидании автора.

Наконец он приехал, но читать пришлось Голоушеву. Послушав недолго, Леонид Николаевич поднялся и вышел в столовую, за ним последовало несколько приглашенных, мы в том числе.

Он сел в углу, у печки, его окружила молодежь. Андреев, держа бокал вина, уже еле говорил. Один юноша, смуглый, со смоляными волосами, наставительно и проникновенно повторял:

— Нет, Леонид Николаевич, вы не имеете права говорить так. Мы все чутко прислушиваемся к вашему голосу, а вы между тем... Жизнь нельзя, стыдно отрицать!

Андреев, тяжелым взглядом уставившись в одну точку, односложно возражал:

— Нет, не так, это совсем не то... глупо...

Когда кончилось чтение «Анатэмы», слушавшие вышли из кабинета во главе с Голоушевым. Некоторые гости начали рассыпаться перед автором, выражать восторги, но ему стало скучно их слушать, и он быстро сел за стол, а за ним и остальные. Моим соседом оказался В. В. Вересаев. Он, конечно, слушал пьесу и укорял меня, что я ушла за автором. Когда-то в ранней юности я любила рассказы и романы Вересаева, он писал о молодежи и поднимал «проклятые вопросы». Я сказал ему об этом. К моему удивлению, он сконфузился.

Я была простужена, кашляла, кроме того, мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется «ученость свою показать», и как он не понимает при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю, это от того, что в нем нет настоящей культуры».

15

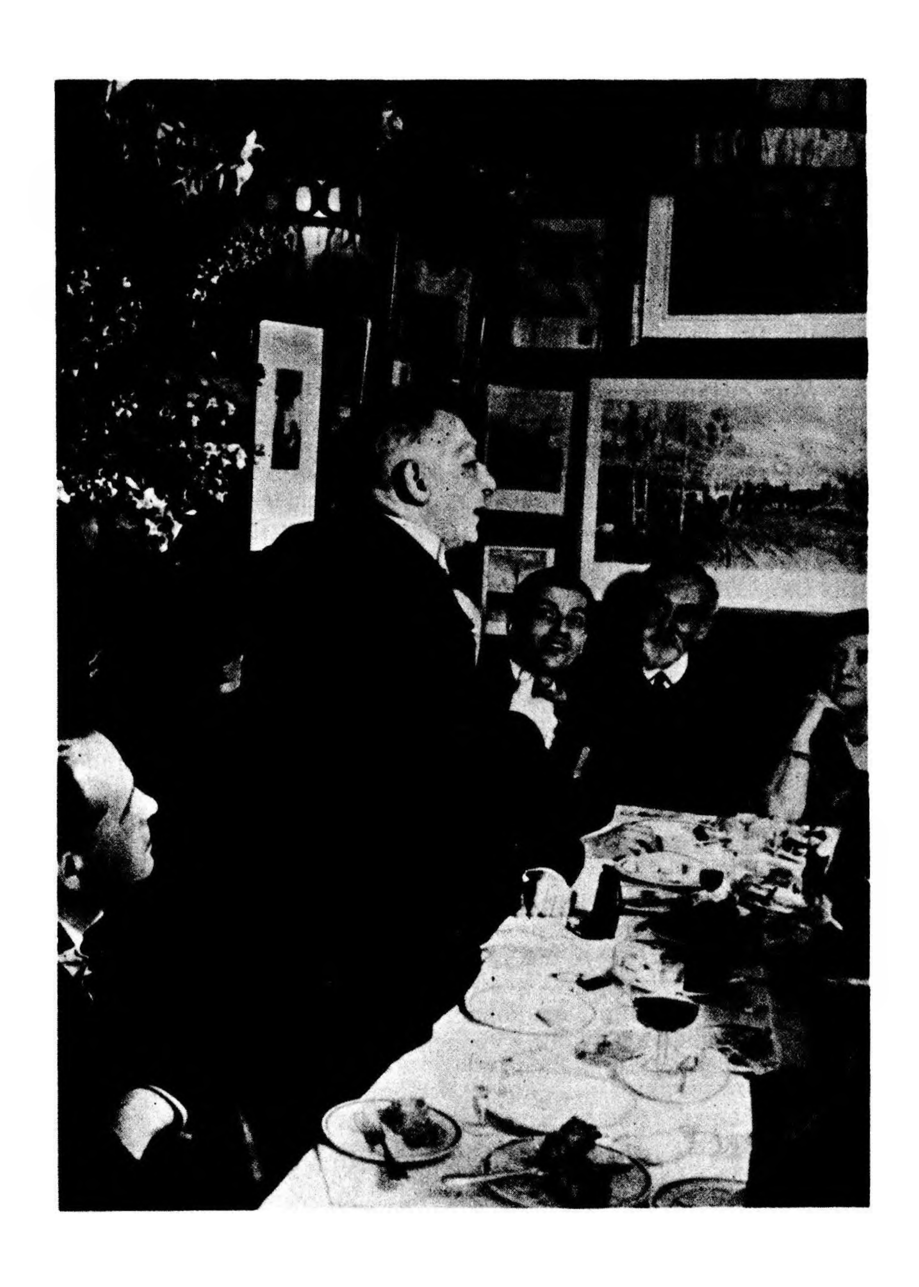
В вагоне ларингит мой усилился. В Киеве была пересадка, но мы в город не поехали. Поезд от Киева до Одессы был гораздо лучше, чем до Киева.

Остановились в Петербургской гостинице. Ян известил Нилуса, и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам. Они быстро ушли завтракать. На прощанье Ян посоветовал мне спросить завтрак в номер, заказать кефаль по-гречески.

Друзья пропали на весь день. Мне, конечно, было и скучно, и неприятно от ожидания. Выйти я не могла, боясь разболеться перед отъездом за границу. В Одессе мы должны были пробыть с неделю. У меня были там родственники, семья покойного папиного дяди, Аркадия Алексеевича Муромцева.

Вернулся Ян только в полночь в сопровождении Куровского. Ян был неприятен и задирчив, — я увидела, что лучше его не упрекать. Посидевши недолго, они опять исчезли, вероятно, пошли в пивную Брунса.

К счастью, ларингит быстро у меня прошел, и я стала выходить знакомиться с городом. Зашла к родственникам. Они радушно меня приняли и старались развлекать. Со своим «дядей», которого я называла просто Володей, мы много ходили по улицам. Он был забавный, большой эрудит. Изучал химию, но от нервности не мог держать экзаменов и так и не окончил университета и пока еще нигде не служил. Он хорошо говорил, с ним никогда не бывало скучно, у него тоже был дар, как у Яна, изображать людей.



Чествование Сергея Лифаря у «Корнилова»
в день закрытия Пушкинской выставки в Париже (1937),
устроенной С. Лифарем. Говорит от имени Пушкинского Комитета Иван Бунин.

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых, и Лидия Карловна говорила со мной о художниках, о том, что они всегда хотят быть без жен, и что многие жены от этого очень страдают, а некоторые стали жить своей жизнью. Например, жена Заузе все свои досуги отдает карточной игре, у нее постоянная компания, другие заводят романы, иногда бросают мужей, как, например, жена Дворникова.

— Я вся ушла в воспитание сына, Витя этого стоит, он очень талантливый мальчик. Тут ничего не поделаешь, — со вздохом сказала она.

Мне стало грустно, — у нас в Москве этого разделения не было. Мы везде бывали вместе, вместе и веселились, и вели серьезные, интересные беседы, и я была рада, что все же в Москве мы будем жить дольше, чем в Одессе.

Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна. Из художников она жаловала только Петра Александровича Нилуса, других она почти ненавидела за то, что они отнимали ее мужа от семьи.

— Не было ни одного праздника, — жаловалась она, — ни одного воскресенья или четверга, будь это на Страстной неделе, чтобы Буковецкий не приглашал его к себе. И это продолжалось, пока Буковецкий не женился. А после свадьбы перестал у себя устраивать «Четверги», и их перенесли к Доди. И вот добились, что у Павлыча был такой припадок. Мы так за него боялись, и дети, и я, да и художники испугались. Впрочем, как дети подросли, он стал бывать у Буковецкого реже, через воскресенье. Теперь у него обеды по воскресеньям.

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт «Не искушай меня без нужды», — все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном. Потом маленький Шурик Куровский изобразил какого-то старичка, чем вызвал одобрение.

Была я и на «Четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя.

У меня была шляпа, черная, из мягкого фетра со страусовым пером и с завязками под подбородком, она шла ко мне, как говорили в Москве. И я не надела ее к художникам... от застенчивости, конечно.

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей были, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов. В этот вечер я познакомилась с милым Эгизом, маленьким, ко всему и всем благостным караимом. Буковецкого не было. Он, кажется, не посещал этих сборищ. Был еще небольшого роста с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем, который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север», и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой.

Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля.

— Но ведь это день рождения Оли Куровской, ей минет 16 лет, они будут торжественно праздновать этот день и огорчатся, если мы уедем.

— Нет, достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать, — твердо возразил Ян.

В день нашего отъезда мы были у Куровских, Ян подарил Оле коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что, несмотря на долгие разговоры, куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он действительно устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала.

ИТАЛИЯ

1

В вагоне, в спальном отдельном купе, Ян пришел в то настроение, которое мне было особенно по душе: он стал веселым, заботливым, говорил о том, о чем в обычной жизни не высказывался.

— Я чувствую себя на редкость хорошо в мотающемся вагоне в темные ночи, заметь, как хороши огни станций в щелку и какое это поэтическое чувство — знать, что ты далеко, далеко ото всех.

Через Волочиск мы приехали в Вену, где шел дождь, и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в Собор Святого Стефана, который так крепко вошел в мое сердце, что ни один собор не мог его вытеснить, а я много их осматривала. Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побегали по городу, были в Пратере, но главное занятие было — искать по ресторанам гуляш, которого мы так и не нашли, что Яна очень сердило. Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно, пришлось под костюм надеть очень теплую вязанку, которую мама заставила меня взять. Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

В Италию мы спустились по Бренен-Пассу, в солнечно-ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами, куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: «Как было бы это хорошо!»

Когда мы переехали границу и очутились в Италии, то сразу почувствовали иной мир: вместо высоких сильных жандармов появились в касках с перьями маленькие военные, и уже на вокзальной тележке были фиаски и апельсины. И то и другое Ян мгновенно купил. И тут же начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что «я вот-вот возненавижу Фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...»

— А ты чувствуешь, какой здесь легкий воздух? — перебил он себя.

Вечером мы добрались до Вероны, где оперные итальянцы в своих плащах, красиво закинутых за плечо, дали почувствовать иную эпоху. Вернувшись в отель, мы спросили минеральной воды, но нам не дали, сославшись, что поздно, а Ян не позволил выпить сырой воды, и мы легли спать в сильной жажде. К счастью, от усталости скоро заснули, и я видела сон, что пью

масло из масляной банки в лаборатории, под вытяжным шкапом, где что-то в реторте нагревается. Это было так отвратительно, что я запомнила на всю жизнь.

Из Вероны, осмотрев древний амфитеатр, мы поехали в Венецию. Прибыли уже вечером, за дорогу очень устали, но в траурной гондоле с красавцем гондольером почувствовали такое спокойствие, плывя в город-призрак и слушая пение, раздававшееся со всех сторон, что усталость как рукой сняло, — захотелось пожить здесь. К сожалению, скверная погода не позволила нам долго остаться. Осмотрев бегло Венецию, мы взяли билеты в международном вагоне и отправились в Рим, решив там остановиться. Но и там встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром. У нашего вагона стоял русский лакей в ливрее, помогавший старой княгине сходить со ступенек вагона. И мы взяли билеты дальше, на юг, спасаясь от непогоды и от старой княгини с ее ливрейным лакеем. В Неаполе, где было теплее, мостовые блестели от только что пролившегося дождя.

Остановились мы на набережной, в гостинице «Виктория». И пробыли в ней трое суток. Неаполь, несмотря на изумительный вид из наших окон, разочаровал меня: я представляла его меньше, утопающим в зелени, а оказалось, большой шумный город, в котором я от усталости растерялась. Но вот наутро мы поднялись на Вомеру, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами, в душе звучало: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» А потом рыбный завтрак с холодным вином «позилиппо» в огромном длинном ресторане, еще пустом, — сезон едва начался, — и Неаполь победил меня.

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного. Часто в жизни играет роль пустой случай. На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин мы уже освоились с настававшими мальчишками, смело отбиваясь от них словами «виа, виа»; примирились с тем, что кофий был отвратительный, как, впрочем, и во всей Италии; слушали в салоне после длинного обеда пение и игру неаполитанцев, старший обходил всех с шапкой, и один раз англичанин положил такую маленькую монету, что старичок, талантливый исполнитель песен, возвратил ему этот грош; Ян уже не удивлялся, когда перед сном выходил один на улицу, что к нему подбегали со всех сторон подозрительные личности и, суя открытки, предлагали: «Табло виван».

В тот день утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в «Шато д'Ово» (Яичный замок), ели фрути ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян опять ответил неопределенно. Он, посмеиваясь, рассказал, что в последний раз виделся с ним и Марьей Федоровной во время «вооруженного восстания», когда они жили на Воздвиженке, квартира была забаррикадирована, в передней сидели в черных папахах, вооруженные кинжалами, револьверами и двустволками кавказцы, охранявшие его, хотя никто не нападал. А я рассказала, что как раз перед «вооруженным восстанием» в нашем доме на квартиру Шарапова было произведено нападение. Шарапов, человек правого политического направления, писавший по аграрному вопросу, снимал у нас большую квартиру в нижнем этаже по Скатертному переулку. Однажды поздно вечером было сделано несколько выстрелов в окна, посыпались стекла, нападавшие убежали, а к нам перенесли на ночь маленьких детей Шараповых; через несколько дней они съехали с квартиры.

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метр д'отель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его «принчипэ», но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам, друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять полюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой, почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить «каждую фасоль пополам», но все же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

2

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И действительно, не знали куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие манящие аббруцкие горы или на выступающий из воды



И. А. Бунин и Ольга Жирова.
Бунин писал ей письма в стихах; она называла его Ваней.
Дача La Dominante, 1938.

остров Иския, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими босяками.

Остановки, крики, итальянские лица со сверкающими глазами и зубами. Вот и Сорренто, показавшееся нам тесным: отвесный берег с виллами, отелями, садами. А минут через двадцать и Капри. Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней.

Капри и для нас оказался островом, и островом сказочным, — он не соединен ни с прошлыми, ни тем более с последующими событиями нашей жизни. Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит.

Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы, и, отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте все более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким, — неожиданно предложил Ян, — они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась.

Когда очутились на площади, необыкновенно уютной, и, постояв на ней и вдоволь налюбовавшись видом на Неаполь, мы спросили кого-то, как пройти к Горькому, этот кто-то нам с готовностью указал дорогу. Мы нырнули в узенькую улочку и пошли по ней.

— Кажется, это Катя, дочь Марьи Федоровны! — воскликнул Ян, увидя идущих навстречу нам двух молоденьких барышень, одну полную, высокую, а другую миниатюрную.

Так и оказалось: высокая барышня была пятнадцатилетняя Катя Желябужская, она была похожа на отца, которого я знала, и я сразу уловила ее сходство с ним, оно было в полных губах и нижней части лица. Спутница Кати оказалась женой эмигранта, она была приставлена к ней, но у них были дружеские отношения, и Катя коноводила своей компаньонкой.

От них мы узнали, что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь.

— Но вы все же их застанете, — сказали они и еще раз объяснили, как найти виллу Спинолла.

...Виллой, где жили Горькие, замыкалась улочка. Ян позвонил. Высокую дверь нам открыл красавец и что-то стал говорить по-итальянски. Не слушая, мы прошли мимо него и стали подыматься по узкой лестнице, Ян опередил меня. Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходившей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать. Ужаснулись, что наши вещи остались на Гранда Марина. Марья Федоровна посоветовала отель «Пагано». Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя все устроит. Хозяева «Пагано» — наши друзья. Мы всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь.

Мы быстро пошли по узенькой улочке, где встречные радостно здоровались с Горьким, а Марья Федоровна каждому что-то говорила по-итальянски.

— А какие тут звездные ночи, черт возьми! Право, хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около финикюлера.

Я была рада, что так случилось, что мы одни несколько дней поживем на Капри, оглядимся и я привыкну к мысли, что буду проводить время с Горьким и артисткой Андреевой, которая, несмотря на свою любезность, вызывала во мне стеснение.

Катя оказалась милым и общительным подростком. Быстро нас устроила в отеле, где все стены были расписаны неизвестными художниками, которые иной раз оплачивали этим свое пребывание там. Много, с большой любовью Катя говорила об «Алеше», как звала она Горького. Еще больше она рассказывала о «Зине», своем «названом брате», которым она восхищалась, и сообщила, что он живет в качестве секретаря у Амфитеатрова в Северной Италии и часто наезжает к ним. Понемногу она ввела нас в быт горьковской семьи. Все три дня, пока Горькие были в отсутствии, она со своей милой компаньонкой заходила к нам. Сообщила, что патрон острова — Святой Констанце, что от Гранда Марина до Анакапри 777 ступенек, высеченных Тиверием, — дорог в те времена не было. Рассказывала, что на полугоре жили хищники, пожиравшие христиан, что до сих пор существуют старухи в Анакапри, которые никогда не спускались в Капри, и что здесь население говорит на разных диалектах. Обитатели Капри очень честны. Когда владельцам магазинов нужно куда-нибудь пойти, они никогда не запирают дверей и ни-

кто ничего не крадет, а если что-либо нужно человеку купить, то он просто возьмет это в магазине, оставив там деньги.

Все три дня я была в опьянении, и с этих дней началось то сказочное, что мне довелось пережить той весной.

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того, у них гостила дочь проф. Боткина, которую они звали «Малей», и жил больной туберкулезом товарищ Михаил, черномазый рабочий с некрасивым лицом и веселыми глазами.

Как раз подошли домашние праздники: 14 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы попраздновали. Впрочем, все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос».

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении. Марья Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинолла в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было.

Сама вилла была прелестная: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный с высокими просторными комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое низкое окно кабинета, за которым стояли цветы: «И качались, качались цветы за стеклом...» С балкона открывался вид на Неаполь. Думать, работать в таком кабинете было приятно. В этот приезд мы редко в нем сидели. Раз как-то вечером я расспрашивала Алексея Максимовича о Луначарских, он сказал, что брат жены Луначарского, экономист Богданов, по его мнению, гениален.

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей; то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцовала для Массимо Горки со своим партнером, местным учителем в очках; то под бесконечные беседы, споры. Впрочем, при Луначарском, тогда очень худом, все превращалось в его монолог, он умел заставлять молчать Горького. Обычно он ходил по диагонали, говорил то на политические темы, то на литературные. Он хорошо знал итальянских поэтов, владел в совершенстве итальянским языком. Вставить словечко можно было только тогда, когда он неожиданно опускался на ручку кресла, в котором сидела его жена, и начинал ее обнимать и дол-

го целовать. Нацеловавшись, поднимался, и опять — хождение по диагонали и монолог.

Уже 14 марта, в день рождения Алексея Максимовича, я почувствовала, что на вилле Спинолла все играют, словом, «театр для себя»: на всех лицах можно было прочесть, что слушавшие переживают. Были также и новые для нас эмигранты-каприйцы, пришедшие поздравить новорожденного.

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите «Ту звезду, что качалася в темной воде...», я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, —
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде, —
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза.

Но больше, как ни просили, Ян не стал читать.

Именины 17 марта мы провели вместе с обитателями виллы Спинолла. Горький редко выходил один, а всегда с чадами и домочадцами.

После завтрака, который был особенно вкусен, — красавец Катальдо постарался, — мы отправились в Анакапри, лежащее выше Капри. Поднимались по прекрасной дороге в экипажах: в одном писатели, а в другом женщины — Марья Федоровна, Луначарская, Боткина и я. В третьем — все остальные. Анна Александровна Луначарская сразу заговорила о любви и расспрашивала, как кто познакомился со своим избранником. Она была пышной блондинкой, красотой не блистала, но была проста и мила, казалось, вся жила своим Анатолием Васильевичем. К сожалению, я забыла, что она рассказывала о их романе, помню лишь впечатление о любви с большой буквы.

Осмотрев бегло Анакапри, мы вошли в пивную, которую держал австриец. К стенам были прибиты рога. Кроме нас, было несколько немцев и тирольцев в своих шляпах с перьями, они очень много пили, лица их стали донельзя красными, глаза оловянными.

Ян сказал:

— Бойтесь пьяного немца, это самые страшные люди в опьянении...

Наша компания отдала честь австрийскому белому вину в высоких узких бутылках, как и необыкновенно вкусной колбасе, выписанной из Австрии. После пивной еще погуляли, Горький указал на находящуюся на берегу, на самой южной точке виллу, принадлежавшую шведке, в которой жил доктор Аксель Мунте, описавший впоследствии Капри. Затем вернулись домой. Мы забежали в отель «Пагано», немного отдохнули, вечером опять пошли к Горьким.

Этот праздник был еще более пышен и многолюден, чем три дня тому назад. Пели, плясали тарантеллу еще талантливее, чем в прошлый раз. Асти, действительно, лилось рекой. Поражало, что все слуги были красивы и держали себя просто. Красавец подросток Лоренцо сидел под столом в непринужденной позе, — он был мальчиком на побегушках; красавица горничная Кармелла с двумя маленькими девочками, необыкновенно прелестными, с которыми возился с любовью и лаской Алексей Максимович, тоже чувствовала себя не как прислуга. И я часто думала: «Вот как будет, когда настанет на земле социализм!..»

Речь частенько заходила о школе пропагандистов на Капри, которую организовали Горький, Луначарский и другие. Строили планы, намечались лекторы.

На возвратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах, Сомневался в затевавшейся школе: «Пустая затея!» Он видел, что мне нравится Горький, и несколько раз кратко заметил: «Не бросайся на грудь!»

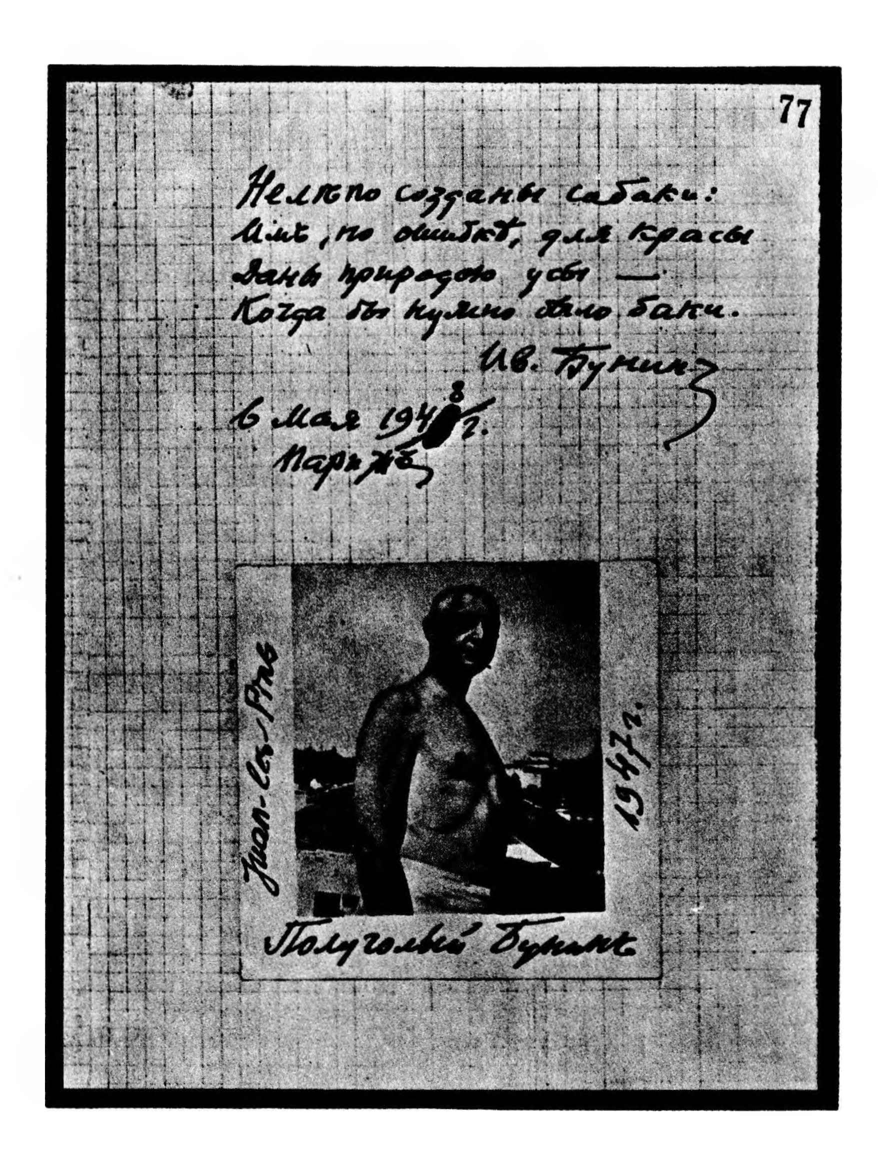
Неожиданно заявил, что мы должны покинуть Капри для Сицилии; надо оставить чемоданы у Горьких, а самим поехать налегке.

На другой день мы покинули Капри. На прощанье Горький говорил:

— Возвращайтесь из Сицилии, скоро Пасха, какие будут процессии на Страстной, не пожалеете, что попали сюда.

3

Прибыв в Неаполь, мы быстро погрузились на пароход в Палермо. Качало. Я рано легла спать, а Ян ходил, обедал, часто заглядывал ко мне. Наутро Палермо. Погода и там была плохая,



И. А. Бунин. Он подарил эту фотографию поэту Александру Гингеру и отозвался шуточными стихами на то, что тот носил бороду. Париж, 1947—1948.

и портье, дородный высокий мужчина, спокойно говорил, что «старожилы не запомнят такой весны», объясняя это последствием землетрясения. Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц.

Мы восхищались замечательными византийскими мозаиками, испытывали жуткое чувство при виде мумий, лишь едва истлевших в подземелье какого-то монастыря. Особенно жуткое впечатление произвела невеста в белом подвенечном платье.

Из Палермо мы отправились в Сиракузы, где впервые поселились на шестом этаже отеля с бесконечным видом на восточное море. Там мы в первый раз увидели папирус. Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами, — какой-то домашний уют среди щебня.

Вернувшись на Капри, мы опять остановились в «Пагано» и опять чуть не каждый день завтракали или обедали у Горьких. Луначарских уже не было. Они вернулись в Неаполь. Зато встретили на вилле Спинолла бывшего товарища министра путей сообщения, приятеля первого мужа Марьи Федоровны Желябужского. Это случилось на другой день нашего возвращения. Утром записочка — приглашение к завтраку, с настойчивой просьбой не отказываться: должен завтракать этот самый сановник. Были разосланы гонцы, где могло остановиться такое важное лицо, так как никто не запомнил названия отеля. Марья Федоровна волновалась, как бы товарищ Михаил не задал каверзного вопроса гостю, а Михаил все приставал к Яну, чтобы тот спросил его что-то о царе.

Иван Алексеевич решил сесть рядом с Михаилом, чтобы удерживать его, охлаждать пыл. Алексей Максимович, как всегда, до завтрака писал, его никогда не было видно по утрам.

Наконец один из гонцов вручил сановнику записку и передал Марье Федоровне, что согласие получено. Через четверть часа вот и он сам. Маленький, толстый, подтянутый петербуржец с большим твердым лицом, а Горький в кожаной куртке и товарищ Михаил в красной рубашке... Марья Федоровна сразу превратилась в светскую даму, с улыбкой приняла от гостя аршинную коробку самых дорогих конфет и старалась вести беседу, лавируя, когда кто-нибудь вдруг касался острой темы. Товарищ Михаил, сидевший рядом с Яном, не унимался: шептал на ухо, чтобы Иван Алексеевич спросил гостя о царе. Ян, гладя его по плечу, шептал: «Лоретта, Лоретта...» Лоретта — имя попугая, Алексей Максимович любил птиц. У него в тот год было три попугая. Лоретта обладала строптивым характером, часто топорщила перья, и тогда Горький, гладя ее, ласково повторял: «Лоретта, Лоретта», и попугай успокаивался. Хозяин был молчалив, предоставляя Марье Федоровне вести беседу с гостем.

...Без Луначарского можно было и другим поговорить. Я в это пребывание слушала Горького, и он мне нравился. Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками, и, конечно, иметь собеседником Ивана Алексеевича (которого он всегда и неизменно до самой смерти ценил, несмотря на полный разрыв их отношений) доставляло ему большое удовольствие, и Горький делал все, чтобы удержать нас на Капри.

Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному острову куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь все выше и выше, выходя из темноты в лунное сияние. В эти часы велись значительные разговоры. Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же главное они любили по-настоящему.

Страстную мы провели на Капри и вместе с Горькими видели процессии с фигурами Христа, Марии-Девы, слушали пасхальную мессу.

На второй день Святой мы отправились в Рим, оставив опять чемоданы у Горьких.

4

Рим встретил нас синим небом, светло-лиловыми глициниями на серых камнях. И мы с девяти часов утра до девяти вечера были на ногах. У меня был с собою «Рим» Золя. Я только что прочла его. И мы, подобно его герою, прежде всего отправились (как всегда делал Ян) на самую высокую точку города, чтобы иметь представление об общей картине. Остановились мы на Монте Пинчио, в католическом пансионе, где было интересно наблюдать за аббатами, которых мы видели вблизи впервые. Они с какой-то непередаваемой изысканной улыбкой разговаривали с почтенными дамами, вероятно, их духовными дочерьми.

Всю неделю стояла чудная погода. Неделя — слишком малый срок для Рима, и мы, побывав лишь в Сикстинской капелле, решили оставить музеи для следующих приездов. Яна волновала Аппиева дорога, — он больше всех апостолов любил и чтил Петра, который шел по ней в Рим. Зато город мы изъездили вдоль и поперек; заходили во многие храмы; в одном на всю жизнь поразил Моисей Микельанджело, — лучшей скульптуры я не знаю. Съездили мы и в Фраскати.

Марья Сергеевна Боткина дала нам письмо к ее семье в Риме. Мы зашли к ним и получили приглашение на обед. В назначенный день мы немного раньше прекратили осмотр города и от-

правились к ним. Семья состояла из матери, очень почтенной и, видимо, сердечной женщины, и чуть ли не шести дочерей, которые возвращались домой одна за другой, все в синих костюмах, с длинными жакетами и в больших соломенных шляпах. Все, кроме одной, были высокие. Они так походили одна на другую, что я с трудом их различала. Квартира была прекрасная, за обедом подавал лакей-итальянец. Они были очень культурные люди, дали нам много хороших советов, сообщили, что в такой-то день будет в Соборе Св. Петра торжественное богослужение — канонизация Жанны д'Арк, и к кому нужно отправиться за билетами. Но у нас не было ни смокинга, ни черного бархатного платья, ни кружевной испанской косынки для головы.

В этот день на площади Св. Петра была густая толпа. Мы все же проникли в собор. И нам посчастливилось: один французский аббат заговорил со мной и предложил два билета. Я отказывалась, указывая на свой серый костюм и бежевую каприйскую пару Ивана Алексеевича, но он настоял, и мы попали на самые почетные места.

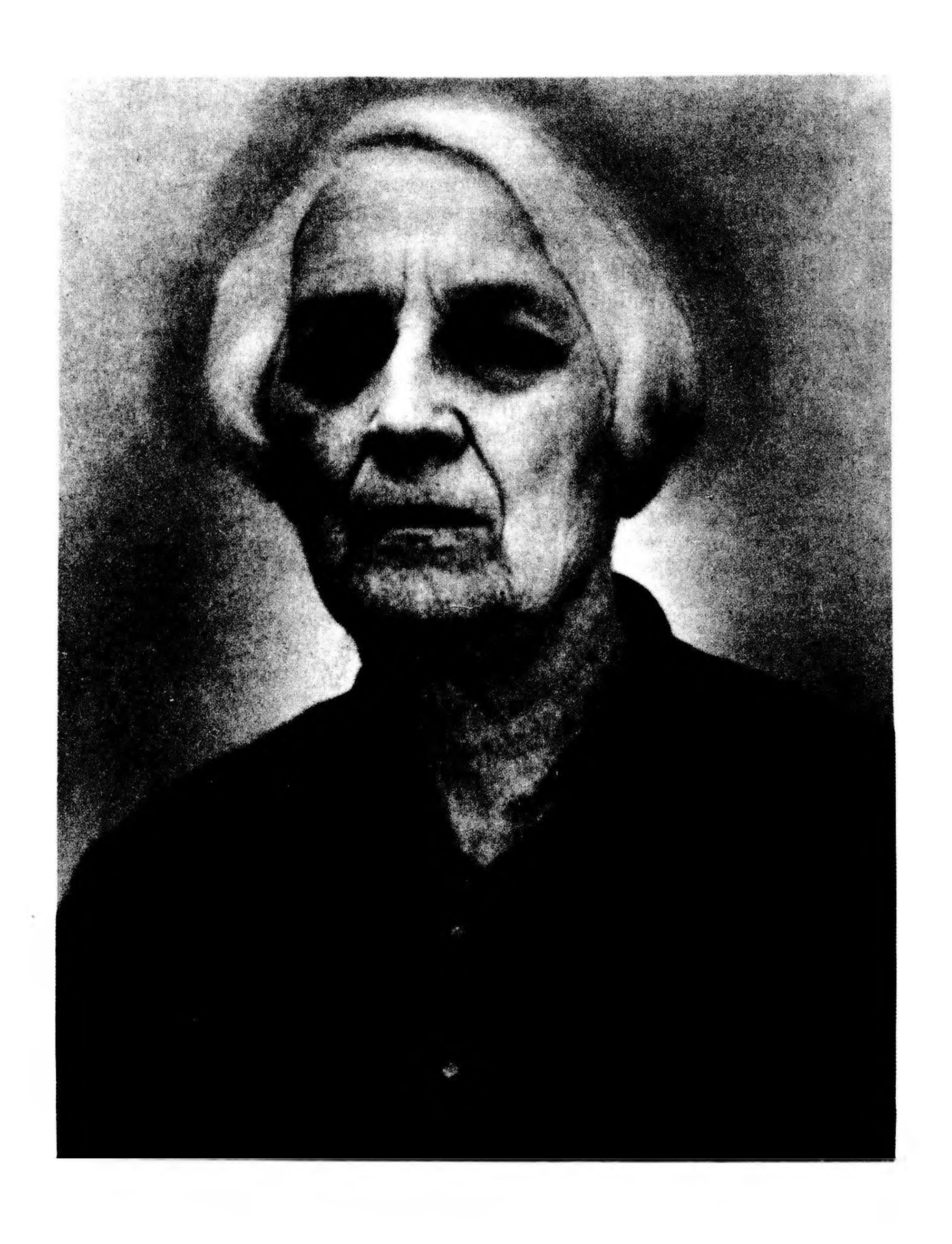
Пройдя с билетами на торжественное богослужение, мы все же дальше входа не продвинулись, слишком кругом было парадно. На возвышении стояли дамы в бархатных туалетах с прелестными кружевными косынками на головах и мужчины в визитках.

Сбоку, как раз против нас, в несколько рядов восседали в креслах с высокими спинками кардиналы в парадных одеяниях. И каждое лицо повествовало, — до того оно было значительно и не похоже на других. Орган и папская капелла в два хора с высокими голосами были выше похвал. Мы стояли зачарованные.

После окончания богослужения мы очутились посредине храма. Наш знакомый аббат опять предложил мне билеты, чтобы на следующий день присутствовать на аудиенции и получить папское благословение. Мне хотелось увидеть Папу и всю эту церемонию, но Ян воспротивился: мы должны завтра подняться в купол Св. Петра и оттуда обозреть Рим и прилегающие к нему окрестности, а послезавтра мы уже покидаем этот город. И мы отказались.

На следующее утро мы побывали в замке Ангела. Позавтракав на площади Св. Петра, мы медленно стали подниматься по широкой каменной лестнице, — лифта в тот год еще в соборе не было. На каждой площадке мы останавливались, отдыхали, смотрели на открывавшуюся перед нами все шире и шире страну и все глубже и глубже удаляющийся от нас Рим. Высота купола 138 метров. Ян поднялся вовнутрь его.

Погода всю неделю стояла безупречная. И никогда не забыть мне синего римского неба, бледно-лиловых глициний на серых камнях развалин, красивых женских лиц с огненными глазами и певучую римскую речь. Ни из одного города так не хотелось



В. Н. Бунина.

мне уезжать, как тогда из Рима, — уж очень он нас гостеприимно принял. Ян утешал:

— Еще не раз приедем сюда. И увидим пропущенное.

Так оно и случилось.

5

Вернувшись на Капри, мы узнали, что у Марьи Федоровны была небольшая операция, которую она перенесла мужественно, но с большой печалью, — рухнула надежда иметь ребенка от Алексея Максимовича, который, по рассказам, сильно волновался. Операция происходила на дому.

Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашались, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, какая была у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала. Алексей Максимович рассказывал о пребывании Льва Николаевича в Крыму, в имении графини Паниной, в дни, когда боялись, что Толстой не перенесет болезни, и о том, как один раз взволнованная Саша Толстая верхом прискакала к нему о чем-то советоваться. Вспоминал он, как однажды видел Льва Николаевича издали, когда тот сидел в одиночестве на берегу.

— Настоящий хозяин! — повторял он, — настоящий хозяин!

Потом, улыбнувшись, сказал: «Если бы я был Богом, то сделал бы себе кольцо, в которое вставил бы Капри!»

Мне нравилась его речь. Как-то он зашел к нам в «Пагано». Я была не совсем здорова и лежала за ширмами на кровати. Алексей Максимович с Яном вели беседу, вернее, почти все время говорил Горький. Я слушала его речь, мне хотелось определить, на что она похожа, казалось, на журчание воды. Она то повышалась, то понижалась, была выразительна, несмотря на однообразие тона. Так он и читал: как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес.

Атмосфера, как я уже упомянула, в те дни в их доме была легкая. Марью Федоровну он называл «Хозяйкой» или «Марья». Дела «Знания» шли еще удовлетворительно, несмотря на «Шиповник», на измену Андреева, о котором он говорил без злобы. Сообщил, что в его «Иуде» он отметил ему чуть не сорок ошибок.

Когда вспоминал сына, всегда плакал, но плакал он и глядя на тарантеллу или слушая стихи Яна.

Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме асти на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был

умерен, жадности к чему-либо я у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством, все на нем было первосортное. В пиджачной паре я видела его позднее, когда он бывал с нами в Неаполе, а на Капри он носил всегда темные брюки, белую фланелевую рубашку, шведскую кожаную светло-коричневую куртку, а на ногах темные шерстяные или шелковые носки, мягкие туфли. Любил он свою широкополую черную шляпу.

За столом Марья Федоровна, сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не нравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более, что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно *служить*. Раз она спросила меня:

— Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила.

Мы решили возвращаться морем на итальянском пароходе, который до Одессы шел две недели и был дешевле других. И это плаванье на «итальянце» было необыкновенно удачным и приятным. Провожали нас до Гранда Марина все обитатели виллы Спинолла, кроме Марьи Федоровны, — она была еще слаба. Когда мы отчалили, то увидели, как Горький легко перескакивает с камня на камень. Ян заметил:

— А какая у него осторожная походка! Но он изящен!

Мы в это утро побывали в Помпее. Осмотрели, что полагается. Поразили нас очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет «Помпея».

Помпея, сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпеи мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ

об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже все безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями.

Из Помпеи мы, захватив на набережной чемоданы, отправились на пароход.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Первый наш переход из Италии в Россию был на редкость удачен и приятен.

Правда, после вторичного посещения Мессины у нас осталось опять тяжелое впечатление не только от общей картины, а еще и от того, что на ее окраине, среди развалин, мы увидели высокую широкоплечую худую старуху. Она стояла и, воздев к небу руки и угрожая кому-то сжатыми кулаками, громко проклинала... Это продолжалось долго. Когда мы возвращались на пароход, она все еще что-то выкрикивала.

В первом классе кроме нас был всего один пассажир — лицеист из Петербурга, проигравшийся в Монте-Карло. Он с грустью возвращался самым дешевым путем, проехав быстро через Италию. Кроме рулетки он увлекался автомобилем, уверял, что лучшее удовольствие, какое он знает, — «поглощать пространство».

Иногда мы проводили с ним время на спардеке и вели беседы на разные темы. Зашел спор о социальной несправедливости. Лицеист был правого направления. Ян возражал:

— Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает. Как вы себе в этом не отдаете отчета?

Подружившись с моряками, мы везде побывали, куда обычно пассажиров не пускают.

Я считаю, что здесь зародился «Господин из Сан-Франциско».

В Афинах мы успели съездить опять к Акрополю. Опять удивлялись, видя женщин во всем черном, — а было жарко. Мы еще более полюбили белый город с плоскими крышами, а синее небо напоминало нам незабываемые дни в Риме.

На стоянках, после обеда, моряки приносили свои мандолины, гитару и вполголоса пели неаполитанские песни, а Ян имитировал тарантеллу, и так удачно, что приводил всех в восторг.

В Константинополе мы простояли двое суток, сходили не-

сколько раз на берег. Опять побывали в Айя-Софии; вблизи Сераля посидели на берегу Мраморного моря, которое в этот раз не было мраморным, каким было, когда мы впервые шли по нему два года тому назад. Ян много и интересно вспоминал о своем первом пребывании в Константинополе, о дервишах, которых мне так и не довелось увидать. Об этом он уже написал, но я могла без конца его слушать. И как часто он строил планы о новых путешествиях и все повторял, что «вдвоем это просто и легко».

Накануне ухода в Одессу мы устроили прощальный вечер с музыкой и тарантеллой. Кроме нас и Исаева, пассажиров не было. Мы угощали моряков. Опять асти, пение, танцы. Когда подходили к Одессе, то мы уже со всеми были в большой дружбе. Я уже знала, сколько тонн в нашем «итальянце», какие рейсы он сделал на своем веку, какой его возраст. Кто-то из моряков говорил по-французски. Подружились мы и с милой, уже пожилой, седеющей горничной.

Моряки пригласили нас при прощании к себе завтракать — мы тоже, как и они, должны были задержаться в Одессе.

На этот раз мы остановились в Крымской гостинице, менее дорогой, чем Петербургская, — поиздержались.

Ян сразу переговорил по телефону с Нилусом, и они условились, что Петр Александрович известит о нашем приезде Куровского и Федорова, а последний должен быть в этот день в городе, — он с семьей уже переехал на дачу за Большой Фонтан.

Днем мы все повидались. Ян пригласил на следующее утро друзей к завтраку на пароход, а Куровский позвал нас к себе обедать, сказав, что Вера Павловна обещала приготовить любимые греческие блюда Яна.

К моему большому удивлению, когда мы остались одни, Ян сказал, что я завтра не должна завтракать на «итальянце», так как там будут одни мужчины и я могу их стеснять.

Но две недели на «итальянце» я была единственной женщиной, если не считать нашей горничной. Ян ответил, что после службы за мной зайдет Павлыч Куровский и я отправлюсь с ним куда-нибудь.

— Павлыч отказался с нами завтракать: у него служба, кроме того, он перестал не только пить, но и курить. И ему надо быть подальше от всяких соблазнов. После службы он зайдет за тобой, и вы отправитесь с ним куда-нибудь, где ты еще не бывала.

Я не возражала, хотя мне было обидно, — хотелось еще раз побывать на пароходе, где так безмятежно мы прожили полмесяца.

На следующее утро Ян с Федоровым и Нилусом отправились на завтрак к итальянским морякам. После ухода Яна мне стало грустно, и я одна поехала на Малый Фонтан, чем очень удивила одесситов. У них были странные взгляды на женщин.

А мне очень хотелось побывать еще раз на пароходе, где было так хорошо и в смысле плавания, и в смысле знакомства с морской жизнью, которая меня привлекала с детства.

Сидя на берегу моря, я вспоминала густую лилово-синюю воду в Архипелаге, здесь она была иного тона, бледнее, казалась менее густой. Оставалась я там недолго. Вернулась в город, пошла завтракать к Брунсу. Там почти никого не было. Одесситы тоже были удивлены, что я одна вошла в пивную. После четырех часов зашел за мной в отель Куровский, и мы поехали с ним, по его предложению, на паровичке к морю и высадились на ближайшей станции около приморских дач. Опять я была у моря. Он очень любил ходить пешком, мечтал, что летом отправится с Шуриком на Кавказ и там они вдоволь походят. «Мои дамы этого не любят», — заметил он, смеясь.

Мы шли вдоль берега, смотря, конечно, на море, шли молча. Неожиданно он заметил своим сочным баритоном:

— Видите, как по-особенному изогнут дым на пароходе? Я никогда не видел такого изгиба. Я заметил, что всякий раз, когда я где-нибудь бываю, всегда вижу хоть какой-нибудь пустяк, но по-новому. Поэтому нужно как можно чаще куда-нибудь отправляться, и не пожалеешь.

Куровский, действительно, был редким спутником, замечал не хуже Яна то, что проходит мимо глаз большинства людей.

Часам к шести мы поехали прямо к Куровскому, но нашей тройки еще не было. Стали ждать, сидя на бревнах, лежавших во дворе музея. На них сидели дети Куровских. Я стала внимательно всматриваться в них, стала их расспрашивать. Все они говорили скороговоркой. На вопросы они отвечали, но сами не проявляли никакого интереса к нашему путешествию.

Старшая Оля, уже вступившая в возраст, когда можно было выходить замуж, была хорошенькой белокурой гимназисткой. Ее сестра Таня, вероятно, годом или двумя моложе сестры, брюнетка с темными глазами, была задумчива. Я подсела к ним. Я не почувствовала у этих сестер никаких стремлений, ни запросов, зато их брат, моложе на несколько лет, был живой черноглазый мальчишка, очень забавный, что-то обещавший.

Их мать, Вера Павловна, была на кухне и вместе с кухаркой готовила любимые блюда Яна. Вообще я заметила, что, кроме Куровского, никто меня не расспрашивал, что мы видели, где, собственно, были, точно мы приехали из деревни.

Хозяйка отсутствовала. Детям, видимо, хотелось есть. Они приставали к отцу, когда же приедут гости. Он стоял поодаль и внимательно смотрел куда-то вдаль, на море.

Часов в семь вышла к нам и Вера Павловна со словами:

— Все готово. Боюсь, что жаркое пережарится и пирожки остынут, хотя я и закрыла их салфетками, а холодные блюда — плаки, креветки, любимые Иваном Алексеевичем, и кефаль по-гречески уже на столе.

Стала меня расспрашивать об Италии, но как это часто бывает, быстро меня перебила и начала вспоминать о путешествии по Швейцарии, где они побывали два года тому назад. Она больше всего восхищалась утренним завтраком, его изобилием, возможностью быть сытыми чуть ли не до обеда.

Время тянулось медленно, как всегда, когда ожидаешь когонибудь. Было непонятно: как бы ни затянулся завтрак, все же к семи часам можно было бы вернуться. До восьми часов вели разговор, хотя и вяло. После же восьми стало всем не по себе: Вера Павловна волновалась за обед. Дети бегали на кухню и, схватив пирожок, возвращались довольными к нам. Я внутренне возмущалась таким неуважением к хозяйке дома. Куровский продолжал стоять молча в отдалении.

Наконец, около девяти часов, явились, и все трое на взводе. У всех вид был независимый: видимо, моряки их хорошо угостили, да, может быть, и по дороге с парохода они заглядывали в разные места.

Я было на них накинулась: «Что за неуважение к хозяйке...» — но, к моему изумлению, хозяин мне тихо сказал:

— А я им только завидую... Хорошо погуляли!

Больше всего удивило, что никто не извинялся перед Верой Павловной, да и она не очень сердилась.

Я сдержала свое возмущение.

Сели за стол. Все набросились на еду и спиртное. Оказалось, что с парохода они ушли вовремя, но по дороге из порта в город заходили и заходили то в кофейню, то в погребок.

Обед прошел не очень весело. Нилус говорил хозяйке, что ее дочери «два цветочка», Федоров стал мрачным — у него не было денег, а кажется, в этом году они решили строиться, уже купили землю, за которую приходил срок платить, и он выкрикивал:

— Это удав... строить дачу, не имея свободных денег, но этого хочет Лидия Карловна!

Как только кончился обед, я увела Яна домой.

Этой весной открывался в Москве памятник Гоголю по случаю столетия со дня его рождения.

Ян не торопился с отъездом. Ему хотелось уклониться от всяких торжеств. Но, как всегда, он мне прямо об этом не говорил, а на мои вопросы отвечал уклончиво.

Нилус сообщил ему, что Буковецкий приедет к нам, чтобы познакомиться со мной.

Дня через два я познакомилась с художником Буковецким, о котором слышала много самых разнообразных мнений. Он в назначенное время заехал за нами в коляске, с бархатной подушечкой для моих ног, и предложил нам поехать прокатиться к морю, а затем у него отобедать. Меня немного смешили эти провинциальные церемонии, но я, конечно, не показала и виду.

Буковецкий был выше среднего роста, изящный, в меру худой, с правильными чертами лица, с волнистыми каштановыми волосами. Он обладал очень хрупким здоровьем, в молодости страдал сильнейшими мигренями и пролеживал в темной комнате по несколько дней сряду. Это был человек с большим вкусом и с причудами, со строгим распределением дня. Он года два тому назад пережил тяжелую драму: жена разошлась с ним и вышла замуж за его родного племянника. (Федоров в романе «Природа» взял его прототипом главного героя и предсказал развод.) Теперь он жил один, но все свободное время от работы и всяких личных дел — свои досуги — он делил с Петром Александровичем Нилусом, с которым жил в самой нежной дружбе.

Кроме писания портретов и ежедневной игры на рояле по вечерам, Буковецкий ничем больше не занимался (Петр Александрович Нилус вел все его дела). У него на самом верху дома была прекрасная мастерская, устланная коврами, с удобной мебелью и огромным окном над тахтой. В этой студии было много икон, которые он собирал, — весь их кружок увлекался антикварством.

Буковецкий, «враг вообще всех одесских жен», ставивший очень высоко дружбу, устраивавший мужские обеды по воскресеньям, оказал мне внимание. Говорил он немного, кратко, но метко. Мы проехали по самым лучшим улицам Одессы через Маразлиевскую и по Французскому бульвару к морю. Вышли из экипажа, немного прогулялись. Все было чинно, по заранее обдуманной программе. Потом отправились обедать на Княжескую, где у Буковецкого был доходный дом, а для себя он выстроил особняк в два этажа, с большим вкусом и удобствами.

Подъехав к нему, мы вошли в высокие двери парадного хода. Меня поразил вестибюль: на стене висело огромное панно в зеленых тонах. Тут же стоял длинный загибающийся диван, перед ним — стол с высокой лампой.

Хозяин повел нас наверх по широкой лестнице с красивыми деревянными темно-коричневыми перилами. Двухэтажный особняк Буковецкого внутри был весь обшит темным деревом. С просторной площадки небольшая дверь вела на балкон, рядом находилась уютная гостиная и огромная мастерская — почти во всю стену окно на север — с мольбертами, подрамниками и несколькими портретами. В этом особняке была и картинная галерея с произведениями хозяина и местных художников. Больше всего было этюдов. Но я не успела в этот раз ознакомиться с картинами.

Все комнаты были очень высоки и просторны. Мы спустились вниз, и Буковецкий показал мне свой кабинет и спальню. Мне и в голову не пришло, что в этих комнатах мы будем жить лет через десять.

Первая из них была кабинетом и библиотекой. Большой письменный стол, вертящиеся открытые полки для энциклопеди-



И. А. Бунин. Париж, 5 июля 1948.

ческого словаря. По стенам дубовые шкапы с книгами. По узкому проходу мы прошли в его спальню. Мягкий диван для дневного отдыха. Кровать с ночным столиком, на котором лежала одна книга. Буковецкий, усмехнувшись, сказал:

— Нельзя читать сразу две книги, а у некоторых на ночном столике лежит даже несколько.

После осмотра всего мы прошли в столовую, где застали Нилуса, который, собственно, делил с Буковецким жизнь и имел в этом же доме свою чудесную мастерскую. Были приглашены к обеду Куровский и Заузе, но без жен.

Большая столовая очаровала меня: мебель красного дерева, стол без скатерти. Обед начался оригинально: на первое подали рыбу с холодным старым вином, затем суп. Почему-то Буковецкий находил, что нужно начинать всегда с рыбы. К жаркому было подано хорошее, в меру подогретое красное вино. Вина, кушанья были утонченные.

Кофий подали в вестибюль. Мы сели за стол под лестницей. Уже за обедом царило оживление, а тут наступило настоящее веселье. Ян представлял отсутствующих приятелей, а иногда и присутствующих друзей, Буковецкий вставлял меткие замечания, Куровский, немного кривя рот и будучи трезв, выражал оригинальные мнения, один Нилус был молчалив. Он поднялся на несколько ступеней по лестнице и сверху через перила смотрел на нас задумчивым взором.

— Что с тобой, Петр, отчего ты все молчишь? — спросил Ян.

— А вы не находите, что он похож на паучка, — заметил Буковецкий, — поднимающегося по паутине вверх?

Все засмеялись, согласились.

Потом говорили, что с этой зимы на одесских воскресниках бывают новые лица: профессор по русской литературе Лазурский, который в пору своего студенчества был репетитором сыновей Толстого и живал в Ясной Поляне, профессор по уголовному праву Михайлов, очень любящий живопись и старинные вещи, хорошо в них разбирающийся, наконец, доктор Ценовский, музыкально одаренный человек, он полюбил всех художников, пописывает в газетах.

— Вот ты с ними познакомишься в будущее воскресенье, — обратился Буковецкий к Яну.

Мне стало опять грустно: все эти встречи у Яна будут без меня.

Зашел разговор об открытии памятника Гоголю в Москве. Я сказала, что хорошо знаю автора его проекта Николая Андреевича Андреева. Меня спросили, что он за человек. Я ответила, что внешность у него не художественная, а так он милый, мы с подругой бывали в его огромной мастерской, где во втором этаже, в меньшей комнате пили чай и вели бесконечные разговоры. Он не женат, но у него много романов. Некоторых из нашего круга он лепил ню. Бывала я у него ежедневно, когда меня

на его дворе писал художник Зайцев, этюд которого висит у нас в гостиной над полукруглым диваном — это подарок за то, что я ему позировала для портрета.

Конечно, от Буковецкого мы всей компанией пошли к Брунсу. Там встретили Тича, как называли художники Лепетича, человека очень веселого, живого, одаренного. Он писал, кроме картин, и стихи, которые Ян иногда устраивал в газету. Тич все время острил, когда смеялся, как-то смешно пригибался к столу, был неистощим на каламбуры, вызывая дружный смех. За это его приятели любили, но и немного опасались, так как он всегда бывал без копейки и срывал взаймы без отдачи с кого только мог.

Говорили и о Федорове. Он ходил с расстроенным лицом, как всегда, когда ему нужны были деньги. Мы видели его в этот день мельком. У Александра Митрофаныча необыкновенно ярко на лице отражались все чувства. Казалось, что он метался по Одессе, ища человека, у которого можно было бы занять.

Я все добивалась от Яна, когда мы уедем. Здесь мне было одиноко, иногда я заходила к родственникам, обедала у них. Гуляла с дядей по Одессе. Раз мы встретились с Яном на улице. Я познакомила их. Володя сказал:

— Мне говорили, что Иван Алексеевич худой, а между тем он полный.

И правда, в первый и последний раз у Яна были полные щеки, вот что значит спокойное полумесячное пребывание в море.

Мне хотелось попасть на открытие памятника. Хотелось посмотреть на эту процедуру, побывать на докладах, раутах. В Думе я всегда бывала на подобных торжествах, и мне всегда бывало весело. Но Ян медлил: то ему хотелось побывать у Буковецкого, то на «Четверге», то нужно было повидаться с редактором газеты, которого в данный момент не было в Одессе. Но, конечно, он отлынивал. Я потом поняла: ему не хотелось быть в эти торжественные дни в Москве. Могли его попросить выступить где-нибудь, а он терпеть не мог всяких публичных выступлений.

Я огорчилась, — мне хотелось присутствовать на открытии памятника. Этого я никогда не видела. Звала и моя семья, отец был членом городской управы, значит, если даже я приехала бы в Москву одна, то я могла бы быть с ними на открытии.

Я стала просить Яна, чтобы он отпустил меня одну, но он неожиданно сказал:

— Подожди, может быть, я еще передумаю, и мы поедем вместе.

Но он все оттягивал и оттягивал и помешал мне присутствовать на гоголевских торжествах. А меня, как я ни просила его отпустить меня одну, не отпускал, думаю, от ревности. Он этого не говорил, но я чувствовала. Знал, что мне было бы весело,

а ему не хотелось, чтобы я веселилась без него. И мы попали в Москву только после окончания этих торжеств.

Юлий Алексеевич и Грузинский укоряли Яна, что он опоздал. Не помню, что он отвечал. Рассказов было без конца.

По приезде в Москву Ян сразу стал торопиться уехать, — была больна его мать. Побывали у тех, кто присутствовал на открытии памятника Гоголю и на всяких заседаниях и раутах. Побывали мы и у Зайцевых. Они много рассказывали. Говорили и про скандал на докладе Брюсова. В Москве очень им возмущались, говорили, что это не торжественная речь. Люди шикали, свистели. Робкие аплодисменты слабо боролись со свистом. Рассказали Зайцевы и о рауте в Думе, где они весь вечер провели с Розановым. Мне было обидно. Я с Розановым не была знакома, но и я могла бы провести с ним весь вечер. Он был приятелем Алексея Васильевича Орешникова, отца Зайцевой, и я, конечно, сидела бы с ними.

Памятник большинству не понравился. Мы, конечно, чуть ли не в первый день побежали к нему, тем более, что он стоял близко. Впечатление было немного странное, а для простого зрителя, конечно, памятник был непонятен. Андреев взял Гоголя в последний период его жизни. Как-то я гуляла с мамой по Пречистенскому бульвару, и мы встретили своего свойственника Вячеслава Гавриловича Ульянинского, очень тонкого знатока картин, офортов, гравюр. Он сказал: «Мне не нравится памятник, потому что он не отвечает главным целям — памятник должен быть всем понятен, характерен для всей жизни того, кому он поставлен, и импозантен. Конечно, художественные достоинства в нем есть, но их поймут немногие».

Мнения о памятнике были различные. Рассказывали о том удивлении, которое он вызвал, когда спала с него завеса. Словом, Москва до лета переживала впечатления торжеств по случаю столетия со дня рождения Гоголя.

У меня есть письмо Ивана Алексеевича к Нилусу от 13 мая 1909 года. Вот выдержки из него:

«...я еще в Москве, задержало меня «Сев. Сияние» и еще кое-какие делишки. Будет ли существовать это самое «Сияние» — не знаю: может быть, и умрет, но думаю, не раньше августа. До августа, до сентября можно скрипеть, но и то при условии, что Бобринская сдержит свое обещание и даст (обещала на днях) тысячи четыре. А делишки ее, кажется, плохи, ибо я чуть не сделал скандала, будучи раза три обманут при получении двухсот рублей, следуемых мне за март и апрель (сегодня-таки получил). Шальная баба! Обещала дать на этот год тысяч двадцать, втянула меня, — и заставила втянуть и товарищей, — и вдруг заявила, что бросает журнал и дает вместо 20 — 4 тысячи! Будь по сему спокоен: пришли нам рассказ (адресуй его мне —

Измалково Орловской губ.), а если мы — за смертью журнала, — не успеем его напечатать (хотя пустим очень скоро, — в ближайшую книгу) — считай, что возвращать двести рублей ты не обязан. Да, это обычная история при кончинах журналов, — и литературная этика не карает за это. — Но, повторяю, надеюсь на существование «Сияния» до сентября (на сентябрь обещал рассказ Андреев — и уже взял авансу 1000 рублей), а, может быть, и на гораздо более продолжительное. Гальберштадт (секретарь «Сияния») был нынче у Сытина и предложил ему взять «Сияние» в свои руки — бесплатно. Но Сытин спешил на вокзал, в Петербург, и ответил только одно: «Ив. Алексеев. вернулся? Ах, так вот мы с ними потолкуем в субботу 16-го. У меня к нему огромное дело литературное». И после сего позвонил ко мне и очень, очень просил меня остаться до субботы. «Я подумаю», ответил я. И, может быть останусь. Хотя у меня опять беда: больна мать. Если же останусь до субботы, то все-таки выеду в субботу вечером — вместе с братом Юлием. (Вера приедет в деревню в конце мая, а Коля уже уехал: повалил на себя горящую лампу, запылал, спасся, накинувши на себя одеяло, но все-таки обжегся, обрился — и удрал.) Юлий взял заграничный паспорт — и будет вместе с другим племянником, Митей, 30 или 29-го в *Одессе,* откуда 31-го хочет отплыть в Константинополь, Смирну и Афины. Дальше ехать не хочет — надо побыть и у своих.

Холод в Москве зверский. Коля пишет из деревни, что ходит в полушубке.

100 рублей я тебе отослал — уже несколько дней тому назад.

Когда уезжаешь? И куда? Брату хочется очень повидать вас всех.

Целую тебя, Евгения и всех милых сердцу моему.

О Ценовском говорил в «Рус. Слове». Дорошевич ответил, что постоянного ничего не могут предложить — много материалу. Поговорю в «Рус. Вед.», хотя зачем все это? Посылал бы Ант. Ант. прямо — и дело с концом.

Твой *Ив. Бун.*»

Не помню, по какому делу хотел с ним поговорить Сытин. Не помню точно, с какого вокзала они с Юлием Алексеевичем уехали. Вероятно, с Курского, чтобы попасть прямо в Ефремов.

Я осталась до июня, к радости моей семьи и друзей, в Москве.

В июне я поехала в Васильевское, тоже не помню, каким путем.

На душе у меня было нехорошо. Никаких переводов у меня не было. Денег карманных тоже. Я, начав делить жизнь с Яном, отказалась от той суммы, которую мне ежемесячно давал отец.

С восьми лет я получала от него сначала 1 рубль на церковь, а с годами сумма вырастала. Я уже писала, что никогда ничего не просила, не обращалась я за деньгами и к Яну, а он не думал, вероятно, не привык думать, что и рядом с ним человеку нужны какие-то деньги на личные расходы. Был совершенно равнодушен к тому, как я одевалась, но об этом думала мама. Кроме того, на меня произвело тяжелое впечатление их опоздание на обед к Куровским, а главное, то, что они и не чувствовали себя виноватыми. Меня удивляло их бесчувствие к тому, что переживала хозяйка, волнуясь за обед, потратив целый день на его приготовление.

Нашла записи, сделанные Иваном Алексеевичем во время моего отсутствия, когда он жил в Васильевском. Кое-что из этого вошло в его «Деревню».

«26 мая 1909.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий... Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна жестокий, спокойный. «Вы что говóрите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное...

11 июня 1909 г., возвратясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медведьи ушки), красное (кашка, гвоздика, иначе Богородицына трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышиный розовый горошек... А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом».

Когда я приехала в деревню, то застала дом не в веселом настроении. Узнала о смерти Валентина Николаевича Рышкова, последовавшей после операции в Москве: у него был рак. Софья Николаевна жила в большом огорчении, — она любила кума и его семью с детства. Она была мнительна: стала бояться, что и у нее эта болезнь, начала ездить по докторам и по знахаркам. Съездили с Александрой Петровной, их бывшей слугой, и к мощам Тихона Задонского.

В прежние годы я часто заходила в ее комнату и вела беседы о семье Буниных, и мне было интересно узнавать то, о чем не

И. А. Бунин. Рукопись рассказа «Мистраль» с поправками автора и с пояснениями, обращенными к корректору: «Точно сохранить *мои* знаки препинания! Это написано очень ритмично, поэтому к знакам препинания нужно особое, сугубое внимание! Ив. Бунин». «Корректура должна быть самая тщательная!!», 1944.

рассказывал Ян. Но в это лето ни о чем, кроме ее «страшной» болезни, она не могла говорить.

На меня напала тоска. Не было никакого определенного дела. Я предложила Яну, что буду заносить в свою тетрадь погоду, в какую он писал те или иные стихи, читанные им нам на прогулках. Он замахал руками:

— Зачем это, неужели ты думаешь, что кого-нибудь может интересовать это? Я и черновики все рву.

— Ты лучше бы мне их отдавал. Я сохранила бы их.

— Что за глупости! Кому это интересно?!

— Да хотя бы мне...

Но из этого ничего не вышло. Я с горя стала читать Брэма об обезьянах. Было занимательно, и иногда за прогулкой я начинала о них рассказывать. Но через несколько дней Ян перебил меня:

— Ты помешалась на обезьянах...

Я замолчала. Я тогда еще не понимала, что ему нужно и интересно было вести разговоры *только* о том, что в данное время его занимает. Вообще я не сразу поняла, что такое делить жизнь с творческим человеком. Поэтому порой сильно страдала.

Лето было на редкость дождливое, с ветрами и холодом. Ян жаловался, что плохо спит, что голова у него тупая и он не может писать.

Но все же 3 июля он написал «Сенокос» (который впоследствии чуть проредактировал, когда помещал его в «Избранные стихи», изданные в Париже «Современными записками»).

В мое отсутствие, в мае, он написал стихи «Колдун», стихи мне очень понравились. Уничтожено было заглавие, когда он включил это стихотворение в «Избранные стихи», а при последней редакции, перед смертью, он колдуна назвал лесником.

9 июня написал «Мертвая зыбь», 10-го — «Прометей в пещере».

10 июля написал Нилусу письмо, в котором есть интересные места:

«Милый Петр, весьма желаю успеха! Только не очень ли уж старческую вещь хочешь ты написать? Ну, жил грязно, эгоистично, стареет, но ведь понял же, что есть более человечная жизнь, а разве малого стоит это понимание, разве оно не открывает радостей человеку, который, подобно Лишину, все же натура не совсем уж обычная? — При работе это мое замечание м. б. тебе пригодится...»

В конце июня у него поднялась температура и он слег в постель. Конечно, и он, и Пушешниковы перепугались. Меня опять удивляло, как в деревне боятся всякого, даже самого легкого, заболевания.

К счастью, болезнь скоро прошла, и он повеселел, мы стали опять по вечерам гулять, и возобновились бесконечные разгово-

ры о литературе. Он бранил Златовратского, говорил, что хочет написать длинную вещь из жизни деревни. Много Ян говорил о Николае Успенском, которого погубило пьянство, довело до самоубийства. А талант у него был «замечательный», «Глеб, его двоюродный брат, иногда прибегал к его помощи, — он лучше знал мужиков, их язык».

Как всегда, на Кирики съехались родные Яна и привезли весть, что сестра Маша сошлась с мужем. Они будут жить в Орле, а мать останется в Ефремове с Женей.

Много было разговоров у Яна и с родными, что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни и в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором.

Ян поехал их провожать в Ефремов, чтобы повидаться с матерью. Выехали они рано, в чудное июльское утро, я вышла их проводить и потом пошла по липовой аллее, по которой они проехали, в поле. В поле я остановилась, до того был прелестен восход солнца, вышедшего из-за леса Пушешниковых, и стало даже радостно на душе.

В этот день приехал из Москвы Лев Исаевич Гальберштадт. Он очень сожалел, что не застал Яна, так как ему надо было переговорить по делам «Северного Сияния». Пришлось ему провести сутки у Пушешниковых и удовольствоваться прогулками со мной. Он мне кого-то напоминал, но я о нем ничего не знала. Показывала ему усадьбу, сад, выходили вечером и в поле. Он очень жалел, что так неудачно приехал.

Когда я рассказывала о его приезде Юлию Алексеевичу, то он сказал:

— Вы знаете, он был связан с Сергеем Андреевичем Муромцевым, кажется, Сергей Андреевич был опекуном его и брата.

Тогда я вспомнила двух лицеистов — Леву и Осю Гальберштадтов, танцевавших на наших детских балах, а потом пропавших. Моя кузина Оля сказала мне, что после совершеннолетия Лева уехал Париж, откуда вернулся «в одном башмаке», прокутив все свое наследство. Меня удивило, что Гальберштадт скрыл наше знакомство. Я не узнала его, не зная о нем ничего, но ведь он должен был знать, кто я. Решила, что ему неприятно вспоминать прошлое, и, несмотря на довольно близкое знакомство и дружеские отношения, я никогда не заговаривала с ним о его лицейском периоде.

Вернувшись из Ефремова, Ян прежде всего написал письмо Нилусу, которое его очень мучило. Дело в том, что они весной

сговорились, что Петр Александрович приедет в Васильевское и погостит у нас. Но состояние здоровья Софьи Николаевны не улучшалось, и трудно было ей принять в свой дом совсем незнакомого человека. Сначала Нилус хотел приехать на Кирики, но Ян попросил его отложить приезд, так как в этот день наедет много гостей и некуда будет его поместить. Мы надеялись, что, может быть, Софье Николаевне будет лучше после приезда родных. Но лучше ей не стало. Ян понимал, что нельзя в доме больной хозяйки принимать гостя. Он долго мучился, наконец 29 июля послал письмо Петру Александровичу. Сначала сообщил ему, что Телешов затевает сборник в пользу наборщиков, с той платой авторам, какую они привыкли получать. Просит прощения, что он уже отдал Телешову рукопись его и назначил плату по 200 рублей за лист. Сообщает, что и Горький и Куприн согласились дать рассказы в этот сборник. Сообщает о приезде Гальберштадта, чтобы посоветоваться, как быть дальше с «Северным Сиянием». Оказалось, что июльский номер нельзя выпустить, не сделав долга. Теперь идут переговоры с Саблиным.

Затем приступает к самому щекотливому вопросу — к приезду Петра Александровича в Васильевское. Привожу выдержку из этого письма:

«Совестно мне это говорить, дорогой, — ведь на август ты хотел сюда приехать, — да что же делать? Осточертело мне все здесь, изморило погодой. Да и в доме у нас — точно покойник. Сестра (не Маша, а Софья, владетельница моего приюта) форменно сходит с ума: вот уже третий месяц (со времени смерти одного соседа, погибшего от рака) бродит как тень и молчит как могила — вообразила, что и у нее или рак, или что-то в этом роде. Ездит по докторам — те дают бром, боржом... — была у мощей в Задонске, посылает каждую неделю к бабке. Думали, — пройдет все это, но дело все хуже и хуже».

Август был погожий, и Ян написал много стихов, проводя все время в маленькой белой комнате рядом с его кабинетом. Там стояла узкая железная кровать, и он часто лежал на ней и писал, писал. Но, к сожалению, он стал заболевать своей болезнью — страхом холеры. Хотя она свирепствовала еще только на юге и появилась в Петербурге, он уже перестал есть что-либо сырое, умолял и меня воздерживаться и от огурцов, и от фруктов... Урожай же, как нарочно, был редкий, и уже по дороге к саду с поля чувствовался издали аппетитный аромат яблок.

У меня записано в моем конспекте этого лета:

«4-го августа написаны стихи «Собака» — эти стихи навеяны собакой Горького, сибирской породы, с белой шерстью, очень спокойной, всегда прежде чем лечь, кружилась, а потом уже устраивалась у ног кого-нибудь.

6-го августа написана «Могила поэта».

8-го — «Морской ветер».

13-го — «До солнца».

14-го — «Вечер» и «Полдень», который его очень веселил.

16-го — «Старинные стихи», «Сторож», «Берег», который мне больше всего нравился.

17-го — «Спор».

Все это время Ян был в хорошем настроении. По вечерам в поле он читал нам с Колей стихи, иногда сидя на омете. Коля критиковал. Ян спокойно выслушивал, возражал, иногда кое-что изменял.

Я же чувствовала себя не очень хорошо. Мучило, что у меня не было своих занятий, и я должна была их выдумывать, чтобы заполнять досуги.

В Москву мы приехали в начале сентября, остановились у моих родителей.

В три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме, говорил: «жуть, жуть», и опять возвращался к себе и писал.

Были у Телешовых, обедали. Кроме нас к ним пришел вечером Александр Андреевич Карзинкин с бутылкой старого вина и угостил им Яна.

После обеда Ян читал свои стихи. Александру Андреевичу понравился больше всего «Берег», мне было приятно: мы сошлись во вкусах. Я всегда ценила его тонкое понимание стихов.

Вскоре после этого со мной случилась беда.

Как-то утром я села за пианино и что-то начала разбирать. Вдруг все ноты слились и стали белыми: я ослепла на полчаса, появилась боль в голове.

Наш доктор, Владимир Федорович Флеров, приказал сделать анализ крови, который и показал у меня сильнейшее малокровие, — это после обильного деревенского питания, где подавали на стол, по определению Яна, «сундук котлет», необыкновенно вкусных, нигде таких не ела! Гемоглобина у меня было 35 процентов!

Прописан был строгий режим, усиленное питание, много лекарств.

Ян собирался поехать в Одессу, мама стала уговаривать его не откладывать своего отъезда:

— Без вас Вера скорее поправится, мы устроим ей санаторный образ жизни.

И Ян уехал. Действительно, мама поправила меня в три недели. Весь дом жил для меня, стараясь, чтобы мне не было скучно. Днем я иной раз бывала у своих подруг, где всегда меня заставляли есть. Раза два в день я гуляла с мамой и спать ложилась в девять часов.

Во время отсутствия Яна приехал в Москву Федоров, кажет-

ся, на неделю. Он ежедневно обедал у нас, чем был очень доволен папа, так как Федоров много рассказывал о литературной жизни. И папа сказал:

— Вот Иван Алексеевич ничего никогда не рассказывает, а ведь это очень интересно.

Шла премьера «Анатэмы» Андреева. У Юлия Алексеевича был абонемент, он был занят в этот вечер, предложил мне свое место в Художественном театре, но я из предосторожности отказалась, и Федоров побывал на первом представлении «Анатэмы».

Еще до возвращения Яна из Одессы был десятилетний юбилей Художественного Кружка. На нем я была. Остался в памяти только скандал у дверей залы, где происходил ужин. Скандал сделал Тимковский Телешову из-за гонорара для сборника «Помощи наборщикам». Запомнилось темное озлобленное лицо Тимковского, его грубое слово, бледное лицо Николая Дмитриевича.

Ян вернулся в Москву чуть ли не накануне юбилея Телешова, праздновавшего двадцатипятилетие своей литературной деятельности.

Юбилей происходил не в большом зале Кружка, а в другой комнате. Мы сидели за главным столом: Ян — рядом с Еленой Андреевной Телешовой, а я между юбиляром и артистом Южиным, который за весь ужин не проронил ни единого слова, кроме речи, посвященной юбиляру. Запомнилась очень остроумная речь Кати Выставкиной, литераторши, которая с милой улыбкой говорила Николаю Дмитриевичу всякие комплименты. Она была хорошенькой, и было приятно на нее смотреть.

После юбилея я познакомилась с Бибиковыми. Я знала, что она была одно время женой Яна, но, конечно, не знала всех подробностей их жизни и разрыва, хотя Ян и говорил, что она бросила его, и он иногда цитировал ее записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом...»

Она была на вид старше Яна, небольшого роста, с короткой шеей, в пенсне, стриженая, как стриглись в семидесятых и восьмидесятых годах передовые девушки и женщины. На ней была крахмальная рубашка с галстуком и костюм тайер. Мы столкнулись с ней при выходе из столовой в узком проходе, я быстро отошла, чтобы не мешать им, а минуты через три Ян подошел ко мне и взволнованно сказал:

— Представь, я сообщил ей, что у меня подагра, а она вдруг ответила: «подагра и паук», — это, как ты знаешь, одно из наших частых выражений...

Я, по правде сказать, тогда не поняла, почему это его взволновало. А теперь, после того, как я изучила его жизнь, понимаю: это напомнило ему их прежнюю жизнь и всю драму, которую он пережил, а может быть, и не вполне...

...Сам Бибиков был совершенно другого типа: высокий, широкоплечий, с очень милым, приветливым лицом, правильными чертами, с большими темными глазами, сильный брюнет. Он стал очень ласково говорить, что хорошо бы повидаться. И мы пригласили их на 1 ноября к нам обедать, — они жили в номерах «Столица» на Арбате, и, конечно, им было очень неудобно с кухней, тем более, что у них была десятилетняя девочка, которая училась по классу рояля в консерватории.

Не помню хорошо, до этого дня или после Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать «Деревню».

Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидали Карзинкина, Телешова, Белоусова и еще кого-то.

На столе стояли бутылки, вина, закуска.

Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили.

1 ноября у нас был обед. Мама была рада, что Ян пригласил Бибиковых. Варвара Владимировна была уже членом женского клуба и нравилась моей маме. Она ничего не знала о ее прошлом. Я же о нем поведала только младшему брату, зная, что он не будет болтать. Кроме Бибиковых были Юлий Алексеевич и братья Пушешниковы, кажется, Митюшка снимал уже у нас комнату, в которой раньше жил мой брат Митя.

За обедом было очень оживленно, потому что не все знали об отношениях Варвары Владимировны и Яна. Конечно, больше других говорили мама и Варвара Владимировна что-то о женском клубе, о Варваре Алексеевне Морозовой, которая поддерживала этот первый московский женский клуб и была в нем председательницей. Ян подшучивал над Арсением Николаевичем и над Колей, Юлий Алексеевич сообщал всякие новости, и политические и литературные. К концу обеда, когда мы уже встали, чтобы идти пить кофий в гостиную, горничная подала мне телеграмму. Я почувствовала страх: не из Ефремова ли? — мать Яна была почти все время нездорова.

Распечатав ее, прочла: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский».

Я как-то оторопела. Мне было неизвестно, что в этот день происходило избрание академиков. Я взволнованно посмотрела на Варвару Владимировну, которая стояла под большой фотографией Святой Цецилии из Дрезденской галереи, а в уме пронеслось: «Жизнь дает такое, что если бы написал романист, нашли бы это надуманным». Узнав, Варвара Владимировна еще больше побледнела, но внешне была спокойна и через минуту сказала радостно: «Поздравляю вас». Выпив наскоро кофий,

Бибиковы простились. Мы позвонили Зайцевым и позвали их, как и Телешова, в «Прагу», куда отправились вместе с Юлием Алексеевичем, Павликом и Пушешниковыми. Все были взволнованы, возбуждены и радостны от такого неожиданного известия.

В октябре Бунин и Куприн получили по половине Пушкинской премии, и Куприн написал Яну очень дружеское письмо.

Ян из-за поездки в Одессу этой осенью не был в Петербурге, да и холеры побаивался, а потому и не знал о том, что в Академии будут выборы почетных академиков. А как нам потом рассказал Александр Андреевич Карзинкин, по Москве в этот день ходили слухи, что академиком изберут Брюсова. Карзинкин прибавил: «И я огорчился, что не Иван Алексеевич».

В «Праге» все, начиная с хозяина Тарарыкина и кончая половыми, были очень довольны и радостно поздравляли Ивана Алексеевича. Приехал Телешов и еще кто-то. Было оживленно и весело. Засиделись далеко за полночь. Ян с радостным лицом ел своего хрустящего рябчика, запивая его хорошим красным вином.

На следующий день были в Кружке. Войдя с площадки в комнату, где висели портреты (Андреева работы Серова и другие), мы увидели спускающегося по лестнице Брюсова. Он с серьезным лицом подошел к Бунину:

— Искренне поздравляю.

Потом к Яну подбежал адвокат Сахаров со словами:

— Как это вы тогда в Ялте знали, что будете академиком?

Это случилось в ту весну, когда Художественный театр ставил для Чехова в Крыму свои пьесы.

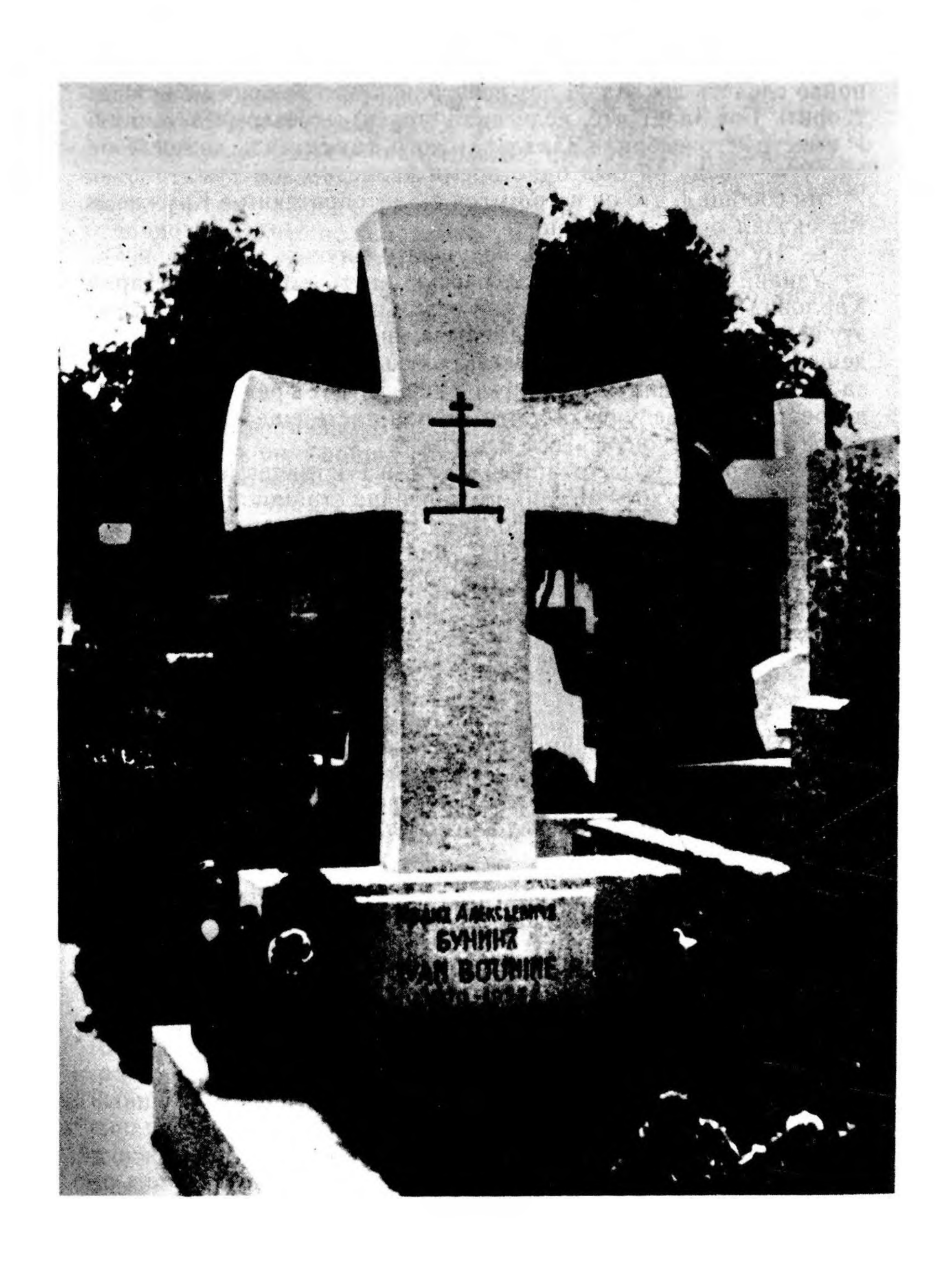
Сахаров тогда посоветовал Ивану Алексеевичу уехать из Крыма, так как там было много знаменитостей, и, по мнению Сахарова, это мучило Бунина. Иван Алексеевич дал ему отпор, ответив, что у него свой путь и что он будет академиком. Сахаров был возмущен таким самомнением. Теперь он растерянно улыбался и поздравлял.

Через несколько дней мы поехали в Петербург. Остановились опять в «Северной» гостинице.

Ян нервничал. Ему сочувствовал Михаил Иванович Ростовцев, который из-за холеры жил не в меньшей панике.

В первый же вечер мы ужинали у Палкина вместе с Ростовцевыми и Иорданскими. Наши паникеры сели рядом и, спросив себе только по рябчику, приказали подать подогретого красного вина и горячей воды, в которой они ополоснули стаканы, тарелки. Притронуться до чего-либо другого они боялись.

Здесь мы узнали, что была выставлена кандидатура и Куприна, но ее отвели из-за страха, ибо по регламенту каждый академик, приехавший в какой угодно город, может потребовать в любое время зал и для пользы отечественной литературы имеет



Могила И. А. Бунина и В. Н. Буниной (склеп)
в Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем.

право сделать доклад. И вот испугались, что Куприн может натворить Бог знает что, если окажется в нетрезвом состоянии. И вместо него выбрали Златовратского, так сказать, за прежние заслуги — ведь он был одно время «властителем дум».

Ян сообщил, что он встретился с Златовратским в Кружке, и тот сказал очень радостно:

— Ну что ж, мы теперь дедушка и внучек.

Узнав, что Бунин написал первую часть «Деревни», Марья Карловна и ее муж Иорданский стали просить, чтобы он отдал эту вещь в их журнал «Современный мир». Ян предупредил, что дешево не отдаст, и заломил высокую цену — пятьсот рублей за лист. Он добавил, что на другой день заедет в редакцию, там й договорятся. Предупредил, что вторая часть еще не написана, но он надеется кончить все к весне.

Несмотря на воздержанный ужин, и Ростовцев, и Ян ночью вызвали врачей, хотя ни единого признака страшной болезни ни у того, ни у другого не было, был только безотчетный страх.

Затем начались приглашения: «чашка чаю» у Ростовцевых, обед у Котляревских, ужин у Донона, где Марья Карловна назвала Яна «дорогим», потому что он так дорого взял за свою «Деревню». Ян предлагал ей вернуть ему рукопись, но она уступить «Деревни» никому не захотела.

Нестор Александрович Котляревский руководил Яном. Давал ему советы, кому надо сделать визиты и так далее. Конечно, прежде всего нужно было поехать в Мраморный Дворец к председателю Академии Великому князю Константину Константиновичу.

О своих визитах Ян написал Нилусу:

«24 ноября.

Дорогой друг, немного беспутный образ жизни вел я последнее время — уж извини за молчание, на этот раз оно довольно простительно. Был, как ты знаешь, в Питере, трепетал холеры, но пил, гулял, чествовали меня и пр. Визиты делать товарищам по Академии, слава Богу, не потребуется — знакомства и поклоны происходят на первом заседании, где вновь избранный может говорить «вступительную речь» — так что был я только у Великого князя, да и того не застал: он ускакал в Павловск, и я ограничился тем, что расписался. Приехал сюда дня четыре тому назад — и опять немного загулял, тем более, что Вера осталась гостить под Петербургом, в Лесном у проф. Гусакова, вместе со своей матерью. Устал я порядочно, да и смертельно надоело бездельничать, да и чувствую себя нездоровым. Посему очень подумываю об отлете в теплые края, но куда — еще не придумал. Когда ты сюда пожалуешь? Боюсь, что не увидимся. По-моему, необходимо мне в самом начале декабря исчезнуть

из Москвы — через неделю вытребую сюда Веру и — за сборы. Но куда? Куда? Сухое, сухое место надобно...

О Куприне читал вчера в газетах: он уже в ПТБ и рассказывает, что это перепутали: не он болен, а — жена! Ни на какую охоту я с ним не поеду — он, конечно, зол на меня ужасно, хотя отлично знает, что не виноват ни сном, ни духом, что не он оказался академиком. Да и тебе ездить с ним не советую.

Слышал ли, что Найденов в Крыму и что его чахотка идет быстрыми шагами. Кроме того, умерла его дочь на днях, а он ее сильно любил. Огорчает это все меня ужасно...»

Ян уехал в Москву один после 20 ноября, а я осталась не в Лесном, как он сообщил Нилусу, а за Лесным в Сосновке, где министром финансов С. Ю. Витте был построен Политехникум с пятью отделениями, с корпусами для студенческих общежитий и домами с квартирами для профессоров. Такого политехникума в России еще не было и по устройству, и по организации. Витте пригласил многих профессоров, неугодных министерству Народного просвещения, как, например, Александра Сергеевича Постникова, которому предложил быть деканом экономического отделения; впоследствии он стал директором института после князя Гагарина.

Я часто гостила в Сосновке у Андрея Георгиевича Гусакова. У меня была там своя комната с балконом, выходившим в сосновый лес. Квартира была на четвертом этаже, и я очень любила в ветреный день сидеть на балконе и слушать шум бора, напоминающий взволнованное море. И чего, чего я не передумала во время этих бдений.

Хозяйство вела у Андрея Георгиевича наша тетя, вдова маминого брата, которая нас очень любила и старалась сделать все, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Андрей Георгиевич был гостеприимный хозяин и меня очень баловал. Я могла приглашать всех, кого хотела, не только к себе, но и к обеду, и у меня бывали мои друзья, жившие в Петербурге. Кроме того, я была дружна с некоторыми профессорскими семьями, хотя жены все были старше меня, как С. Х. Гамбарова, Ф. О. Ельяшевич, — я знала всех их с отроческих лет. Бывала я у Ден, у Гессенов. В то время у них были маленькие дети. Познакомилась я на теннисе почти со всеми лаборантами, с которыми в весну Первой Думы играла в теннис в белые ночи.

Ян, конечно, не очень охотно оставил меня, но мама уговорила. И она, и он были напуганы моей осенней болезнью. После слишком утомительной жизни в Петербурге, в связи с избранием Бунина в Академию, мне было полезно пожить на свежем воздухе, в хороших условиях, среди близких, заботящихся о моем здоровье людей.

Мне было действительно в Сосновке хорошо и весело, хотя

отравляла мысль о Яне. Я боялась, что его в Москве зачествуют, ведь москвичи меры не знают. Успокаивало то, что он со своим племянником живет в моей семье, так что ему не очень одиноко. Прожив в Сосновке дней десять, я получила телеграмму: Ян заболел, ангина. Конечно, на следующий день мы с мамой выехали в Москву.

У Яна ангины проходили весьма болезненно. Лечил его Михаил Семенович Генкин, который говорил мне, что он поражен, как Иван Алексеевич ему рассказывает, что у него делается в горле. Когда мы вернулись домой, Ян уже был болен два дня. Больной он был очень трудный, меня не отпускал ни на шаг из комнаты, только в кухню за чем-нибудь. Это было недалеко, но я к вечеру так утомлялась, так начинали ныть ноги, что казалось, будто я прошла десятки верст.

6 декабря он стал поправляться, но все же не позволил мне на пять минут выйти к гостям, пришедшим поздравить папу. Я даже не вышла к обеду.

Упоминаю это потому, что, заразившись от него ангиной, я была поражена его отношением ко мне. Он всегда был в бегах, а когда в Москву приехал Нилус, то возвращался домой часа в четыре утра. На меня это так подействовало, что, вставши с постели, я имела такой вид, как будто перенесла очень тяжелую болезнь. А у меня ангина была в легкой форме.

Мама, видя мое состояние, успокаивала меня: «Понятно, он летает, он знает, что ты не одна, что за тобой хороший уход. Кроме того, у него и дела, и всякие свидания». Но меня это не утешало. Я еще не понимала, что такое жить с творческим человеком.

Во время моей болезни состоялось открытие в крюковском санатории комнаты имени Чехова для больных туберкулезом литераторов.

Мне было жаль, что я не попала на открытие. Ян хорошо рассказывал, как они с Нилусом по дороге в Крюково попали в один вагон с Иваном Павловичем Чеховым, как тот угощал их водочкой, пирожками и еще чем-то, все вынимая из корзинки, представлял, как он говорил. Ян находил, что он больше других братьев похож на Антона Павловича, восхищался его домовитостью, аккуратностью и чисто чеховской хозяйственностью.

В санатории после освящения комнаты был завтрак, очень обильный, и много вина. Холод был сильный, и Ян боялся опять, что простудился.

На Рождество мы никуда не поехали, я окончательно поправилась только к праздникам.

Ян страдал от подагры, опускал в горячую соленую воду руки по локоть, по совету Голоушева, который сам страдал от этой болезни, а летом лечился грязями около Астрахани.

От Святок у меня остался в памяти вечер у моего брата Мити. Они с Зинаидой Николаевной жили на Новинском бульваре,

в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома Хомякова, председателя Третьей Думы.

У них я встретила бывшую знаменитость, балерину Гейтен, которая была замужем за единоутробным братом Луначарского. Это был совершенно другого вида человек, толстяк с рыжими волосами. Про брата он сказал, что у него «мозги набекрень». Мать их — родная тетка Ростовцева, сестра отца Михаила Ивановича Ростовцева, который, как и Луначарский, обладал способностью к языкам.

Михаил Иванович рассказывал, что он не только в совершенстве владеет итальянским языком, но умеет говорить и на диалектах: «Иногда итальянцы спорили, из какого я города», — рассказывал он. Тоже не очень лестно отзывался о своем кузене, хотя и признавал, что тот способный, но Ростовцев не верил, что Анатолий Васильевич социалист по убеждению. В детстве я видала Гейтен в разных балетах, она была очень талантлива, а когда вышла в отставку, то стала давать уроки танцев. Мы, кузины, начали было брать у нее уроки, но заболели дифтеритом, и затея была прекращена.

1910 ГОД

16 января 1910 года исполнилось бы пятьдесят лет Антону Павловичу Чехову. Художественный театр устроил в день его Ангела, 17 января, «литературный утренник».

Станиславский просил Ивана Алексеевича принять участие в торжестве. Иван Алексеевич согласился, отчасти поэтому мы и не поехали на праздники в деревню. Ему не нравилось то, что он написал об Антоне Павловиче после его кончины (это было им прочитано в «Обществе любителей российской словесности», а потом напечатано в сборнике «Знание»). Он проредактировал свои воспоминания о Чехове, но, конечно, они были неполными.

Утренник прошел с аншлагом. Семья Чеховых сидела в литерной ложе справа. Из писателей участвовал только Бунин. Его выступление было удачным. Голос, интонации, речь — все было чеховское; родные и друзья Антона Павловича были так взволнованы, что многие плакали.

Подъем в театре был сильный. С воспоминаниями и чтением рассказов Чехова выступали лучшие артисты.

Чуть ли не на другой день мы обедали у Ольги Леонардовны Книппер, в ее уютной, сильно задрапированной квартирке. Там я познакомилась и с Марьей Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед.

У нее собрались все родственники, жившие в Москве. Среди молодого поколения был сын Александра Павловича, Миша,

ученик Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов. Они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в передней, что-то изображали шляпами и так забавно, что мы, глядя на них издали из столовой, не могли удержаться от смеха.

Кто-то заметил:

— Это совершенно по-чеховски! Но уже новое поколение!

Через несколько лет мы видели Мишу в «Первой студии Художественного театра», в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи». Игра его взволновала нас до слез. Иван Алексеевич пришел в полный восторг. А в 1915 году, 14 декабря он смотрел его в «Потопе» и с восхищением передавал его игру, предсказывая, что «из него выйдет большой артист».

Мать Марьи Павловны, Евгения Яковлевна, по словам Яна, очень состарилась за эти годы. Они обрадовались друг другу, как родные. Она всегда любила его. И сразу стала бранить Ялту и хвалить московскую губернию:

— Здесь можно и по грибы ходить, их тут много! А там что, одно море!

И до чего она была прелестна в своей наивности. Со мной обошлась приветливо, обрадовавшись, что я москвичка.

Вскоре после утренника памяти Чехова к Ивану Алексеевичу приехали Станиславский и Немирович-Данченко. Благодарили его. Предлагали ему вступить в их труппу. Меня в этот день не было дома. Знаю об этом по рассказу Ивана Алексеевича.

Как-то мы в Кружке встретились с Петром Дмитриевичем Боборыкиным. Ужинали мы вместе, и я к ужасу своему узнала, что еще в ноябре он был с визитом у Ивана Алексеевича, после его избрания в академики. Я сказала, что слышу об этом в первый раз. Он предложил:

— Хотите, я подробно опишу ваше антре?

Меня удивила его наблюдательность, мгновенно он все заметил. Вероятно, он был у нас вскоре после нашего отъезда в Петербург и, когда Иван Алексеевич вернулся, ему забыли передать его карточку. Это не помешало нам приятно провести ужин. Конечно, говорил почти все время Петр Дмитриевич, ведь он не мог не говорить. Его жена никогда не бывала вместе с ним в гостях, так как она не могла при нем и словечка вставить.

Он рассказывал, как он работает:

— Утром, встав в 9 часов и выпив кофию, я отправляюсь на небольшую прогулку и, возвратясь к себе на Лоскутную, если я живу в Москве, сразу сажусь за работу и пишу часа три, каждый день по главе, за месяц — тридцать! И так всегда и везде. Иногда, — продолжал он, смеясь, — я, уходя на прогулку, встречаю возвращающихся писателей — огромного, с длинными ногами и руками, лохматого Скитальца, или красивого

Андреева, или небольшого, с цыганскими глазами, Федорова, — это они возвращаются домой спать после веселой ночи...

Потом он неожиданно стал расспрашивать о Капри, о Горьком, о том, каким путем мы вернулись. Я кратко рассказала, упомянув, что наш итальянский пароход весит столько-то тонн. Это замечание привело Петра Дмитриевича в восторг. Я поняла, что ему интересна всякая мелочь и он ценит, когда люди интересуются ими.

Была очередная «Среда» у Телешовых. Жили они тогда на Чистых Прудах в доме Терехова. Я была знакома с детства с ним и его семьей. У них был сын, делавший военную карьеру, имевший красивый голос, но к ужасу родителей женившийся на дочери швейцара.

Когда мы входили в этот подъезд, я подумала: «Не отсюда ли взята у Чехова фамилия Тереховых в рассказе «Убийство»?

На «Среде» было много народу, — читал Леонид Андреев «Дни нашей жизни». В этот вечер я познакомилась со второй женой Андреева, Анной Ильинишной. Ян знал ее в Одессе девушкой, — она была подругой его жены, по его словам, была настоящей красавицей, звали ее все тогда Матильдой. Да и теперь, несмотря на то, что она ждала ребенка, она была хороша. Приехала она в сопровождении Голоушева, вероятно, обращалась к нему за советом, — он ведь был и гинекологом.

«Дни нашей жизни» всем понравились. Ян тоже хвалил пьесу, за что Андреев его не раз упрекал, говоря, что он хвалил ее потому, чтобы унизить его символические драмы... Но Ян был искренен, он находил в пьесе художественные достоинства.

После чтения, обмена мнений и ужина, мы, жены писателей, уселись в гостиной. К нам подсел милый Голоушев, завязался быстро разговор о любви. Сергей Сергеевич сказал, что почти у каждой женщины бывает три любви: одна от Бога, другая от человека, а третья от дьявола. Мы смеялись, некоторые оспаривали, но он стоял на своем. Говорили и о Софье Петровне Кувшинниковой, с которой был дружен Сергей Сергеевич с давних пор. Он задумчиво заметил:

— Вот вам настоящая жрица любви!

Я с детских пор знала ее. Она училась в том же Николаевском институте, где кончили курс моя мать и тетка, была закадычной подругой Анны Петровны Коровиной, от которой мы много слышали о художнице Кувшинниковой, — а она была большим другом нашей семьи. Я смутно припомнила, что в детстве, когда мы вместе с Анной Петровной гостили в имении бабушки, то читались возмущенные письма Кувшинниковой по поводу Чехова и велись бесконечные разговоры на эту тему.

Потом Тимковская и Вересаева завели разговор о том, что надо и пора писателям самим издаваться, а не давать разным

издательствам наживаться на них. Мы говорили о трудностях, указывали на неопытность писателей, их неделовитость, но они стояли на своем, уверяя, что это труд небольшой, а опыт придет, — ведь не боги горшки обжигают. Обе они были одушевлены этой идеей. Вероятно, их мужья разделяли это мнение.

В 1910 году было тридцатилетие толстого журнала «Русская мысль», основанного в 1880 году Вуколом Михайловичем Лавровым.

7 февраля праздновали этот юбилей, чествовали основателя и издателя журнала. Лавров, кроме того, был переводчиком, перевел с польского всего Сенкевича. В Литературном Кружке был банкет, на котором мы присутствовали, — Бунин много лет был сотрудником «Русской мысли».

В это время юбиляр был уже не у дел, жил на покое в деревне под Москвой. Накануне приехал в Москву. По виду он был уже старец: очень худой, с легкими белыми волосами над красным продолговатым лицом.

Банкет происходил в большом зале, но народу было меньше, чем на банкете артиста Малого театра Южина-Сумбатова в прошлом году. Собралось около пятидесяти человек: бывшие и настоящие сотрудники журнала, почитатели его и читатели.

Бунина посадили за главный стол, рядом с какой-то писательницей, а я оказалась рядом с артистом Малого театра Правдиным, игравшим обычно Репетилова, Гарпагона, Полония и Федора Ивановича в пьесе «Плоды просвещения» — он так неподражаемо говорил: «Ну-ка, что, Фердинанд наш, как изворачивается?..» И весь театр помирал со смеху.

Я с отроческих лет любила этого актера, а потому была польщена, что он оказался моим соседом, и волновалась. Мы сидели на левой вертикали стола «покоем», недалеко от главного.

Правдин оказался человеком веселым, остроумным, старавшимся говорить приятное. Небольшого роста, худой, с правильными чертами лица, чуть насмешливыми глазами на бритом актерском лице, он хорошо на все отзывался, и я с редким удовольствием провела этот вечер.

Первым приветствовал Лаврова Николай Васильевич Давыдов (его ценил Толстой, он дал ему темы для «Воскресения» и «Живого трупа»). Говорил просто, веско, приятно. После него выступил А. А. Кизеветтер. Когда-то я слушала его на курсах и встречала на «Средах» у Шереметьевских. Как всегда, речь его была витиевата и полна всяких образов. Потом сказал небольшое приветствие от педагогического журнала Н. Ф. Михайлов, соратник Юлия Алексеевича. За ним поднялся Южин и с пафосом произнес юбилейную речь. От Художественного театра говорил Немирович-Данченко. От «Общества любителей российской словесности» — А. Е. Грузинский, с которым мы дружили; он издали улыбнулся мне. В кратких остроумных

VILLE DE GRASSE



HOMMAGE
à
IVAN BOUNINE

VORONEJ 1870 - PARIS 1953
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE (1933)
HÔTE DE GRASSE 1923 - 1945

MARDI 27 NOVEMBRE

Inauguration d'une plaque commémorative, chemin du Vieux Logis - Réception à l'Hôtel de Ville

EXPOSITION A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

"LA VIE D'IVAN BOUNINE"

Souvenirs, Photographies, Œuvres en François et en Russe

MERCREDI 28 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Sous le patronage du CIRCLE LITTÉRAIRE INTERNATIONAL

Princesse Z. Schakovskoy, Rédacteur en chef de "La Pensée Russe"
"Mes Souvenirs sur Ivan Bounine" (Salle des Conférences - Casino - 17 heures)

Marc Slonim, Professeur honoraire de litterature comparée "L'œuvre litteraire d'Ivan Bounine"

JEUDI 29 NOVEMBRE

CONCERT

Organisé par les Amis de la Musique

Chœurs de l'Église Orthodoxe de Cannes, **Chapelle Saint-Thomas,** rue Tracastel.
(Participation : 7 francs)

Афиша, извещающая о днях Бунина в Грассе в ноябре 1973.

VILLE DE GRASSE



HOMMAGE à Yvan BOUNINE

(VORONEJ 1870 - PARIS 1953)

PRIX NOBEL DE LITTERATURE

HOTE DE GRASSE DE 1923 A 1945

27 au 29 NOVEMBRE 1973

INVITATION

Пригласительный билет на дни

Monsieur Hervé de Fontmichel, Maire de Grasse, Conseiller Général des Alpes-Maritimes, la Municipalité et le Comité d'Organisation vous invitent à participer aux Cérémonies qu'ils organisent en hommage à Yvan Bounine, du Mardi 27 au Jeudi 29 Novembre 1973, pour célébrer le cinquantième anniversaire de son installation à Grasse, le quarantième de l'attribution du Prix Nobel en 1933, le vingtième de sa mort à Paris.

Бунина в Грассе. Ноябрь 1973.

VILLE DE GRASSE



HOMMAGE A IVAN BOUNINE

VORONEJ 1870 - PARIS 1953

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE
1933

HÔTE DE GRASSE DE 1923 à 1945



GRASSE

27 au 29 NOVEMBRE 1973

Программа дней Бунина

PROGRAMME

~

MARDI 27 NOVEMBRE

11 heures : Inauguration d'une plaque commémorative à l'entrée du chemin du Vieux Logis conduisant à la Villa Belvédère où Bounine vécut de 1923 à 1939.

12 heures : Réception à l'Hôtel de Ville.

17 heures : Inauguration de l'Exposition " La Vie d'Ivan Bounine ", avec les documents provenant d'archives privées et la Bibliothèque Nationale de Paris, etc.

MERCREDI 28 NOVEMBRE

Sous le patronage du Cercle Littéraire International, Salle des Conférences du Casino :

17 heures : Princesse Zinaïda Schakovsky, Rédacteur en chef de " La Pensée Russe ". Mes souvenirs sur Ivan Bounine.

18 heures : Marc Slonim, Pofesseur honoraire de littérature comparée. L'œuvre littéraire d'Ivan Bounine.

JEUDI 29 NOVEMBRE

17 h. 30 : Concert de musique liturgique russe avec les Chœurs de l'Église Orthodoxe de Cannes, organisé par les Amis de la Musique à la Chapelle Saint-Thomas, rue Tracastel (Participation : 7 fr.)

в Грассе. Ноябрь 1973.

словах он дал оценку юбиляра. Говорили еще многие, но мы с Правдиным уже не слушали, предпочитая тихо вести беседу. Ему, вероятно, надоели все юбилеи, на которых всегда говорится одно и то же. Превозносят юбиляра, с упоением слушая самих себя; если юбиляр писатель, то нередко приветствующий оратор ни строки не читал из его произведений и, узнав от кого-нибудь, за что нужно возводить хвалу, с большой ловкостью превозносит общими фразами виновника торжества.

В феврале мы уже готовились к путешествию. Решили ехать на юг Франции, а оттуда, если будет возможно, в северную Африку, но, конечно, с заездом в Одессу, где мы проведем несколько недель. Вскоре после юбилея Лаврова мы укатили в Одессу, где на этот раз остановились на Пушкинской улице в гостинице «Бристоль».

Сняли там две комнаты, так что можно было и работать. У меня была машинка, и я кое-что начала переписывать Яну. Он немного писал. Думал дать весной продолжение «Деревни», но это не удалось.

В Одессе было жить приятно. Встречались с художниками. Они по-прежнему устраивали три раза в неделю «мальчишники»: воскресенье — у Буковецкого, четверг — в ресторане Доди, а по субботам — у кого-нибудь из друзей из Кружка. Там тогда могла присутствовать и хозяйка дома. Меня это уже меньше возмущало, может быть, потому, что я была больше занята: принялась за французский язык, надеялась заняться переводами и ходила на сеансы к Буковецкому, — он писал меня в бархатном пальто и меховой шапочке (снимок с верхней части портрета у меня имеется).

Сеансы были трудные, приходилось подолгу стоять, но с Буковецким было всегда интересно. Он умел занимать свою натуру, и это не мешало ему писать.

Он метко характеризовал своих друзей и знакомых. Про свои отношения с Нилусом сказал:

— Мы ведь связаны очень длинной цепью и можем временами далеко удаляться друг от друга, но ее никогда не разорвем. Так нужно и в семейной жизни — не мешать друг другу, а побегав, возвращаться домой.

У них последние годы возникла нежная дружба с врачом Антоном Антоновичем Ценовским. Тот был одаренным человеком, музыкальным — хорошо играл на рояле, — немного и пописывал. В художников, в их дружеский кружок он был просто влюблен. Он стал непременным членом всех сборищ. Бывал у Буковецкого и профессор Лазурский, читавший лекции по русской литературе в одесском университете. У него был козырь — в студенческие годы жил он в Ясной Поляне в качестве репетитора сыновей Толстого и хорошо рассказывал об этом периоде своей жизни.

У Буковецкого на все были правила: одних друзей, самых близких, он приглашал каждое воскресенье, других — через воскресенье, а самых далеких еще реже. Ценовский скоро попал в число ежевоскресников, а Лазурский бывал через воскресенье.

Этой ранней весной мы ближе познакомились с Семеном Соломоновичем Юшкевичем. Он был в радостном настроении: Художественный театр принял к постановке его пьесу: «Miserere» — и ему очень хотелось познакомить друзей со своей новинкой.

— В награду за слушание угощу настоящим еврейским обедом с гусиными, куриными пупочками и печеночками, — повторял он со смаком, поднося щепоть правой руки к губам.

Обед был назначен в необычное время, в два часа дня.

Юшкевич встретил нас с милой улыбкой и ввел в тесно заставленную столовую. На пианино лежали раскрытые детские ноты. От всего веяло семейным уютом.

Через минуту вошла жена Юшкевича, Настасья Соломоновна, с прелестной белокурой толстушкой, маленькой Наташей.

В ожидании обеда Настасья Соломоновна занимала меня. Я узнала кое-что из их жизни. Они, оказалось, никогда не расстаются и, когда едут куда-нибудь, всегда возят дочку с собой. Семен Соломонович нежный семьянин, Наташу обожает, много возится с ней, радуется ее успехам: она музыкальна.

За этим экзотическим обедом — обильным, тяжелым, но необыкновенно вкусным — споров не возникало: редкий случай в обществе Юшкевича. Все эти селедочки, пупочки, рассольник, фаршированная щука, курица настраивали на лирически-мирный лад, все расспрашивали хозяина о его детстве, и он с большой охотой повествовал кое-что о себе.

Мы узнали, что он родился и вырос где-то около порта, что портовая жизнь ему знакома в самых мельчайших подробностях, лучше, «чем всякому Горькому», что у его отца, очень сильного человека, «прямо богатыря», была замечательная, на всю Одессу, голубиная охота, что ему хотелось бы написать об этом книгу, что он сам до самозабвения любил, стоя на крыше с шестом в руках, гонять голубей... что из-за них, любви к людям, к базару, он не мог учиться и ему пришлось расстаться с гимназией очень рано... Только впоследствии, в Париже, он окончил медицинский факультет. Рассказал он и о начале своей литературной деятельности: он написал пьесу вместе со своим братом Павлом... Первый рассказ его появился в «Одесском листке».

— Что за счастливый день был, когда мне сказали, что рассказ принят, я как в угаре жил, — сказал он.

— Счастливей, чем теперь, когда пьеса принята Художественным театром? — спросил Нилус.

— И сравнить нельзя! Тогда при одной мысли об этом сердце жгло!

— А трудно писать пьесы? — спросила я.

— Для меня легче, чем рассказы. Я ведь все слышу, а не вижу... Вы как, Иван Алексеевич, вы, вероятно, больше видите?

— Не знаю, мне кажется — я и вижу и слышу.

— А я только слышу, — повторил Юшкевич, — поэтому-то мне так и приятен диалог.

После обеда началось чтение. Слушать после такой обильной и вкусной еды было трудненько, хотя Юшкевич читал хорошо и, странно, читая, не заикался. Пьеса всем понравилась; сам автор, как всегда, когда ему что удавалось, радовался, как ребенок, возлагал на пьесу большие надежды, не скрывал гордости, что увидит ее в Художественном театре, подчеркивал, что он теперь чувствует, что «выходит из быта», что быт в ней только «фон», что вообще быт надоел ему, что пора писать как-то иначе...

Мягкий весенний вечер. После шумного обеда в низке у Кузнецова, после бесконечных споров об Игоре Северянине, которым, с легкой руки Сологуба, стали увлекаться многие и который недавно был в Одессе, мы прогуливались по Николаевскому бульвару. Я шла с Юшкевичем. Вдруг, остановившись, он обратил внимание на мальчишку, идущего колесом.

— Вот моя тема, — вскричал он, — все эти звезды, деревья — для других! Меня интересуют люди и только люди...

Я спросила, помогает ли ему в работе жена и что вообще она делает?

— Зачем ей что-нибудь делать! — воскликнул он, даже остановился. — Я никогда не допущу этого. Я хочу, чтобы она только радовалась и чтобы никаких забот у нее не было. Пусть радуется дочке, солнцу, цветам жизни. Пусть влюбляется! Какая несправедливость! Я до нее любил, был женат, а ее взял в самом расцвете... Я ведь с ней познакомился, когда ей и 14 лет не было, — как только кончила гимназию, так и женился на ней. Я совсем не дал ей пожить на свободе, беззаботной девичьей жизнью...

Я слушала его с большим удивлением, не понимая, шутит ли он или говорит серьезно. Вообще, если охарактеризовать одним словом мое впечатление от Юшкевича, вечно что-то доказывавшего, сыпавшего парадоксами, вызывавшего всех и каждого на словесный турнир, — то это было прежде всего удивление.

Провожать нас собралось довольно много народу, и когда на вокзале ударил второй звонок, мы начали прощаться; Ян уже вскочил в вагон, а я еще продолжала разговаривать, когда незаметно для меня поезд тронулся. И тут проявил свое хладнокровие Ценовский: взяв меня за руку со словами «не торопитесь», он помог мне взобраться на площадку вагона. Сердце у меня

сильно билось, но мы были рады, что все обошлось благополучно.

Опять Волочиск, Вена. И опять было холодно в костюме, а бархатное пальто, по настоянию Яна, было оставлено в чемодане у Куровских. Из Вены из-за погоды мы быстро уехали, направляя свой путь на Зальцбург, в Венецию, но опять погода там была дождливая, и мы, пробыв там два дня, покатили через Милан в Геную.

Милан не произвел на меня большого впечатления, собор не поразил, хотя понравилось то, что он белый. В Генуе провели дня три, ее кладбище столько раз описывали, что о нем я ничего не скажу. Город оригинальный, не похож на другие итальянские города. Конечно, ели макароны, запивая их красным вином, а всякие рыбные блюда — белым. У меня не остались в памяти наши разговоры. Решили ехать в Ниццу. Вероятно, обсуждали, где остановиться на Французской Ривьере. Ян там бывал, и ему было приятно показать мне лазурный берег. Он рассказывал о своем впечатлении от Максима Максимовича Ковалевского, который их с Найденовым принимал в Болье на своей вилле, о Гладких, харьковских помещиках, о Найденове, о его приятии Запада, добродушно вспоминал их ссоры, укоры друг друга в эгоизме. Может быть, вспоминая это, он и решил остановиться в отеле «Континенталь».

В Ниццу мы приехали в сумерках. Сняли комнату и быстро вышли на улицу. Зашли в какой-то ресторан недалеко от сквера, пообедали, Ян был возбужден, пил много вина, выкурил огромную сигару, много говорил. Вернувшись домой довольно поздно, мы быстро легли спать, но среди ночи он проснулся от сильного сердцебиения. Очень испугался. Хотел даже позвать врача, но, приняв какие-то капли, стал успокаиваться. Я вышла на балкон. До чего была хороша эта весенняя ночь, чуть белевшее море, зеленые деревья и какие-то новые запахи цветов, которых я не знала.

Отель стоял в боковой уличке, и мы решили перебраться куда-нибудь в более красивое место. Наутро вышли на набережную. День был солнечный, но все же было прохладно. Поразила своим цветом вода, такой я еще не видала. Ян сказал, что когда он в первый раз приехал в Ниццу, цвет воды поразил и его.

Мы пошли по набережной в западном направлении и дошли до конца ее. Она замыкается высоким лесистым холмом, у подножия его стоит отель «Сюис».

— Вот где приятно будет пожить, — воскликнул Ян, и мы поднялись по небольшой лесенке в отель.

В бюро спросили о цене, пансионе. Нам начали показывать комнату за комнатой. Ян поднимался все выше и выше. И в самом верхнем этаже мы сняли приятную комнату с пансионом. Вид на море и город был чудесный.

На возвратном пути мы прошли через базар, заваленный фруктами, овощами, цветами.

— Вот посмотри, — сказал Ян, указывая на пожилую женщину, в черной соломенной шляпе, в черном вязаном платке, завязанном сзади талии, — ведь это совершенно флоберовская тетушка Фелиситэ!

Мы в те годы увлекались Флобером. Много о нем говорил Ян, восхищаясь его образами, языком, художественностью.

По дороге для очистки совести мы зашли еще в несколько отелей, но уютнее «Сюиса» ничего не нашли.

Когда мы перебрались туда, Ян сказал, что ему здесь так нравится, что он думает здесь пожить и даже писать.

Стол был вкусный, разнообразный, но порции нам показались маленькими.

На следующий день мы отправились на могилу Герцена. Она находится как раз над нашим отелем, который и до сих пор, кажется, существует. Дорога к могиле приятная, идет не то парком, не то лесом. Я очень увлекалась в те годы Герценом, как и всеми его современниками. Ян тоже ценил его, а потому это походило на паломничество, и мы долго молча стояли над могилой.

Дня два погода держалась, а затем зарядил дождь, как это бывает в марте. У Яна начали опять болеть руки, и он сказал:

— Нет, надо подаваться на юг, в Алжир!

В Ницце в те годы во многих магазинах висели всяких цветов нижние шелковые юбки, что меня поразило, мне очень хотелось такую купить.

Прожив в Ницце десять дней, мы уехали в Марсель, чтобы оттуда пойти в Оран.

Марсель поразил криком, сутолокой, движеньем. Пробыли мы там сутки, узнали, что на другой день уходит в Оран пароход, успели подняться на фуникулере к Санта Мадонне, полакомиться буабесом.

Пароход был небольшой. По ответам моряков, будет ли качать, я поняла, что будет, поэтому сразу легла, и Ян обедал один.

В Оране мы пробыли сутки, он нам показался уютным, виллы с террасами напомнили мне дачи под Москвой — как и у нас на террасах, стояли на столах лампы и свечки с колпаками.

Из Орана мы поехали в Блиду, маленькое, все в зелени, местечко. В путеводителе было написано, что там водятся обезьяны, но мы их не видели, зато слышали громкое кваканье лягушек. Пробыв там сутки, поехали в Алжир. Город поразил красотой, мы знали его по Лоти, которого очень ценили и любили. Ян всегда повторял:

— Как он умеет передать душу страны! Редкий писатель!

Здесь мы пробыли несколько дней, ездили в просторном экипаже в Казба, осматривали туземные кварталы, гуляли по набережной, где море печальное, так как смотрит на север.



Церемония открытия в Грассе мемориальной доски на скале у входа, ведущего на виллу «Жаннет», и стелы по пути на виллу «Бельведер» — в пятидесятилетие со времени приезда Бунина в Грасс, сорокалетие получения Нобелевской премии и двадцатилетие со дня его смерти. Слева направо: советский консул в Марселе Владимир Немцов, мэр Грасса Анри де Фонмишель, театральный деятель и пушкинист Сергей Лифарь. На стеле надпись по-французски: «Эта дорога ведет на виллу «Бельведер», где жил в течение шестнадцати лет русский писатель, нобелевский лауреат Иван Бунин. 1870—1953». 27 ноября 1973.

ТО, ЧТО Я ЗАПОМНИЛА О НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

9 ноября. Завтрак. Едим гречневую кашу. Все внутренно волнуемся, но стараемся быть покойными. Телеграмма Кальгрена нарушила наш покой. Он спрашивал, какое подданство у Яна. Ответили: refugié russe*. Мы не знаем, хорошо это или плохо.

Перед завтраком Леня** мне говорит: «Вот теперь чистят фраки-мундиры, готовятся к заседанию, бреются».

За завтраком я: «Давай играть в тотализатор. Ян, ты за кого?» — «Мне кажется, дадут финляндцу, у него много шансов...» — «А вы, Галя?» — «Не знаю... ничего не могу сказать». Я: «А мне кажется, если не русскому, то португальцу скорее».

. . . .

После завтрака все разошлись. Ян сел опять писать. Галя предложила кино. Он ответил неопределенно. Часа полтора писал. Погода была хмурая. К нам пришла femme de ménage.

В синема все же пошли. Леня не пошел, сказав, что будет ждать телеграммы, и спросил, в каком <синема> они будут.

Я велела затопить ванну и около 4 часов взяла ее. Затем легла и стала читать в ожидании, когда молодая новая наша femme de ménage выгладит белье и мы с ней примемся за стирку. Перед этим я помолилась.

Звонок по телефону. Прошу Леню подойти. Через секунду он зовет меня. Беру трубку. Спрашивают: хочу ли я принять телефон из Стокгольма. Тут меня охватывает волнение, главное — говорить через тысячи километров. И когда мне снова звонят и я сквозь шум, гул, какие-то голоса улавливаю отдельные слова:

«Votre mari, prix Nobel, voudrais parler à Mr. Bounine...»*** — то моя рука начинает ходить ходуном... Я прошу Леню взять второй «слушатель». И говорю:

«Mon mari est sorti, dans une petite demi-heure il va rentrer»**** — и мы опять оба слышим, что это из газеты, но название не удерживается в памяти, и опять отдельные слова долетают до нас из далекого Стокгольма: «votre mari», «prix Nobel...»

Леня летит в синема. Денег не берет: «Так пройду»... И я остаюсь одна, и двадцать минут проходят для меня в крайне напряженном волнении. Спускаюсь на кухню, где гладит хорошенькая, свеженькая, только что вышедшая замуж женщина. Я сообщаю ей, что вот очень важное событие, может быть, случилось, но я еще не уверена. И вдруг меня охватывает беспокойство — а вдруг это кто-нибудь подшутил... И я бросаюсь

---

* Русский изгнанник.

** Зуров Л. Ф., писатель.

*** Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным.

**** Мой муж вышел, не более чем через полчаса возвратится.

к телефону и спрашиваю, правда ли, что нам звонили из Стокгольма? Со станции удивленно: «Да ведь вы не приняли его <телефонный разговор>». Я начинаю вывертываться, говорить, что это была не я, и я только что пришла домой, и мне сообщили, что был звонок, — это очень для нас важно. «Да, из Стокгольма». — «Ну, думаю, из Стокгольма шутить не станут — дорого!» И я успокоилась, сошла в кабинет и помолилась.

. . . .

Опять звонок. Посылаю за Жозефом, не надеясь на свой слух — он стал у меня портиться.

Звонок из Копенгагена. Жозеф объясняет, что он друг наш, что Mr. Bounine va rentrer dans un petit quart d'heure, M-me Bounine у телефона. И я даю впервые по телефону в Данию интервью на французском языке — это волнует меня больше, чем сама премия. Спрашивают, давно ли во Франции? Когда покинули Россию? Приедем ли в Стокгольм, и поеду ли я?..

Слышу голоса внизу, говорю: «Mr. Bounine est rentré» — и бросаюсь к лестнице, по которой подымается Ян.

— Поздравляю тебя, — говорю я, целуя, — иди к телефону.

— Я еще не верю...

Он вернулся с Леней, Галя пошла к сапожнику, вспомнив, что я без башмаков, не могу выйти. Леня мне рассказал: «Вошел в зрительный зал, пропустили даром. Галя обернулась и замерла. Иван Алексеевич смотрел на сцену. Я подошел. Наклонился, поцеловал и сказал: «Поздравляю. Нобелевская премия ваша!..» Дорóгой я ему все рассказал. Он был спокоен».

Вернулась Галя с башмаками. Телеграмма от Шассена и Академии. Шассен пишет — Академия спрашивает, принимает ли Ян премию?

Телефон опять из Стокгольма. Отвечает Галя, как лучше всех слышащая.

Тут ссора. Я хочу послать телеграмму Боре, он просил его известить немедленно. Ян же говорит, что он сам напишет, и не пишет, а сейчас уходит femme de ménage, которая может и бросить ее. Но ведь у нас всегда все усложняется, и самое простое превращается в самое сложное.

Но все же я добилась, и телеграмму Ян написал. У Яна нет совершенно чувства необходимости быстроты. Бунинское недоверие, раздумывание, боязнь попасть впросак...

После еще одного телефона Ян ушел гулять: «Хочу побыть один». Мы остались втроем, сидя на моей постели у телефона. И опять из Стокгольма — русский женский голос, как потом оказалось, M-me Brosset, жена нашего бывшего консула в Стокгольме. Слышно было хорошо, и я ей ответила почти на все ее вопросы. Некоторые оставила Яну.

Жозеф спросил нас, нужно ли на завтра кашу, и мы все трое хором радостно ответили: non, non, non!!! Это был самый радостный момент.

Звонок у двери. Опять телеграммы и интервьюер. Схожу вниз в столовую. Высокий швед. Прошу садиться. Сама опускаюсь в кресло. Он профессор гимнастики. Он подробно расспрашивал о Яне, о его жизни с детства. Я вкратце рассказывала. И когда дошла до его жизни в Полтаве, он оживился. Стал расспрашивать, но в этот момент вернулся Ян из своей одинокой прогулки. И когда услышал слово Полтава, заспешил, сказав, что был там проездом. Тут я вспомнила о полтавском бое... и тоже постаралась перевести разговор. Но он сказал, что очень интересуется этим местом... Сидел долго. Просил книгу, портрет, хотя бы маленькую фотографию. Но Ян не дал. Он вообще както недоверчиво отнесся. И я поняла, что он как-то перестал доверять моему чутью. Я сказала, что мы вышлем фотографию и книгу.

Обед очень скромный, но с шампанским и хорошим красным вином. Жозеф сказал спич — очень хорошо!

Во время обеда — звонки, телеграммы. Звонил из «Последних Новостей» Алданов и другие.

В девятом часу Галя с Яном ушли. Я после ванны боялась, да и звонки нужно было принимать, могли быть иностранные. Звонили и Аминад, и Рощин, и из Стокгольма, и из других столиц. А Яна на Mont-Fleuri поймали из двух газет ниццских, снимали и расспрашивали. Галя направила разговор на литературную тему. Когда они вернулись, то снова звонки и снова интервью и по-русски и по-французски. И из газет, и от друзей.

К одиннадцати часам все кончилось. Легли спать. Но едва ли вилла Бельведер хорошо спала в эту ночь. Всякий думал свои думы. Кончилась часть нашей жизни, очень тихой, бедной, но чистой и незаметной.



ПРИМЕЧАНИЯ

Жизнь Бунина

Издано в Париже в 1958 г. в количестве пятисот экземпляров. Печатается этот текст. Изменение в текст внесено в главе второй, части 7-й: исключено двадцать семь строк, в которых дано неточное изложение фактов; они заменены письмом Бунина к родным 13 апреля 1889 г. Об этом просила В. Н. Муромцева-Бунина в письме 17 марта 1960 г. «Мне кажется, — писала она, — что и в этом месте можно внести поправки. Может быть, вы сами это сделаете. Может быть, все мое выкинуть и напечатать его письмо?» (Письмо опубликовано в сб. «На родной земле». Орел, 1958. С. 274—276).

В главе пятой, части 6-й исправлены, согласно указанию Веры Николаевны, стихи; вместо

Я не боюся, господа,
Чтобы заела нас Среда,
Но я боюсь другой беды,
Чтоб не пропить бы нам Среды... —

печатаем:

Я не боюся, господа,
Что может нас заесть «Среда»,
Но я боюсь другой беды,
Вот не пропить бы нам «Среды»!

В. Н. Бунина надеялась на переиздание «Жизни Бунина» и хотела внести в нее некоторые уточнения. Она писала М. К. Куприной-Иорданской 5 января 1959 г. из Парижа:

«Дорогая Марья Карловна 〈...〉 Меня очень огорчило, что я не так написала о вас. Сообщите мне все неверности, и я все исправлю 〈...〉 Если моя книга будет нужна, то ее переиздадут, и я все сделаю, как вы считаете правильным. Я больше всего боюсь лжи и неверностей. В книге тот период вашей жизни, о котором я знала только по рассказам и, конечно, могла напутать, но, слава Богу, вы живы, и это можно исправить.

Иван Алексеевич очень ценил Вас и всегда с восхищением говорил о вас, а потому мне особенно тяжело, что я напутала. Помню, как раз когда было письмо из Финляндии, он вместе с Александром Ивановичем восхищались вашим умом. И много смеялись, вспоминая вашу с ними общую молодость 〈...〉

Обнимаю и целую. В. Бунина».

Мария Карловна ответила 28 февраля. Основная неточность в воспоминаниях Веры Николаевны, по ее словам, состоит в том, что никакого «предсмертного волеизлияния», касающегося ее и А. И. Куприна, Александра Аркадьевна Давыдова — приемной дочерью которой Мария Карловна являлась — «высказать не могла... Она считала Куприна молодым, подающим надежды беллетристом,

но никогда не видела в нем большого таланта, который когда-либо выдвинется в первые ряды. Кроме того, Александр Иванович, став моим женихом, раздражал ее своими часто резкими суждениями относительно общепризнанных в то время литературных авторитетов и художественных дарований. В частности, между ними произошел резкий обмен мнениями, касающийся А. П. Чехова. Поэтому она была настроена против моего брака с Куприным. И если бы не влияние ее любимой приятельницы, Людмилы Ивановны Елпатьевской, которая настраивала Александру Аркадьевну, особенно во время ее болезни, в пользу Куприна, то этот брак не состоялся бы... Мнение о том, что Куприн был желательным членом редакции такого старого журнала как «Мир Божий» и мог бы способствовать его успеху, было в то время нелепым 〈...〉

На стр. 134 написано: «Вскоре после похорон Александры Аркадьевны Муся стала невестой Куприна, а затем они повенчались». Сообщаю, что я венчалась с А. И. Куприным 3-го февраля 1902 года. Александра Аркадьевна умерла 24 февраля 1902 года, то есть спустя три недели после моей свадьбы. На стр. 152 вы приводите два эпизода. Они действительно имели место в моей жизни, но несколько при иных обстоятельствах (существенного значения это, конечно, не имеет).

К первому эпизоду. В 1907 году в театре Комиссаржевской шло представление «Жизни человека» Л. Андреева. Федор Дмитриевич Батюшков и я поехали в театр. Куприн не пожелал ехать с нами, так как ему произведения Леонида Андреева вообще не нравились. Когда я вернулась из театра, то сидевший у Куприна Бунин спросил меня с иронией:

— Ну как, вам пьеса понравилась? Правда, что смерть сидит в уголке и кушает бутерброд с сыром?

На это я совершенно серьезно ответила, что вещь мне понравилась. Мой ответ взбесил Куприна, он схватил со стола спички и поджег на мне платье, в котором я была в театре.

Ко второму эпизоду. В один из вечеров мы ждали к обеду гостей. Стол был накрыт на двенадцать персон. Случайно пришел и Сергеев-Ценский. Нужно сказать, что Сергеев-Ценский и Куприн большой «симпатии» друг к другу не чувствовали. Александр Иванович читал в этот вечер «Штабс-капитана Рыбникова». Сергееву-Ценскому рассказ показался незаконченным, половинчатым, и он, показывая на стол, сказал: «Это все равно, если бы вы подали к столу только хвост или одну голову от селедки». Куприн пришел в бешенство и свернул всю сервировку на пол. 〈...〉

Еще раз сердечно благодарю за книгу... Целую вас очень крепко. Не забывайте меня. Ваша М. Куприна».

В. Н. Бунина писала 30 марта 1959 г.:

«Дорогая Марья Карловна. 〈...〉 Мне очень приятно, что я могу иногда перекидываться с вами письмами. 〈...〉 Я не могу себе простить, что я, написав о вас, не послала вам этих выписок, правда, я думала, что вы живете в северной столице, а не в Москве; если бы я знала, что вы в Москве, я могла бы попросить Бабореко снести вам эти страницы... Относительно поджога платья, это, конечно, я запамятовала, меня так поразил самый факт, что я забыла за пятьдесят лет подробности, но ведь и тут ревность. 〈...〉 Обнимаю и целую вас со всей нежностью, желаю здоровья и радостей. Как совсем поправитесь, напишите и о себе. Еще раз целую. Ваша В. Бунина».

В письме 17 августа 1960 г. В. Н. Бунина говорит: «Милая, дорогая Марья Карловна. ⟨...⟩ Понемногу «беседую с памятью». Моя следующая книга называется «Беседы с памятью». ⟨...⟩ Буду надеяться, что в этой книге я не наделаю промахов, как в прошлой. Я написала Бабореко, если его план осуществится и ему удастся устроить «Жизнь Бунина» у вас, то я мгновенно вышлю ему все поправки, которые вы сделали в моей книге, и прошу его показать эти места вам. «Беседы» тоже не обошлись без вас, но в них я едва касаюсь и пишу о моем впечатлении о вас».

«Беседы с памятью» Вера Николаевна хотела довести до 1918 года. «Жизнь Бунина» я предлагал издательству «Советский писатель». Л. Ф. Зуров сообщал в письме из Парижа 26 апреля 1961 г.: «Вера Николаевна долго верила, что «Жизнь Бунина» в Советском Союзе переиздадут. Эта надежда ей помогала работать над воспоминаниями».

Из моих хлопот тогда ничего не вышло.

Мария Карловна в переписке с Верой Николаевной касается также воспоминаний Людмилы Сергеевны Елпатьевской (в замужестве Врангель), которые Вера Николаевна цитирует: «...никаких вечеров, никаких сборов молодежи у нас в доме никогда не происходило, — писала она 20 сентября 1960 г., — были по воскресеньям журфиксы Александры Аркадьевны, на которых я, конечно, могла присутствовать, но отнюдь не мои подруги или сыновья Михайловского — гимназисты старших классов. Всю эту компанию гимназической молодежи Лёдя могла видеть только в доме известной переводчицы Э. К. Пименовой, в то время гражданской жены Н. К. Михайловского. Пименовы и Михайловские жили в одном доме, на одной лестничной клетке, поэтому сборища, о которых вспоминает Лёдя, происходили иногда у Михайловских, а главным образом у Пименовых. Марксистов в то время Лёдя могла видеть только у Лидии Карловны Туган-Барановской, так как в доме моей матери бывал только один марксист — ее зять М. И. Туган-Барановский (правда, очень редко заходил Струве). ⟨...⟩ Портрет Гейне, о котором вспоминает Лёдя, принадлежал Лидии Карловне. Она приобрела его за границей. После ее смерти этот портрет перешел ко мне по наследству. Он висел над креслом, в котором Иван Алексеевич действительно любил сидеть. По его словам, он садился сюда нарочно, чтобы подчеркнуть свое сходство в профиль с Гейне». (Письма В. Н. Буниной и М. К. Куприной хранятся у ее племянницы Лидии Иосифовны Давыдовой, которой я глубоко признателен за выписки из автографов.)

В «Жизнь Бунина» внесены, кроме оговоренных выше, следующие редакторские изменения: поездку Бунина в Ревель обозначаем вместо ошибочной даты 1937 г. 1938 годом; пение швейцарца, которое Бунин слышал во время путешествия 1900 г., именуем как в автографе его письма: пел «иоделем». Ошибка в нашей публикации этого письма (пел «иодельн») перешла в книгу Веры Николаевны.

Стр. 26 Неточности в цитировании дневниковой записи Бунина исправляем по ксерокопии с автографа, полученной от доктора Милицы Эдуардовны Грин. В автографе читаем:

«23.X.40 (10.X.40 по старому стилю), 11$^1/_2$ ч. вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукиванье капель. Иногда все сотрясающие

раскаты грома. Лежал читал «Несмертельного Голована» Лескова, потом выпил полстаканчика водки.

70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянской улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного и пройдут они очень быстро, — давно ли, например, была осень в Beausoleil, где мы жили на этой горе, в этом высоком доме («Villa Dominante»)! А прошло уже два года.

Проснулся поздно (в 9 ч.), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь. Все-таки мое рождение немного праздновалось — баранье плечо, вино (Марга подарила...). Галина переписывала «Таню», которую я кончил вчера в 5 ч. вечера...»

Дом, в котором родился Бунин, сейчас значится за № 3 по проспекту Революции (бывшая Большая Дворянская).

Мать — Людмила Александровна Бунина, рожд. Чубарова (род., по-видимому, в 1835 г., умерла в 1910 г.). Даты жизни братьев Ивана Алексеевича — Юлий Алексеевич Бунин: 1857—1921; Евгений Алексеевич: 1858 — нач. 1930-х г.

Стр. 27 *Пушешниковы.* — Софья Николаевна (?—1942), с 1925-го по 1939 г. жила в Москве у сына Николая Алексеевича (1882—1939), после его смерти уехала в Орел к сыну Петру Алексеевичу (?—1945), который был зубным врачом. Николай Алексеевич — переводчик Киплинга, Голсуорси, Дж. Лондона и Тагора. Старший из братьев — Дмитрий Алексеевич (?—1954), юрист.

Стр. 30 *Мария* Алексеевна Бунина, в замужестве — Ласкаржевская (1873—1930), ее муж — Иосиф Адамович Ласкаржевский, железнодорожный машинист.

Стр. 41 *...день отъезда в Елец.* — В гимназию Ваня Бунин поступил в 1881 г., учился около четырех с половиной лет, оставил учебу в 1886 г.

Стр. 48 *Юлию пришлось скрываться от полиции.* — Арестован был в 1884 г. и привезен в елецкую, а затем в харьковскую тюрьму. В тюрьме пробыл около года, а потом был выслан под надзор полиции в Озерки и прожил там до осени 1888 г.

Стр. 58 *...потребность любви.* — Лермонтов писал о своей детской влюбленности: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки». Эти слова невольно приходят на память, когда читаешь детские дневники Бунина.

Стр. 89 *Назаров* Егор Иванович (1848 или 1849—1900) — поэт, прозаик, краевед. Бунин познакомился с ним в Ельце «в базарном трактире» в 1880-е г. Назаров послужил прототипом Кузьмы Красова в его «Деревне» и прототипом Балавина в «Жизни Арсеньева», — здесь Бунин цитирует его стихи.

Стр. 108 Арсений Николаевич *Бибиков* (1873—1927) — актер и киноактер, друг Бунина; автор стихотворений и рассказов, печатавшихся в журналах «Юная Россия», «Наш журнал», член Московского литературно-художественного кружка.

Стр. 153 Александр Митрофанович *Федоров* (1868—1949) — романист, поэт и драматург, друг Бунина; эмигрировал из Одессы «месяцем раньше» Бунина (см. газ. «Новая Заря». София, 1933. 16 декабря); до конца своих дней жил в Болгарии. Жена Лидия Карловна Федорова осталась в Одессе, была незаконно репрессирована и погибла в 1937 г.: умерла в тюрьме или была расстреляна. Сын Федоровых Виктор, о котором вспоминает Вера Николаевна, в начале

1920-х гг. бежал в Бухарест; во время немецкой оккупации приезжал в Одессу и работал театральным художником. После разгрома немцев советскими войсками был арестован и погиб в лагере. О его судьбе оставила записки артистка Дарья Васильевна Зубова, которая была вместе с ним в лагере.

Стр. 161 *Екатерина Михайловна* Лопатина (1865—1935), автор повести «В большом гнезде», которую редактировал Бунин — сильно сокращал. Дневник Лопатиной хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом): Р. I, Оп. 15, № 137.

Стр. 173 *Бэба* — Павел Николаевич Цакни. Бунин встречался с ним в эмиграции. Он писал Б. К. Зайцеву 12 декабря 1939 г.:

«...Я непрерывно томился тайным желанием куда-то ехать, кого-то встретить — и вместе с тем чувством, что нигде ничего и никого не встретишь, — давно, давно знакомым чувством, — и потому по целым дням все читал да читал, как уже давным-давно только это и делаю. А читаю я все старые книги, больше всего старые журналы — 50-х, 60-х, 70-х годов — из библиотеки при старой ниццской церкви (где, к дикому своему изумлению, внезапно наткнулся на Павла Николаевича Цакни, брата моей первой жены, которого я не видал лет сто с Одессы и который оказался теперь уже не бебой гимназистом, а старичком, живущим *на сто* франков в месяц, кои он получает, за заведование этой библиотекой, очень милым, очень не глупым — и оборванным и грязным так, как может быть оборван какой-нибудь из тех нищих, что по ночам бродили по Парижу с фонариком, выбирая всякую мерзость из ордюрных ящиков)». (Цитирую по публикации профессора Ватерлооского университета А. Звеерса).

Стр. 176 Евгений Иосифович *Буковецкий* (1866—1948) — живописец, жанрист и портретист. В его особняке в Одессе на Княжеской, 27 (ныне ул. Баранова, 27) Бунин и Вера Николаевна жили с лета 1918 г. до 26 января 1920 г. ст. ст., откуда и эмигрировали. На этом доме установлена мемориальная доска в память Бунина.

Владимир Павлович Куровский (1869—1915) — художник. О нем см.: Афанасьев В. А. Товариство пiвденно-росiйських художникiв». Киев. 1961. С. 153; письмо И. А. Бунина Ю. А. Бунину: Новый мир. 1956. № 10 — о путешествии по Швейцарии.

Стр. 177 *Петр Александрович Нилус* (1869—1943) — художник и писатель. О нем см. «Письма Бунина Нилусу» в журн. «Русская литература». 1979 . № 2; а также «Автобиографическую заметку» П. Нилуса в газ. «Одесские новости». 1915. № 9736. 13 июня.

Борис Исаакович *Эгиз* (1869—1946) — художник, писал пейзажи, портреты, работал в области жанра; с 1922 г. жил в Стамбуле, с 1938-го — в Вильнюсе. С 1944 г. член Союза советских художников Литовской ССР.

Стр. 180 *Николай Петрович Цакни́* (?—1904); о нем см.: Тимофеев Лев. Воспоминания. Издание «Центрархива».

Стр. 184 Николай Дмитриевич *Телешов* (1867—1957) — автор рассказов и книги мемуаров «Записки писателя» (М., 1948), которую читал Бунин и сделал на полях страниц многие замечания, — прислала для передачи в архив д-р М. Э. Грин.

Иван Алексеевич *Белоусов* (1863—1930); письма Бунина к нему находятся в ЦГАЛИ.

Стр. 186 Василий Михайлович *Михеев* (1859—1908) — беллетрист, драматург, поэт и журналист.

Сергей Сергеевич *Голоушев* (Сергей Глаголь) (1854—1920) — художник и художественный критик.

Елена Андреевна Карзинкина (1861—1943) — художница, сестра одного из совладельцев, а затем директора торгово-промышленного товарищества Ярославской Большой мануфактуры.

Степан Гаврилович *Скиталец* (Петров) (1869—1941) — поэт и прозаик, член литературного кружка «Среда».

Евгений Николаевич *Чириков* (1864—1932) — рассказчик, романист, драматург, публицист.

Николай Георгиевич *Гарин-Михайловский* (1852—1906) — автор рассказов и тетралогии: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».

Стр. 199 Лидия Алексеевна *Авилова* (1864—1943) — писательница. Бунин с нею встречался и переписывался, высоко ее ценил. Он писал, что воспоминания Авиловой о Чехове, «написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом», были для него открытием и помогли лучше понять присущие Чехову оригинальные черты. «Прочтя ее воспоминания, — пишет Бунин, — я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось». Он говорил: «Она принадлежала к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах...» (цит. по: Литературное наследство. Т. 64. С. 402). Сочинения ее изданы: Авилова Л. А. Рассказы. Воспоминания. М., 1984.

Стр. 201 *В Москве Бунин часто захаживал к Чеховым на Спиридоновку...* — Об одном из посещений Чехова Бунин рассказывал Г. В. Адамовичу. Георгий Викторович писал автору данных примечаний 16 июня 1965 г.:

«Оратором он 〈Бунин〉 был не то что «плохим», а просто никаким. Никогда никаких речей с эстрады не произносил, в лучшем случае читал только заранее приготовленные заметки. Но рассказчик он был удивительный, неподражаемый, в особенности, когда подтрунивал. Впрочем, над кем он не подтрунивал! Даже о Чехове иногда говорил чуть-чуть насмешливо (но не как о писателе). Мне врезался в память его рассказ, как ночью Чехов ждал возвращения жены Книппер, из театра, — и ждал до трех часов! Если вы этого не знаете, я вам как-нибудь это напишу».

Написал в письме 16 июля 1965:

«Рассказ Бунина о Чехове и Книппер приблизительно таков. Я его слышал не раз.

Дело было в Москве, когда Чехов был уже очень болен. Книппер вечером играла в театре и просила Бунина посидеть с Чеховым до ее возвращения. За ней заехал Немирович-Данченко, нарядный, во фраке, очень любезный и вежливый. Чехов на него косился не совсем дружелюбно.

До двенадцати ночи все шло хорошо. Чехов смотрел на часы и все повторял: «Подождите еще минутку, сейчас она вернется».

Час ночи, два, три. Книппер нет. Чехов сидит бледный, хмурый, все смотрит на часы. Наконец, в четвертом часу она является:

— Дорогой, милый, ну что же ты меня ждешь? Зачем? Я была уверена, что ты лег... И вы здесь (к Бунину), ну, как это мило! Понимаете, затеяли репетицию, я рвалась домой, но нельзя было...

И так далее. Чехов будто бы в ответ молчал, стиснув зубы, опустив голову. И деталь, может быть, выдуманная Буниным: от Книппер пахло табачным дымом вместе с духами».

Это было начало декабря 1903 г., ежедневно по вечерам, вспоминал Бунин, он «заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой».

Стр. 207 *...приехали «молодые» Андреевы.* — Л. Н. Андреев с женой Александрой Михайловной Велигорской приезжал в Одессу 25 февраля 1902 г. Бунин рассказал об этом приезде Андреевых в письме к В. Л. Андрееву 7 января 1953 г.:

«Вадим Леонидович, полвека прошло с тех пор, как я узнал вашу матушку и потом изредка встречался с ней: что же я могу о ней сказать вам? Более или менее живо вспоминаю сейчас ее в Одессе, в начале февраля 1902 года, — думаю, что не ошибаюсь насчет месяца и года, — в это время она, кажется, только что повенчалась с Леонидом и молодые, совершая свое брачное путешествие в Крым, заехали по пути ко мне, гостившему тогда у своего друга, художника Куровского, который жил в большом старинном доме на Софиевской улице, будучи хранителем художественного городского музея, помещавшегося в этом доме. Мы их угощали тогда всякими одесскими греческими кушаньями, возили на берег моря, на места наиболее красивые среди одесских летних дач, а потом они расписались в «Почетной» книге музея:

Александра Андреева
Леонид Велигорский

и Леонид, помню, был очень доволен этой своей шуткой. А впечатление Александра Михайловна произвела на меня очень приятное: небольшая, изящная, темноглазая, благородно сдержанная в обращении, с милой сердечной улыбкой, когда нужно было улыбнуться, а это нужно было нередко: Леонид много острил, был все время очень весело возбужден. Сестра Александры Михайловны была, вы знаете, замужем за доктором Филиппом ⟨Александровичем⟩ Добровым, которого я, признаться, не очень любил, и совершенно непохожа на Александру Михайловну: крупная, высокая — и очень простосердечная, простая, легкая в обращении... У Добровых я очень мало бывал» (Андреев Вадим. Повесть о детстве. М., 1963. С. 148—149).

Стр. 210 Сергей Александрович *Найденов* (1868—1922) — драматург.

Стр. 258 *...Я познакомилась... с... Буниным.* — Об этом знакомстве и о дружбе Веры Николаевны с Верой Алексеевной Орешниковой вспоминает Б. К. Зайцев (1881—1972):

«С Верой Орешниковой, моей будущей женой, Вера Муромцева познакомилась и сошлась дружески в незапамятные времена — конец 19 века, когда и я еще с Верой Орешниковой знаком не был. Дружба эта, несмотря на полную противоположность характеров, продолжалась всю жизнь. Из времен доисторических дошли отдельные лишь сведения. Например: Вера Орешникова обучала некоторое время подругу французскому языку. Второе известие: во времена тоже отчасти легендарные, но уже когда Вера Орешникова переменилась в Веру Зайцеву, Лидия Федоровна (мать В. Н. Муромцевой. — *А. Б.*) выгнала эту будущую Зайцеву из дома за то, что та читала Гамсуна и Бальмонта, водилась с «декадентами», вообще с юной богемой литературной того времени (начало на-

шего века). Но вскоре и помирились, обнимались, рыдали, все как полагается по Достоевскому.

Сердце же материнское все-таки угадало. Чрез мою Веру степенная Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светлопрозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница Высших Женских Курсов Герье, неторопливая и основательная, соприкоснулась с совсем иным миром. Начинающие писатели и поэты «нового направления», молодые художники, литературно-артистические барышни и дамы, несколько полоумные, Литературный Кружок (клуб писателей, актеров, музыкантов, игроков) с лекциями Бальмонта, Брюсова, Волошина — мало это походило на курсы Герье. В 1906 году мы жили уже с бывшей Верой Орешниковой вместе, снимали квартиру на Спиридоновке в доме Армянских. Там бывали у нас небольшие литературные вечера. Молодежь, участники журнальчика нашего «Зори». Кроме моих сотоварищей и сверстников — П. Муратова, Александра Койранского, Стражева, Муни, Александра Брюсова (брата известного поэта) и других, появлялись иногда и старшие — Вересаев, Бунин. Тут-то вот, у своей подруги, и встретилась Вера Муромцева с Иваном Буниным. Произошло это 4 ноября 1906 года...

Было ему тогда тридцать шесть лет — изящный, худенький, с острой бородкой, боковым пробором, читал у нас тогда стихи свои и зачитал Веру.

А в этой сини четко стал
Черно-зеленый конус ели
И острый Сириус блистал.

Она стихов не писала, литературно-богемской барышней не была, но нежным своим профилем, прекрасными глазами тоже его заполонила. Дело пошло быстро и решительно. Весной 1907 года мы с женой уехали в Париж и Италию, а Вера Муромцева с Иваном в Палестину.

...«утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое далекое странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа».

Так писал он позже в прелестной страничке, названной им «Роза Иерихона», которою всю жизнь по праву будет гордиться Вера Николаевна Бунина — на чьих руках через сорок шесть лет скончался в Париже Иван Алексеевич Бунин («спутницею до гроба» — верно угадал).

Если за Гамсуна могла Лидия Федоровна устроить бенефис моей Вере, то что было с ней при известии, что Иван «умыкнул» из дворянской благообразной семьи ее дочь, — можно себе представить. Но этого я не видел. И даже не знаю ничего точно — просто не слышал. В нашей же тогдашней, литературно-богемской, юной среде на «такое» смотрели спокойно, ну роман и роман, значит — серьезный с обеих сторон, а дальше никому нет дела. Жизнь продолжается. Венчаться пока нельзя — Бунин не разведен с первой женой (фактически разошлись давно).

А потом, позже, все узаконено (венчались они в 1922 г. в Париже.—*А. Б.*). Вера из Муромцевой стала Буниной. Незаконная, как и позже законная, по всем

путям жизни сопровождала его, и на всех путях оставалась верной моей Вере, бывшей наставнице по французскому языку.

Жизнь Бунины вели кочевую, бродячую. Иван не мог долго сидеть на месте, но когда оседали в Москве, все же жили у Муромцевых, в Скатертном переулке — в квартире скромной, но украшенной благообразием и смиренностью Николая Андреевича, страдательного залога. Когда являлись Иван и Вера, походило на вооруженный нейтралитет. Лидия Федоровна едва терпела Ивана. Вряд ли он ее обожал. В любой момент могла и перестрелка начаться...

И началось пестрое бунинское существование, с успехами литературно академическими... с юбилеями, странствиями — то опять Азия, Цейлон, то Капри с Максимом Горьким... то чтение на «Среде» московской или Одесса с тамошними приятелями...

Началась война 1914 года. Моя Вера со мной прочно засела в имении моего отца, тульском. Бунины где-то «в пространстве», а потом революция; в некий ее момент мы снова в Москве, в 22—23 гг. в Берлине. Бунины в Париже, а в начале 24 года в Париже и мы...

И в Париже Ивану не сидится. Выбирает он себе тихое пристанище — Грасс, горный городок над Канн, в Провансе. Там они проводят половину года, а на зиму в Париж. И чем дальше идет время, тем сильнее в Грассе укрепляются (даже на зиму). Городок, правда, очаровательный и скромная их вилла (наемная, конечно) «Бельведер», с незабываемым видом на далекое море, на горы Эстерель направо, на холмы в сторону Ниццы налево, и южное солнце, и цикады, и поджарый, изящный, теперь седовато-суховатый Иван, и Вера — уже не юная девушка московская, Муромцева, а вроде матроны и хозяйки дома, по утрам совещающаяся с провансальцем поваром Жозефом (Тартарен из Тараскона) — все это незабываемо. Вере теперь много хлопот. На вилле живут ныне четверо — кроме старших два писателя молодых — Леонид Зуров и Галина Кузнецова. Иногда и аз грешный гостил» (газ. «Русская мысль». Париж. 1967. № 2569. 14 января).

Беседы с памятью

Опубликованы в «Новом журнале». Нью-Йорк. 1960—1961: «Наши встречи» — 1960, кн. 59; «Новая жизнь»—1960, кн. 60; «Путь до святой земли»; «Палестина» — 1960, кн. 62; «Сирия, Галилея, Египет» — журн. «Грани». 1960. № 47, 48; «Встречи с писателями в 1907—1908 гг.» — 1961, кн. 63; «Италия» — 1961, кн. 64; «Возвращение домой» — журн. «Грани». 1962. № 52; «1910 год» — «Грани». 1963. № 53; «То, что я запомнила о Нобелевской премии» — «Новый журнал». Нью-Йорк. 1962. кн. 67. В газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк. 1955) напечатано: «Первые впечатления от Васильевского» — 7 августа; «У Буниных в Ефремове» и «Будни в Васильевском» — 28 августа. Глава «Глотово»— машинопись, с правкой автора, хранится в ЦГАЛИ.

«Беседы с памятью» печатаются по указанным источникам.

Стр. 262 Эпиграф — из Е. А. Баратынского — «Отрывки из поэмы «Воспоминания» (1820).

С. Кречетов (Сергей Александрович Соколов, 1878—1936) — поэт, владелец

издательства «Гриф». «Перевал» — журнал декадентского направления (1906—1907).

Павел Павлович *Муратов* (1881—1951) — искусствовед, переводчик, романист; автор книги «Образы Италии» (т. 1—2, 1911—1912; полное издание — т. 1—3. Берлин, 1924).

Александр Арнольдович *Койранский* (1884—?) — художник и поэт, печатался в альманахе «Гриф».

А. Диесперов — участник журнала «Перевал».

Муни (Самуил Викторович Кисин; 1888—?) — поэт, печатался в «Перевале».

Борис Александрович *Гривцов* (1885—1950) — литературовед, искусствовед, переводчик.

Стр. 263 Виктор Иванович *Стражев* (1879—1950) — поэт, автор учебников для средней школы.

Владислав Фелицианович *Ходасевич* (1886—1939) — поэт и литературный критик; Г. В. Адамович о нем писал:

«Деятельность покойного поэта началась лет 35 тому назад в Москве, в окружении Брюсова, расцвет же его творчества связан с первыми годами революции, когда Ходасевич создал самые замечательные свои стихи, вошедшие в сборник «Тяжелая лира». Многие из них наверно «останутся» в нашей литературе, наряду с лучшими образцами русской поэзии двадцатого века.

С именем Ходасевича связан культ и изучение Пушкина. Пушкин действительно был для него «нашим всем», по выражению Достоевского, — и чем больше он в Пушкина вчитывался, тем сильнее склонен был оценивать как бы «сквозь Пушкина» все литературные явления. Именно поэтому суждения его имели особый вес: в них виден был строгий ум в союзе со строгим вкусом, — соединение редкое в наши дни» (газ. «Последние новости». Париж. 1939. № 6653. 15 июня).

Николай Ефимович *Поярков* (1877—1918) — поэт и литературный критик.

Стр. 265 Дмитрий Николаевич Муромцев, юрист. Умер в Москве, по-видимому в 1936 г., — покончил самоубийством. Письма В. Н. Буниной к нему — в Музее Тургенева в Орле.

Стр. 268 Алексей Карпович *Дживелегов* (1875—1952) — историк, литературовед, театровед.

Стр. 269 Зоя Евгеньевна *Шрейдер* — жена художника Шрейдера.

Оля и Надя *Иловайские* — дочери историка Д. И. Иловайского. О них рассказала Марина Цветаева в воспоминаниях «Дом у старого Пимена» (Москва. 1966. № 7). О семье Иловайских см. также: Муромцева В. У старого Пимена. — Газ. «Россия и славянство». Париж. 1931. № 116. 14 февраля.

Стр. 270 Павел Николаевич Муромцев; потом он стал врачом.

Стр. 277 *Петр Николаевич* Бунин, брат С. Н. Пушешниковой, двоюродный брат Бунина.

Стр. 281 С. П. *Мельгунов* (1880—1957) — редактор журнала «Голос минувшего»; после Октябрьской революции — эмигрант.

Стр. 285 Федор Дмитриевич *Батюшков* (1857—1920) — критик и историк литературы; в 1902—1906 гг. редактор журнала «Мир божий».

Стр. 286 Сын Бунина от первого брака Николай род. 30 августа 1900 г. в Одессе, умер 16 января 1905 г. там же.

Стр. 288 Софья Петровна *Кувшинникова* (1847—1907) — художница, приятельница И. И. Левитана.

А. Е. *Грузинский* (1858—1930) — литературовед, этнограф и педагог, член «Среды», в 1909—1930 гг. председатель Общества любителей российской словесности.

Евгений Петрович *Гославский* — писатель, участник «Среды».

Николай Иванович *Тимковский* (1863—1922) — писатель.

Н. Д. Телешов писал: на «Среде» «были в ходу одно время всякие прозвища», которые давались «из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков... Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышанье, и никогда «за спиной»... Горький за своих босяков и героев «Дна» получил адрес знаменитой московской площади «Хитровки», покрытой ночлежками и притонами; Шаляпин был «Разгуляй». Старший Бунин — Юлий, работавший всю жизнь по редакциям, был «Старо-Газетный переулок»; младший — Иван Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка»... Над этими адресами хохотал и потешался А. П. Чехов» (Телешов Н. Д. Записки писателя. М., 1948. С. 48—50).

Стр. 291 Сергей Константинович *Маковский* (1877—1962) — поэт и художественный критик, редактор журнала «Аполлон».

Стр. 292 Путешествие в Палестину дало Бунину впечатления для рассказов «Тень Птицы» (раннее заглавие «Храм Солнца») и для стихов. Перед поездкой он изучал Библию и Коран.

Стр. 306 Строки из стихотворения Бунина «Стамбул».

Стр. 308 Отрывок из стихотворения Бунина «Айя-София».

Стр. 308 *Валтасар* — вавилонский царь (VI в. до н. э.).

Стр. 316 Давид Соломонович *Шор* (1867—1942) — пианист и музыкальный деятель, пропагандист музыки Бетховена.

Стр. 323 Стихотворение «Авраам».

Стр. 342 Бунин познакомился с А. И. Эртелем в октябре 1895 г. в Москве. В 1929 г. Бунин написал воспоминания о Эртеле; см. о нем статью: Бабореко А. Бунин и Эртель. — Русская литература. 1961. № 4.

Стр. 344 Стихотворение «Храм Солнца», датированное: «Баальбек, 6.V.07.»

Стр. 346 *Кана Галилейская* — городок в Галилее; здесь, согласно Евангелию, Иисус Христос совершил свое первое чудо — превратил воду в вино (Евангелие от Иоанна, гл. 2, ст. 1—10), чтобы дать радость бедным людям во время их свадьбы. Об этом — в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (глава «Кана Галилейская»).

Стр. 360 См. Рассказ Бунина «Паломница» в кн.: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1966.

Стр. 362 Николай Дмитриевич *Кузнецов* (1850—1930) — художник.

Стр. 363 Николай Николаевич *Лепетич* (1866—1921) — художник.

Стр. 367 *...сады «Семирамиды».* — Так назывались «висячие сады» в Вавилоне — одно из «семи чудес света», — сооруженные во время владычества царицы Ассирии — Семирамиды (IX в. до н. э.).

Стр. 372 *«Месяц в деревне»* — комедия И. С. Тургенева; «Вишневый сад» — драма А. П. Чехова.

Стр. 379 *...имевшего славу маркиза де Сада.* — Сравнение помещика с французским писателем маркизом де Садом (1740—1814), изображавшим

в своих произведениях сексуально-патологические явления, указывает на его безнравственность.

Стр. 390 *...гулянье под Девичьем.* — Девичий монастырь или сквер Девичье Поле в Москве.

Стр. 396 Неточность: сборники «Земля» выпускались «Московским книгоиздательством»; его фактическим владельцем был Г. Г. Блюменберг, номинально же главой издательства числился его отец Г. А. Блюменберг, крупный торговец бумагой. О редактировании Буниным первых двух книг сб. «Земля» см.: Голубева О. Д. Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900—1911 гг. М., 1957. С. 324.

Стр. 402 *Горького... боготворил.* — В это время отношения между Горьким и Скитальцем ухудшились. Разрыв произошел в конце 1908 года, когда Горький резко осудил повесть Скитальца «Этапы»: «в ней автор явился и декадентом в самом печальном смысле этого слова» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1949—1955. Т. 29. С. 82).

Стр. 403 Николай Павлович *Азбелев* — автор романов, повестей и рассказов, сотрудник журнала «Современный мир». Его переводы из Киплинга опубликованы в издании: «Библиотека иностранных писателей» под редакцией Ив. А. Бунина. Киплинг Р. Избранные рассказы, кн. 1. Перевод и предисловие Н. П. А. Московское книгоиздательство, 1908; кн. 2. М., 1908.

Николай Иванович *Иорданский* (1876—1928) — журналист; в 1909—1917 гг. редактор журнала «Современный мир», в котором до этого заведовал внешним обозрением; муж Марии Карловны Куприной после ее разрыва с А. И. Куприным.

Стр. 404 Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) — профессор классической филологии Петербургского университета. Его жена Софья Михайловна (рожд. Кульчицкая. 1878—?) — подруга М. К. Куприной-Иорданской.

Елизавета Морицовна Куприна (рожд. Гейнрих, 1882—1942) — вторая жена Куприна.

Стр. 407 Иван Сергеевич *Рукавишников* (1877—1930) — поэт-символист.

Стр. 408 Николай Иванович *Кареев* (1850—1931) — историк и публицист, профессор Петербургского университета.

Екатерина Павловна *Леткова-Султанова* (1856—1937) — писательница; автор воспоминаний о Тургеневе и Достоевском.

Стр. 409 Лев Самойлович *Бакст* (настоящ. фамилия — Розенберг; 1866—1924) — художник, принадлежавший к группе «Мир искусства». В 1909 г. переехал в Париж, где приобрел широкую известность декорациями к спектаклям «Русского балета» С. П. Дягилева.

Наталия Васильевна *Крандиевская* (1888—1963) — писательница. См. о ней предисловие В. А. Мануйлова в кн.: Крандиевская-Толстая Н. Стихи. Вечерний свет. Л., 1972.

Стр. 412 Варвара Ивановна *Икскуль* (рожд. Лутовинова; 1854—1929) — меценатка.

Стр. 416 По случаю двадцатипятилетия «службы» А. И. Южина в Малом театре 24 января 1908 года был дан спектакль «Отелло» (см. «А. И. Южин-Сумбатов». М., 1951. С. 563).

Николай Васильевич *Давыдов* (1848—1920) — председатель окружного суда в Москве; председатель театрально-литературного комитета.

Николай Николаевич *Баженов* (1857—1925) — психиатр, автор книги «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы» (М., 1903).

Александр Александрович *Федотов* (1863—1909) — актер Малого театра, режиссер и театральный педагог.

П. Д. Долгоруков, член Второй Государственной думы и председатель кадетской фракции думы.

Стр. 418 Журнал «Северное сияние», принадлежавший В. Н. Бобринской, выходил с ноября 1908 г., — в этом номере напечатан рассказ Бунина «Море богов»; прекратился на восьмом номере в 1909 г. из-за денежных затруднений.

Стр. 421 *«Энох Арден»* — поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

Стр. 429 Начальная строка стихотворения Гёте «Mignon».

Стр. 430 Эммануил Дмитриевич *Воронец* — искусствовед. В конце 1880-х гг. жил в Харькове и входил в народнический кружок, членами которого были Ю. А. Бунин, железнодорожный служащий Федор Александрович Ребинин, отбывший ссылку в Вятской губ., Василий Павлович Лепешинский (дед балерины Ольги Васильевны Лепешинской) и др. В кружке бывал И. А. Бунин, приезжавший к брату в 1889 г.

Стр. 433 *«Зина»* — Зиновий Алексеевич Пешков (Зиновий Михайлович Свердлов; 1884—1966). Некоторые считали его приемным сыном Горького. Горький писал: «Зиновий Свердлов *не* «усыновлен мною», а крещен, что требовалось для его поступления в филармоническое училище» (Горький М. Собр. соч. Т. 30. М., 1955. С. 22).

Стр. 434 Мария Сергеевна *Боткина* — художница, дочь С. П. Боткина. Землетрясение, о котором идет речь ниже, произошло в Сицилии в 1908 г. и почти полностью разрушило город Мессину. Бунин написал стихотворение «После мессинского землетрясения», датированное «15.V.09».

Под именем «Михаила» на Капри жил революционер-большевик Н. Ф. Вилонов.

Стр. 445 О дервишах Бунин пишет в рассказе «Тень Птицы».

Стр. 450 Владимир Федорович *Лазурский* (1869—1943) — историк литературы, преподаватель в Новороссийском университете (Одесса); был учителем детей Л. Н. Толстого Андрея и Михаила Львовичей по греческому и латинскому языкам.

Стр. 452 «Испепеленный. К характеристике Гоголя. Доклад, прочитанный на торжественном заседании Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 г.». М., «Скорпион», 1909.

Матвей Иванович *Розанов* (1858—1936) — профессор Московского университета по истории западноевропейских литератур; с 1921 г. — академик.

Стр. 454. *Донька Симанова и ее муж* — прототипы Молодой и Родьки в в «Деревне» Бунина.

Стр. 457 *Женя* — сын Марии Алексеевны Ласкаржевской.

Ольга Сергеевна Шарвина-Муромцева — врач; с 1912 г. — жена Н. С. Родионова, известного исследователя творчества Л. Н. Толстого. Бунин был шафером и во время венчания над четой новобрачных держал венец. Священник церкви «Спаса-на-песках, что в Стрелецкой слободе» (XVII в.), по Спасопесковскому переулку на Арбате (изображена В. Д. Поленовым на картине «Московский

дворик»), сказал: «Второй академик расписался в книге; ранее — академик И. А. Крылов».

Стр. 458 Владимир Михайлович *Саблин* (1872—1916) — переводчик и книгоиздатель, сын М. А. Саблина, одного из редакторов «Русских ведомостей».

Стр. 458—459 К стихотворениям «Могила поэта» и «Старинные стихи», позднее печатавшимся без заглавий, даты указаны ошибочные, см.: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. М., 1965. С. 190, 26. Стихотворение «До солнца» позднее было озаглавлено «Рассвет».

Стр. 460 Имеется в виду литературный сборник «Друкарь». М., 1910.

Стр. 460 Юбилей Н. Д. Телешова отмечался 27 октября 1909 г. Бунин выступал с приветственным словом.

Стр. 466 Открытие комнаты им. А. П. Чехова в санатории близ станции Крюково, Николаевской ж. д. состоялось 24 декабря 1909 г.

Стр. 467 Днем рождения Чехова обычно считается 17 января. Эта дата указана в его метрическом свидетельстве. В книге «О Чехове» Бунин приводит письмо Чехова к сестре 16 января 1899 г.: «Сегодня день моего рождения, 39 лет. Завтра именины...» — и прибавляет: «Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон».

Михаил Александрович Чехов (1891—1952) — актер и режиссер.

Стр. 468 Владимир Иванович Чехов (1894—1917).

«Потоп» — пьеса шведского драматурга Юхана Хиннинга Бергера (1872—1924). Была поставлена в 1915 г. в Первой студии Художественного театра. Чехов играл роль Фрезера.

Стр. 483 Серж де Шассен — французский писатель и журналист, друг Буниных.

Шведская Академия.

Борис Константинович *Зайцев*.

Стр. 484 Писатель и поэт Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский).

Mont-Fleuri — соседняя вилла. Когда-то Бунины проживали в ней.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аввакум 32
Авилова (рожд. Страхова) Л. А. 199
Адам Э. 269, 292
Азбелев Н. П. 403, 404, 421
Азеф И. Н. 96
Айхенвальд Ю. И. 146
Алданов М. А. 200, 484
Александр II 40, 168
Александр III 47, 141, 144, 184, 256
Алексеев К. С. — см. Станиславский К. С.
Алексинский И. П. 416
Амфитеатров А. В. 433
Андреев В. Л. 288, 397, 412
Андреев Д. Л. 264, 397, 412
Андреев Л. Н. 186, 187, 202, 207, 211, 212, 213, 214, 264, 284, 288, 300, 345, 364, 397, 398, 401, 402, 403, 406, 407, 412, 413, 416, 423, 424, 442, 453, 460, 462, 468, 469
Андреев Н. А. 450, 451, 452
Андреева (рожд. Денисевич) А. И. 469
Андреева (рожд. Велигорская) А. М. 207, 270, 288, 364, 397, 398, 402
Андреева (рожд. Пацковская) А. Н. 288, 397, 406
Андреева (рожд. Юрковская, в 1-м браке Желябужская) М. Ф. 201, 254, 430, 432, 433, 435, 438, 442, 443
Андреевский 248
Андреевы 264, 265
Андрусов Л. И. 406
Аничков Е. В. 257
Анциферов 63
Аристархов Н. Н. 417
Аристарховы 417
Армянский 265
Арсеньев 380
Арцыбашев М. П. 406, 407

Бабарыкина 161
Баженов Н. Н. 416
Байрон Д. Н. Г. 89, 282, 415
Бакст (Розенберг) Л. С. 409
Бальмонт К. Д. 150, 152, 187, 206, 211, 215, 259, 339, 387
Бальмонты 287
Баранова 274
Баранцевич К. С. 153, 154
Баратынский Е. А. 262, 309
Бартельс 366
Батюшков Ф. Д. 285
Бах И. С. 98
Бахтеяровы 50, 54, 78, 79, 83, 86, 368, 373
Башкирцев 125
Башкирцева М. К. 125
Бейдеман 148
Беклин А. 204, 330
Белоусов И. А. 165, 184, 288, 461
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 187
Бердяев Н. А. 168
Березина 192, 198
Берне Л. 127
Бессонова 189
Бетховен Л. ван 98, 183, 318, 338, 349, 394
Бибиков А. Н. 107, 108, 109, 112, 120, 136, 137, 140, 145, 146, 147, 156, 460, 461, 462
Бибикова А. Н. 112
Бибикова В. В. — см. Пащенко В. В.
Бибикова М. А. 145
Бибиковы 112, 145
Бирюков П. И. 139
Блок А. А. 256, 406
Блок (рожд. Менделеева) Л. Д. 406
Блюменберг Г. Г. 396, 403, 412, 422
Боборыкин П. Д. 270, 271, 416, 468, 469
Бобринская В. Н. 418, 452
Богданов (Малиновский) А. А. 434
Бойцов 201
Бонье С. П. 244, 245
Борисов Б. С. 416
Борисова 269
Босяцкая В. 94
Босяцкий 63, 94
Боткин С. П. 434
Боткина М. С. 434, 435, 439
Бразоль 137
Брунс 216, 302, 363, 424, 446, 451
Брэм А. Э. 376, 454

Брюсов А. Я. 276
Брюсов В. Я. 146, 150, 168, 187, 215, 258, 259, 276, 291, 452, 462
Будищев А. Н. 153
Букишон 204
Буковецкий Е. И. 176, 177, 178, 179, 206, 208, 246, 247, 298, 426, 427, 447, 448, 450, 451, 476, 477
Булгаков С. Н. 168
Бунин А. А. 30
Бунин А. 66
Бунин А. И. 60, 188
Бунин А. Н. 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 62, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 86, 89, 92, 98, 101, 102, 106, 107, 118, 134, 136, 142, 188, 189, 216, 226, 228, 240, 255, 256, 279, 280, 379, 382, 392, 394
Бунин Е. А. 27, 28, 31, 35, 49, 54, 55, 78, 79, 82, 83, 87, 101, 107, 109, 112, 113, 121, 122, 132, 133, 134, 141, 142, 144, 179, 206, 216, 226, 228, 243, 254, 255, 279, 280, 379, 380, 382, 384, 388, 390, 394, 416, 420, 453, 454, 457
Бунин И. П. 27
Бунин К. Л. 66
Бунин Л. 66
Бунин Н. Д. 49, 67, 68
Бунин Н. И. 180, 181, 201, 218, 225, 226, 239, 240, 242, 243, 259, 286
Бунин Н. Н. 31, 32, 35, 48, 68
Бунин П. Н. 35, 52, 60, 69, 70, 74, 277, 280, 369, 370, 372, 373, 376, 378, 392, 422
Бунин С. А. 30
Бунин Ю. А. 27, 28, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 62, 63, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 97, 100, 104, 106, 109, 112, 114, 115, 118, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 138, 141, 142, 147, 151, 152, 155, 158, 164, 165, 170, 179, 181, 186, 187, 204, 210, 212, 216, 218, 219, 228, 231, 236, 240, 242, 243, 255, 256, 257, 258, 272, 279, 280, 281, 291, 292, 379, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 413, 418, 420, 421, 452, 453, 457, 462, 470
Бунина А. 188
Бунина А. А. 30, 38
Бунина (в замуж. Чубарова) А. И. 27, 37, 40, 42, 48
Бунина (рожд. Цакни) А. Н. 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 195, 199, 206, 242, 259, 268, 286, 404, 469
Бунина В. Н. 48, 49, 68, 134, 189
Бунина (рожд. Чубарова) Л. А. 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 62, 68, 73, 78, 79, 83, 84, 86, 89, 90, 92, 98, 101, 106, 107, 109, 118, 122, 134, 136, 138, 142, 145, 165, 180, 181, 188, 189, 206, 216, 218, 236, 240, 242, 243, 255, 311, 362, 365, 379, 380, 382, 383, 384, 417, 420, 421, 453, 457, 460, 461
Бунина М. А. — см. Ласкаржевская М. А.
Бунина (рожд. Гольдман) Н. К. 54, 55, 61, 66, 69, 78, 82, 83, 87, 101, 121, 129, 132, 133, 165, 226, 254, 255, 379, 382, 416, 418—420, 421
Бунина О. А. 30
Бунина Х. А. 52, 74
Бунины 25, 27, 36, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 62, 66, 68, 69, 74, 82, 83, 107, 114, 115, 130, 132, 133, 136, 137, 141, 144, 178, 182, 188, 189, 211, 373, 378, 379, 380, 383, 392, 416, 418, 454
Буренин В. П. 76, 111
Бутковский С. 66
Бякин М. 42, 43, 46, 47
Бякины 42, 43, 46, 48, 55

Вагнер Р. 408
Валинины 292
Вальц 215
Варгунин 134
Василий II Темный 66
Васнецов В. М. 365
Вейнберг П. И. 153
Велигорская А. М. — см. Андреева А. М.
Венявский Г. 172
Вербицкая (рожд. Зяблова) А. А. 211
Вересаев В. В. 186, 258, 259, 262, 270, 272, 397, 424, 470
Вересаева 469, 470
Виардо П. 172, 180
Виганд 242, 243, 421
Вилонов Н. Е. 434, 438
Вильгельм II 244
Витте С. Ю. 465
Волкейштейн А. А. 127, 130, 138, 139
Волкенштейн Л. А. 127
Вологодка 113, 114
Волошинова 125

Волынский (Флексер) А. Л. 159, 168, 278
Воронец Э. Д. 430
Воронец, семья 94, 107, 108, 430
Воронцов В. 154
Врангель Л. С.—см. Кулакова Л. С.
Вырубов 127, 128, 129
Высоцкий 259
Выставкина Е. 460

Гагарин, кн. 465
Гайдебуров П. А. 63, 84, 88, 147, 160
Гайдн И. 98
Гальберштадт Л. И. 418, 453, 457, 458
Гальберштадт О. И. 457
Гамбарова С. Х. 465
Гамсун К. 215
Ганецкая-Фирсанова 207
Гапон 240
Гарин-Михайловский Н. Г. 186
Гауптман Г. 180
Гегель Г. В. Ф. 168
Гейне Г. 126, 160
Гейтен Л. Н. 467
Гендель Г. Ф. 98
Генкин М. С. 466
Георгий Александрович, вел. кн. 403
Гернет 208
Герцен А. И. 145, 200, 480
Герье 168
Гессен В. М. 408
Гессены 465
Гёте И. В. 73, 288
Гиппиус З. Н. 153, 168
Гладкие, семья 479
Гладкий 234
Глаголь С. — см. Голоушев С. С.
Глинка М. И. 174, 364
Глотова М. Я. 386
Глотовы 50, 368, 378, 387
Гоголь Н. В. 36, 98, 124, 293, 294, 333, 372, 447, 451, 452
Голицына М. В. (рожд. Рышкова) 25, 188
Головин Ф. А. 416
Голоушев (Глаголь) С. С. 165, 186, 204, 287, 288, 397, 398, 400, 423, 424, 466, 469
Голоушева 219
Голубинин 417, 418
Гольдман Е. К. 54, 55, 59, 61, 83
Гольдман Н. К. — см. Бунина Н. К.
Гольцев В. А. 150, 186
Гончаров 63
Горбунов А. В. 269, 282
Городецкий С. М. 407
Горький А. М. 178, 181, 186, 187, 188, 202, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 218, 228, 237, 254, 284, 398, 400, 401, 402, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 442, 443, 458, 469, 477
Горькие 432, 433, 434, 436, 438, 439, 442
Гославский Е. П. 165, 216, 288
Граф 231
Граф (рожд. Клочкова) 231
Гречанинов А. Т. 201, 210
Гржебин З. И. 396, 397
Гривцов Б. А. 262
Гривцова Е. С. (рожд. Урениус) 262, 263
Григорович Д. В. 150
Грузинская А. М. 288
Грузинский А. Е. 186, 288, 423, 452, 470
Грунер В. 269, 274
Гулеско 234
Гунст 229, 242, 257, 273
Гусаков А. Г. 281, 282, 408, 464, 465

Давыдов К. 160
Давыдов Н. В. 416, 470
Давыдова А. А. (рожд. Горожанская) 154, 159, 164, 205
Давыдова Л. К. — см. Туган-Барановская Л. К.
Давыдова М. К. — см. Куприна-Иорданская М. К
Данте А. 428
Д'Арк Жанна 440
Дворников Т. Я. 177, 299, 300, 363, 426
Ден 465
Дерибас А. М. 427
Дерибас И. М. 427
Дживелегов А. К. 268
Дживелеговы 268, 270
Джотто ди Б. 428
Диесперов А. Ф. 262
Диккенс Ч. 468
Дипман 170
Дмитриев Ф. Ф. 376, 377
Доброва (рожд. Велигорская) Е. М. 397
Добровы 270, 397, 401, 412
Добролюбов Н. А. 28
Добронравов 113
Доди 206, 216, 298, 426, 476
Долгоруков П. Д. 416
Донон 464
Дорошевич В. М. 453
Достоевский Ф. М. 214
Драгоманов М. П. 97
Дрейфус А. 256

Дрожжин 139
Дрожжин С. 150, 151
Дрожжины 151
Дроздова М. Т. 210
Дубасов Ф. В. 254
Дыбовский Б. Н. 281

Евдокимов 117
Екатерина II 379
Елпатьевская Л. И. 195
Елпатьевская Л. С. — см. Кулакова Л. С.
Елпатьевский С. Я. 154, 195, 200, 207
Елпатьевские 178, 195, 207, 240
Ельцова К. — см. Лопатина Е. М.
Ельяшевич Ф. О. 465
Ермилов В. Е. 186

Желябов А. И. 63
Желябужская Е. А. 432, 433
Желябужские 265
Желябужский А. А. 432, 438
Жемчужников А. М. 147, 148, 150, 380
Жемчужников В. М. 148
Жемчужников Л. М. 148
Женжурист И. М. 115, 119
Женжурист Л. А. (рожд. Маликова) 115, 119
Женжуристы 115, 127
Жуковский В. А. 27, 60, 188

Заболоцкая А. 264
Заболоцкая З. 264
Зайцев Б. К. 186, 258, 263, 265, 269, 273, 396, 451, 462
Зайцев К. 142
Зайцева (рожд. Орешникова) В. А. 240, 258, 263, 264, 268, 270, 271, 272, 413, 452, 462
Зайцева Т. 271
Зайцевы 211, 258, 259, 262, 268, 269, 270, 272, 280, 287, 288, 369, 397, 413, 423, 452
Заньковецкая 113, 132
Засодимский П. В. 153
Заузе В. Х. 177, 206, 247, 248, 302, 363, 364, 426, 427, 450
Захаров Е. 42, 46, 47, 48, 49, 55, 80
Захарьин Г. А. 165
Зверев 126, 132, 140, 144, 165
Зелинский Н. Д. 265, 282
Златовратский Н. Н. 100, 150, 165, 174, 372, 416, 457, 464
Злобина 394
Золя Э. 439
Зуров Л. Ф. 25, 200, 482, 483

Ибсен Г. 180, 186, 211
Иваницкий Ф. И. 416
Иванов А. В. 83, 84
Иванов В. 75
Иванов В. И. 256
Иванов И. И. 111
Иванов П. К. 262, 264, 265, 268, 270, 274, 276
Изгоев А. С. — см. Ланде А. С.
Икскуль (рожд. Лутовинова) В. И. 412
Иловайская Н. Д. 269
Иловайская О. Д. — см. Кезельман О. Д.
Иловайский Д. И. 269
Иоанн Алексеевич, вел. кн. 66
Иорданский Н. И. 403, 404, 462, 464
Исаев 444, 445
Истомин К. 66

Казаковы 50
Кальгрен 482
Карашевы 163, 171
Кареев Н. И. 408, 409
Карзинкин А. А. 146, 186, 187, 226, 235, 257, 278, 413, 459, 461, 462
Карзинкина Е. А. — см. Телешова Е. А.
Карзинкина (рожд. Рыбникова) С. Н. 187
Качалов (Шверубович) В. И. 211
Качалов 200
Кезельман (рожд. Иловайская) О. Д. 269
Кезельманы 274, 292
Кизеветтер А. А. 470
Киплинг Р. 403, 421
Климович В. П. 210
Клопский И. М. 127
Клочков 284
Клочкова 284
Ключевский В. О. 213
Книппер-Чехова О. Л. 193, 194, 195, 199, 201, 204, 207, 208, 232, 235, 237, 238, 467
Ковалевский М. М. 234, 479
Кованько 130
Койранский А. А. 259, 262, 273, 276
Кокошкин Ф. Ф. 416
Кольцов А. В. 43
Комаровский 84, 368
Комиссаржевская В. Ф. 160, 407
Кони А. Ф. 198

Константин Константинович, вел. кн. 464
Константин, имп. 311
Копельман С. Ю. 396, 406, 407
Коринфский А. А. 115
Коровина А. П. 469
Короленко В. Г. 100, 159, 186
Корш Ф. А. 204, 416
Костанди К. К. 176, 177
Котляревская В. В. 232, 409
Котляревские 240, 422, 464
Котляревский Н. А. 145, 232, 409, 422, 461, 464
Кочубей 125
Крандиевская-Толстая Н. В. 211
Крандиевская (в замуж. Волкенштейн С.) 408, 409
Крапивницкий 132
Крейн 316
Кречетов С. — см. Соколов С. А.
Кривенко С. Н. 147
Крымов 168
Крынкин 120
Кувшинникова С. П. 288, 469
Кузнецов 297, 362, 478
Кузнецов Н. Д. 177
Кузнецова Г. Н. 200, 482, 483, 484
Кулакова (рожд. Елпатьевская Т. З.; во 2-м браке Врангель) Л. С. 25, 154, 159, 160, 195, 206
Кульман Н. К. 200
Кульчицкая С. 159, 160, 205
Кулябко-Корецкий Н. Г. 119
Куно-Фишер 119
Купер Ф. 48, 367
Куприн А. И. 160, 163, 164, 171, 186, 195, 202, 205, 206, 210, 218, 219, 231, 232, 278, 285, 341, 402, 403, 404, 416, 458, 462, 464, 465
Куприна (рожд. Гейнрих) Е. М. 404, 406
Куприна Л. А. 218, 219
Куприна-Иорданская (рожд. Давыдова) М. К. 154, 159, 160, 178, 205, 206, 231, 285, 396, 397, 403, 404, 406, 409, 412, 413, 462, 464
Куровская В. П. 364, 426, 445, 446, 447, 454
Куровская (по мужу Дерибас) О. В. 364, 427, 446, 447
Куровская Т. В. 364, 446, 447
Куровский А. В. 364, 426, 446, 447
Куровский В. П. 25, 176, 177, 182, 183, 184, 192, 206, 219, 246, 247, 248, 294, 299, 300, 302, 362, 363, 364, 422, 423, 424, 426, 427, 445, 446, 450, 454
Лавров В. М. 470, 476
Лагорио 148
Ладыженский В. Н. 153
Лажечников И. И. 285
Лазурский В. Ф. 450, 476, 477
Ламартин А. 432
Ланде (Изгоев) А. С. 246
Ласкаржевская Л. И. 236
Ласкаржевская (рожд. Бунина) М. А. 30, 32, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 55, 58, 75, 78, 86, 87, 88, 89, 98, 101, 109, 118, 133, 134, 136, 141, 155, 165, 170, 180, 188, 216, 218, 228, 236, 240, 255, 280, 365, 379, 382, 383, 384, 386, 388, 391, 392, 395, 416, 417, 418, 420, 421, 457, 458
Ласкаржевский Е. И. 206, 216, 240, 382, 383, 384, 420
Ласкаржевский И. А. 170, 188, 255, 280, 383, 391, 392, 395, 416, 457
Ласкаржевский Н. И. 382, 384, 386, 420, 457
Ласкаржевские 180, 181, 206, 216, 236, 391
Лебедев 115, 126
Левитан И. И. 204
Ледницкий А. Р. 416
Лейкин Н. А. 159
Леонов 151
Леонтьев Д. 130, 139
Лепетич Н. Н. 177, 363, 451
Лермонтов М. Ю. 60, 80, 85, 87, 98, 122, 188, 380
Лесков Н. С. 49, 188
Леткова-Султанова Е. П. 408, 412, 413
Литвин 160
Логофет Б. Б. 50, 52, 391, 394
Лозинская З. А. 387
Лозинские 239, 387, 394
Лонгфелло Г. У. 89, 178, 198, 255, 276, 278
Лопатин В. М. 168
Лопатин Г. А. 63
Лопатин Л. М. 161
Лопатин М. Н. 168
Лопатин Н. М. 169, 273
Лопатина (псевд. К. Ельцова) Е. М. 161, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 240, 259, 263, 268, 271, 278
Лопатины 170, 229, 273
Лосевы 265
Лоти П. 357, 480
Лохвицкая М. А. 153
Лукин В. 388, 392, 395
Луначарская (рожд. Малиновская) А. А. 434, 435

Луначарский А. В. 434, 435, 436, 439, 467
Луначарские 434, 438
Львов Г. Е. 168

Майков С. Ф. 418
Маковский С. К. 291
Макс-Ли 232
Мальцев С. Ф. 420
Мамин-Сибиряк Д. Н. 159, 160
Маркс А. Ф. 194
Маркс К. 130
Махалов (псевд. Разумовский) С. Д. 184, 288
Мейерхольд В. Э. 211
Мельгунов С. П. 281
Мензбир 212, 376
Меншуткин 360
Мережковский Д. С. 153
Метерлинк М. 211
Микеланджело Буонаротти 439
Мин 254
Минский (Виленкин) Н. М. 148, 153, 269
Миров (Миролюбов) В. С. 158, 194
Михайлов А. Д. 63
Михайлов Н. Ф. 165, 181, 204, 470
Михайлов 126
Михайлов 279
Михайлов 450
Михайловский Н. К. 137, 147, 154, 159, 160, 205
Михеев В. М. 115, 153, 159
Мицкевич А. 308
Моргунов 255
Морозова В. А. 265, 461
Морозова М. К. 265
Морфесси Ю. 176, 239
Мостовенко П. В. 280
Моцарт В. А. 98
Муни (Кисин) С. В. 262, 263
Мунте А. 436
Муратов П. П. 262
Муратова Е. Б. 263
Муромцев А. А. 264, 272, 273, 384
Муромцев Арк. А. 424
Муромцев В. А. 424, 451
Муромцев В. Н. 268, 286, 366, 397, 400, 401
Муромцев В. С. 40, 272, 285, 421, 461
Муромцев Д. Н. 265, 268, 269, 270, 286, 339, 466
Муромцев Н. А. 270, 273, 286, 314, 366, 395, 396, 415, 422, 451, 453, 454, 462, 466
Муромцев П. Н. 269, 273, 286, 417
Муромцев С. А. 384
Муромцев Серг. А. 416, 457
Муромцева А. В. 421
Муромцева З. Н. 466
Муромцева Л. Ф. 146, 170, 171, 178, 258, 259, 265, 268, 270, 274, 278, 280, 282, 286, 287, 291, 366, 394, 395, 396, 414, 415, 454, 459, 461, 464, 466
Муромцевы 40, 420, 451
Мясоедов 140

Надсон С. Я. 75, 76, 79, 80, 90, 148
Назаров Е. И. 89, 90
Назарова 89
Назарьева 128
Найденов (Алексеев) С. А. 210, 213, 214, 215, 216, 230, 231, 232, 234, 238, 284, 285, 290, 402, 403, 416, 465, 479
Немирович-Данченко В. И. 201, 208, 232, 416, 468, 470
Нефедов 98, 100
Нефедова 98
Нечволодов 119
Никитенко 107
Никитенко — см. Токарева Е. Н.
Никитин И. С. 43
Николай II 140, 144, 244, 403
Николай Николаевич, вел. кн. (ст.) 117, 118
Николай Николаевич, вел. кн. (мл.) 118
Нилус П. А. 177, 178, 199, 206, 207, 208, 226, 231, 246, 257, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 362, 363, 364, 396, 397, 417, 418, 422, 423, 424, 426, 427, 445, 447, 448, 450, 452, 456, 457, 458, 464, 465, 466, 476, 477
Ницше Ф. 162

Оболенская Р. 280
Огиньский М. К. 48
Одарченко С. 292
Омар 168, 352
Орешников А. В. 413, 452
Орешниковы 265, 268
Орленев П. Н. 199
Орлов И. В. 119

Палкин 256, 462
Панина С. В. 244, 442
Пархоменко И. К. 124
Пащенко (в замуж. Бибикова) В. В. 24, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 152, 156, 174, 460, 461, 462
Пащенко Вера Вл. 146
Пащенко Влад. В. 112, 118, 141
Пащенко В. Е. 107, 112, 119, 120, 122, 125, 128, 136, 137, 140
Пащенко В. П. 112, 114, 119, 120, 125, 128
Пащенко, семья 118, 136, 141
Перовская С. Л. 63
Перфильева 190
Петина В. А. 54, 55, 62, 116
Петр Алексеевич, вел. кн. 66
Петр I 68
Петров Г. 240
Петропавловский (псевд. С. Каронин) Н. Е. 127
Пешков З. А. (З. М. Свердлов) 433
Пешков М. А. 442
Пешкова (рожд. Волжина) Е. П. 178, 202
Пешковы 207
Пилат 335
Пименова 159
Плеханов Г. В. 63
Победимовы 377
Поленов В. Д. 187
Поливанова Е. П. 127
Полиевктов А. А. 265
Полиевктова (рожд. Орешникова) Т. А. 265, 271, 423
Полонский Я. П. 90
Поляков С. А. 277
Полянская (в замуж. Бибикова) П. А. 147
Померанцева А. В. 113, 114, 121, 129, 144
Пономарев 63
Попова О. Н. 147, 154, 159
Поссе В. А. 181
Постников А. С. 465
Постников П. И. 418
Потапенко И. Н. 153, 404
Поярков Н. Е. 257, 259, 263
Правдин Б. В. 470, 476
Прегель С. Ю. 25, 239
Преображенский 63
Проселков 255
Пушешников А. И. 50, 52, 69, 70, 72, 75
Пушешников Д. А. 78, 189, 212, 229, 236, 238, 242, 281, 292, 371, 372, 376, 377, 378, 388, 396, 453, 457, 461, 462, 466
Пушешников И. А. 54, 78
Пушешников И. В. 49
Пушешников Н. А. 27, 78, 145, 211, 212, 229, 238, 240, 281, 292, 367, 368, 370, 371, 372, 376, 378, 387, 388, 390, 391, 394, 396, 414, 415, 422, 453, 454, 457, 459, 461, 462
Пушешников П. А. 78, 229, 281, 369, 371, 372, 378, 388, 392, 414, 454, 457, 461, 462
Пушешникова (рожд. Бунина) С. Н. 27, 53, 54, 72, 74, 78, 106, 122, 134, 189, 211, 218, 229, 236, 238, 239, 240, 254, 280, 281, 365, 368, 369, 371, 372, 376, 378, 388, 391, 392, 414, 422, 454, 456, 458
Пушешниковы 50, 70, 75, 78, 84, 92, 122, 134, 188, 204, 211, 228, 236, 254, 255, 279, 281, 282, 367, 370, 376, 388, 414, 456, 457
Пушкин А. С. 27, 80, 98, 126, 156, 158, 214
Пшебышевский С. 215
Пятницкий К. П. 202, 396, 397

Раевский 125
Раевский Н. Н. 158
Разумовский С. Д. — см. Махалов С. Д.
Рахманинов С. В. 132, 200, 201
Рахманинова (по мужу Конюс) Т. С. 200
Рахмановы 408
Резвая А. В. 49
Резвая В. А. 49, 53
Резвый В. 53
Ремер 379
Рид Томас Майн 48
Робин 298
Ромашков И. А. 36
Ромашков Н. И. 36, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 74, 109, 189
Ромашковы 68
Росси Э. 109, 112
Ростовцев М. И. 160, 205, 408, 409, 462, 464, 467
Ростовцев Ф. И. 409
Ростовцева (рожд. Кульчицкая) С. М. 408, 409
Ростовцевы 231, 235, 240, 257, 404, 408, 422, 462, 464
Рот 179
Рощин 484
Рубинштейн А. Г. 126, 160
Рукавишников И. С. 407
Рыбакова (рожд. Чулкова) Л. И. 206, 211, 264
Рыбаковы 211, 231, 282
Рындина Л. Д. 263
Рышков А. В. 392
Рышков В. В. 392
Рышков В. Н. 35, 42, 80, 392, 394, 454

Рышкова Л. А. 80, 392
Рышкова Л. В. 238, 392
Рышкова М. В. 392, 394, 395
Рышковы 42, 46, 47, 49, 52, 68, 80, 134, 391, 395

Саади 223, 225, 303, 304, 357
Саблин В. М. 458
Савина М. Г. 153
Сад де 379
Саксаганский А. К. 132
Саладин 353
Сальвини Т. 141
Сахаров И. Н. 181, 462
Сахновский В. Г. 268
Свечина 256
Северянин И. (Лотарев И. В.) 478
Семенова Н. А. 90, 93, 106, 113, 117, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 129
Сенкевич Г. 470
Серафимович (Попов) А. С. 186, 406, 407, 408
Серебряков 127
Середина (по мужу Гречанинова) М. Г. 210
Середины 192, 210
Серов В. А. 462
Симанова Доня 454
Синани И. А. 192
Синегуб 125
Сипягин Д. С. 26, 27, 384
Скабичевский А. М. 147
Скворцов Н. А. 204, 281
Скиталец (Петров) С. Г. 186, 187, 213, 214, 218, 237, 284, 288, 401, 402, 406, 407, 468
Скроцкий Н. И. 427
Случевский К. К. 115, 422
Смагин С. И. 125
Соколов (псевд. Кречетов) С. А. 262, 263, 291
Соловьев В. С. 168, 171
Соловьев С. М. 161
Сологуб (Тетерников) Ф. К. 150, 263, 407, 408, 478
Софья, царевна 68
Спасович В. Д. 271
Спинолла 432, 434, 435, 438, 443
Станиславский (Алексеев) К. С. 180, 181, 232, 467, 468
Станкевич Н. В. 200
Станюкович К. М. 158, 159
Старицкий А. П. 125
Стасюлевич М. М. 138
Стражев В. И. 259, 263, 264, 265, 268, 269
Стражевы 265
Струве Л. П. 154, 168
Субботина С. 269
Субботины 48
Суворин А. С. 150, 210, 416
Сумбатов А. И. — см. Южин (Сумбатов) А. И.
Сытин И. Д. 453

Тарарыкин 462
Телешов А. Н. 187
Телешов Н. Д. 132, 165, 170, 184, 186, 187, 202, 207, 213, 214, 226, 258, 273, 278, 279, 280, 284, 288, 294, 413, 416, 458, 460, 461, 462
Телешова (рожд. Карзинкина) Е. А. 186, 187, 206, 229, 230, 257, 258, 413, 460
Телешовы 184, 187, 206, 211, 229, 231, 242, 256, 257, 278, 287, 396, 421, 423, 459, 469
Тенеромо-Фeерман — см. Фeерман-Тенеромо И. Б.
Теннисон А. 89, 255, 272
Терехов 469
Тиверий 432, 433
Тимковский Н. И. 186, 287, 288, 460, 470
Тимковская 469, 470
Тихомиров Д. И. 234, 235
Тихон Задонский 52, 68
Токарева (рожд. Никитенко) Е. Н. 107, 119
Токмаков 195
Токмакова 207
Толстая А. Л. 442
Толстая В. С. 168
Толстая Т. Л. 168
Толстой А. К. 148
Толстой А. Л. 450
Толстой Л. Н. 32, 83, 85, 87, 92, 98, 100, 111, 112, 125, 138, 139, 144, 151, 165, 168, 169, 171, 188, 194, 200, 207, 228, 238, 242, 244, 300, 372, 400, 415, 442, 450, 470, 476
Толстой М. Л. 450
Толстой С. Н. 168
Толстые 168
Туббе А. Г. 69, 78, 88
Туббе А. О. 55, 69, 78, 87, 88
Туббе З. О. 55, 69, 78, 79, 87, 88
Туббе О. К. 54, 55, 78, 87, 88, 155, 170, 254
Туббе, семья 68, 70, 73, 78, 84, 92
Туган-Барановская (рожд. Давыдова) Л. К. 154, 160, 218
Туган-Барановский М. И. 154, 159, 168
Тургенев И. С. 83, 88, 150, 188, 200,

238, 272, 380
Тэффи (Бучинская, рожд. Лохвицкая) Н. А. 153
Тютчев Ф. И. 188

Ульянинская Р. Ю. 88
Ульянинский В. Г. 452
Ульянинский В. Ю. 88
Ульянинский Ю. Г. 88
Успенский Г. И. 111, 457
Усов П. С. 416
Успенский Н. В. 111, 457
Уточкин С. И. 248

Фальцфейн 165
Фанкони 298
Федоров 59, 60, 61
Федоров А. М. 153, 158, 162, 163, 171, 186, 216, 219, 256, 257, 276, 285, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 363, 397, 400, 401, 423, 424, 427, 445, 447, 448, 459, 460, 469
Федоров В. А. 171, 297, 299, 426
Федорова Л. К. 158, 173, 297, 299, 300, 363, 426, 447
Федоровы 163, 164, 173, 179, 215, 302, 363, 426
Федотова А. 416
Феерман-Тенеромо И. Б. 130, 132, 139
Фет А. А. 188
Фехнер Э. В. 55, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 73, 74, 78
Фидлер Ф. Ф. 160, 254
Филиппов 427
Фишер 211, 280
Флеров В. Ф. 459
Флобер Г. 242, 372, 415, 480
Фрейд З. 173

Харкеевич В. К. 192, 195
Хеопс 350
Хитрово (псевд. Андрей Мирославич) Л. А. 186
Ходасевич В. Ф. 263, 291
Ходасевич (по 2-му мужу Маковская) М. Э. 264, 276
Хомяков 467

Цакни (рожд. Львова) 180
Цакни А. Н. — см. Бунина А. Н.
Цакни Н. П. 171, 172, 173, 176, 179, 180, 239
Цакни П. Н. 173, 176
Цакни Э. П. (рожд. Ираклиди) 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 199
Цакни, семья 171, 176, 178, 222, 239, 242
Цветенев 48, 134
Цвеленевы 46, 80, 82, 83, 87
Цветаев А. И. 269
Цветаев И. В. 269
Цветаева В. И. 269
Цветаева М. И. 269
Цветков 49
Ценовский А. А. 450, 453, 476, 477, 478

Чайковский П. И. 109
Чайковский М. И. 416
Чернов 127
Чернышевский Н. Г. 28, 106
Чехов А. П. 467
Чехов Антон П. 69, 82, 98, 100, 113, 147, 152, 158, 171, 178, 180, 181, 182, 186, 190, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 208, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 226, 230, 232, 234, 235
Чехов В. И. 468
Чехов И. П. 208, 210, 466, 468
Чехов М. А. 467, 468
Чехова Е. Я. 190, 192, 199, 243
Чехова М. П. 190, 192, 193, 194, 198, 204, 205, 208, 218, 237, 238, 243, 467, 468
Чеховы 195, 201, 202, 210, 231, 238, 244, 467
Чириков Е. Н. 186, 468
Членов М. А. 210
Чубаров А. Ф. 68
Чубаровы 68
Чулков Г. И. 206

Шабельская 100
Шаляпин Ф. И. 132, 187, 200, 202, 211, 288
Шанкс 291
Шапиро 245
Шарапов Л. Н. 430
Шараповы 430
Шарвина-Муромцева (в замуж. Родионова) О. С. 457
Шассен Серж де 483
Шаховская, кн. 480
Шевченко Т. Г. 97, 109, 110, 184
Шейман 107
Шекспир В. 169
Шелихов Б. П. 89, 90, 93, 107, 114, 115, 121, 124, 127, 128, 129, 144
Шереметьевские 470

Шмелев И. С. 415
Шольц А. 202
Шор С. 316, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 326, 333, 334, 335, 336
Шор Д. С. 316, 317, 318, 322, 324, 326, 327, 328, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 352, 353, 354
Шпильгаген Ф. 119
Шпицмахер 397
Шполянский (дон Аминадо) А. П. 484
Шрейдер Е. Е. 269
Шрейдер З. Е. 269
Шрейдер, семья 269, 274, 292
Штиглиц 184
Штурм В. Н. 416
Шуберт Ф. 300
Шульгин 88

Щепкина-Куперник Т. Л. 211

Эгиз Б. И. 177, 427
Эдварс Б. В. 194, 247, 248
Эрарский 316
Эрлих 316
Эртель А. И. 152, 153, 341

Южин (Сумбатов) А. И. 416, 460, 470
Юшкевич Н. С. 477, 478
Юшкевич Нат. С. 477
Юшкевич П. С. 477
Юшкевич С. С. 406, 407, 408, 477, 478

Яворская (по мужу Борятинская) Л. Б. 256

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и правда Бунина. *Вступительная статья А. К. Бабореко* 5

ЖИЗНЬ БУНИНА 23

БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ . . . .

Наши встречи 262
Новая жизнь 292
Путь до Святой Земли 304
В Палестине 317
Сирия, Галилея, Египет 334
Первые впечатления от Васильевского . . . 366
Будни в Васильевском 372
У Буниных в Ефремове 379
Глотово 386
Встречи с писателями в 1907—1908 гг. . . . 395
Италия 428
Возвращение домой 444
1910 год 467
То, что я запомнила о Нобелевской премии . . 482

Примечания 485
Алфавитный указатель имен 499

Вера Николаевна Муромцева-Бунина

ЖИЗНЬ БУНИНА. БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ

Редактор
Н. М. Солнцева

Художественный редактор
В. В. Медведев

Технические редакторы
Н. Н. Талько и *Ю. Н. Чистякова*

Корректоры
С. И. Крягина и *Т. В. Малышева*

ИБ № 7305

Сдано в набор 13.06.88. Подписано к печати 17.04.89. А 04182. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 32. Уч.-изд. л. 32,57. Тираж 100 000 экз. Цена 5 руб.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель» 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Диапозитивы текста изготовлены на фабрике «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.

Минская фабрика цветной печати, 220115, Минск, Корженевского, 20. Заказ №573.

В. Н. Муромцева-Бунина.

М 91 Жизнь Бунина. Беседы с памятью. — М.: Советский писатель, 1989. — 512 с.

ISBN 5—265—01035—1

В Советском Союзе издаются впервые. «Жизнь Бунина» была напечатана в Париже в 1958 г. Это увлекательное и талантливое повествование основано на архивных данных и личных воспоминаниях автора. Оно рассказывает о жизни И. А. Бунина начиная с детства и до 1907 года, когда Муромцевой-Буниной суждено было стать его «спутницей до гроба» Продолжением этого жизнеописания являются «Беседы с памятью». В. Н. Муромцева-Бунина вела подробные дневники. Это придает особую ценность ее мемуарам, без которых не обойтись при изучении биографии и творчества Бунина.

М $\frac{4702010201 - 179}{083(02) - 89}$ Без объявл. **ББК 84 Р 7**

5 p.